

Апрель

Сарра БАБЕНЫШЕВА

Евгений ВИНОКУРОВ

Игорь ГУБЕРМАН

Валентин ЕРАШЕВ

Валентин КАТАЕВ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Александр НЕЖНЫЙ

Семен РЕЗНИК

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Константин СИМОНОВ

Марк СОБОЛЬ

выпуск
шестой

Апрель

**Выпуск
шестой**

АЛЬМАНАХ

1992

Главный редактор

А. И. ПРИСТАВКИН

Редколлегия:

Ю. В. АНТРОПОВ

Г. В. ДРОБОТ

(заместитель главного редактора)

И. И. ДУЭЛЬ

(первый заместитель главного редактора)

П. В. КАТАЕВ

(ответственный секретарь)

Я. А. КОСТЮКОВСКИЙ

Н. В. ПАНЧЕНКО

М. И. ПАПЕРНО

В. А. РЕВИЧ

Заведующая редакцией

Р. Е. ПОЛИЩУК

ББК 84.3(2)7
А77

Все произведения печатаются в авторской редакции. Редакция альманаха несет полную ответственность за содержание выпуска.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Апрель: Литературно-художественный и общественно-по-
А77 литический альманах. Выпуск шестой.—М.: Известия, 1992.—
286 с.

ISBN 5—86266—128—X

Шестой выпуск альманаха «Апрель» составлен из произведений московских писателей и писателей русского зарубежья. В первом разделе — проза и поэзия: повести М. Соболя, Г. Жаворонкова, Ю. Ряшенцева; рассказы А. Курчаткина, А. Кокина, А. Черкизова, Е. Толстой, Р. Валеева; стихи К. Ковальджи, И. Губермана, Е. Винокурова, Г. Недгара, В. Катаева, К. Симонова, А. Осипова, В. Леванского, Е. Кузиной. Второй раздел — публицистика: В. Ерашов, С. Резник. В третьем разделе — С. Бабёньшева, Т. Вульфвич, А. Нежный. Традиционно завершает альманах рубрика «Молодой «Апрель»».

А $\frac{4702010201-074}{074(02)-92}$ без объявл.

ББК 84.3(2)7

ISBN 5—86266—128—X

© Альманах «Апрель», 1992

Содержание

Credo. Анатолий Приставкин. Эпоха большого хапка 5

1.

Кирилл Ковальджи. Московское пространство. Стихи	9
Марк Соболев. Театр теней. Повесть	13
Игорь Губерман. Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Стихи (предисловие А. Городницкого)	31
Геннадий Жворонков. Время самых невкусных яблок. Повесть	35
Евгений Винокуров. Окно. Стихи	57
Рустам Валеев. Среда обитания. Рассказ	59
Георгий Неггар. Певцы любви и марцефали. Стихи (предисловие С. Липкина)	70
Юрий Ряшенцев. Крысы нашего двора. Повесть	72
Валентин Катаев. Под шум дождя, под рокот грома. Стихи	99
Анатолий Курчаткин. Дом. Рассказ	103
Константин Симонов. Баллада (предисловие В. Россельса)	111
Лев Кокин. Чистим-блистим. Рассказ	112
Аркадий Осипов. Полуднем нагретая тишь. Стихи	119
Андрей Черкизов. Календарные сроки. Рассказ	121
Владимир Леванский. Назови по имени. Стихи	125
Елена Кузина. Такая боль, такая пытка. Стихи	127
Елена Толстая. Укроп, пиво, раки. Рассказ	128

2.

Валентин Ерашов. Питер: сороковые, роковые...	154
Семен Резник. Дело Емельянова	183

3.

Сарра Бабёньшева. В те годы черные, глухие	205
Теодор Вульфович «...Вот и вышел человечек»	222
Религия в наши дни	
Александр Нежный. Драма Русской православной церкви	242

Молодой «Апрель»

Олег Файнштейн. Идиллия на фоне измены. Рассказ	256
Анатолий Гончаров. И злу добра в бою не одолеть. Стихи (предисловие Б. Окуджавы)	280
Эврика Аллавердонц. Прелюдия желтого цвета. Стихи (предисловие Н. Панченко)	285

Анатолий ПРИСТАВКИН

Эпоха большого хапка

«Богом, и правдою, и совестью оставленная Россия — куда идешь ты в присутствии своих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?»

А. Сухово-Кобылин

Это «кредо» написано в дни апрельского съезда Верховного Совета России, но наш читатель прочтет его позже, ему уже будет видней, что смог провидеть и в чем ошибался автор. О самом же съезде столько написано, что вряд ли нужны добавления, лучше я приведу слова Валерия Выжуровича из «Известий», которые выражают и мое мнение: «Съезд показал свою непригодность для дела не только как собрание агрессивных и малокомпетентных людей, напоминающее партхозактив, но и как орган власти». Добавлю, что этот позорный съезд вполне отразил нас всех — и избирателей, и законодателей, всю нашу национальную совковость, именуемую почему-то на Западе «загадочной русской душой». Кстати, съезд определил на ближайшие месяцы, если не на годы, нашу будущую судьбу, что ожидает наше нищее крестьянство, нашу разоренную экономику и наше искусство, в том числе трижды изничтоженную, но до конца недобитую литературу.

Да, речь в общем-то опять о ней, хотя, если честно, говорить о ней, страдать о ней и тем более заниматься ею сегодня уже не имеет смысла. Она никому сегодня не нужна. Вместе со своими издательствами и литературными журналами она зависла между двумя реалиями — прошлым, где она тоже не была нужна, и будущим, которого у нас нет, как некая неприбыльная часть экономики, отвергаемая и коммерческими издателями, и властями, и даже самими писателями, эти ныне занялись чем угодно, кто бизнесом, кто спонсорством, кто политикой, но только не литературой.

Сведущие люди, правда, утверждают, что общество еще почитывает, еще даже проявляет интерес к литературе, отравившись в одночасье всей этой непотребной и подчас грязноватой продукцией, выплеснувшейся на черный и белый рынок, и даже как бы жаждет вновь самоочищения через живительное и возвышающее СЛОВО. Но подскажите, пожалуйста, кому когда на святой Руси были святы потребности названного общества, которое в разные времена по-разному, но одинаково неприлично называли то «интеллигентшиками» (по Ленину), то буржуазной прослойкой (по Сталину), то гнилыми и отщепенцами (по Хрущеву и Брежневу), а то просто внутренними диссиден-

тами и врагами народа (по Дзержинскому, Берия, Андропову), да и не потеряло ли само общество возможность к самовыражению, то есть способность выдвигать из своей среды талантливых людей, умеющих в условиях изгойства и изоляции и подчас полного вокруг равнодушия создавать свою нетленку, которая никому не нужна и которая никого не накормит, даже семью самого творца, а ей-то необходима как минимум три раза в день реальная, а никакая там ни духовная пицца!

Недавно во время встречи с германскими славистами спросили меня, какие слова или какое слово вошло прочно в народный обиход, и я ответил не задумываясь: «совок». Ответил, но объяснить, каюсь, не сумел, и не потому, что не знал, наоборот, слишком хорошо знал, что в нем обозначился не просто характер нашего человека, а весь его образ жизни, который, как ни бейся, понять в силу его абсурдности нормальному западному человеку невозможно. Полагаю, что в результате действенного и вечно живого метода социалистического реализма мы создали целую литературную галерею героев с совковым характером, одни Павки — от Власова до Корчагина — чего стоят! А внедренный с букваря образ Павла Морозова стал для нашей жизни активным примером «... делать жизнь с кого...» Свою, разумеется, совковую жизнь. И сделали. Это сейчас очевидно и нам, и всему миру.

Вот на днях опять, в который раз, разгорелся в Союзе писателей скандал. Теперь он возник не в недрах старого, «сталинского», Союза, а в новом, и как бы демократическом, где хорошие писатели, собравшись на хороший съезд, выбрали, выдвинули тоже хорошего человека из Средней Азии, некоего Пулатова, преподнесенного нам почти как жертву тамошнего прокоммунистического режима. Человек со стороны времени не терял, а опираясь на почти молодых и вполне одаренных коллег, а потом и возникшего, как черт из-под печки, критика Золотусского, развел такой шабаш в борьбе за власть, с потасовками и боевиками, врывающимися в кабинеты, какой никогда и не снился бывшим прежним хозяевам respectable особняка. Ну а если посмотреть со стороны, то картина-то хоть и новая, но все та же, попытка любыми способами захватить власть и привилегии, то есть возможность получать машины, дачи, валюту и быстрые издания своих книг, что Пулатов и сделал, показав прямо-таки талант и недюжинные способности — хватательные и прочие.

А впрочем, отчего ж не хватать, ведь хватали же до них, и не в этом ли наша замечательная воспитанная большевиками совковость и заключается, что мы рассматриваем любой пост, в том числе и писательский, как возможность хапнуть, и не случайно я вынес в заголовок фразу, однажды оброненную Юрием Черниченко, о том, что у нас сейчас... «эпоха большого хапка!» Это и в Союзе писателей, это и в других более высоких органах, где новоявленным хозяевам-совкам, представителям дальних и ближних совковых округов, не почитается большим грехом отвинтить бронзовую дверную ручку или снять телефонный аппарат. Да что мелочиться, и машины, и квартиры, и поездки за границу и там, там тоже являются атрибутами высшей совковой власти, и не случайно, наверное, один из депутатов воскликнул в сердцах: «У вас Пулатов, а у нас Хасбулатов...» Каждой сошке по ложке! Даже книжечки еще и за кордоном успевают тиснуть, чего же от наших-то ждать! Наши совки разве хуже? Да они еще и не доросли до высших, где идет дележ заводов и всяческих фирм, куда они быстро вписываются под видом президентов и директоров, обозначая почему-то все это словом «приватизация»; где дача и получение взяток

возведено в ранг добродетели (читайте интервью с бывшим мэром Москвы Гавриилом Поповым в АиФе); и уж на Западе, где обезумели от нашей совковой непредсказуемости, в отличие от большевиков, даже создали компьютерную картотеку для заинтересованных бизнесменов, куда занесены данные на каждого нашего высокопоставленного чиновника с указанием его «расценок»... И в этом свете какого-нибудь «дикого человека гор» — эта фраза из классики, конечно, не обозначает национальной принадлежности, но лишь морально-культурный облик — мы воспринимаем почти как норму, а главное, что они сами, сами не ощущают никакого дискомфорта или подобия угрызения совести, наоборот, и ведут, и чувствуют, и, наверное, гордятся, что они и есть настоящие совки. И когда-нибудь о них напишут «повесть о настоящем совке»! Наблюдая общий нынешний разбой и беспредел (ах, не знал Сухово-Кобылин в ту пору такого словечка, да ведь, кажется, и беспредела-то тогда не было!), наш союзписательский и прочий руководящий совок может с гордостью утверждать, что он в отличие от своих предшественников лично не сжал, не стучал и не расстреливал братьев-писателей, так что он высоконравственный совок, идущий в русле совковой политики, принятой самим съездом.

Да нет, я сознаю, что борьба человека за существование происходит везде, и не питаю никаких иллюзий по поводу несовершенства нашего мира. Но Запад, на который мы привыкли ссылаться, выработал цивилизованные формы такой борьбы, они заключаются в компромиссах граждан или организаций между собой. У нас же природа существования породила истинно дикарские способы самоутверждения: «кто смел, тот и съел». Но нет, не точно: «смел» тот, кто сильнее, кто хищней и кто безнравственней, вот тот и съедает своего ближнего. Не отпихнешь — не выживешь, это уже всем ясно. У зверей мы называем их хищниками, а у охотников и старателей Сибири таких особей о двух ногах называют презрительно «хитники». Эти страшные люди проникли во все сферы нашего общества — и в литературные, и в уголовные, и в коммерческие, и тот совковый бизнес, который мы предложили миру, никакого отношения к бизнесу вообще не имеет. Но что в этих условиях делать простому человеку? Ему-то как в условиях совкового рынка выжить: тоже положиться на принцип зверя или хитника?

Правы, наверное, те, кто убежден, что должны прийти и уйти другие поколения, лишённые нашей полноценной совковости, чтобы у них было время и возможность сформировать иные нравственные ценности, отличные от наших.

Хотя и сегодня, в меру наших слабых сил, что-то можно сделать. Ну хотя бы дачу, в которой проживает ныне Пулатов в Переделкине, передать нескольким инвалидам писателям, а деньги, потраченные им на заграничные поездки (судя по всему это сотни тысяч рублей), разделить среди бедствующих семей литераторов, коих, как мы выяснили, у нас сотни, кто на краю гибели!

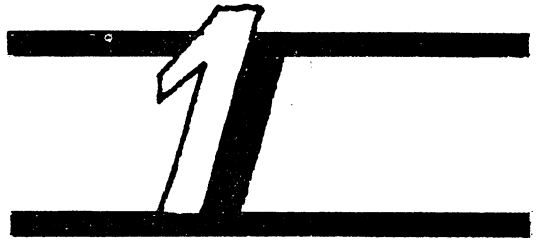
Но в каких это кодексах, да еще нашего Союза писателей, записано, что надо помнить о страждущих и жаждающих? И в какие это времена о них вспоминали, если до сих пор только в «Апреле» находятся списки нищих писателей или их вдов, других членов семей?! Можно и не быть пророком, чтобы предвидеть, что в нашем наскоро разворованном Союзе писателей скоро никому уже власть не понадобится, как и сам Союз. И потому умоляю моих друзей-апрелевцев не тратить зря время на перепалку с хитниками от литературы, пусть де-

лят, пусть доворовывают, по поныне перефразированной цитате — «грабь недограбленное...», а как не будет что брать, так и разбегутся. Сомнительна честь быть во главе этого сталинского выкормыша — чудовища, который обречен временем и уже смердит, заражая нас трупным ядом. Пусть проводят свой съезд, пусть объединяют «свой» ислам со «своим» православием — и того и другого в них не так уж много. А нам так лучше не отвечать на их нападки. Как перестанем мы их замечать, так их и вовсе не станет. Пусть борются между собой,— крысы, оставленные в голодной клетке, они сожрут друг друга.

А у нас заботы куда прозаичнее, без всякого там пафоса борьбы: помочь, если еще успеем, выжить нашей несчастной литературе, обеспечить молодым, обреченным на безгласие, хоть какие-то тиражи, да старикам нашим литературным, которым и при прежних режимах не роскошно в лагерях жилось, хоть какие-то сделать добавки к пенсиям.

Так организуемся без Пулатова и Бондарева и без извлеченного из каких-то нафталинов Феликса Кузнецова в новую, а точнее — новые творческие гильдии, где не будет ни аппарата с его служебными автомобилями и кабинетами, ни секретарей «в законе», которые еще всерьез верят, что писателями нужно руководить...

Нам нужны прочные творческие содружества, помогающие защитить честь и достоинство талантливого пишущего человека, его права перед властью, перед любыми способами насилия, перед попытками удерживать нас и далее в нашем совковом состоянии.



Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Московское пространство

* * *

Ходит ночь по кремлевской стене,
снег — наглядным уроком укрытия...
Исторические события
совершаются в тишине.

Не споткнулся троллейбус ночной,
не померкли огни кафетерия:
тихо дух испустила империя,
как проколотый кит надувной.

А какая держава была! —
покорителей неба отечество,
власть рабочих маяк человечества,
в переводе — империя зла.

Проще: по гололеду шажком
наши бабушки, жены и дочери
снова с ночи становятся в очередь
за голодным насущным пайком.

Но еще есть у нас красота,
лик небесный и облик березовый,
степь да степь, ни души, а над озером
купола и сиянье креста...

декабрь 1991

Похороны поэта

Я жизнь люблю и умереть боюсь..

А. Тарковский

...и лежал он, уже ничего не боясь,
утопая в цветах, для него началась —
не расскажет, какая — дорога,
нам еще горевать у порога
и бояться черты роковой,
где рыдает Шопен, как живой.

Московское пространство

Куда я забрел, боже мой?
Попроше хотел, покороче,
а к площади выбрался к ночи —
Москву не пройти по прямой.

Москва — как сугробы зимой,
в ней белые пятна, подвохи,
все хитросплетенья эпохи
и зодчего почерк хмельной.

Корить ли старушку Москву
за кольца, узлы и развязки?
В ней нет прямизны по указке,
как нет у извилин в мозгу.

Вдруг вытасчит из-под полы
то церковь, то дом современный.
Не выпрямить Кривоколенный,
не переупрямить валы.

Москва, как улитка, круга,—
кривого пространства лекало
недаром на свет извлекало
излучины и купола.

Петра от себя прогнала —
пускай себе самодовольно,
расчерченный прямоугольно,
летит Петербург, как стрела!

С Москвою нельзя напрямик:
согнула она ненароком
подковою Запад с Востоком
в непознанный свой материк.

В ее зеркалах двойники,
двуглавый двоится, как Янус,
и водит проспектами за нос,
скрывая хитро тупики.

Нырять торопливо в метро,
пари в облаках самолетом,
но есть у Садовых нутро,
известное лишь пешеходам.

Пускай городской нелюдим
Москву замечает все реже,
и пусть открывает приезжий
ее, как предсказанный Рим.

Подумай про участь умов
в изгибах московских историй,
смотри, как дымит крематорий,
постой у родильных домов.

Побывка

...Аптечка, шахматы, икона
на холодильнике, и тараканы
то тут, то там. В углах скопилась пыль,
на чашках несмываемый налет,
ржавеют трубы, протекает кран,
и телевизор расфокусирован.

Я приезжаю, стариков целую,
все вижу, что они не видят,
на топчане ворочаюсь всю ночь
не потому, что выперли пружины,
а потому, что мама мне подушки
взбивала снова, словно приглашая,
как в детство, в дом родительский поверить,
не видеть ничего, не замечать...

* * *

Записать прошу я под диктовку
оркестровку уникальных дней,
смерть пока стирающей головкой
не прошла по памяти моей,
чтобы кто-то прочитал и понял,
что я жил, любил, а не гостил,
пусть не все анкеты я заполнил,
миллион прохожих не запомнил,
тысячи красавиц упустил.
Душу не затронула морока:
будет ли на небе благодать?
Мало мне отпущенного срока,
только жизнь я начал понимать...

* * *

Я жил не как поэт,
ни собственной персоной,
ни удалью бессонной
не удивился свет.

Я жил не как поэт,
не пил, врагам на зависть,
не соблазнял красавиц,
не шел под пистолет.

Я жил не как поэт,
искусства не улучшил,
служил всю жизнь, как Тютчев,
состарился, как Фет...

Грозовой сонет

Ливень в Ялте. Горщему огню
Поклоняюсь. Благодарен грому,
Что ни канонаде, ни погрому
Он не набивается в родню.

Ливень в Ялте. Я домой звоню,
Удивляюсь небу голубому
Над Москвой. Благоволение к дому
Я внушаю двойственному дню.

Диалог наш — волосок над бездной.
Кто мы с точки зрения небесной,
Где мы через десять тысяч лет?
Наплывает теплая тревога,
Что мы дети малые у Бога.
Роща — церковь. Тополь — минарет...

* * *

В конце столетия общество больное.
Прощанье с Марксом. Снова Бог и бес.
Свобода, секс, насилие и стресс.
Свердлов — палац, а бывший царь — в герои...

Знак поменяла та же параноя?
Воскрес к процентам крови интерес...
Спасется ль новой вырубкою лес?
С небес ли ждать решение земное?

Детей рожайте — это свет в туннеле,
Надежда на младенцев в колыбели,
Всего мудрее косвенный ответ.

Я понимаю, верный путь к здоровью —
Через терпимость. Но как быть с любовью
К врагам своим?.. Не мучь меня, Завет!

Годовщины

Век после Дантеса —
знак тридцать седьмого.
Кто бы ждал прогресса
по стрельбе такого?
Выстрел на дуэли —
рисковали оба.
Истина в расстреле —
догадался Коба.
Дуэлянт не нужен,
ружья — частоколом.
Так глушили души,
словно рыбу — толлом.
Век — прообраз Вия.
Алый снег подталый...
Пушкину Россия
так салютовала!
О, невольник чести,
нам уж не до мести.

Как отметим завтра
от рожденья двести?

Театр теней

От станции Потьма шла внутрлагерная ветка. Она ятаганом врубалась в Темниковский бор, дремучий лесной остров архипелага ГУЛАГ. Там, где во времена Пушкина спасался, постигая Бога и радуясь людям, святой Серафим Саровский, возникли пристанционные поселки с лешачьими названиями: Явас, Шалы, Умар... Может быть, по-мордовски, на языках эрзя или мокша, эти слова что-то обозначали.

Лагпункты и подкомандировки названий не имели, только номера. Единственный наш именовался — Центральные мастерские. Если по железнодорожной ветке — станция Молочница. Лагерные интеллектуалы каламбурили: я вас, молочницу, впотьмах!

Над каждой вахтой, над воротами любой зоны были приколочены два портрета одних и тех же лиц, срисованных с государственно утвержденных фотографий, но раскрашенных разными художниками. С портрета побольше супился нарком Ягода, темно-рыжий, с полосками усиков, похожих на сопли. На портрете поменьше был изображен молодой военный с востренькими беспощадными глазами — Матвей Берман, начальник ГУЛАГа по кличке «красавый мальчик».

Товарищ Сталин удостаивал своим присутствием только казармы ВОХРЫ, построенные вне зоны. Кто-то сообразил, что в зоне ему находиться неместно.

Центральные мастерские были лагпунктом для малолеток. Нас перековывали из хевры и кодлы в токарей по металлу и дереву, бондарей, электромонтеров, плотников... Почти все мои, не преступившие рубеж восемнадцатилетия сверстники имели сроки по знаменитой в ту пору 35-й статье — городская и поселковая шпана, подозрительная уже потому, что борьба с беспризорничеством еще не кончилась, дометали залетную половину из-под молотилки коллективизации. 35-я статья УК изымала из шагающего в коммунизм общества социально вредный элемент, 58-я — куда грозней: социально опасный. Я был единственным малолеткой с 58-й.

И все-таки на воле первокурснику режиссерского факультета ГИТИСа удалось, вернее, мне позволили сколотить агитбригаду, гибрид «Летучей мыши» и «Синей блузы». Я сговорил туда людей постарше меня возрастом и больше из лагерной обслуги мелкого ранга. Назову памятных до сегодня звезд нашей самодеятельности: Нюра Пантелеева из конторы (статья 59-3: бандитизм, одноделец-муж расстрелян), телефонистка Клава Бесфамильная (воровка с узкой специальностью: кража пишущих машинок), Абрам Штуц (токарь по металлу, он же Семен Королев, домушник)... Вообще первыми персонажами у меня были урки, среди этого народа многие обладали подлинным актерским талантом.

Поясню как бы в скобках: в мое арестантское время, «вегетарианский период», по определению А. А. Ахматовой, между политическими и уголовными особого противостояния не было. Понятие «враг народа» тоже еще не привилось. Вспомните сообщение о гибели Кирова «от руки убийцы, подосланного врагами **рабочего класса**». Вряд ли кто додумался бы назвать жуликов и бандитов друзьями класса-гегемона.

Тогдашний воровской закон вовсе не запрещал блатарям ишачить — хотя бы и на лесоповале, при одном условии: бригадир должен быть из паханов. Политический зека, ежели он только не жмот, вызывал ироническое сочувствие: мы за дело, а ты ни за хрен. Конечно, порой нашего брата курочили, но как-то лениво, больше потому, что профессия обязывает. Может быть, наш Темлаг был всего лишь тихой провинцией, куда новейшие моды и веяния прибывают малой скоростью.

...Итак, я руководил агитбригадой Центральных мастерских. Либеральное начальство не слишком придиралось, когда его лицедеи порой пренебрегали основной работой в цехах или в конторе. Мы выступали и на соседних лагпунктах, от зоны к зоне ездили и ходили без конвоя, однако в сопровождении добродушного чекиста из группы БП («борьба с побегами»). Метнись кто из нас в сторону от лесной тропки, он тут же применил бы оружие согласно инструкции — без предупреждения.

Максимов был начальником 2-го лагпункта.

Лагерная «параша» причисляла его к таким, у которых жить можно. Каждый начальник имел свой бзик: говорили, будто Максимов собрал со всего Темлага бывших актеров драмы, кое-кого определил в придурки, остальных отправил на общие, на лесоповал. Зачем это все ему понадобилось, никто не мог объяснить.

Максимов был чекистом. В должности начальника — случай несчастный; холодная голова и чистые руки даны чекисту не для земных забот о кубометрах и всяких там комбижирах, ему в лагере место ангельское — уполномоченный 3-го отдела (старые интеллигенты шепотком добавляли: «...собственной Его величества канцелярии»). По нашему — кум, по-ихнему — оперативник, по-всеихнему — особист. А начальниками лагпунктов чаще ставили проштрафившихся директоров трестов, предисполкомов, спецов по лесному делу, подпавших под закон «от седьмого-восьмого» («государственная собственность священна и неприкосновенна». 7.8.1932). На воле они отнеслись к этому закону без должного благоговения и оттого надолго стали «гражданами зека».

На чужой лагпункт мы обычно прибывали заранее. Я успевал сочинить стишки на местные темы, агитбригада их тут же разучивала, вечером шел спектакль: один-два скетча, эстрадные танцы-манцы и между ними куплеты на злобу дня. Все «свыше сапога» было запретным: чекисты, вольнонаемные и начальство солиднее десятника в интермедиях не упоминались.

В тот вечер мы играли на 2-м лагпункте. После спектакля за мной пришел боец из ВОХРы. На всякий случай я попрощался с ребятами.

Меня привели на квартиру к Максиму. Я рассмотрел его еще с клубной сцены: молодой, телосложения, как некогда говаривали, сублильного; в петлицах цвета переспелой малины не то кубики, не то шпалы. Смелся и аплодировал он от всей души, и никто этому не удивлялся: напомню, что время лишь подступало к эпохе всеобщего озверения.

В комнате у Максимова на столе, на белоснежной с цветными узорами скатерти фырчал самовар, выпуклое зеркало его боков отражало гражданина начальника в непристойно комическом виде. Самовар окружали, как пешки ферзя, рюмки тонкого стекла и поодаль хрустальные ладьи — стаканы по пояс в серебряном кружеве. На огромном кленовом листе, сработанном из деревянной плашки, раскинулись ломти белого хлеба — мечта со времен Лубянки! Меня маленько пошатнуло.

— Водку? — спросил Максимов. — Или артисты предпочитают коньяк?

— Водку,— откликнулся я и, спохватившись, прибавил,— гражданин начальник.

О чем у нас шел разговор — ей-богу, не помню. После двух рюмок меня повело, я забыл, с кем пью, и даже одобрительно высказался насчет закуски. И вдруг протрезвел, выскочил пробкой из омота, услышав невероятные, невозможные в лагерной жизни слова: «система Станиславского».

— Система Станиславского! — отчетливо сказал Максимов. — Ты учился в театральном: выкладывай, что это такое.

Молнией в мозг: они взяли самого Константина Сергеевича!

Не знаю, не встречался, спал на творческом семинаре Тарханова (без фамилии, без фамилии), гражданина Станиславского видел только на сцене...

— Сам-то ты как играешь: по системе или от себя? — продолжал допытываться Максимов. — Если я хочу быть великим артистом, одного таланта, выходит, мне мало?

Я обжегся чаем. Максимов все-таки был профессионалом, знал, когда оборвать допрос: он понял, что толку от меня сейчас, как от покойника.

— Ладно, иди в барак, — давешний вохровец уже переминался в дверях. — Добуду книжку твоего Станиславского, прочитаю.

И когда я уже поднялся:

— Скоро жди в гости. А для твоей бригады я к вам Солохову перекантую. Поет не хуже Неждановой.

Поговорим о странностях любви — разумеется, лагерной. В доступной сегодня литературе эта тема проскальзывает как бы между прочим, любовь там по-скотски похабна или упомянута подобием ремарки: он сошелся, она обрела мужа...

Тут еще вот что: когда по 12—14 часов каторжной работы, а еда — пайка и баланда, не до любви. Женские и мужские зоны, как правило, разделены. К тому же, хоть нет в уголовном кодексе статьи «за сожительство», карается это дело — по крайней мере, так было у нас в Темлаге — трехгодичным довеском к сроку.

Но куда денешься, если повсюду исключения из правил: работа не общая, а придурочная, в зоне контора, обслуга, на территории лагеря водятся вольняшки... Если душа и тело забиты еще не окончательно, и не только природа, но и духовное в человеке требуют своего.

Вот какое длинное вступление потребовалось мне, чтобы хоть немного рассказать о Дусе Солоховой — и о себе, понятно, — о той самой певунье, которую Максимов откомандировал со 2-го лагпункта в Центральные мастерские.

Она и вправду чудесно пела. Только не умела держаться на сцене. Да и выговор у нее, татарочки из Саратова, был какой-то на ползвук не русский, а я все-таки земляк московской просвири. Честное слово, впервые я задержал ее после репетиции просто как постановщик спектакля.

Днем она работала телефонисткой на коммутаторе. У Б. Пильняка есть роман «Голой год» и там эпитафия: «Мужик у магазина читает вывеску: «Кому — татары, а кому — лядоры». Везде обманывают простой народ». Уполномоченный 3-го отдела на Центральных мастерских Николай Гейман, увидев Дусю, тут же решил, что все ее татары и лядоры должны принадлежать ему. Ни я, ни она до поры об этом не ведали.

Оба мы были молоды, лопухие, неоглядчивые, любовь ошеломила нас, как водоворот. И, как юные боги, мы сказали, что это прекрасно.

В клубе, эдаком монументальном бараке, было пять входов-выходов: один — парадный — с торца, по два запасных по бокам. За сценой, у дальней без окон и дверей стены, мне, заведующему клубом, выгородили кабинку. На зашарканном полу квадратная крышка люка была неприметна. Она скрывала шестой выход, хитрый лаз из подпола. Я его обнаружил, я его и утаил. А прожектора на вышках к полуночи резко снижали накал.

Однажды ночью ко мне ворвался геймановский писарь, малолетка с глазами выдавшего виды шакала. Пока он грохал дверьми, я успел навести холостяцкий порядок, изобразить спящего. В это же время парни Геймана шмонали женский барак, он был тоже в зоне, только поодаль, но и Дуся успела разобраться и теперь играла недоумение: с чего тормозит человека, смотрящего десятый сон?

Вечером на репетиции мы перешепнулись:

— Что стряслось?

— Гейман велел прибрать в его квартире. Я не пошла.

Все произошло бы куда жесточей и проще, не будь Гейман младшим уполномоченным, не чекистом, вольняшкой. Его за что-то турнули из органов, но работенку — все ж таки свой! — подкинули. Любый гулаговский сверчок знал свой шесток: за пределы — ни-ни! Гейман мог предложить, но не смел приказать Дусе явиться к нему на дом: один лишь намек на «связь с зеком» прикончил бы его наглухо. Служебный кабинет для такого рода свидания мало оборудован. Попытка застукать нас на месте согрешения не удалась. Гейман обозлился.

Мы понимали: игра идет рисковая. Смертельный номер — сальто на волоске под куполом цирка. Без сетки. И все-таки в нашем треугольнике дураком был Гейман: он недотумкал, что риск для любви — как дрова для костра. Мы хохотали в подушку, когда слышали треск запертых изнутри дверей под напором геймановых молодцев, мы смеялись замки, — завскладом Саша Немыкин (на воле — профессиональный аферист) был в нашей бригаде. И чем дерзостней мы с Дусей дразнили уполномоченного, тем желаннее были друг другу.

Ни о чем наперед не загадывали.

Неожиданно посреди репетиции меня вызвали к начальнику КВЧ — культурно-воспитательной части — чекисту Комгорту. Почему на эту должность поставили чекиста, чего на других лагпунктах никак не могло быть, объясню чуть позже. Я шел, страшась беды, но случилось иное, неожиданное и удивительное.

— Подготовьте клуб, — сказал Комгорт. — В следующее воскресенье к нам прибудет театр.

Отгремел хлопучками и петардами Беломорканал, отсалютовал бенгальским огнем, оставив после себя мертвецов, орденоносцев, книгу писательских восторгов, пьесу «Аристократы» и папиросы, которые смолю больше полувека. На Дальнем Востоке пробивали вторые пути Транссиба: так впервые в историю страны вошло слово «БАМ» — звон металла о металл, петушиный крик лагерного развода. На БАМе хозяйничал знаменитый Френкель, рожденный издеваться надо всем, что создал до него Господь Бог, — над миром, природой и людьми. Местом для управления концлагеря он избрал город Свободный. О новой дороге в коммунизм пресса и радио сообщали невнятно; Френкель, подобно Фуше, обожал тот сорт власти, которому ни к чему огни рампы.

Зато всюду гремел канал Москва — Волга, Дмитлаг НКВД. Официальная печать и внутрилагерная «параша» в неожиданном единогласии превозносили Первого каналоармейца («каналью», поправляли скептики) Семена Фирина; была запущена липа про восьмичасовой рабочий день, дома отдыха, экскурсии и даже отпуска в Москву... Я сам видел в КВЧ два-три номера ихнего журнала в красочной обложке, по тем временам роскошного, там даже стихи с фотографиями авторов: «тачечник такой-то, статья такая-то (мелькнула и 58-10), план выполняет на 120%». И на титульном листе крупно: «Главный редактор Семен Фирин». И на какой-то из обложек портрет главного: плотно сбитый мужик в коричневом реглане и дзержинской фуражке.

Конечно, у них есть свой театр! И никакой другой к нам прибыть не может, поскольку мы географически, кроме как на карте ГУЛАГа, просто не существуем. А я бы тому театру пригодился на двести процентов — могу не только играть на сцене, но и сочинять для спектаклей стихи и песни. Прощмыгну в антракте за кулисы, актеры подсказут, к чьим сапогам припасть...

Только бы не помешал Комгорт! Этот психолог с малиновыми петлицами способен разгадать мои надежды и планы, уловив хоть чуток излишнего любопытства. Да и я опасался проговориться, даром что погорел «за язык». Я исхитрился исчезнуть не просто до дня спектакля, а тютелька в тютельку до третьего звонка, поручив предгастральные хлопоты Дусе и нашим ребятам.

Афиша была необычной: на листе ватмана всего одно слово, название пьесы — «Слепые», Мистерия Метерлинка? Чепуха, какой может быть Метерлинк в ГУЛАГе, тут не МХАТ, где еще трепыхается «Синяя птица»...

...И вот вздрогнули оба полотнища занавеса — когда-то в этот миг у меня замирало сердце, — и поплыли, расходясь в стороны, и открылась комната. От нее шло утраченное сто лет назад дыхание уюта.

Я сразу понял: на сцене опытные профессиональные артисты — и пожилой отец, молча курящий в качалке, и мать у комода... Нужна крепкая актерская выучка, чтобы вот так, еще не произнеся ни слова, создать общий тон картины. Первые реплики: не наша страна и не нынешнее время. Дружная семья, где юноша сын то и дело вскакивает с дивана — поднести спичку отцу или чем-то помочь матери. Он показался мне чересчур суетливым, но вдруг дошло: родители этого мальчика — слепые!

Отец выбил пепел из трубки — и по изяществу жеста я узнал Земского, артиста, игравшего вторые роли во многих фильмах немого кино. Дженгельмен — друг героя. Бедняга, — его посадили, должно быть, еще до «Путевки в жизнь». А сына играет молодой, необученный, выдернутый из труппы какого-нибудь Запупенска, — такие всегда перед монологом выходят на авансцену под свет юпитера...

Я не успел додумать: передо мной, четко высвеченный прожектором, стоял Максимов.

«Система Станиславского! Если я хочу быть великим артистом...»

Я опомнился, когда на сцене зарыдали. В той невзаврадашной, неизвестным автором сочиненной жизни грянула война. Сына вот-вот мобилизуют, родители в отчаянии. На этом кончилось первое действие.

Дуся подошла ко мне, как всегда при непосвященных, степенно. — Дуся... — задохнулся я. — Почему Максимов?!

— Так ведь все оттуда. Со второго лагпункта. Они «Слепых» который раз ставят.

И добавила почти с гордостью, словно я недооценивал бывших ее солагерников:

— Теперь новую постановку готовят, артистов пока не всех подобрали... Называется — «Гамлет».

Распалась связь времен! «У самовара я и бедный Йорик» — слова Шекспира, поет Утесов... Знал же, что гражданин начальник — ловец актеров; вот для чего было нужно дознание по делу Станиславского — Гамлета замахнулся играть!

— Кем работает Земский?

— Лапти плетет.

«Дания — тюрьма»...

...Я все-таки досмотрел «Слепых». Иначе и быть не могло: если бы мне в те годы сказали, приткнув нож к горлу, — театр или жизнь! — я принял бы нож. Смерть от лишения кислорода была бы мучительнее. «Жизнь» — псевдоним, этим словом замаскировано каждодневное бытие, а оно как та камера, где велено искать пятый угол, только пока что кулачища больше словесные да стены из резины. И сокрушают не сразу, а медленно, и не физической болью, а тяготиной бестолочи: тупой тупик. Театр иное дело: зритель или участник, но — я в спектакле, следовательно, я существую.

Театр первичен, а жизнь вторична — только потому иду на признание: у Максимова был талант. Бог создавал из него артиста, черт подмешал отраву — и вышел чекист. Играл на сцене он в общем-то пристойно, хотя и неумело, но все-таки у него были мгновения взлета, прикосновения к волшебству. «Неразумная сила искусства» — скажет много лет спустя поэт Николай Заболоцкий.

Последнее действие спектакля — возвращение сына. Он еле выжил после тяжелого ранения, он привез друга, чтоб тот помог на первых порах. Родители счастливы. Но постепенно, из-за случайных проговорок или мелких промашек юноши, становится беспокойно, потом тревожно... И вот уже воздух на сцене, словно перенасыщенный раствор: сейчас упадет кристаллик и дышать станет нечем.

Помню долгую, трудную до невыносимости паузу, помертвелое лицо Земского. И голос Максимова, крик полупшепотом, признание и мольба:

— Отец, мама!.. Я слепой.

Бесшумно сомкнулся занавес.

Я знал наверняка, что Максимов прикажет явиться. Но я ускользнул из клуба, внутри меня еще жил спектакль — и до смерти неохота видеть начальника, у которого отбывает срок старый лаптеплет Земский, бывший киноартист на роли джентльменов.

Судьба улыбалась мне во всю пасть, как ловкий фармазонщик — лопуху-фрайеру. Агитбригада безотказна, начальство нами форсит, зрители довольны, Дуся, мой соловей залетный, поет слова Лебедева-Кумача по нотам Дунаевского...

И вдобавок неожиданно-негаданно я подружился с Комгортом.

Забегу далеко за пределы этой повести: точку нашей с ним дружбе поставила его смерть — после войны, в другую эпоху, в середине семидесятых.

Валерий Комгорт сам не знал, от каких предков произошел, — я думаю, корни в Прибалтике, судя по внешности и чудной, наподобие аббревиатуры, фамилии. Был он чуть ли не с рождения беспризорником, скитался, для пропитания воровал по мелочи. В детдоме оказался при красном галстуке, вступил в комсомол. И, наконец, где-то на Урале стал секретарем в крупной комсомольской организации — то ли городской, то ли на большом заводе или новостройке.

Ясно, что при такой биографии он «заимел авторитет» у прибалтийских подростков, разговаривал с ними на их языке и понимал обстоятельства. Это его и подвело. При очередном наборе молодых кадров для НКВД Комгорта взяли за шкуру, приклепали на воротник малиновые петлицы — и шагом марш воспитывать малолеток уже не на воле, а в зоне. Так он, свеженький, с ходу влетел на Центральные мастерские начальником КВЧ.

Но!

Как говорил Александр Сергеевич, бывают странные сближенья. Ликвидировали РАПП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Пошерстили, до времени бескровно, ихнюю верхушку. Те, которые литераторами были разве что по касательной, ни на что кроме руководящей партийной работы не годились, — в этом-то качестве их и распахали по населенным пунктам привычной к любым безобразиям российской многотерпеливой провинции. Надо же было, чтобы там, где воспитанием юной смены ленинцев занимался Валерий Комгорт, во главе агитпропа или даже партийным секретарем объявился идейный вожь раздолбанного РАППа Леопольд Леонидович Авербах.

Это имя Валерий произносил с почтительным придыханием. Авербах, громила в литературе, слгатывая ностальгическую слезу, толкал ему вдохновенные монологи о счастье творчества, читал на память каких-то Мандельштамов и Клюевых и упорно уговаривал взяться за перо, дабы сотворить поэму о тернистом, но славном пути от нищей безотцовщины к светлому будущему. Дьявол сумел искушить наивную душу: Комгорт запаса тетрадами и приступил к созданию эпоса. Брать рифы рифм оказалось делом непосильным, Авербах просветил его насчет белого стиха... Короче говоря, в некое утро передо мной легли три общих тетради, где почерком школьника, отмеченного пятеркой по чистописанию, были заполнены тысячи строк.

Сначала я растерялся. На уроках русского языка Валерий был явно среди неуспевающих. Полигимния и Каллиопа чихать на него хотели с высоты Олимпа. А мне что делать и куда деться, если положение обяывает? Я вздохнул и опасно предложил:

— Гражданин начальник, давайте все перепишем. С первой до последней страницы.

Минута молчания. Как на помине усопшего.

— Завтра в девять утра, — сказал Комгорт. — Придете ко мне домой, вахта пропустит.

Через несколько дней мы были с ним на «ты». Разница судеб и обстоятельств, табель о социальных рангах — все это за письменным столом бред и прах, мы братья писатели, мы поэты! Дело еще, конечно, в том, что по возрасту он меня опережал совсем не намного.

Возраст! «Так вот где таилась погибель моя». Время кругом через левое плечо не повернешь.

Первой вестницей моего крушения была Клава Бесфамильная. Она дежурила на коммутаторе и слышала телефонный разговор Геймана с управлением Темлага. Речь шла обо мне.

— Ай, Моська! — сказал я пока еще весело. — Собачка лаяла на дядю фрайера. Комгорт меня в бедность не сдаст, близок локоть, да не укусишь.

— Но Гейман всю дорогу вякал, что тебе уже восемнадцать...

Так! Топором по черепу. Как же я мог забыть собственный день рождения, дату совершеннолетия! Прошел уже месяц с лишним, кончается февраль високосного года, на воле об этом напомнила бы милиция: пора получать паспорт.

— Дусе я еще не сказала... Может, все-таки Комгорт что-нибудь придумает.

Клавусенька, вся надежда лишь на него! Ведь это он сочинил для меня должность завклуба, ее вообще не существует, числюсь-то я учеником токаря. На Центральных мастерских штатные места для взрослых строго определены и каждое давно занято...

Я вбежал к Валерию, когда он гремел по телефону: «Вы сами хвалили нашу агитбригаду!.. — И мне — яростной отмашкой руки: выйди!! — За этого мальчика я кладу голову и партийный билет!..»

Он что-то еще кричал. Звук был слышен, слова неразборчивы. А потом раздался выстрел.

Я рванул дверь. Комгорт стоял посреди комнаты и палил из пистолета в потолок. Телефонная трубка висела на положенном ей рычажке и тихонько вздрагивала.

На крылечке вахты, кощевой избушки, стоял вертухай с трехлинейкой, ждал. Дуся рыдала, как новобрачная на проводах рекрута. С Комгортом и агитбригадой я простился еще вчера, мы уговорились, что массовки у лагерных врат — повода Гейману для очередного доноса — не будет.

— На какой лагпункт едем? — спросил я уже в теплушке, когда станция Молочница осталась позади. Навсегда.

— Вопросы задаю только я! — огрызнулся конвойный, будто он следователь, а не отбывший срок бытовила. — Куда ехать, окромя лесу.

Да... «Об этом знает только темный лес, сколько там творилось чудес!» Ну что ж, я ведь срок начинал на обычном лагпункте, успел хлебнуть лесоповала, пугали бабу... Тяжко, но терпимо, если ты ладно одет, сытно кормят и в бараке тепло. Двуручная пила — тебе, mine, хозяину, — я к ней, хотя до лагеря в руках не держал, быстро приноровился. Дело нехитрое: от себя не толкай, силы не применяй, рука сама нажмет, когда надо. Напарник мне достался — лучшего не найти: зека по второму сроку, архиерей Виноградов. Зимой пила идет легко, смола не тормозит, комары не мучают. Рабочий день короток: никакой подсветки кроме одного костра на бригаду, а темноты конвой не любит...

— Идиллия! — возмутится читатель, знающий хотя бы «Один день Ивана Денисовича» («Платона Каратаева» — поправляя, вежливо улыбаясь, Юра Домбровский). Погодите, будет вам и свисток. А пока что я еду в теплушке маршрутом в неизвестность, утихомириваю в себе тревогу... Впрочем, покуда длится дорога, поговорим и «насчет картошки, дров поджарить».

Апрель начался оттепелью. Стали промокать валенки, переданные мамой еще в Бутырке. Потом полгчала большая горбушка — за неделю с кило сто до семисот граммов. Первый котел со щей и каши потоптал до балады и жгуче-соленой тюльки. Работа, наоборот, потяжелела: как мы с архиереем ни старались, до нормы не дотягивали. Пайка уменьшалась чуть ли не ежедневно.

Наступила обычная в лагере весенняя голодуха, еще не сам голод. А меня уже одолела одной лишь думы власть: где бы добыть жратвы?

Я сменял полушубок на бушлат, потому что бригадир дал в придачу буханку хлеба и брусок сала. Кто-то донес пахану, старосте барака, давно щерившему зубы на мою московскую меховушку. Паньки передрались, а я загремел в кандей — он же, на языке Овидия и Горация, карцер.

Меня пихнули в одиночку. Верхнюю одежду содрали, окошко без стекол, только сверкающая инеем решетка. Сперва я нормально дрожал, потом руки стало сводить судорогой...

А в коридоре топилась печка. Докрасна — я на пути засек — раскаленная «буржуйка». Никаких у меня не осталось желаний, кроме одного: хоть на минутку оказаться близ этой печки. Там кто-то выкликивал фамилии, наверное, убывающих на этап.

— Александров! — крикнули в коридоре. Именно так, с ударением на последнем слог. И еще раз: — Александров!

Никто не откликнулся. Кандей ждал, кого вызовут следующим.
— Александров!

Тут я не выдержал. Мысленно разбиваясь в лепешку, решил:
— Здесь!

В коридоре стоял сам начальник лагпункта Уманский в окружении вертухаев и выкликнутых штрафников. Я пробился сквозь них, как таран, одним рывком достиг печки, простер над ней руки, обмер от наслаждения.

Уманский схватил меня за плечо, развернул к себе лицом:

— Ты Александров?!

Переменив руку, он вцепился мне в самый ворот рубахи, у кадыка. И, хрипло крикнув, стал хлестать по щекам наотмашь, у меня только голова откидывалась: вправо, влево, вправо, влево... Вся российская матерщина воспаленной мокротой подступила к горлу, — я выхаркнул стукот мата прямо в чекистскую ряху начальника.

Выстрел оглушил меня, будто пуля пробила барабанные перепонки. Уманский стрелял в упор, и я до сих пор не знаю, почему промахнулся. Думаю, в последнюю долю секунды опомнился, толкнуло под руку. Тогда в лагерях самовольно еще не расстреливали.

Постепенно я стал слышать тишину. Рискнул пошевелиться — вроде живой и нигде не больно, открыл глаза. Все пялились на меня, как на ожившего Лазаря. Уманского не было.

Просунулись в дверь санитары с носилками.

— Кто тут раненый?

Я шагнул им навстречу — и вдруг отказали ноги. Носилки пригодились, даже одеться мне было затруднительно. А вечером, прямо из санчасти, меня выкликнули на этап в Центральные мастерские...

Вертухай толчком локтя оборвал воспоминания:

— Кончай, артист, кемарить!

Заскрежетали тормоза; паровоз, гриппозно дыша, остановился. На вагончике, утопленном днищем в снег, керосиновый фонарь высвечивал название станции: «Умар».

Поодаль стояли сани-розвальни, было слышно, как возчик шлепает рукавицами о бушлат, согревается.

— Откуда? — спросил я, когда мы с конвойным уселись.

— Где подох Иуда, — в рифму ответил возчик. — С Двадцатки.

Жить стало лучше, мать вашу в гроб, жить стало веселее! Умар в Темлаге был, как для страны Колыма, — дальше некуда, люди говорили про эти места угрюмо. А 20-м лагпунктом грозили, пугая ослушников: попадешь — пропадешь, специальный, двойного назначения: штрафной и для венериков.

Если отбросы общества не поддаются перековке, их уничтожают.

Был бы у меня дар провидца, я бы угадал в Двадцатке грядущее — то, что предстоит народу ГУЛАГа в скором времени и на долгие годы.

20-й лагпункт — проба пера, черновая репетиция. Бьют еще от случая к случаю, но каждый, кому не лень, толкает — кулаком, ногой, тычком приклада: сплошная пихня. Еще бредут наголо только лобки, когда за пределами лагеря задерживают личность, не внушающую до-

верия, первый приказ: расстегни штаны! В бараке на полтора года персон нон грата — одна хлипкая печурка: звонят подъем, а не отдерешь голову от нар, волосы примерзли. Нары — помост из горбыля, матрацы только у старосты и двух-трех его корешей. Вошь грызет поедом; не солдатская, которая сперва шлет разведку, а лагерная, атакующая всем фронтом сразу. Норма в лесу — 14 кубиков на пилу: выполнить ее невозможно; стало быть, пайка граммов в триста — пятьсот и миска магары или сечки...

Можно без конца длить монолог о том, как людей делают не-людью. Доходягами. Как на брошенный из кухни рыбий скелет воющей толпой бесноватых кидаются бывшие профессора и ударники-гегемоны, взломщики сейфов и трамвайные щипачи, кулаки и комбедовцы... Но об этом уже поведали те, чья лагерная доля была куда тяжелее и длительнее моей, кому талант определил пахать глубже и видеть шире. Меня когда-то одарил дружбой Варлам Шаламов, человек с дергающимися, как в пляске святого Витта, руками, с жестоким сердцем пацана и дервиша и непроницаемыми глазами гения, познавшего ад.

Я до сих пор втайне горжусь, что ни разу не бросился, расталкивая подобных мне питекантропов, на рыбы вываренные кости или капустную падаль. И помню, какой муки мне это стоило...

...У костра лежал покойник. Полчаса назад его достал кулаком рядчик, удар пришелся по виску. Никто не ждал, что доходяга тут же откинёт копыта. Конвой дал команду кончать работу, хотя солнце, сползающее за горизонт, еще подсвечивало делянку.

Я отошел в сторонку, мозги заливало пльвуном. Белое безмолвие (собаками обзаведутся позже), в пустом пространстве на фоне снега резкие силуэты голых деревьев, зримая мольба веток, воздетых всеми изломами к небу. Движущиеся фигурки людей, по краям оловянные солдатики. Да, да, что-то похожее было в детстве, только где я мог видеть это?

Театр теней!

Спадающая к трем вокзалам кривая Домниковка, подвал китайской прачечной — и на полотне черно-белая беззвучная жизнь. Ее показывали уличным огольцам вежливые узкоглазые дяди. Куда они потом исчезли?..

У вахты нас пересчитали, дежурный выкрикнул: тридцать девять и один в снях! До барака положено идти строем по два, но сегодня почему-то команды не было. Я, ориентируясь в сумерках по светлякам самокруток, подошел к небольшой группке: если совместно курят, значит венериков там нет, можно без опаски дотянуть чей-нибудь чинарик.

Мне показалось, что один из курящих — Земский. Именно этот меня и спросил:

— Никак у нас нынче жмурик? — И, осветив мое лицо фонариком самокрутки: — С нами крестная сила! Почему вы здесь?

— А вы... каким образом?

— Естественным, — усмехнулся Земский. — Где Максимов, там и я. Куда конь с копытами, там дурак с клешней.

Ни черта я не понял: как оказался на Двадцатке Максимов, для чего ему нужен Земский...

— Дитя мое, — сказал старый актер, усадив меня на пенек под козырьком крытого склада. — Первый закон лагеря: ничему не удивляться. Максимова перевели сюда начальником, а он без «Слепых», как мы с вами без курева. Он гроб поваленный, в коем заколочен эмбрион артиста. Кто ему поставит спектакль, если не я?

— А как же «Гамлет»?

Земский захохотал — вернее, закудахтал, как молодая курица, снесшая первое яйцо.

— Юноша, вы прелесть! Неужели вы думаете, что Максимов способен сыграть Шекспира? Этот принц датский очутился здесь потому, что огоршил высшее начальство идеей — кстати, вполне современной,— состряпать дело, вроде Промпартии, на сотни две актеров и режиссеров. Каждому лагерю — свой театр!

— Он сумасшедший и сволочь!

— Второй закон! — торжественно продолжал Земский.— Для НКВД невозможного не существует! Вы, к примеру, знаете, что я педераст? А я не знал, улики не имелось, но поскольку был донос и меня уже взяли... Перед вами гибрид, какой не снился ни Уэллсу, ни Мичурину: контрреволюционер-гомосексуалист.

На вахте трижды ударили в релс: время ужинать.

— Плюньте! — сказал Земский.— Пойдемте ко мне, имеется чай и ошметки передачи. Завтра я доложу начальнику, что вы тут. Мы репетируем все тех же «Слепых».

— С кем? На лапункте голод.

— Наши творческие кадры — славная ВОХРа! Максимов в отчаянии — на сотню мордovorотов ни грамма актерских данных. Потому вы и нужны, пока не дошли. Во-первых, вас там подкормят, а во-вторых...— Земский оглядел мои, чудом уцелевшие, но уже ветхие валенки.— Во-вторых, лед тронулся, на подходе весна, и я вам сплету непромокаемые лапти по-мордовски...

Меня отставили от развода, велели обожждать на вахте.

Дежурный дал стакан чая — крепкого и потрясающе сладкого. Жизнь каждой зоны управляла тройка: староста лапункта и два сменных дежурных. Их подбирали из Иванов-каторжных, уголовников с долгим и не первым сроком. Лагерная селекция вывела особый сорт людей — пожилых, рослых, спокойных: убьют — не сморгнут, надо кого-нибудь изувечить — сделают это расчетливо, чтоб видимых следов не оставить. Казалось, их создал по своему подобию механический пресс. Ничто человеческое было им неведомо.

— Ты, говорят, за девку сюда попал,— сказал дежурный,— за проститутку.

— Какая она проститутка...— отмахнулся я.— Работала продавщицей, нашли недостачу. Малолетка, судить не стали. А потом не да-ла завмагу — вспомнили, расплатилась тремя годами.

— Нормально. Завмаг, небось, еврей?

Чудной вопрос. Для зека было все равно, турок ты или эскимос, разве кого незнакомого, но явно не русского, окликнут: «Ибрагим», «Абрам», «Мора»... *

За мной пришел боец-охранник.

Ах, как роскошно жила ВОХРа: кровати, шторы на окнах, тумбочки! Тепло, как в Сочи. Каждый второй — помесь крокодила с носорогом. Я осторожно сел на краешек табурета — как бы им тут вшей не напустить.

Командир кликнул бойцов в красный уголок. Чуть позже ввели и меня.

Стол, застеленный кумачом, по стенам Политбюро плечом к плечу, в едином ракурсе и в одинаковых рамках. Отдельно и куда крупнее — Сталин. В углу, где у верующих икона, отец родной — Генрих Григорьевич Ягода.

* М о р а — цыган.

За столом держал речь Максимов. Темпераментно, с хорошей артикуляцией.

— Я над вами не властен! — вохровцы изобразили на лицах «ну что вы!».— Я не могу приказать вам включиться в творческий процесс, отдать ему все душевные силы. Но вы должны это сделать, иначе...— и вдруг со злобой указал на меня.— Иначе придется обниматься на сцене вот с ним!

Перст начальника был острым, как гвоздь Голгофы. Кто-то робко попробовал оправдаться: мол, заключенный Земский сказал...

— Если для гражданина Земского сделано исключение, это не значит, что можно звать всякого...— Максимов передергом плеч выразил омерзение.— Покормите его — и чтоб завтра был на разводе!

Единственное слово способно выразить сумятицу моих мыслей и чувств: абракадабра. Неужто этот моржовый сидел со мной за самоваром, трогательно играл в «Слепых», спрашивал о Станиславском! Не может быть! И что вообще происходит?!

Меня и вправду накормили — почти как в «Астории». Я умял все до крошки, но еда оказалась лишенной вкуса.

А потом ко мне в барак явился с повинной Земский: он, видите ли, хотел преподнести Максиму сюрприз...

На утреннем разводе я впервые не ощутил ни озлобления, ни приступа тоски. Все опостытело. А дня через три понял: дохожу. Впадаю в деменцию — приобретенное слабоумие. Тупое равнодушие: голод вроде ноющего зуба, ночью притиснешься к соседу по нарам — не сказать чтоб тепло, но кое-как подремать можно. На работе пила то и дело застревает, будто плохо разведена...

Весна — пора всеобщего оживления: ручьи, почки на деревьях, пичуги... А люди, выдержавшие зиму, неожиданно стали поодиночке умирать: в санчасти, на лесоповале, ночью в бараке. Я еще мог допрашивать себя: как же ты смеешь, падла, безучастно смотреть на гибель товарищей? А что делать, когда иссякла энергия: нечем переживать, нечем жить...

В субботний вечер меня вызвали на вахту.

— Аллур три креста! — скомандовал посыльный.— Там к тебе сеструха приехала.

— Не бери на понт. Сестре одиннадцать лет.

Шутник, думал я, плетясь к вахте. Все сытые шестерки любители пошутить. За окошком из мутного стекла курил папиросу дежурный — тот самый, что угощал меня сладким чаем. Кто-то сидел в углу, но трудно разглядеть...

Дуся не кинулась ко мне — она на меня обрушилась. Прильнула мокрой щекой, ладони ее упали на мои плечи, как тяжелые вздрагивающие птицы.

— Что будем делать? — спросил дежурный.

Пока Дуся и я сами себя приводили в сознание, он медленно расхаживал по вахте и не говорил, а гудел:

— Хитрован у вас в Мастерской лекпом *, все рассчитал. Смастырил девке подозрение на триппер. Диспансер уже закрыт, завтра воскресенье, у них выходной, в понедельник медицина не подтвердит, с вечерним этапом отправят обратно. Две темных ноченьки ваши. Только вот куда я вас дену?

— Спасибо! — сказал я.— Великое спасибо. Но как вы узнали?

— Она спросила: здесь такой-то? Я сразу: вы какой нации? Татарка. А я, парень, когда с кем побеседую, потом каждое слово помню, вот и сделал вывод. Ну, дальше, слово за слово, хреном по столу... Ловкач у вас лекпом, Эмиль Кио!

* Лекпом (лекарский помощник) — начальник санчасти лагпункта.

Лекпомом Центральных мастерских был профессор Ганнушкин.

Дежурный, посоображав, дал нам ключи от кладовки в прачечной, но предупредил, чтобы на развод выходить и, ежели кто чего пронюхает, пенять на себя.

А я ничего не мог. Ничегошеньки. Дуся жалела меня и, конечно, себя. И плакала.

Агибригада скончалась от малокровия. Нюра Пантелеева, моя инжению-кокет и подружка Дуся, сама вызвалась, чтоб Гейман утих, прибраться в его квартире. Абрама Штуца увезли в тюрьму на Явас, кто-то стукнул, что в натуре он Семен Королев...

Прошло полвека и еще сколько-то; забыл, как выглядит Дуся, а нервное тепло ее рук почему-то памятно... Нам даже попрощаться не удалось, я мантулил в лесу, когда ушел этап. И на этом все, занавес.

Свою судьбу я понимал: зимой, пожалуй, перекантуюсь, а к весне капец. Лагерное кладбище, на кольшке бирка с фамилией — каторжные номера были еще непредставимы, — годы рождения и смерти через дефис... Впрочем, я видел бирки, где ни дат, ни фамилий, всего одно — крупными буквами — слово: БЕГЛЕЦ.

И никто не узнает, где могила моя...

Чуток надежды придало мне великое — судя по наглядной и прочей агитации — научно-техническое изобретение: лучковая пила! Ее внедряли победоносно и напористо, ею снабдили сразу пять бригад, которым тут же снизили нормы. Меня, как я ни протыривался в энтузиасты и новаторы, до «лучка» не допустили.

Как-то ночью я вышел, прошу прощения, отлить. На площадке перед бараками, под светом ущербной луны, стоял высокий широкоплечий человек в длинной шинели и буденовке. Одинокий, как памятник герою гражданской войны.

Он окликнул меня по имени. Я вздрогнул — кто он, откуда меня знает?

— Почему такой вид?

Спросил бы чего-нибудь полегче... Он сунул два пальца в рот, коротко по-командирски свистнул. Примчался дежурный воспитатель. Человек в буденовке приказал:

— Баню! Отмыть и выжарить. Доставить ко мне в кабинет.

Недавно я видел во сне исполинские часы — с изнанки, где со скрежетом проворачивались шестерни, гулко падали молоты, натужно скрипели пружины. Какая-то сила затягивала меня внутрь, но я, упираясь, кричал, что уже четвертован и колесован этим ненасытным нутром, что железные зубья шестерен меня там перемололи, сжевали — и выбросили...

— Ты стал стар,— сказал я себе наутро.— Ты видел само время.

Как мы в нем уцелели? Да просто потому, что каждого кто-то когда-то спас. Выручил, защитил, помог, вовремя произнес какое-то слово — много ли нам порой нужно? Небесная, так сказать, канцелярия, ведущая учет человеческих мыслей и поступков, знает: в России, стране сейсмических жизнепотрясений, кровью умытой, палачей все-таки меньше, чем спасителей.

...Оказаться одному в бане, а еще специально для тебя жарко на-топленной,— высокое наслаждение! Почти что воля. Кем бы ни был дядька в буденовке, он Deus ex machina, явившийся из античных времен «бог из машины», предвестник финала драмы.

В кабинете я разглядел, что у него темные усы и шевелюра, как бы посыпанные солью крупного помола.

— Вы приезжали в управление с агитбригадой, у нас шло какое-то совещание,— сказал он.— Я тут полистал ваше досье: роман

«Пещера Лихтвейса!» Что вы смотрите на меня как баран... хотя ворота и вправду новые. Я начальник 20-го — Докторович.

Самое громкое имя в Темлаге! Зека по «седьмому-восьмому», бывший директор крупного треста в Минске. Шла молва, будто у него в лагпункте, позабыл номер, люди живут — не тужат: **хлеб в тумбочках плесневеет!** Понятно, что вранье, но — захватывающее.

Думаю, он был просто настоящим хозяином, потому и берег своих работников. С доходагами и «шакалами» не отрапортуешь: план перевыполнен, побегов нет...

— Третий отдел длиннорукий и злопамятный, — продолжал Докторович. — Вас надо упрятать подальше и поглуше. Неподалеку наша 9-я подкомандировка, лесоповал там закончили, но вывозки на годок хватит, эта работа полегче. Блатной должности дать не могу, все они для политиков стали запретными. Вопросы есть?

— Один. Куда делся Максимов?

— Убыл в распоряжение ГУШОССДОРа. Юное детище ГУЛАГа, Управление шоссейных дорог. Кстати, о дороге: нате-ка посошок.

Докторович протянул флягу с крышкой-стаканчиком. Впервые в жизни я глотнул чистый спирт: как будто тебя повесили, но в последний момент оборвалась веревка...

...Я проработал тачечником на вывозке дров до дня освобождения. Об этом кусочке времени — особая повесть, здесь же расскажу коротко. Бригада наша, у всех 58-я статья и весь набор пунктов, была стахановской — не без помощи учетчиков, им тоже нужна большая горбушка и первый котел довольствия. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. Стахановское движение взросло как раз в ту пору, стало делом доблести и геройства и родило невиданного размаха туфту (сегодня сказали бы: показуху и приписки). На работе больше всего устают ноги, за световой день пробегаешь километров тридцать по неструганым, рвущим обувку доскам. Если б не лапти — избречение гения! — если бы Земский, тоже попавший на Девятку, не плел их для меня столь артистически — пары хватало на неделю, — пропали б мои ходули, до вас не дотопал бы. В «че-те-зе» армейского или лагерного образца ноги опухают и гниют, люди постарше быстро переходили в инвалидную команду. А сама тачка с дровами не так уж тяжела, главное — приловчиться удерживать ее в равновесии.

И был вечер. Кажется, в конце августа.

Мы строим по двое шли от вахты к барaku. Обочь дорожки торчал какой-то военный, шмонал нас глазами.

— Этого я тебе никогда не прощу! — прошипел он, и я узнал Комгорта. — Опустился, понимаешь, до лаптей!

— Сам дурак! — бросил я как бы в затылок идущего впереди.

— Возьмешь в санчасти освобождение...

Никто не должен был знать, что мы с Валерием знакомы. Но лекпом дал мне заранее изготовленную справку и молча сунул четыре флакона валерьянки для застолья. Всю ночь у меня под ребрами гремела барабанная дробь, мешала заснуть.

Нам удалось встретиться на короткие полчаса, когда все из КВЧ ушли обедать. Валерьянкой — она хорошо сочеталась с именем Валерий — мы наскоро заправились в сортире, чтоб никто не учуял запаха.

— Меня вызывает Москва, — сказал Комгорт. — Куда назначат, пока не знаю. Освободишься — литер бери прямо ко мне, где б я ни оказался. Буду ждать, понимаешь, как та Пенелопа. В Москве навещу твоих, давай адрес и телефон.

— Каким чудом ты здесь?

— Напросился в ревизоры. Из-за тебя, понимаешь, три лагпункта ревизирую — для понта, как Хлестаков. Держись, очень прошу! Я тебе у нас на Центральных зачеты подкинул, остается немного...

Зачеты — это когда за день лагерной жизни начисляют полтора, а то и два дня срока. От Комгорта пахло кожей — сапоги, ремень, портупей,— кожей, тинктурой валериана и свободой.

А мне как-то слабо верилось, что свобода близка и вообще для меня возможна. Уже кое-кого перед освобождением вызвали на Явас в управление, и люди оттуда возвратились «с довеском» в три, пять, восемь лет.

Двери открыли: милости просим,
всем предъявили «пятьдесят восемь»:
вот и засели — где до свободы! —
дни и недели, месяцы, годы...

Произошло два события. Первое мы сочли серьезным и многозначимым. Второе особого впечатления не произвело.

Первое. По приказу наркома — номер двести с чем-то — лагерь перевели на хозрасчет. Мы стали получать **наличные** копейки, открылся ларек со съестным и галантереей. Любой начальник обязан обращаться к рядовому зека на «вы» (смеху было!). Каждому заключенному — личная тумбочка: шик-блеск, да только некуда ставить — нары помостом.

Второе. На стенде возле КВЧ вывесили страницу газеты «Правда». Два портрета, одинаковые по размеру, вплотную друг к другу. Наш Ягода и симпатичный молодежавый штатский — Ежов Николай Иванович. Об этом Ежове знали мало: какой-то высокий партийный деятель. Ягода нас покидал, уходил наркомом связи — наверное, чтоб подтянуть дисциплинку. А Ежов пришел не из аппарата НКВД, он выдвиженец партии: авось, укротит самодурство органов; не зря Ягода подстелил дорожку из лагерных льгот под ноги новому хозяину. Теперь у нас два главных комиссара госбезопасности: один действующий, второй «в запасе» — на всякий, значит, пожарный случай.

Но коли откровенно, как лагерник с лагерником, то нам, граждане начальнички, до фени, как вы там на первый-второй рассчитываетесь. Ваши дела небесные, журавлиные, а нам бы, грешным, синицу в ладони. Нам чтобы поскорее листочки с календаря осыпались: год 1937-й, двадцатилетие Великого Октября! Светится негасимое окно в Кремле, товарищ Сталин обдумывает проект амнистии...

Дни за днями катятся, и колесо тачки с ними... Первый закон лагеря — ничему не удивляться: я и не удивился, когда нарядчик среди дня велел мне идти с ним в зону.

— Вам телефонограмма, — сказали в конторе. — Распишитесь.

Здоровенная амбарная книга лежала раскрытой, нужная запись отмечена галочкой, можно прочесть через барьер...

Я очнулся на полу, вокруг меня суетились, прыскали водой в лицо. И теперь уже заботливо, под локоток подвели к столу с книгой телефонограмм. И я расписался где положено.

«Заключенному такому-то немедленно прибыть в управление Темлага на предмет освобождения».

От Москвы на запад и чуть на юг устремлено Минское шоссе, магистраль Москва — Минск. Мчатся с ветерком «тойоты» и «мерседесы», в них тепло, мягко, уютно...

«...Кто строил эту дорогу? — ...Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!»

Магистраль Москва — Минск строил Вяземлаг НКВД.

Как строил — об этом у Некрасова дальше: жили в землянках — поправка: в бараках, боролись с голодом, мерзли и мокли... И человечьих косточек по бокам шоссе...

— Поедем по Минке? — спросил на днях таксист.— Да, да, голубчик, по Минке. Поминки.

Управление лагеря находилось в Вязьме, там же Центральный лагпункт, где начальником КВЧ был Валерий Комгорт. Я освободился «с минусом» — без права жительства в Москве, Ленинграде, республиканских и областных центрах — «режимных» городах. И поехал к Валерию в Вязьму — он сам на этом настоял, да и Москва под боком, я даже рискнул почти сутки пробыть дома.

Теперь могу признаться: в первые минуты свободы, едва за спиной лязгнули ворота, я растерялся. Пустынно, тихо, рельсы посверкивают, чья-то коза щиплет пробившуюся травку... Домой нельзя, к Валерию — снова лагерь, хоть я теперь по другую сторону зоны. Я ощутил себя маленьким в чужом и огромном мире, одиноким, ненужным... Не повернуть ли обратно, попросить работу по вольному найму?

И вдруг я вспомнил рассказ Леонида Андреева, слова человека, только что вышедшего на волю: «На закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна». Я сплюнул, озлившись,— и зашагал в райцентр, Zubову Поляну, получать паспорт. Первый в жизни, действительный на три месяца.

Вязьма той поры — милый городок провинциальный: особнячки позднего купеческого модерна и домишки с узорчатыми оконцами. Двухэтажное с верхотурой здание театра — увы, мне там дали от ворот поворот, зато местная газета напечатала мои рецензии на три спектакля подряд. В нашей с Валерием комнате, где от хозяев нас отделяла не дверь, а занавеска из цветной рогожки, чирикал и прыгал по клетке ухарь щегол. Правда, недолго — он подох от проникающего во все щели, пронзающего метастазами всю здешнюю жизнь духа лагера.

Валерий приходил домой странно потемневший, неразговорчивый. О своей поэме он почему-то ни разу не вспомнил, от вопросов отмахивался. Он становился похожим на себя прежнего только в наших с ним ресторанных посиделках, где, приказав официанту никого не подсаживать, просил почитать ему что-нибудь из Есенина или Блока.

Неподалеку от управления Вяземлага был книжный ларечкишко, развал — десятки таких в мое доарестное время торговали у Китайгородской стены от Никольской до Ильинки,— бери и листай, пробуя на вкус, потрепанные томики: Плутарх, Пинкертон, Гладков... А здесь я однажды наткнулся на книгу поэта, чье имя слышал от Комгорта (а тот — от Авербаха) — Мандельштам. Тоненькая книжечка, на светлой обложке хмурое слово «Камень». Старый усталый лев из последних сил тащил на загорбке мальчонку с кувшином. Я понял, что эти стихи надо читать медленно.

Дома я уютно устроился на топчане, закурил беломорину,— но из-за рогожки кто-то требовательно гаркнул:

— Эй, хозяин!

Гостя я узнал сразу. Он еще откидывал занавеску, а у меня в мозгу вспыхнуло и просвистело: «ГУШОССДОР»! Москва — Минск — шоссейная дорога! Чтоб выстроить цепочку — Темники — ГУШОССДОР — Вяземлаг — хватило секунды, и я сумел не удивиться появлению Максимова.

— Здорово, товарищ! — весело сказал Максимов. Будто мы дружески расстались день-два назад.— Рад видеть уже не «гражданина», а — «товарища». Валерка отсутствует? Ни хрена, без него обмоем.

Достал из чемоданчика поллитровку, походную закуску в накрахмаленной салфетке, добыл из нашего шкафчика стаканы и тарелки.

— За твое счастье, товарищ!— Максимов вкусно произносил ши-

пящие, словно щелкал орехи.—Кем тебя Комгорт сосватал в управление?

До сих пор я молчал, но тут пришлось ответить:

— Клял я на ваше управление. Сотрудничаю в газете.

Не знаю, после какого по счету стакана Максимова осенила идея. Может, была припасена заранее, прорвалась в нужную минуту. Он хлопнул меня по коленке, захохотал от удовольствия и торжественно выложил козырного туза.

— К японской матери твою газету! Сколько тебе там платят — гулькин? Ты режиссер, артист, а у меня в Ярцеве контингент — три тыщи интеллигенции. Надо — позычим у соседей. Мы с тобой такой театр оторвем — ваш затруханый Мейерхольд сдохнет от зависти! Московско-Минский театр имени Сталина, ты — худрук! Снятие судимости гарантирую — собирайся, едем в Ярцево!

Глаза Максимова... даже не подберу, как лучше сказать: сияли, сверкали? В его ушах уже гремела овация, супруга начальника Вяземлага мадам Петрович подносила ему букет бурбонских роз, из царской ложи посылал воздушные поцелуи нарком Ежов...

— «Слепых» будем ставить? — спросил я, сияясь насмешкой унять ненависть.— Или сразу «Гамлета»?

Я рванул водку прямо из горла, чтобы приглушить взрыв, но запал уже сработал:

— За что, сука, ты меня убивал на Двадцатке!? Мокрушник с Лубянки! Если б тебя не сменили, лежать мне б теперь под биркой!

Я задыхался, удерживая в гортани клокочущий лагерный мат. А Максимов мгновенно перевоплотился из роли в роль: вместо восторженного театрала передо мной сидел чекист, гражданин начальник.

— С тобой пришла сопроводилочка,— спокойно сказал Максимов.— Если б я не корешил с моим уполномоченным — ксива-то была от Геймана! — мы б тут с тобой водку не хлестали. Так что примем, товарищ, на посошок и давай разойдемся по-хорошему.

Вечером я все рассказал Комгорту. Валерий крепко помрачнел: не надо было, понимаешь, без меня застолье устраивать...

В третий и последний раз о возрасте: мне тогда и двадцати не исполнилось. Меня еще не успели забыть некоторые московские девочки — виноват, уже девушки, молодые женщины. И конечно же я насыпал их письмами в стихах и прозе — не то чтоб уж напрямую объясняясь в любви, но выражая надежду... И наконец одна из них, Зоя, откликнулась телеграммой: утром встречай на вокзале, вечерним поездом уеду обратно в Москву.

За час до срока я уже приплясывал на перроне. Дальнейшее читатель, коли захочет, сам вообразит... или перечтет «Женитьбу Фигаро». Только у моего «безумного дня» финал оказался невеселым.

Я не успел сказать, что в деревянном одноэтажном домишке наша комната была окном во двор. На этот раз Максимов зашел с тыла, наверхняка помедлил, увидев целующуюся пару, а потом властно постучал кулаком в раму: побаловались — и хватит!

Как бы я ни был обозлен, должен признаться, что он талантливо играл душку-военного. Максимов ловко и нагло фаловал, теперь бы сказали: кадрил мою Зою. Он был в ударе, жонглировал вперемежку армейскими комплиментами и забавными случаями из личной жизни. Послал хозяйку за шампанским и тортом, танцевал с Зоей под аккомпанемент им же исполняемых песенок, модных в ту пору фокстротов и румбы...

В этом спектакле я довольно скоро стал второстепенным персонажем. Максимов уверенно вошел в роль героя-любownika.

Я бы выгнал его, но он пришел не ко мне, а к Валерию. Тот все чаще задерживался на работе, у них происходило что-то неладное, не-

которые начальники вдруг исчезли. Я знал, что не имею права сорваться, а уж тем более при Зое, мне оставалось только покрепче стискивать зубы.

И настал вечер. И надо было проводить Зою на поезд.

Прощальный бокал мы распили на вокзале. Максимов галантно пригласил мою гостью посетить Ярцево, наобещав множество приключений на фоне провинциальной экзотики.

— Не поедет она к тебе! — заявил я за минуту до отхода поезда.

— Ты не можешь ей запретить, — усмехнулся Максимов. — Нет у тебя такой возможности.

— Я ей просто расскажу, как жил у тебя на 20-м лагпункте.

Проводница захлопнула дверь. Поезд ушел.

— Значит, разгласишь? — тихо спросил Максимов. — А тебе известно, что полагается за разглашение? Ну ладно, прощай пока...

Когда я пришел домой, Комгорта еще не было. Он поднял меня среди ночи.

— Беги! Сейчас же беги — куда хочешь, хоть на край света. Возьми деньги. Чтоб к утру тебя в Вязьме не было, потом дашь телеграмму до востребования.

Он торопливо обнял меня и не крикнул, а взвизгнул:

— Беги!

Через две недели в Молодежном театре города Мариуполя я уже репетировал первую свою роль — Павку Корчагина.

Март 1991 г.

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»

Поэт и прозаик Игорь Губерман вряд ли нуждается в специальном представлении. За последние годы на Западе вышло не менее десяти книг его стихов и прозы. У нас же имя его гораздо менее известно, чем созданные им в самые черные годы «застоя» знаменитые «дацзыбао», острые и афористичные четверостишия, ставшие своего рода формой устного Самиздата. Их легкость, поэтическая точность, разящая сатира и моментальная запоминаемость роднили их с озорными сельскими частушками и политическими анекдотами, за которые еще совсем недавно «давали срок».

Такой срок получил и Игорь Губерман. Вот что он пишет о себе в послесловии к одной из своих политических книг:

«Родился в 1936 году в Москве. Хорошо учился, старательно работал, много писал. После пяти лет исправительно-трудовой колонии и ссылки переехал жить в Израиль».

Стихи Игоря Губермана, несмотря на это, остаются прежде всего явлением российской поэзии и невеселой нашей жизни.

А. Городницкий

Игорь ГУБЕРМАН

* * *

Не будет никогда покрыто пылью
высоких наших жизней попечение:
мы родились, чтоб Кафку сделать былью,
и выполним свое предназначение.

* * *

Весело и отважно
за сокрушая рать,
Рыцарю очень важно
шпоры не обосрать.

* * *

Понять без главного нельзя
твоей сплоченности, Россия:
своя у каждого стезя,
одна у всех анестезия.

* * *

Как просто отнять у народа свободу:
ее надо просто доверить народу.

* * *

И мерзко, и гнусно, и подло,
и страх, что заразишься свинством,
а быдло сбивается в кодро
и счастливо скотским единством.

* * *

Сейчас не спи, укрывшись пледом,
сейчас эпоха песен просит,
за нами слава ходит следом
и дело следственное носит.

* * *

Не разогнуть рабам колен,
покуда плеть нужна холопу:
нам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу.

* * *

Владея чудным даром коллективным,
живет она, как Ева после рая,
на фиговом листке своем интимном
автографы знакомых собирая.

* * *

В российских спорах есть опасность
такой внезапной свальной драки,
что нам напрасно дарят гласность,
не строя новые бараки.

* * *

Беда, как тяжело гражданам
лепить свой бред и брех,
где все боятся каждого,
а он боится всех.

* * *

В лице начальства год от году
всему советскому народу
искусство так принадлежит,
что вечно с кем-нибудь лежит.

* * *

Люблю работников пера:
они большие мастера
и все, что сверху им суют,
со сладострастием жуют.

* * *

Изнасилована временем
и помята, как перина,
власть умеренно беременна
и по-прежнему невинна.

* * *

Когда дела на самотек
по всей Руси пойдут серьезно,
тогда пускаться наутек
уже евреям будет поздно.

* * *

Неясен курс морской ладьи,
где можно приказать
рабам на веслах стать людьми,
но весел не бросать.

* * *

Россия — странный садовод
и всю планету поражает,
верша свой цикл наоборот:
сперва растит, потом сажает.

* * *

В борьбе за народное дело
я был инородное тело.

* * *

Всегда во время передышки
нас обольщает сладкий бред,
что часовой уснул на вышке
и тока в проволоке нет.

* * *

Растет на чердаках и в погребах
российское духовное величие,
а выпусти — развесит на столбах
друг друга за малейшее различие.

* * *

Полны воинственных затей,
хотя еще не отвердели,
растут копыта из лаптей
российской почвенной идеи.

* * *

Увы, но с легкостью и сходу
мы за немедленную мзду
готовы скудную свободу
сменить на сытую узду.

* * *

Все стало смутно и неясно
в тумане близящихся дней;
когда в России безопасно,
мне страшно делается в ней.

* * *

Наш век созрел для катаклизма,
грядут другие времена,
и на обломках гуманизма
сотрутся наши имена.

* * *

Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, неясно,
что делать и кто виноват.

* * *

Живя в загадочной отчизне,
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.

* * *

На всем лежит еврейский глаз,
у всех еврейские ужимки,
и с неба сыпятся на нас
шестиконечные снежинки.

* * *

Всегда в нестройном русском хоре
бывал различен личный нрав,
и кто упрямо пел в миноре,
всегда оказывался прав.

* * *

Наступила в душе моей фаза
упрощения жизненной драмы:
я у дамы боюсь не отказа,
а боюсь я согласия дамы.

* * *

Смеяться право не грешно
Над тем, что вовсе не смешно.

* * *

Глупо жгли мы дух и тело
раньше времени дотла;
если б молодость умела,
то и старость бы могла.

* * *

Детьми к семье пригвождены,
мы бережем покой супруги;
ничто не стоит слез жены
кроме объятия подруги.

* * *

Летят года, остатки сладки,
и грех печалиться.
Как жизнь твоя? Она в порядке,
она кончается.

* * *

Еще Гераклит однажды
заметил давным-давно,
что глуп, кто вступает дважды
в одно и то же говно.

* * *

На нас нисходит с высоты
от вида птичьего полета
то счастье сбывшейся мечты,
то капля жидкого помета.

* * *

Зыбко, неприкаянно и тускло
чувствуют себя сегодня все;
дух без исторического чувства —
память о вчерашней колбасе.

* * *

Причудливее нет на свете повести,
чем повесть о причудах русской совести.

Время самых невкусных яблок

Глава 1

Из-за будки путевого обходчика вынырнули две собаки и затрусили вдоль железнодорожного полотна. В их беге, манере держать себя было что-то очень знакомое. Так, наверное, бегали в армии мы с Колькой Пинаевым: я — впереди, а следом — Колька, горячо дыша в мой бритый затылок. В принципе он бегал лучше меня и даже имел какой-то разряд, но ни разу за три года он даже не попытался выйти вперед.

Никогда я не задумывался об этом, а сейчас вспомнил и почему-то встревожился.

От станции по обеим сторонам дороги тянулись глухие заборы, защищая сады от блудливого ока нечастых прохожих. Кандално громыхали цепи, и то слева, то справа вспыхивал в щели бесноватый собачий глаз. Астматический дых псов оттеснял от тени садов к середине дороги, где ветер вывевал пыль, а солнце обожгло землю до бетонной прочности. В яблоневои холодке ссорились певчие птицы, путая лейтмотив, а их, хористов, словно бы балалаечным говорком перечирикивали воробыи.

Воздух замер, переживая последние часы дневного пекла, не двигался совсем. Навстречу никто не попадался, спросить было не у кого, а из Колькиного адреса я помнил лишь название станции — Камышево. Но я был почему-то уверен, что сразу узнаю дом Пинаева, и спокойно шел мимо примкнутых калиток, не сомневаясь, что ни за одной из них Колька жить не может.

— Ти-та-та-ти та-та-та-та... Ти-та-та-ти та-та-та-та,— протренькала из кустов какая-то пичуга.

Я засмеялся: птица пиликнула мой позывной.

— Дура! — просвистел я ей.

— Сам дурак,— ничуть не задумавшись, ответила птица.

Я замер. После армии мне часто слышалась морзянка: в капели, работе движка, в птичьей пересвисте; но всегда она была бессвязной, а тут фраза, да еще с лихим затяжным тире — в манере Пинаева.

— Черт-те что,— подумал я и пошел к кустам.— Черт-те что, недолго и чокнуться...

Я сделал всего лишь шагов пять, когда на меня что-то обрушилось, сбило с ног и крепко прижало к земле. Спружинившись, я кувыркнулся через голову, вскочил и увидел Кольку Пинаева, который хохотал, потирая ободранный локоть.

— Балда,— заорал он.— Чуть было не убил меня, балда!

— Сам балда,— сказал я.— Ты что ли свистел?

— А ты думал — птица, дундук?!

— Чокнешься с тобой, гад ползучий, иди сюда, еще раз двину...

Колька встал, и мы потерлись щека о щеку.

— Ну,— с вызовом спросил он.— Живешь?

— Живу... А ты?

— И я...

— Ишь ты... А где у вас тут чайхана?
— А тебе что?
— Будто не знаешь?
— Знаю...
— Так где?
— Все на столе, Юрка: и картошечка в дембельном мундире и керосин.
— Ты знал, что я приеду?
— Знал.
— Откуда?
— Так день-то какой, помнишь?
— Помню...
— Вот и ждал.
«Пять лет, подумал я. Пять лет назад случилось это, а он все еще не может забыть...»
— Пойдем же,— заторопил Колька.
— Подожди,— попросил я.— Давай все же зайдем в магазин, чтоб не бегать потом. Я хочу напиться.
— Напьемся,— сказал Колька.— Там за все три года, которые ты не приезжал.

Глава 2

В полночь нас подняли по тревоге. Казарма одевалась нехотя, поспывая в сто глоток и глухо матерясь,— это была третья на неделе тревога, третий ломоть ночи, отрезанный от законного каравая солдатского сна. Положено было возвращать эти часы, и их возвращали. Но если брали ломтями, то отдавали крошками: разрешали поспать минут сорок до обеда и после. Сон днем, как солнечный удар — болезнен и короток, и никак он не равен привычному ночному сну.

Нам с Пинаем было еще обидней, чем всем. Мы легли час назад: драили коридор, отрабатывали свои наряды вне очереди.

Свет погас сразу же, а фонари аварийные (как ни канючил старшина, чтоб наладили) светили не ярче гнилушек. Только от луны и был прок — блестела в окно, как мундирная пуговица.

В оружейную комнату мы с Колькой ввалились первыми. Не потому, что отличиться хотелось, а потому, что через минуту в нее, как в газовую камеру пришлось бы входить. Считалось, что виноваты во всем «салаги». Я этому никогда не верил, и Пинаев не верил. Все шло от «стариков»: они и по тревоге бродили, как лунатики, все досматривали сны свои преддембельные, пахнущие жирными щами и женским потом.

Схватив автоматы, мы заняли место в строю. Собственно, строя еще не было, но мы знали свои паркетины, и каждый их знал — раз по пять равняли мы по ним мыски своих сапог.

Потому как никто из офицеров, кроме взводного, в казарме не объявился, всем стало ясно, что это за тревога; рванул кто-то из полка в самоволку, и должны мы были теперь его стеречь, чтоб еще чего не выкинул...

...И это третий раз на неделе, словно сезон побегов начался, словно терпели год и больше невтерпеж...

«Старички» поговаривали, что мол в этой проклятой Германии всегда так, что стоит одному утикать, как за ним все, словно бараны. Насчет всех — это они загибали, конечно. Из нашей роты, к примеру, никто никогда не бегал и бегать не будет. А все потому, что терять есть что: кому охота из спецов в пехоту загреметь? Мы — мозг и голос полка, спецрота: взвод разведки, взвод радистов да взвод придурков (писари штабные и личные шоферы командования). За это нам все бла-

га. И в караул раз в год с капризами, и на кухню не трогай, зато в увольнение — пехота подвинься, печи идут. Так пехота все три года и подвигается, любясь Германией через колючую проволоку. Кому от нас бежать! Нет нас послушней и вернее в полку; как натасканные псы на любого бросимся, только укажи. Пехота за это нас очень не любит. На ватных матрацах, мол, спит интеллигенция, на ватных подушках сны ловит, а мы, как чушки, на соломенных тюфяках, туши свет.

Но если без нерва судить, то вата эта потом давно нашим стала, не на вате, на поте собственном спим, хоть рыбу в постели соли. Потому что, если проверка какая, комиссия, хоть из Москвы, — все к нам.

Старшина пол белой тряпочкой проверяет. Башка от уставов трещит. Разбуди ночью — любой отбормочет, как «отче наш». И все за вату, и за лишний денек в городе.

Глава 3

Дом был двухэтажный, барачного типа, выкрашенный в едучий розовый цвет. На перепоясавшей его завалинке, как сизари на карнизе, дремали очумевшие от жары старухи. Завидев нас, они пробудились и заворковали вполголоса, понимая друг друга скорей по движению губ, чем на слух.

Я ощутил легкое пощипывание их взглядов, отчего моя походка стала неуверенной, как при опьянении.

— Ты чего? — удивился Колька, заметив мое мельтешение.

— Жарко! — отговорился я и поспешил проскользнуть мимо старух в парадное.

Пинаев порывлся в карманах и открыл замок тоненькой длинной пластинкой, похожей на пилку для ногтей.

Коридора не было, сразу же начиналась кухня, заставленная табуретами, баками и таинственно мерцающими в полутьме керосинками. Пахло сразу и распаренным бельем, и рыбой, и апельсиновыми корками. На стене висел огромный алюминиевый раковина — виновник мыльной лужи, которую разбухший пол уже не в силах был вхлебать в себя.

Колька по-волчьи внюхался в этот неповторимый конгломерат запахов и, не уловив в нем того, который был нужен ему, невнятно ругнулся и толкнул запотевшую дверь в комнату.

Дверь поддалась легко, без скрипа, образовав щель, вполне достаточную, чтобы протиснуться в нее боком. Я проделал это не так ловко, как Колька, и в комнате что-то рухнуло. Пинаев выругался, но уже внятнее. Я прикрыл за собою дверь и огляделся. Комната была плотно заставлена громоздкой неполированной мебелью, а на свободной середине, как гвоздь из доски, торчала длинная девчонка в поношенной школьной форме. У ее обтянутых чулками в резиночку ног сидел двухгодовалый малыш с равнодушным невымытым лицом. Колька обошел их вокруг и остановился перед девчонкой, гневно глядя в ее тусклые, как бы застиранные глаза.

Поняв наконец, что сейчас произойдет что-то в высшей степени гадкое, я шагнул к девчонке и, зажмурившись, поцеловал ее руку, пахнущую мыльной пеной и детской мочой.

— Юрий, — промямлил я, сдерживая подступающую к горлу тошноту.

Колька смотрел на меня изумленно-зачарованно, потом изумление сменила насмешливость, и он сказал:

— Это моя жена. Ее зовут Надя, — потом, чуть подумав, добавил, похабно ухмыляясь. — Она глухонемая...

С моего лба потекли ручейки пота. Я размазывал их ладонью, чувствуя, что похабная Колькина ухмылка переползает и на мое лицо.

Пинаев скинул рубашку и, захватив полотенце, вышел в коридор. Я остался один с остолбеневшей девчонкой, зачем-то обозванной женой, и молчаливым ребенком возле ее ног. Я, не мигая, глядел на них и не мог сдвинуться с места, хотя понимал, что стоять и ухмыляться еще более глупо, чем вдруг повернуться и уйти.

Мыслей в голове никаких не было, кроме одной, почти младенческой: зачем ее зовут Надей, если она даже не знает, что ее зовут именно так; а если не называть ее Надей, то как же обозначать друг перед другом факт ее существования; впрочем, стол все же остается столом, хоть он и не подозревает, что обозначен в нашем общении этим словом...

В общем, всякая чепуха вместо мыслей. Чепуха, от которой мы лечиваемся еще в детстве, как только определяем наконец свое место среди окружающих нас людей и вещей.

Впечатление было такое, словно передо мной поставили куклу, предупредили, что она не слышит, не говорит, но при этом все видит и умеет ходить, а я не знаю, как держать себя с ней.

Я опять взял руку девчонки и поцеловал.

В глазах Нади появилась осмысленность. Она даже, как мне показалось, вскрикнула про себя и заметалась по комнате, прибирая разбросанные вещи. Потом замерла, вытянувшись, отчего стала еще нескладней, и смертельный испуг исказил ее полудетское личико. Зрачков сразу не стало — до того они, расплывшись, обволокли белки глаз, и две черные, словно пустые, глазницы втянули в себя комнату, меня — все.

Она схватила нож и стала поспешно резать колбасу, бросая тоненькие кусочки на плохо очищенную от макаронных шкварок сковородку. Она делала это совсем неумело, но так поспешно, будто от этого зависел вопрос ее жизни и смерти.

— А ты спрашивал, как мы с ней объясняемся!

Я обернулся. В дверях стоял Пинаев с мокрым полотенцем в руках.

— Умыться хочешь?

— Хочу... И пошел бы ты к черту!

— Все там будем,— пообещал Колька и швырнул в меня полотенце.

Глава 4

«Старики» чертыхались все уверенней — злобно. На третьем году службы они как бы уравнились со старшиной и взводным, выше себя признавая лишь ротного.

Все правильно, когда до гражданских дудочек тебе остается всего несколько месяцев, лычки в три пальца или две звезды на погонах теряют свою магическую способность подчинять.

Понимая все это, старшина, пошушукавшись со взводным, объявил «старикам» отбой, спасая таким образом от разложения нас, салажат, и солдат второго года службы.

Сразу же строй поутих, и взводный, подзвав сержантов, стал уточнять посты. Все это было, конечно, лишним. Здесь все знали свое дело — не первого зайца травила стая борзых, обозленная недосыпом, да только на каждый здравый смысл есть заветное слово — положено!

Взводному эта тревога тоже не «рождество»: из теплой жениной постели вытащили, из той постели, что пуще порохового склада стеречь нужно, чтобы какой-либо шустрик пехотинец, царь полей, на нее не посягнул.

(А все одно — посягали. И крепяга пехотинец, и свой брат офицер, когда от скуки, а когда и по любви.)

Для взводного эта «охота» — пустой звук. Как ни волкодавься, а звезды желанной на погон за это не дорисуют. Другое дело сержанты... Особенно те, кто в отпуске не были. Наш Видура не был. Слушал он поэтому инструктаж, как любимую песню только слушают, и глазом своим бешеным наше отделение ошпаривал. Два глаза у Видуры было, как и у всех, только один, ну как есть, бешеный, словно бы красной ниткой штопанный, то вглубь ныряющий, то пучившийся; второй — спокойный, тихий такой, голубенький, как у мечтательной девушки. Первый глаз, видно, ему бог для нас, «салажат», выдал, а второй, который тихонький, — для начальников. Когда он старшине или офицеру какому докладывал, то глаз свой бешеный чуть прищуривал, а тихим глазом начальников в себя влюблял.

Нас, первогодков, он хуже, чем ненавидел. И дьявол только знал причину его лютости: родился ли он с ней, или уже здесь, в армии, кто-то ему мозги по форме сапога перешил. А может, и проще все — его кто-то в учебном батальоне год допекал, а теперь он с нами расплачивался. Только мне с Пинаевым от этого легче не было. Нас он особенно отмечал, и каждый эту отметину за свое получил. Я — за ответную, ничем не прикрытую невинность, Колька — за дружбу со мной, а еще почти что ни за что. Просто дневалил он как-то, и вздумалось ему ночью полы мастикой покрыть. Дело правое, когда ты с ним знаком. Только Пинаев с ним знаком-то и не был. У них в поселке про мастику и слыхом не слыхивали. Моды еще на нее не было, да и не скоро ей к ним прийти. На кой черт мастика дощатым полам, когда есть на то масляная краска. Да и у нас в полку на нее особой моды не было, только там и мазали, где был паркетный пол или алебастроцементный. Наша рота по паркету сапогами шастала.

Кольке бы про мастику у меня спросить или еще у кого, а он постеснялся — деревенщиной, мол, обзовут. Мастики ему Видура целное картонное ведро притащил. На месяц роте выдали. Не распечатанное еще ведро, а сбоку на немецком инструкция, как пользоваться. Колька из немецкого три слова знал: хальт, цурюк и корн. Два из них он еще дома выучил, когда в клубе кино про войну крутили, а одному уже здесь научили. Так что инструкцию Пинаев читать не стал, вскрыл ведро и всю мастику по полу горстями раскидал. Потом взял полотер и принялся все эти кучки превращать в ровный слой, растаскивая их по проходам между кроватями.

Колька очень старался, только не за все старания на земле воздастся сторицей. Как ни старался Пинаев, но все больше увязал в рожденном им мастичном болоте. Вонь стояла редкостная, перебив напрочь сиротский казарменный дух.

Я не помню, отчего я проснулся, от вони ли, или от непокидающей меня даже во сне тревоги. Проснись я чуть раньше, может, и успели бы мы с Колькой осушить до утра позорное болото. Но Видура бдил не хуже нас.

От вопля его очнулась казарма, сорвалась с коек и шлепнулась босыми ногами в незасыхающую мастику. Визг, ругань, скрип пружин...

Зажгли свет, и увиденное не вернуло тишины. К брани прибавился смех, а ругань поимела адрес.

Сам Видура больше не кричал, он бился в эпилептическом припадке, размазывая по лицу желтоватую пену.

Колька не оправдывался. Он покорно выслушивал угрозы, прощаясь мысленно с ближайшими воскресеньями.

Видура оплошность Пинаева расценил по-своему. Она почудилась ему иезуитской хитростью, направленной против него. Как много ни

попало Кольке, Видуре досталось тоже. Мол, плохо учишь, плохо подчиняешь вверенных тебе новобранцев. И Видура осатанел...

Наряды сыпались на нас планомерно и щедро, ввергая меня в еще более стойкую ненависть, а Кольку в отчаяние. Казалось, что Видура существует на этом свете лишь для того, чтобы сжить с него двух пацанов — меня и Пиная, и нет у него здесь других дел.

Нам сочувствовали даже «старички», скупые обычно на жалость. Но к всеобщему сочувствию примешивалась всегда и тайная радость. Никто не боялся теперь попасть в воскресный наряд — это была наша с Колькой привилегия. Видура многого уже не замечал за другими, но все знал про нас.

Вот и сейчас, слушая взводного, он косил на меня и Пиная свой бешеный глаз.

Глава 5

Колбаса была пахучая, с дырочками от выплавленного жира. Наряд переложила ее со сковородки в алюминиевую миску и отошла к печке щипать из сухого березового полена лучины. Мальчик отполз с середины комнаты к ее ногам, освободив нам проход к столу.

— Садись! — приказал мне Колька.

Сам он вынул из кармана бечевку и протянул ее по полу.

— Теперь мы с тобой, что в кабинете, — он ее ни за что не переползет. Как змея, щенок... Вот сам увидишь!

Сказал он это не без гордости, как о хорошо выдрессированной, но не очень любимой собаке. От этих слов мне не было хорошо, но и стыдно тоже не было.

— Давай по первой молча, — предложил Колька. — Для зачину.

Он подвинул мне эмалированную кружку, а себе взял граненый стакан, залапанный жирными пальцами. Моя кружка была чище, только белая когда-то эмаль имела желтоватый чайный налет. Я взял бутылку и подержал ее на счет над Колькиным стаканом и своей кружкой — так всегда вернее, если разливаешь в неравную тару.

— Спешить? — насторожился Колька.

Я качнул головой. Я не спешил, просто хотелось быстрее опьянеть, отвлечься от мелочей: от неубранной, дурно пахнущей комнаты, от залапанного стакана и, наконец, от странной Колькиной жены. Все это мешало увидеть самого Кольку, который, как мне казалось, всячески старался отвлечь мое внимание от себя.

Там, в армии, мы были вне вещей, как бы помимо них. Даже личные вещи не казались вещами. Все было одинаковым: обмундирование, койки, туалетные принадлежности в тумбочках. К солдатской форме мы привыкли настолько, что она нам казалась кожей, зеленой кожей людей особой расы. Любой гражданский, появившийся в полку, виделся нам негром в рязанском колхозе.

Отличие было в малом, пожалуй, лишь в том, что Колькина «кожа» была менее дряблой, чем моя.

Я поднял кружку и выпил, не дожидаясь Пинаева.

Водка имела присущий всем провинциальным спиртным вкус отвара лебеды с жженой пробкой. Она ошпарила язык, горло и, вместо того, чтобы сжать спазмой желудок, метнулась по позвоночнику к затылку, отвесив ему легкий, но ощутимый все же шлепок. Несколько секунд я осоловело глядел на груду тощих килек с распоротыми животами, потом, зацепив одну из них вилкой, сунул в рот. Челюсти жадно выжали из косточек соленый, пахнущий пряностями сок, и он, добравшись до желудка, утянул за собой изо рта сивушную затхлость.

Пинаяв, прижав стакан к подбородку, следил за мной с нескрываемым интересом.

— Ты чего? — спросил я.

— Без вкуса пьешь, дергаешься... Поотвык, что ли?

— А я и не привыкал. Без надобности.

— Не скажи, Юр. Это, может, для людей наипервейшая надобность — без особых трудов в рай!

— А потом в ад?

— Так то потом... О потом человек редко думает. Потом у нас всегда на потом откладывается, лишь бы сейчас...

— Агитируешь?

— Да хоть бы и так, Юр.

— Тогда наглядней!

— Смотри!

Колька поднес стакан ко рту и шумно сглотнул. Лицо его не изменилось в отвращении, наоборот — оно выразило удовольствие. Пинаяв не спешил расстаться с сивушным вкусом и потому долго и тщательно выбирал в клубке килечных телец то одно, которое, по его мнению, было менее дистрофично.

Не попавшая в рот капелька водки успела пересечь подбородок, и когда уже казалось, что она вот-вот соскользнет по шее за рубашку, он снял ее тыльной стороной ладони и слизнул языком.

Это спокойное, расчетливое движение вернуло мне прежнего Кольку. Он всегда был таким: не суетливым, не опрометчивым в движениях, мыслях, делах. В нем всегда жила крестьянская добротность, неистребимая обстоятельность.

— Огурчики, — кивнул он на другой край стола. — Картошечка фирменная. Все делал сам. Не обижай!

Я выкатил из тарелки горячую картошину в туго натянутой, но не лопнувшей кожуре. Так варить ее умел только Колька — с луком, лавровым листом, перцем и еще с какой-то чепухой. Она никогда у него не «раздевалась» ни во время, ни после варки и потела острым, ни с чем не сравнимым духом.

Я полоснул по ней ножом, и она легко выскользнула из мундира.

— Как по тревоге, — сказал Колька.

— За тридцать секунд, — сказал я.

— Старшина доволен. Комвзвода доволен. Сержанты довольны — довольны и мы...

Это была присказка «старичков», учивших нас уставу первого года службы.

В армии два устава. Один — официальный, министром писанный. Второй — негласный, не писанный никем, но главный. В нем все, что министр недоучел в ковровом своем кабинете: в нем вся жизнь твоя на три года, измеренная километрами селедки и баками каши.

— Десять суток на Родину, — сказал Колька.

— Не считая дороги, — сказал я.

Глава 6

Взводный кончил свой бормотеж, и сержанты вернулись к отделениям. Предстояло главное: распределить посты. Казалось, какая разница, куда кому идти, а разница была. Одно дело — шляться по городу, глаза на чужую развеселую жизнь, меняясь с подгулявшими немцами значками, жухая махорку на сигареты. Другое дело — торчать на проселочной дороге, где главная радость, ничейные яблоки, еще не поспели.

Надежды на город нам с Пинаевым не было никакой, Видура лучше от очередной лычки откажется, чем допустит такое.

А в город хотелось. Хоть бы не в гуляющий всю ночь центр, а на дрыхнущую давно окраину с ее чуть теплющимися в окнах ночниками. Чтобы вслушаться в недолгую городскую тишину, ощутить приятную настроенность ожидания какого-либо происшествия.

Явление первое:

Крадущийся по мирно спящим улицам шпион, пожелавший взорвать городскую уборную. Ты побеждаешь его в короткой схватке, восславив себя навек среди двух народов. Портреты в журналах, твой скромный голос по радио, а главное — десять суток на Родину, не считая дороги...

Явление второе:

Встреча с влюбленной в тебя незнакомкой, разглядевшей твою трепетную душу сквозь однотонность солдатского шмотья. И тихий поцелуй, и тихий оркестр, играющий танго «В лохмотьях сердце».

Явление третье... и т. д.

Всего этого лишал нас Видура. Лишал и возможности забежать утречком в магазин и подкупить красок для своего малярства. Давно уже грозился замполит забрать меня на недельку из роты, чтоб обновить выцветший иконостас вождей. Уж тогда бы я нашел время пописать и для себя...

— Очков-Пудеев, Смолин-Лабордин,— тыкал Видура согнутым пальцем, как изюм из батона выковыривал.— Санаев-Коротков, Нечитко-Пухов...

Это все в город молчуны. Золотые для Видуры ребята. Плюнь им в рот — проглотят.

Дальше слушать не было интереса. Остались посты на проселках, и какая разница, с юга твой пост или с запада.

Я впялил глаза в Видуру. Давно мне хотелось написать его портрет. Не для того, конечно, чтобы навеки запечатлеть его столь «любимые» нами черты, а чтоб столкнуть краски в извечной борьбе добра и зла. К примеру, Видура с ребенком на руках. Лицо нашего благодетеля — арена схватки добра и зла, лицо ребенка — торжество добра, оптимистическая вера в светлое будущее.

Самое трудное — переход черт. Ребенок должен быть похож на отца, но без его человеконенавистнических начал в лице.

Портрет бы я подарил полку. Благодарно и весело. Пусть идущие нам вслед не впадут в отчаяние.

Я глазел на Видуру, искал, но так и не мог найти линий добродетели. Это был готовый, не нуждающийся в гриме злодей для киношников Голливуда.

— Пинаев! — словно бы схаркнул Видура. Потом помолчал торжественно и досказал: — Ильин! Шеланков (т. е. я)! Прокушев!

Я задохнулся от злости, а Колька вскинул голову и, подрагивая набухающими от слез подглазными мешками, сказал:

— Товарищ сержант, разрешите нам с Шеланковым пойти на один пост.

Я молчал. Такого исхода не ожидал никто. Разделить нас с Колькой, лишить баюкающей душу ночной трепотни на скучной глухой дороге...

— Товарищ сержант,— повторил Колька.

— А бабу с собой взять не хочешь? — полюбопытствовал Видура.

Строй дружно хмыкнул.

— Никак нет,— крепясь из последних сил, сказал Пинаев.— Я хочу пойти с Шеланковым...

— Ну?! — как бы удивился Видура.— А может, он и есть твоя баба или ты его? А?

— Ты... ты,— взвизгнул я.— Ты сам...

Я рванулся из строя, чтобы вцепиться ему в горло, но стоящие во втором ряду схватили меня за плечи, а рядом стоящие стиснули между собой.

Никто не смеялся. Слышно было, как в спальном помещении беспечно похрапывают «старички».

Взводный побледнел, не подошел, а прыгнул ко мне и приказал свистящим шепотом:

— Шеланков! От-ста-вить!!!

Потом повернулся к Видуре и рывкнул совсем не страшно, как на любимую жену:

— Чтоб такого не слышал больше. Здесь тебе не зоопарк! Пошли их вместе...

Видура обласкал взводного своим добреньким глазом и сказал печально:

— Нельзя их вместе, товарищ старший лейтенант. Они вместе болтать будут, упустят кого-то... А то и уснут. Они такие. Отвечать тогда придется. Мое дело предупредить, но если приказываете...

Взводный долго глядел в ласковый Видурин глаз, потом обмяк и вяло махнул рукой:

— Делай, как знаешь...

Видура улыбнулся, обнажив ровные красивые зубы, и скомандовал отделению на выход.

У ворот полка нас ожидали грузовики, добродушно фыркающие едучим с искорками дымом. Холодный ночной воздух, смешавшись с выхлопными газами, заполз мне в горло и протолкнул комок, мешающий мне дышать и говорить. Один за другим мы вскарабкались в пещеры крытых грузовиков.

Видура заглянул в ночь под тентом, назначил старшего по машине и пригрозил:

— Шеланков, Пинаев, попробуйте только пойти вместе... Проверяю...

Глава 7

Мальчик уснул, как кошка, клубком свернувшись у ног матери. Надя укрыла его своим черным, тронутым молью платком и опять принялась за лучину. Впервые я видел, чтоб в иконе топили печь. Но Колька молчал, а мне наскучило удивляться.

Окно словно кто-то заслонил снаружи, и свет в него больше не проникал. В комнате стало сумрачно, и лишь пылающие в печи дрова слизывали с нас желтыми бликами липучую темноту.

— Может, пригласим? — я кивнул на Надю.

— Оставь! — рассеянно сказал Колька.— Ей там лучше.

— Что ж ты с ней, как с собакой! — обозлился я.— Человек же она все-таки... Потом как хотите, а при мне не смей!

Колька задумчиво посмотрел на меня, потом на жену, потом опять на меня.

— Значит, не надо? При тебе...

— Не надо,— с пьяным упрямством повторил я.— Она человек. Даже с собакой так нельзя.

— И с собакой нельзя? — как бы даже удивился Пинаев.— А с кошкой?

— И с кошкой...

Я осекся, потому что мне показалось — Колька сейчас психанет. У него задергался уголок рта. Но он не психанул.

— Хорошо,— сказал он очень спокойно.— Я не буду при тебе. Губы его перестали дрожать, и он улыбнулся.

— Да ладно,— бормотнул я, смущенный легкостью победы.— Расскажи, как живешь!

— Я? — удивился Колька.

Он оглядел комнату, как бы не знакомую ему дотопе, скользнул взглядом по спящему под платком сыну, развел руками и, словно собирая все увиденное в горсть из двух больших ладоней, высыпал передо мной собранное на залитый водкой стол.

— Живу вот так... Ты же сам видишь...

— Учишься?

— Слесарю.

— Ты же учиться хотел!

— Я? Нет. Никогда не хотел.

— Как же, Колька, мы же там говорили..

— Где?

— В армии.

— В армии? — он чуть подумал и фыркнул презрительно.

— Нет. Там я тоже не говорил.

— Ты все забыл, Пинаич, мы там только об этом и говорили.

— Сам ты все путаешь,— раздраженно сказал Колька.— Ты сам все забыл. Я всегда хотел работать слесарем. Только в этом и забываешься...

— От дома, от семьи?

— Нет,— вяло возразил Пинаев.— Совсем не от этого...

Он хоть и отвечал мне, но так, что казалось, говорит он не со мной, а с кем-то другим, совсем ему безразличным, назойливым и глупым.

С самого моего прихода он был чуть пришибленным, но все же не таким равнодушным к моим вопросам, как ко мне самому.

Стараясь вернуть к себе его интерес, я спросил:

— Что ж ты квартиру себе не выхлопочешь?

— Квартиру? — Колька чуть оживился.— А зачем?

— Тесно ведь!

— Тесно? Нет, нам не тесно.

— А у меня квартира.

— Ну?

— Недавно получил.

— А зачем?

— Работать, жить... И вообще...

— Ты женат?

— Нет.

— А я женат! — с гордостью сказал Пинаев.— И сын у меня. Хочешь, покажу?!

— Обалдел? Я же все видел!

— Ах, да,— как бы спохватился Колька.— Ты же видел...

Он замолчал. Дрова в печи догорали, и я с трудом высматривал из полутьмы Колькино лицо. Мне стало страшно, что он исчезнет совсем. Я встал и щелкнул выключателем.

Надя съезжилась от внезапно напавшего на нее света и опасливо посмотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она успокоилась.

— Что же ты не спрашиваешь, Пинаич, кто я и что?

— А кто ты? — насторожился Колька.

— Помнишь, еще тогда я хотел стать художником?

— Когда?

— Ты пьяный, Колька! В армии, помнишь?

— Да, это я помню.

— Так я им стал!

- Кем?
- Художником, чудик.
- Ну и что?
- Как это что? Я добился чего хотел, и Видуры не помешали.
- Видура? — Колька весь напрягся.— Ты видел его?
- Откуда, балда...
- А-а-а... А я думал, ты видел его.
- Сдался он мне.
- А я его видел...
- Где?
- Во сне.
- Тьфу ты, черт — напугал. Давай выпьем, чтоб сон не в руку!
- Я его часто во сне вижу,— сказал Пинаев, разливая водку.
- Уж лучше бы в гробу!
- В гробу? — Колькина рука застыла над стаканом.
- Ну да, в гробу.
- В гробу бы лучше.
- Только эта сволочь и нас переживет.
- Нет! — тихо сказал Пинаев.— Он не переживет нас.

Глава 8

За воротами полка языки у всех развязались. Зачиркали зажигалки, и шорох скручиваемых «козых ножек», похожий на шушуканье мышей, казалось, заглушил вой мотора.

Мы с Пинаевым сварганили одну большую самокрутку, не из-за того, что на вторую не было, а чтоб курить вдвоем,— тогда уж никто из вечных просильщиков не привяжется.

Разыграли, кому курить первому. Выпало мне. Первым курить хуже, чем вторым: и крепость не та, и все время бойся лишнего скурнуть.

Глотнув дыма на пустой желудок, все заколобродили, веселясь незнамо чему.

— Шу, шу, шу! Ха-ха-ха! Во втором батальоне пожарные вчера огнетушители проверяли, а там (ха-ха-ха!) самогон вместо пены...

— Это что! Говорят, в прошлом году их салаги под свинарник подкопались и там себе, стервы, гарем устроили. Только тогда и чухнулись, когда хавроньи заместо поросят детей выкидывать начали.

— Трепись, дурило!

— Пойди спроси, а то и попробуй!

— Ха-ха-ха!

— Слышь, козлы, вчера земля из штаба группы приезжал — чудил, что с Нового года через день какао давать будут и масло через день, а в воскресенье по яйцу.

— А по морде?

— Чего?

— Через день по яйцу, через два по морде...

— Ха-ха-ха! Шу, шу, шу!

— Чего мычите, я тоже слышал. В четверг с замполитом ездил — он говорил...

— А про баб не сказывал? Чтоб хоть раз в месяц?

— Ему к чему спрашивать, он женатый.

— Далек бегать целоваться!

— А он через письма...

— Ха-ха-ха...

— Через телеграммы слаже...

— Женатик, уступи письмецо за обед!

— А мне телеграмму за ужин!
— Домой приедем, разберемся, какой пацан твой, а какой мой!
— Заткнись, ты еще, небось, и не можешь!
— А ты можешь, да в руке держи. Дома-то теперь другие могутели!

— Ха-ха-ха!

Бац по морде. Еще хотел, да растащили по углам.

— Вчерашний день, хорьки, делите! Сейчас обоих из машины выкинем.

— Эй, чайники, давай в женитьбу сыграем! Первая — Колькина, вторая — Шеланкова, дальше — по кругу...

В женитьбу сыграть — значит, встречных женщин в невесты прочить. Теоретически, конечно. Дела никакого, а смеха много. Дурацкая игра, а веселая.

Только ночь, какие уж там женщины. Полицейские и то редкость.

А все же замолчали все и устали на дороге, как в цыганкины карты. Тихо постукивает мотор, ветер между домов вместо собак воет, да хлопают, как дети в ладоши, плохо приклеенные к тумбам афиши.

— Ха-ха-ха! Гу-гу-гу!

Подвернулась-таки женщина — старуха с металлическим прутом в руке, то ли дуручка, то ли трамвайный обходчик. Быть, значит, ей Колькиной женой.

Старуха от хохота нашего вздрогнула и вслед прутом пригрозила. Все так и скисли от смеха.

— Пинаев, прыгай! Тебя зовет... Справишься? А то поможем!

Колька даже не улыбнулся. Как сидел, зажав руки в коленях, так и головой не повел узнать, кого ему в жены навязали.

— Шеланок, не спи, мы тебе не хуже същем...

— Без ноги!

— Без руки...

— Без...! Ха-ха-ха!

Я не отвечаю никому и тупо гляжу на дорогу. Я жду. Я действительно жду чуда. Во-первых, я не люблю, когда надо мной смеются, а во-вторых, после стольких сегодняшних неудач хочется хоть призрачной удачи.

Но улица пуста. Единственные женщины, встречающиеся на пути, — манекены в витринах галантерейных лавок да вползающая на поворотах под тент луна.

— Беда! — лукаво вздохнул женатик. — Шеланкову век холостяковать.

Я хотел огрызнуться, но тотчас же из проулка, чудом увернувшись от борта нашего грузовика, вылетела велосипедистка-монашенка. Подол ее длинного черного платья был подоткнут за пояс, а белый капор лихо сбит набекрень, как кепочка у московского шпаненка. Она чиркнула по нашим вытянутым рожам стремительным взглядом и, как бы лизнув нас коротко высунутым язычком, умчалась в приглушенную лунность улочки.

Все случилось так быстро, что никто не успел рассмотреть, красива ли она. Но никто в этом не усомнился. Она была задириста, не застенчива. Главное — не застенчива. Стесняются всегда либо в раннем, либо в позднем возрасте, когда в тебе женщины еще или уже нет.

У меня перед глазами все еще мелькали ее голые колени, когда кто-то вздохнул и сказал завистливо:

— Везунчик у нас Шеланков, мне бы такую!

Это было сказано с серьезной завистью, да и сам я знал, что и в полку будут рассказывать про ночную монашенку и про то, что мне всегда везет.

Всем расхотелось играть, все как-то приуныли, без особых шуточек спрыгивая на ходу.

Не стовариваясь, мы сошли с Пинаевым у проселка. На протест женатика:

— Вам же запретили вместе!..

Колька ответил коротко:

— Заткнись!

Глава 9

В бутылке еще оставалась водка, но пить уже не хотелось. Колька сидел, положив локти на стол, обхватив руками голову, и вглядывался в зашторенное ночью окно. Он как бы забыл обо мне, думая о своем то ли ожидая кого-то, кто был для него важней, интересней.

Мне стало не по себе среди чужих молчаливых людей: одного — немного от природы, другого — онемевшего из-за отсутствия интереса ко мне.

— Пойду, пожалуй,— скорей для себя, чем для кого-то, сказал я.

Колька даже не шелохнулся, но ответил сразу, давно, видимо, ожидая этих слов.

— Куда ты пойдешь... Сейчас спать ляжем.

— Где? Вам и без меня тесно...

— Поместимся,— равнодушно сказал Колька и встал.

Он подошел к Наде, тронул ее за плечо и кивнул на постель. Она сразу же засуетилась, разбирая белье, взбивая подушки.

Пинаев снял с кровати матрац, расстелил его на полу, прикрыл тряпочкой, вроде ситцевой занавески, а в ноги кинул тулуп. Потом взял на руки сына и, как листья с капустного кочана, стал снимать с него рубашонки. Ребенок не просыпался, лишь голова его склонялась то на одно плечо, то на другое, то висла на грудь.

Надя развязала поясок и потянула вверх платье. Она выскользнула из него легко, как обмылок из рук, обнажив худобу плеч и бедер.

На ней не было ни комбинации, ни лифчика, лишь голубые на слабой резинке трусики. Лифчик действительно был ни к чему — лишь легкая припухлость обозначивала женскую грудь.

Я уставился в стол, водя по нему пальцем, меняя русла водочных ручейков.

— Ложись,— услышал я за спиной и обернулся.

Ребенок спал у стенки, уткнувшись в нее лбом. Надя и Колька лежали, тесно прижавшись друг к другу. В ногах у них рыжей собачкой лежало сбитое в комок одеяло.

Я подошел к матрацу и стал медленно расстегивать пуговицы рубашки. Я расстегивал их старательно, медленно, давая понять, что мне неудобно раздеваться под их внимательными взглядами. Так же медленно я развязал шнурки ботинок. Снять брюки у меня не хватило решимости. Я уже хотел лечь полуодетым, когда Колька, поняв наконец причину моей медлительности, привстал и пальцами, словно покойнице, опустил Надины веки. Я быстро нырнул под тулуп и вытянулся на бугристом, коротком для меня матраце.

Колька закурил и выключил свет. Комната сразу же стала не тесной, без давящих стен и потолка, а огромной, как вселенная, в которой сквозь прорезь окна высветлялась другая галактика. Было тихо, лишь хрипловатое недетское посапывание Колькиного сына выдавало присутствие в этой вселенной кого-то еще.

Дышалось тяжело. Печь не втягивала уже в себя смрадный пеленочный дух комнаты, а от неприбранного стола кисло пахло недоеденной закуской. Лишь дым Колькиной папиросы сластил всю эту вонь.

Я нашарил в темноте сигареты и тоже закурил.
— Не спится? — глухо спросил Колька.
— Душно,— сказал я.
— От печки,— равнодушно посочувствовал Пинаев.
— Может, откроем окно?
— Нельзя. Всех перестудим. Они в такой бане только и спят. Все Надька. Она в детстве в подвале жила, так там круглый год топили. Он сказал это отстраненно, как случайный гость о хозяевах. Потом помолчал и попросил почти просяще:
— Может, к пруду пойдём... Купнемся.
— Пойдём,— мгновенно согласился я, потому что не мыслил себе сна в этой, пропахшей луком и мочой, вселенной.
Мы быстро оделись, Колька прихватил со стола кое-какую снедь, я взял тулуп, и мы вышли на улицу.
Ночь теплая, без луны, лишь с неярко-желтым небесным маревом дремала вокруг, вскрикивая изредка во сне зарницами.
Пыль прижало к дороге росой, и ступать было легко, приятно, как по ковру с высоким ворсом.

— Сюда,— позвал Колька, и мы свернули к палисадникам, благоухающим, как парфюмерная лавка.

Пинаев ловко перемахнул через забор, а я зацепился каблуком за штакетник, рухнул в колкие кусты малинника. Надсадно завыли собаки, и тихо, по-старушечьи, где-то в темноте засмеялся Колька.

— Зашибся?

— Терпимо,— обиженно сказал я.

— Ну, пойдём тогда, а то весь посёлок побудим!

Пригибаясь, мы побежали мимо яблонь с костылями подпорок, по мягким перинам грядок. Вслед нам, как бесовское улюлюканье, летел остервенелый лай взбаламученных мною собак.

Пруд блеснул из-за деревьев, как огромный пятак, чуть приподнятый на ребро.

Мы скатились по крутой тропинке к его ивовому берегу и, сбросив на бегу одежду, плюхнулись в парную, пахнущую свежей рыбой, воду.

Колька поплыл саженками, шумно отплеываясь, а я ушел в глубину, чтобы смыть с себя прилипший накрепко дух покинутой комнаты.

Глава 10

Наш сторожевой пост тянулся от автобана по проселочной дороге до березовой рощи. Мы набили запазухи зелеными яблоками и прилегли у высоких кустов бузины. Хотелось есть. Мы надкусывали яблоки, жевали зеленую кислотоватую кашицу, выплевывали ее, глотая лишь вяжущий рот, не пахнущий ничем сок.

— Послушай! — громко окликнул Колька, словно не лежал рядом, а ушел куда-то очень далеко.— Зачем же так дальше... Мы ведь хуже собак.

— Ты о чем? — удивился я.

Перед моими глазами все еще мельтешила монашка, и маняще чернел провал улочки, в который она укатила.

— Я о Видуре... Ведь он приедет, и все начнется сначала...

Напоминание о Видуре воскресило обиду. Видение летящей на велосипеде монахини исчезло, и предчувствие близкой беды ознобом тряхнуло расслабившееся тело.

— Приедет,— вслед за Колькой повторил я.— И все начнется...

Я представил себе, как бешено выпучится Видурин глаз, завибрирует дряблая щека и весь он затрясется в падучей.

— Приедет... Может, никого проверять не станет, а к нам приедет...

— Я так жить не могу,— сказал Пинаев.— Я не собака...

— А я собака?

— Мы не собаки! — все больше взвинчивался Колька.

Он почти визжал, и голос его стал похожим на Видурин.

— Не жаловаться же,— сказал я.— Он все равно будет прав. Да и на что жаловаться: все по уставу — он командует, а ты подчиняйся. Что он не так сделал? Не ударил же и не убил...

— Не убил,— согласился Колька.— Он хуже, чем убил. Он внутри мне все поломал. Пусто внутри... Я так жить не могу. Другие тоже, только они из последних сил... А у меня ничего уже нет. Я, может, кошки никогда не ударил, а теперь...

— Не жаловаться же,— повторил я.

— А я и не собираюсь,— каркнул Пинаев.— Я все сам... У меня и патроны есть.

Он вытащил их из кармана и покатал на ладони.

— Со стрельбища еще. Я уже тогда об этом думал. Я уже все передумал: и пожаловаться, и ударить — все не то. А если даже и перетерпеть все это, то все равно всю жизнь будешь помнить, что был собакой, что, может, при случае и еще раз ею будешь.

— Я себе не позволю...

Мы помолчали. Дышалось тяжело, как после долгого бега. Чуть поламывало в висках, и слезились глаза.

— Нет,— сказал я почти шепотом.— Все будет не так.

— А как?

— Все не так. Я тоже об этом все время думал... Это из-за меня к тебе Видура прилип. Это я виноват. Значит, я и должен, как ты говоришь...

— Гха! — скашлянул Колька.— Гха, гха! — хрипота мешала ему говорить.

Я не видел его лица, но мне и не нужно было его видеть. Я и так знал, что оно разгладилось от старческих морщин озабоченности.

— Ну нет... Я не дам тебе... У тебя впереди все — ты рисуешь, будешь художником. А я никто. Ты еще такое сделаешь, что всем хорошо будет. Всем хорошим, а Видурам там всяким рыло скособочит. А я... Я не знаю, зачем живу, может, кроме этого ничего путного и не сделаю. Мне себя не жалко...

— А мне, Колька, тоже не жалко. Что из меня еще выйдет — кому известно. Тем более, если сейчас так вот с собой позволяю. Так что же потом-то позволю? Ты в этом прав. Я себя уже человеком не ощущаю. Я — чучело. Меня Видура выпотрошил... Ты только не спорь, ЭТО мне сделать нужно...

— Я тебе не дам! — Колька чуть отстранился, словно я хочу у него что-то отнять.— Я первый решил... И патроны мои...

Минуту мы настороженно смотрели друг на друга, почти как враги. Потом Колька засмеялся и подвинулся ближе.

— Как на базаре, Юр. Вот дураки. На такое идем, а так друг с другом... Давай по жребью.

Он сорвал травинку, поколдовал над ней и протянул мне:

— Тяни! Кому с перышками, тот, значит... Давай!

Я с трудом вытянул из крепко сжатого Колькиного кулака травинку. Она была пустой.

— Покажи вторую! — приказал я.

Пинаев вложил мне в ладонь стебелек с колючими перышками, которые мы в детстве называли петушиным хвостом.

— И все равно,— зло сказал я.— Все равно, давай вместе. Чтоб каждый по-честному, чтоб потом не думалось плохо...

— Ладно,— вдруг легко согласился Пинаев.— Давай вместе.

Мы загнали патроны в стволы автоматов и стали ждать.

Уже светало, и предутренняя тишина висела над нами бронированным колпаком.

Сразу же пришло ощущение, что я живу в каком-то другом мире, в котором я хозяин, человек, не боящийся ничего, наоборот, нагоняющий сам на всех страх. Видура был в этом мире пигмеем, ничтожеством, от которого я был призван избавить себя и всех.

К этому чувству примешивалось и другое — тоскливая зависть к небу, деревьям, цветам, которые теперь будут здесь без меня, и жалость к себе, но лишь от того, что я не смогу уже услышать всего хорошего, что будет сказано обо мне без меня.

И жалость к неиспользованным краскам, которые останутся на этой земле только красками, а не частью меня, моего разума на радующих людей картинах.

Было и приятно и страшно ощущать себя уходящим так жертвенно и красиво.

Хотелось опрокинуться на спину, заплакать, глядя на светлеющее небо сквозь полупрозрачную пелену слез. Смешной и жалкой казалась теперь игра в женихов, и летящая на велосипеде монашка, доставшая мне в жены, была уже не любима, ибо задерживалась на этой земле, а я и Колька покидали ее.

На автобане затормозила машина, хлопнула дверца, и на нас стали надвигаться шаги, гулкие, как удары молота о железный бак.

Мы встали, прижались плечами и сняли автоматы с предохранителей.

Глава 11

Когда я вышел из воды, Колька сидел на поваленном дереве и разводил костер. Струйка березового дыма чуть покачивалась в безветренном воздухе, как змея под шепот заклинателя.

Мы расстелили на земле тулуп и легли на него лицами к разгорающемуся костру. Колька достал початую бутылку водки, глотнул из нее и протянул мне. Я допил оставшееся и бросил бутылку в кусты.

Водка была холодная; она не перебила хранящийся небом привкус речной воды, и я отказался от предложенной Колькой луковицы.

Мы лежали голые на овчине и кидали в костер березовый сушняк. Огонь кидался на ветки, как проголодавшаяся собака, слизывая их горячим красным языком.

Мы касались с Колькой плечами так плотно, что, казалось, мы уже срослись.

— Послушай! — сказал я.— Расскажи, как ты женился. Ведь это странно, однако,— ты и глухонемая жена, ребенок, к которому ты равнодушен. Как все это случилось?

Колька оторвал свое плечо от моего и перевернулся на спину. Мускулы на его теле перекатились, как возникающие и исчезающие мгновенно опухоли.

— А что случилось?

— Ого! — усмехнулся я.— Для тебя это уже даже не кое-что?

— Кое-что? Ты о чем?

— Да все о том же, о женитьбе твоей.

— А-а-а! О женитьбе... Да ничего, все обычно, как всегда это бывает.

— Я еще не знаю, Колька, как все это бывает. Ты бы просветил друга, возможно, и пригодится!

— Чего ж тут просвещать. Все как у людей. Все, Юр, обычно. Правда. Я и не помню даже.

— А ты припомни!

— Припомнить? — Пинаев помолчал, словно с трудом припоминая.— Пили, понимаешь, мы как-то в общежитии трикотажки... Там у нас как бы ярмарка невест для поселка... Потом остались ночевать. Кто где, кто с кем... Я — у Надьки. А потом... Что ж потом-то? Я ушел потом, а через год она пришла ко мне с ребенком на руках. Вот и все.

— И ты принял ее?

— Как это? — не понял Колька.

— Ну, не попытался объяснить, отказаться, в конце концов.

— А от чего я должен был отказаться?

— От ребенка. Ведь, может, он не твой.

— Какая разница,— досадливо поморщился Колька.— Не может же ребенок родиться от козла!

— И тебе все равно, твой он или не твой?

— Какая разница,— повторил Колька.— Может, ты тоже не папин.

— А ты не мамин!

— Может, и так... Какая разница, от кого.

— А ты, брат, альтруист. Раньше я не замечал за тобой такого.

— Что такое? — насторожился Колька.

— Человеколюб, что ли... Только не конкретно любящий, а вообще всех — и плохих и хороших.

— Нет, Юр, ты ошибаешься. Я всегда конкретно люблю.

— Вот и врешь, ведь Надю ты же не любишь!

— Люблю.

— А-а-а... Брось ты. Не верю я в любовь, рожденную в одну ночь. Да еще, прости меня, к глухонемой некрасивой девке. Об этом ты журнаlistsу заезжому расскажи, а не мне.

— Я люблю ее! — все больше раздражаясь, сказал Колька.— Почему ты не веришь, что я ее люблю?

— Хорошо... За что ты ее любишь?

— А разве любят за что?

— Конечно. А как ты думал?

— Я думал, что просто любят.

— Все это треп, Панаич. Любят всегда за что-то. За ум, за красоту, за доброту, в конце концов...

— Она добрая,— прервал меня Колька.— И умная.

Я промолчал. Мне расхотелось спорить. Я понял наконец, какая пропасть разверзлась между нами за эти пять лет. Он стал слишком туповат, чтобы мы могли найти с ним общий язык. Я ушел далеко вперед, а он все еще бродил в ночи кислых июньских яблок. Нам не о чем было говорить, мы могли только вспоминать, а для этого мне нужно было забыть все настоящее и уйти к нему в прошлое.

— Она умная, Юр, это точно!

— Умная? — снисходительно спросил я.— Ты решил это потому, что она не сказала тебе еще ни одного слова?

— Слова — ерунда,— отмахнулся Колька.— Она и без слов все понимает и слышит. Душой, что ли...

— А ты к тому же еще и мистик!

— Я не знаю, что это за штука. Ты выучился... слова теперь разные знаешь... Только все, что я говорю, правда. Ты бы почитал ее записную книжку, тогда бы не спорил!

— Она умеет писать?!

— Умеет... И читать умеет. Она ведь не всегда такой была. Все это у нее после болезни какой-то.

— Ты б отправил ее в их общество. Если не вылечат, так хоть говорить по-ихнему будет.

— Нет, Юр, она к ним не пойдет. Да и зачем ей учить с чего-то, мы и так друг друга понимаем.

— И что же она пишет в своей книжке?
— Она пишет: он скоро умрет, а потом умру я и наш сын.
— Вот чертовщина! С чего это она?
— Не чертовщина это. Она все правильно пишет, хоть я ей об этом никогда и не говорил.
— О чем об этом?
— О смерти, Юр.
— Какой еще смерти, балда!
— Я скоро умру, Юр,— спокойно сказал Колька и перевернулся со спины на живот.

Глава 12

В тот раз Видура не пришел проверять нас. Шаги принадлежали помкомвзвода разведки, и мы не выстрелили.

— До первых учений,— угрюмо сказал Пинаев, когда машина с проверяющим ушла.— До первых учений жить ему, суке. Отдай патрон.

Я отдал Кольке патрон и только тогда всем телом ощутил страх и усталость. Радость благородного возвышения над людьми исчезла, и осталось лишь трусливое, знобящее чувство ужаса. Как-то сразу пришло понимание, что мы собирались лишить жизни не скачущего по пролеску зайца, а нам подобного — говорящего, думающего, пусть плохого, но человека. Убить, расстрелять в упор.

Его кровь брызнула бы на нас, выкатился бы из орбиты бешеный глаз, растекся бы по лицу, как тюкнутое яйцо, а другой глаз, добренький, утонул бы в глубине черепа, как тиною прикрытый подрагивающим веком.

Какое имело значение, злым он был или добрым, тот человек. Он был жизнью, был тем загадочным, до конца осознаваемым лишь в критические минуты, явлением, на которое мы не имели права посягать.

Все прежние обиды показались мне мелкими, настолько ничтожными, как детская ненависть к учителю, отчитавшему за нерадивость.

Я сдерживал слезы, но они все же потекли по лицу, и, пряча их, я упал на землю, прижал рот к влажной пахучей земле. Все тело мое дергалось в судорогах неслышных даже самому себе рыданий.

Пора было выходить на автобан и встречать смену, но у меня уже не было сил встать — я все их потратил, чтобы задушить в себе крик, чтобы задержать подкатывающуюся к горлу рвоту. Мне казалось, что я весь в крови, в потеках лопнувшего Видуриного глаза.

Колька сидел рядом и молчал. Он думал, наверное, что это у меня от отчаяния, от безысходности. От неизбежности грядущих издевательств, от неудачи заговора.

Изредка он касался моего плеча и глухо, как через стену, твердил:

— До первых учений, Юр. До первых учений жить ему, суке!

Дождь подкрался к нам тихо. Сначала он окропил нас водяной пылью, а потом ударил оловянными каплями, прибил взвинченную ветром пыль, застучал по телу, как сапожник, вгонявший деревянные гвоздики.

Было покойно и лишь чуть больно. Гвоздики дождин как бы приколотили что-то оторвавшееся внутри. Стало легче.

Мы вышли на автобан мокрые, с автоматами за спиной, в заляпанных глиной сапогах. У нас был вид окруженцев из наголову разбитой армии.

Машина пришла не скоро, и мы долго еще свидетельствовали бесчинство дождя и ветра, срывающих листья и неспелые яблоки с придорожных ничейных деревьев. Яблоки падали гулко, со вздохом, и их удары о землю ощущались нами через подметки сапог...

Потом почти месяц я провалялся в санбате с двусторонним воспалением легких, а когда вернулся в часть, Видуры там уже не было.

Приказом командира полка он был отправлен на ускоренные курсы младших офицеров. Наше отделение принял канючливый, но, в сущности, незлобивый сержант Тихорецкий. Ворчал он беспрестанно, но жаловался стойко только себе.

Мы еще больше сдружились с Колькой, только странная это была дружба. Мы не могли врозь, а вместе тяготились друг другом. Никогда потом мы и словом не обмолвились о несостоявшемся убийстве.

* * *

С Видурой я встретился только через два года, почти что дома.

Когда наш поезд, поезд досрочно демобилизованных наглых, желяющих покорить мир абитуриентов, прибыл на вокзал, как ни спешили все, но согласились выпить отходную в занюханном рестораничке третьего класса.

Заказали по-пижонски, изумив даже квелого, выдавшего виды официанта, по прицепу без грузовика и рыбных яичек, т. е. по двести пятьдесят граммов водки и по маленькой коробочке черной икры.

Пили жадно, не морщась, бравлируя стойкостью слизистой. Раскованно ржали над амбалом танкистом, который накалывал на вилку хлеб и жевал его, предварительно замочив в водочных выплесках на столе. На нас опасно косились командировочные, и похотливо елозили глазами по нашим чемоданам крепко оштукатуренные официантки, без таможенного досмотра угадывая за тонкой фиброй заграничную галантерею.

В разгар веселья в зал вошел патруль из двух солдат и младшего лейтенанта — Видуры. Солдаты остались у стойки, а Видура подошел к нам.

Я ожидал крика, мылкой пены на губах, а он тихо, даже приветливо спросил:

— Гуляете, ребята?

— Гуляем, товарищ крупоед! — нагло ответил танкист. — Не побрезгуй, присядь.

Видура, угодливо лыбясь, подвинул себе стул, потом увидел меня, подошел и сел рядом.

— Домой? — спросил он, глядя не на меня, а на хохочущего танкиста.

— Да, — сказал я, борясь с незнамо откуда напавшей на меня трусостью.

— Насовсем?

— Насовсем.

— А я в Германию насовсем... Здесь проездом. Комендант на денок сунул в патрули.

Он, как бы извиняясь, поправил повязку на рукаве.

Ему протянули рюмку, и он опорожнил ее послушно, но без охоты. Так нашкодивший ребенок пьет рыбий жир, надеясь искупить этим свою вину.

Допив и расплатившись, мы вышли на площадь. Видура плелся следом. Мы все переобнимались, поклялись писать (в тот миг искренне веря в это) и стали расходиться.

Я тоже пошел к стоянке такси, но Видура придержал меня за рукав.

— Слушай, Шеланков, давай посидим немного?!

Я удивленно посмотрел на него. Там, в армии, он казался мне намного старше нас, мы все чувствовали себя перед ним мальчишками. Теперь же передо мной стоял мой одноклассник, да еще чем-то напуганный. Что он мог сказать мне? Что не виноват, что приучал нас к

тяготам и лишениям? Что исполнял долг? Здесь, на площади, среди снующих теток с мешками, среди почтенных дачников, эти слова показались бы мне смешными. Злость к нему давно уже забылась, а явившаяся на миг трусость была лишь вспышкой памяти о перемытых галлюнах.

Я усмехнулся, качнул головой и пошел дальше. Он нагнал меня уже у стоянки.

— Скажи, Шеланков, вот тогда, в ту ночь, вы хотели меня убить? Я промолчал. Он ответил себе сам:

— Хотели... Я знаю. Я ведь поехал вас проверять, а потом раздумал и попросил того из разведки... Я вдруг понял, что вы убьете меня. Особенно Пинаев хотел. Глаза у него такие были! А я тогда, знаешь, смердить стал. Даже пошел и искупался... А вода, знаешь, тоже покойниками пахнет. Пойдем, выпьем Шеланков... Я тебя прошу!

Я не ответил, потому что почувствовал — он действительно смердит.

— А Пинаев там?

— Там, — сказал я, нырнув в машину.

Такси медленно покатило в проулок. Я открыл окно, впустил ветерок и оглянулся. На опустевшей от машин и людей площади одиноко стоял Видура: маленький, жалкий, вертикальный покойник.

Глава 13

Марево потускнело, и вода в пруду перестала искриться. Сонно перекликались птицы, и легкий, как тополиный пух, туман поплыл над землей.

— Ты болен? — спросил я.

— Нет, — сказал Колька. — Не болен.

— Отчего же ты должен умереть?

— Меня убьют...

— Кто?

— Закон.

— За что?

— За то, что я убью Видуру.

Я поежился. Знакомое чувство страха пробудилось во мне и сыпью выступило на теле, словно сотня паучков пробежали по ногам и спине, покусывая и больно щекоча лапками.

— Зачем, — хрипло спросил я. — Зачем тебе это нужно?

— А тебе?

— Мне не нужно!

Я наконец понял, что испугало меня: не грядущая смерть Видуры, не Колькина смерть, а косвенное, только чуть прикрытое предложение соучастия в убийстве.

Пять лет назад, при тех же обстоятельствах, я мысленно пошел на убийство. В девятнадцать лет умирать легче, чем когда. Даже легче, чем в сто. За душой ничего, кроме иллюзий, кроме тщеславного желания стать легендой. Восславить себя в веках хочется больше, чем жить. Расстаться с этим легче, чем с делами, чем с наработанным с таким трудом.

Я слишком долго шел к заветной вершине, чтобы скатиться с нее ради памяти какого-то зла.

— Мне это не нужно! — зло сказал я. — Не нужно, как и тебе! Что нам сейчас за дело до жалкого лейтенантишки, живущего за две границы от нас. Не прикажешь ли ползти к нему на пузе через контрольные полосы, отстреливаясь от пограничников?

— Через два дня он будет здесь, — спокойно пояснил Колька.

— Здесь?

— Здесь. Он едет в отпуск. Вот телеграмма. — Колька потянулся к брюкам и достал из кармана смятый бланк: «Буду вторник встречай Видура».

— Он что же, писал тебе?

— Писал. И я ему писал.

— Зачем?

— Кто-то всегда хочет убить, а кто-то всегда хочет быть убитым.

— Какого черта! — взъярился я. — Что он сделал нам, в конце-то концов, чтобы пристукнуть его как бешеную собаку?!

— Он бешеная собака, — согласился Колька. — Его нужно убить, чтобы больше он никогда не кусался.

— Убить, чтобы умереть самим?

— И умереть самим...

— А я хочу жить! Ты понимаешь, жить, а не умирать из-за каких-то твоих дурацких идей.

— Жить? — непонимающе переспросил Колька. — А зачем?

— Чтобы жить...

— Ты сам всегда говорил, что этого мало.

— Я не знаю, что я там тебе когда-то говорил, но я хочу жить и приносить людям пользу.

— Вот и принеси ее, Юр, убив Видуру.

— Только такой чокнутый, как ты, Пинай, может додуматься так приносить пользу!

— А как?

— Я рисую, я делаю людей лучше, добрее...

— Скольких? — спросил Колька.

— Что, скольких?

— Скольких ты уже сделал лучше, добрее? Десять? Сто? Тысячу?

— Не знаю, — вяло сказал я. — Не сразу же это.

— Не сразу? А когда? Когда все это начнется?

— Отстань! — сказал я. — Что ты в этом смыслишь. Если бы не мы, было бы еще хуже...

— Хуже? — Колька злобно хихикнул. — Как хуже? Видура не выдавал бы тебе тряпку, а заставлял бы чистить гальюн языком?

— Не Видуры одни живут на свете, есть и другие...

— А как же с Видурами? Кто их будет делать лучше? Может, ты? Пошли ему свою картинку, может, он полюбует! Пошли! Я подожду убивать. Мне, в общем-то, не к спеху. Только ты мне расписку дай, что гарантируешь.

— Ты дурак!

— А ты, Юр, умный, Вы все, Юр, умные, кроме меня. Вы все обдуриваете себя и других лучшим будущим, слова плетете красивые, а надо не так. Я много думал об этом. Надо не так. Надо вернуться в тот июнь, помнишь? До этого мы жили правильно, а потом... Нужно вернуться, Юр, и сделать, как тогда мы хотели. Я — вернусь, а ты — как хочешь. Ты и тогда не очень-то хотел. И не сделал бы...

— Почему?

— Да потому, что я дал тебе пустой патрон. Я знал, что для тебя это не подходит. Жалеть потом будешь. А я жалею, что не убил...

— Тебе бы, Пинай, в том веке жить, — сказал я. — В горах где-нибудь. И заниматься кровной мстостью. Гоняться бы за злом, убивать его и самому становиться после этого злом. И так без конца.

— Почему? — совсем не замечая моего раздражения, ответил Колька. — Конец есть. Таких, как я, никто не убивает. Они сами убивают себя. Я такой...

Колькино плечо лежало возле моего плеча. Я задержал дыхание, боясь почувствовать тот же запах, как от Видуры на площади.

И все же пришлось вдохнуть: острый запах пресной воды вошел в мои ноздри. Он был легкий, свеж — в нем не было ничего общего с тем смердящим запахом Видуры.

Я встал и принялся одеваться. Майка с трудом натянулась на не просохшее еще тело, а рубашка и брюки были влажными от выпавшей на них росы. Чуть слышно брюзжали в траве кузнечики, и лениво потрескивал в костре сушняк.

— Пойду, — хрипло сказал я. — Скоро электричка.

Колька не ответил, и я стал медленно взбираться по откосу. Пинаев окликнул меня, когда я был уже наверху. Он стоял голый у костра и что-то говорил быстро-быстро. Ног его не было видно, он стоял по колено в тумане, и потому казалось, что на облаке.

— Не слышу! — крикнул я.

Он еще постоял с минуту и побежал ко мне. Страшно было смотреть на безногого голого человека, легко бегущего на коленках по облаку. Потом он появился весь, положил мне на плечи тяжелые руки и сказал:

— Я тебе все наврал, Юр. Ты не пугайся. Разве я похож на чокнутого?

— Нет, — сказал я, не чувствуя радости от Колькиного признания. — Ты не похож на чокнутого.

— Вот то-то и оно, — печально усмехнулся Пинаев. — Все, наверное, от того, что мы мало похожи на сумасшедших. Ночью мне думается все так, как я тебе говорил, а днем я понимаю, что это смешно и глупо. Только мне от этого, Юр, еще хуже...

— А-а-а,— махнул он рукой.— Разве ты поймешь это! Ты ведь похвастаться приехал, кем стал... Себя со мною сравнить захотелось. Ну, да ладно, и на том спасибо. А Видура через два дня взаправду приедет. И водку мы с ним будем пить, и убивать я его не стану. А ты тоже живи...

Он снял с моих плеч руки и пошел к пруду. Его тело все больше погружалось в туман. Дольше всего в белом колышущемся молоке плавала голова, потом и она, нырнув, утонула.

Я не нырнул следом, я медленно пошел к станции, где уже повизгивали электрички.

Я обходил дороги, сады, и собаки не лаяли мне вслед, устав от ночных скандалов, ловя в будках последние недружные часы сна.

Я шел и думал, что Колька последний болван, пошутив так, а я, может, еще больший болван, поверив его вранью. Что правильно живу я, а не он, — но все это не приносило желаемого облегчения.

Тогда я стал вспоминать тот июнь, и стало легче. Я сорвал несколько яблок, которые назло ограде вырвались на дорогу, присел у обочины и стал вспоминать все сначала.

Я вспоминал Видуру, Кольку, ребят, монашку, летящую на велосипеде, куст бузины и ночной дождь.

Я вспоминал и медленно жевал яблоки, не выплевывая, а глотая зеленую кашицу с царапающей язык кожурой.

Яблоки были пахучие, вкусные, какими они не бывают даже в августе.

Окно

Ложь

Об истине и не мечтая,
я, робкий, жил тогда. И что ж?
Вокруг меня была густая,
все разбедающая, ложь...

Сейчас я вспоминаю живо
тот мир, полсотни лет назад:
была улыбка старца лжива
и у дитяти лживым взгляд.

Пред ложью головы склоняли,
ложь важно слушали из лож
и ложью новой заменяли
уже наскучившую ложь...

Со вкусом ввали, ввали сладко,
кто просто лгал, а кто втройне...
Но словно смутный сон, догадка
тоскливо брезжила во мне...
Я робок был, и слаб, и молод.
Я бред ночами. Сквозь туман.
Весь в башнях, штилях, трубах, город
был, как чудовищный обман.
Я брел в ботинках неуклюжих,
брел, сам с собою говоря...
И лживо отражалась в лужах
насквозь фальшивая заря.

* * *

Речонька узкая Медынка
бежит, вся в щепках и золе...
Для рыцарского поединка
нет лучше места на земле!
Молочница здесь, как невеста,
сидит,
продавши молоко...
На свете нет такого места!..
Здесь славно резаться
в очко,
здесь славно,
скинув рукавицы,
из снега дом лепить зимой!..
А между тем уже в столице
год наступил тридцать седьмой...
Я ясно понимал едва ли...
Но в ожидании звонка
ночами взрослые не спали...
Я часто видел «воронка»,
что к нам во двор, через ворота
въезжал...
Я с самых ранних лет
фамилии врагов народа
запомнил из столбцов газет.
Тогда уж я читал неплохо...
Тогда я робок был и мал, —
но знал:
как ты страшна, эпоха!..
Хоть и не все я
понимал.

Окно

Книги,
погребенные в спецхране,
снова появляются на свет...
Ни в одном затравленном романе
ничего, как оказалось, нет
пагубного...
В беспощадном свете,
похороненные без вины,
из ночного мрака
книги эти
наконец-то же
извлечены!..
Снял я первый том,
стоявший с краю,
приоткрыл и думаю о том:
как окно,
сейчас я растворяю
реабилитированный
том...

* * *

Было то моей судьбы начало...
Поутру уж слышал я сквозь сон:
радио страну оповещало —
новый враг опять
разоблачен..
Я того во веки не забуду,
слышал я
с рассвета до темна,
что враги, враги, враги повсюду,
что полна предателей
страна!..
Так вопила каждая газета
полстолетия тому назад!..
Поутру встречал я у соседа
в ужасе остекленевший
взгляд,..
Стенгазета о врагах трубила,
О врагах вещало нам кино..
В школе
у учительницы было
в страхе все лицо
искажено...

Рука

Мы идем..
Знаменами алея,
человеческая движется река...
Машет нам с трибуны мавзолея
Сталина спокойная рука.
Кто ответит:
силою какою
этот человек наполнен был?..
Этой вот спокойною рукою
много миллионов он убил!
В поднебесьи голуби, порхая,
на колонны смотрят свысока...
Старческая, дряблая, сухая,
машет людям
страшная
рука...

Среда обитания

1

Всю жизнь мне хотелось иметь какую-нибудь необычную вещь, наследованную или приобретенную у старого антиквара.

Увы, наследовать было не от кого, а хорошие вещи я встречал только в комиссионном магазине, но мечту мою тут же примораживало от недоступной для меня цены. Я грустно думал, что живу я бедно, и рос бедно, и никогда у меня не было ни редкостных книг, ни красивых предметов, а стало быть, и вкус не вскормлен — и нет его!

И вот недавно я прослышал, что председатель нашего фонда культуры вернулся из Китая и привез фарфоровые не то статуэтки, не то чашки-плошки. Я механически встрепенулся, привык наострять уши, как на звуки боевой трубы: там что-то дают, а туда что-то привезли и тоже будут давать. Как-то грустно все это сомкнулось — механика потребителя продуктов и давняя прекрасная мечта. Впрочем, это соображение застигло меня уже на пути к фонду культуры.

Попетляв среди панельных суровых домов, я нашел маленький, ровно карточный, домик с табличкою под низеньким, матушкиным как будто крыльцом. И в этом уютном домике негрубая девица, шныряя пальчиками над клавишами машинки, ответила мне, что Валентина Викторовича сейчас нет, но будет он ровно в четыре. Я вышел из домика и решил подождать в скверике напротив, потому что погода была весенняя, снежистый запах и апрельский звон ручейков, и приятный гул ворон и галок на высоких тополях.

Да, шла весна. И было хорошо. И в такие минуты жизнь прокруживает до канительных совпадений, всегда, между прочим, грустных. Так и сейчас давние мои желания и бедная молодость встык сошлись с теперешней моей целью приобрести наконец-то мечтаемое. И Валентина Викторовича я знал давно...

Лет двадцать назад я был довольно молодым человеком и после вынужденной смены многих местожительств и служб наконец-то поступил на хорошую, хотя и малоденежную работу.

И не то чтобы я ценил эту свою работу, однако ж пора было остепеняться, у меня была семья, жена и ребенок, и надо же было их кормить. Начальник у меня был добродушный и простоватый человек, а само учреждение — с вольными правилами, потому что было творческое. Пожалуй, странное сочетание — творческое учреждение, да мало ли в жизни странного.

Больше о моей работе можно и не говорить, творческое, и ладно, а только скажу, что хорошо было сидеть в просторной комнате. Окна раскрыты, шторы жеманно покачиваются на сквозняке, и дальние трамваи мягко названивают, одежды и говор идущих мимо окон людей приятно вывязывают житейскую канитель. Кто-то зайдет в твою комнату, сидишь и подолгу с ним разговариваешь, а то пойдешь с ним в кафе напротив и съешь мороженого или выпьешь прохладного рислинга. А потом еще в сквере посидишь и — опять к себе в комнату с раскрытыми окнами и приятным колебанием женственных волнующих штор.

И еще любил я перебирать и сравнивать прежнее житье с теперешним. Вспоминалось, как снимали квартиру, но без прописки; болел наш мальчик, задышался, а когда мы прибежали в ближайшую поликлинику, нам сказали: это поликлиника специальная, а вам надо вон куда — трамваем, автобусом и еще одним трамваем. Вспоминалось, как волосики у маленького долго не росли, а потом вышли кудрявые, и мы вдруг увидели, что мальчик наш миловиден, но слишком печальны у него глаза. Смо-о-отрит, маленький, так выжидательно, кротко: а не скажут ли ему и его родителям, что надо ходить не в специальную поликлинику, а в дальнюю, где тети почему-то крикливы и руки у них холодные.

Ах, было... а теперь все идет к лучшему, даже и жильё будет свое! Нет, неплохо теперь я жил. Но произошел со мной нехороший, стыдный случай, о нем бы и не надо рассказывать, да иначе вы не поймете.

Мы с моим товарищем взяли почему-то не одну, а две бутылки рислинга и вечером, когда мой начальник поехал на дачу, засели в моей комнате, но уже закрыв окна и сомкнув шторы. Сидели мы тихо, ну, может быть, не надо было выбегать в кафе и приносить еще и новые бутылки. Наговорясь о литературе, мы переходили к другим искусствам, к песенному, например, и пели в два голоса то «Гори, гори, моя звезда», то «По диким степям Забайкалья», а потом — с хохотом, до сладчайших колик в животе, — про то, как собирались козаченьки на колхозном дворе и думу думали большую: как бы это в гости-то позвать товарища Сталина.

Помню, у ночного фонтана стояли, полезли купаться и страшно удивились, когда через люминесцентные струи проглянули молодцы в милицейских костюмах. Кажется, мы еще и в автомобиле, который нас вез, пели от полноты чувств...

И так вот заночевали мы в казенном заведении и вышли оттуда дрожащие от сыроватых одежд, покачливо ступая в этой неустойчивой жизни.

Задним умом я удивляюсь теперь, что мы не угрызались совестью за никчемность наших развлечений, за глупые и пустые наши души. Мы должны были устыдиться перед своими семьями, перед самими собой, наконец, перед книгами, о которых так уважительно говорили в наших беседах. Нет же, нас как приморозило страхом: что теперь будет?! Увольнение со службы, клеймо пьянчужки и тунеядца... Но и это было еще не самое страшное, а страшное — в наших похмельных догадках. О чем мы разговаривали, звеня стаканами, и какие песни пели? Печальные, да это ничего, это старинные песни, их все поют. А вот зачем петь жизнерадостную, колхозную? А если кто нюхом протянется до рукописных изданий, которые приносил я в мою просторную служебную комнату?

Мы зашли к моему товарищу, кое-как прогладили утюгом наши одежды, побрились и умылись, попили скучного чаю. Я позвонил жене на работу и набормотал что-то насчет нечаянной поездки в район. А в десять часов я был на службе, и никто в то утро почему-то не спешил в мою комнату. Чуждо названивал телефон в кабинете моего начальника, но я не шел туда и трубку не поднимал.

Часу в двенадцатом пришел Алексей Алексеевич, мой начальник. У него было приятное, глупое лицо, которому я почему-то очень обрадовался. С непринужденным изяществом конторщика начальник мой опустился в кресло и подхватил трубку зазвонившего телефона. Я вышел из кабинета, потому что показалось по выражению его лица, что разговор немного конфиденциальный.

Мое сторожкое и трусливое чувство подсказало мне, что телефонный звонок каким-то образом связан с ночным происшествием.

Прошло две или три минуты, и голос Алексея Алексеевича позвал меня.

— Такого я не ожидал от тебя, — сказал Алексей Алексеевич. — Ну не ожидал, никак не ожидал!

Сказать по правде, в иное время я усмехнулся бы его словам. Я вовсе не хотел, чтобы он обо мне думал как о благополучной, благонамеренной личности, ибо сам говоривший был слишком благонамерен — в глазах высокого начальства, в глазах милицейских и прочих служб. Но в ту невыносимую для меня минуту я, конечно же, проговорил:

— Знаете, я и сам не ожидал от себя...

— Да? — сказал он со всею наивностью одномерного и незлого человека, и надо было только ответить: да, чтобы он в то же мгновение поверил мне.

— Да, Алексей Алексеевич.

О, жизнь зависит от многих обстоятельств, от многих вроде бы ни к чему тебя не обязывающих слов, от мягкой и безвредной твоей уклончивости, от кивочка, от легчайшего и почти незаметного подобострастия. Я уже понял, что звонили из милиции и что бумаги для принятия мер милиция посылать не будет. И мы, двое, можем скрыть нашу тайну, и скроем, и будем довольны, как святые, склонные только к добру.

— Ладно, — сказал Алексей Алексеевич, — иди, старик. Ты не забьешь послать материалы нашего пресс-бюро?

— Нет, нет, я не забыл. Я уже все приготовил, надо только вложить в конверт и отдать на почту.

Боже ты мой, разве же прежде я спешил делать никому не нужные дела, посылать материалы какого-то пресс-бюро? (Вот чем хороша служба в творческом учреждении: чем бы ты ни пренебрег, не сделал, а оно и не нужно никому, и совесть твоя чиста.) Вот и теперь я отставил муторное занятие, сидел, покуривал, избывая оставшиеся страхи.

Около пяти часов я встал и спокойным, будничным шагом прошел через коридорчик и замедлился у дверей моего начальника. Скажу «до завтра» — и я свободен.

— Нет, — сказал Алексей Алексеевич, — сейчас нас ждет Валентин Викторович.

— Валентин Викторович? Но разве он знает?

— Знает, старик, знает.

— Но кто же мог ему сказать?

— А кто в таких случаях должен говорить Валентину Викторовичу?

— Вы, — слабо проговорил я, и маленький, крохотный был оттенок вопросительности в моем голосе. Ну, словно угодить, что ли, хотелось. Или, быть может, осторожненько съязвить, не знаю.

То, что сделал мой начальник, не было доносом, не было желанием испортить мою карьеру, нет. А сказать надо было для того, чтобы Валентин Викторович однажды вдруг сам не спросил: а вот, мол, у вас был такой случай, а? Вот и все.

Валентин Викторович был инструктором, который курировал наше творческое учреждение. Он особенно не докучал нам, наоборот, сам Алексей Алексеевич то и дело направлялся к нему с идеями каких-то массовых мероприятий. Так, однажды в дальнем райцентре мы собрали сто пятьдесят молодых дарований, и я до сих пор удивляюсь, откуда их столько взялось.

Жизнь многообразна в своих проявлениях, и потому-то мы живем не унываем, какие бы испытания ни выпадали. Вот и теперь я

в этом убедился. Валентин Викторович стоял в коридоре, отрешенно и сладко покуривал. Мне почему-то он протянул руку, затем по-отечески взял за плечи и повел к себе в кабинет. А моего начальника будто и не замечал. Это было ну просто великолепно! Ты, мол, старый дурак, мог бы и не взваливать на меня такую ношу, а ежели взвалил, то я по-отечески с ним побеседую, а на тебя наплевать.

А был Валентин Викторович совсем не отеческого возраста, ну, быть может, чуточку постарше меня. Или даже и не старше, а дородней, благодаря телосложению и должности. У него было крупное, здоровое лицо и лоб, хотя и скошенный, однако довольно большой. О глазах трудно что-либо сказать, потому что взглядывал он редко, а если и взглядывал, то я тут же заграждался от него, опуская глаза.

— Э-эх! — сказал он со вздохом, когда мы сели. — Народ идет своим историческим путем, но где же наш-то инженер человеческих душ?

Я тут же приятно встрепенулся: небось он вышучивает моего благонамеренного начальника, и поделом ему! Но Валентин Викторович опять вздохнул и повторил свой вопрос:

— Где же наш-то инженер человеческих душ? А во-о-он, валяется в канаве.

Точно! И матушка моя связывала некий грех обязательно с канавой.

— И это ваше купание... Неужели у нас нет специально отведенного места для купания? Есть или нет?

И мне пришлось отвечать: да, мол, есть специальные места. А если бы он спросил, есть ли у нас в области озера и реки, я бы отвечал: да, мол, есть озера и реки, а также и пруды.

— Что может ожидать пьющего? Что? Полная деградация как личности, разрушение мозга. Вот если подойти к такому человеку и спросить: что есть красота? Он будет мычать и ничего вразумительного ответить не сможет. А у него есть мать, есть жена, есть ребенок. Что может дать им этот изверг, чем порадует он старость матери, чему научит сына или дочь?

Вы только представьте сегодняшнее утро. Сын проснулся, ваш маленький, розовенький со сна, он спрашивает: мамочка, а где мой папа? И что должна ответить мать? Отец, мол, твой в тюремной камере, среди мерзейших пьяниц, не знающих стыда и совести.

Эти последние слова я едва слышал, потому что почувствовал горчайшую боль в глазах, когда он проговаривал: «Мамочка, а где мой папа?» Бог ты мой, да вот же я здесь, и так мне больно, нехорошо, маленький ты мой!

Цените боль и не бойтесь ее. Вот и мне полегло, смотрю с вождением, как встряхивает Валентин Викторович пачку и поддавливает сигарету. Но, спохватившись, пробрасывает пачку в руке — ко мне — через стол. И мы закуриваем одновременно, с каким-то удивительным чувством заединства, а мой начальник — он грустно и одиноко не курит, и жаль его.

Только мы докурили, моему начальнику захотелось вытурить меня из кабинета, он было встал, но Валентин Викторович поднял взгляд и плавню его опустил. И начальник мой сел. И мы еще немного побеседовали.

То нежно посмеиваясь, то памятно исходя грустью, Валентин Викторович рассказывал нам о своем отце:

— О, кременной имел характер, а душу — добрую, не пуховичок, но, как пламя, чистую. Жил по строгим правилам, следовал им неукоснительно и того же требовал от других. Ну, что там говорить, старый партиец, какую школу прошел! И вот жил в нашем дворе слесарь домоуправления, до-о-обрый малый, работник отменный, выпи-

вкой тоже ничуть не увлекался. Отца моего уважал, ну и отец по-доброму с ним разговаривал. И как-то вот идут они навстречу друг другу, и тот: здравствуйте, мол, Виктор Афанасьич,— и руку протягивает. Отец ему строго: «Я пьяному руки не подаю, Константин». Ах, ох, да ведь я, Виктор Афанасьич, и не пьян, дескать, а только, быть может, припахивает со вчерашнего! Так этот Константин, ежели случилось ему выпить, за версту, бывало, обходил отца.

— Н-да,— многозначительно сказал Алексей Алексеевич.— Такие люди не поступают убеждениями.

— А как-то,— продолжал Валентин Викторович,— приходит мой старший брат, уже и женат был, жил отдельно. У него в ту пору тяжелая была история, вижу, муторно на душе. Ну, пришел, выставил бутылку: папа, говорит, очень нужно с тобой поговорить! Мать руку к сердцу, глазами показывает: уж посиди с сыном, поговори, ведь плохо мальчику... Отец этак строго на брата поглядел и говорит: мы, говорит, в свое время тяжелую ношу подняли, через горе и стоны прошли, однако нюни не распускали и к успокоительным средствам не прибегали. Так что за рюмкой никаких вопросов обсуждать не будем. И даже не присел, и разговора, конечно, не вышло. Брат весь бледный, глаза-а... однако отвечает: извини, папа, я должен был знать, что нехорошо являться, как я к тебе явился. Ты, говорит, прав, я сам попробую справиться...

— И что же,— с любопытством сунулся мой Алексей Алексеевич,— справился?

Валентин Викторович презрительно помолчал и ответил, что дело-то, собственно, не в этом, а важно, как отец воспитывал своих сыновей — в суровых и справедливых правилах и убеждениях не поступаясь. О, мне очень нравилось, что он откровенно презирает Алексея Алексеевича. И поделом!

Но между тем Алексей Алексеевич теперь не интересовал меня. Я о нем попросту забыл, оказавшись один в вечерней толпе. Ну что там Алексей Алексеевич, ежели сам я подонок, ох, подонок!

Встретив знакомого, я тут же подступал к нему и начинал говорить, что я подонок и мразь, напился — и не было никаких причин, а так, по подлой своей сути, по склонности к пороку. Блевал в милиции, и меня даже стукнула тамошняя фельдшерница, жестковатый удар, не женский... Но так мне и надо! Лицо недоуменного слушателя перекашивалось, как будто мои перекошенные черты накладывались на него.

— Ну, с кем не случается. Конечно, мало приятного, но ты в общем парень... ну, не подзаборник ведь, жену не обижаешь и ребенка любишь.

— Нет,— не соглашался я.— Жену я очень, очень обижаю своим паскудством. И ребенка, ах, разве ж так любят своего сына, которому три года! Вы представьте, ему три года, щечки у него розовенькие со сна, и вот он спрашивает: мамочка, а где мой папа?

К счастью, знакомые попадались не часто, но волнение во мне горело по-прежнему. Я с горечью думал, что вот же есть семьи, в которых люди благородно поступают, благородно мыслят и абсолютно ничего дурного не делают. О, у этого Валентина Викторовича отец был замечательно воспитан и детей своих наставлял в духе приличия, трезвости и уважения к близким. И сын у него: извини, мол, папа, я сам справлюсь. И, наверное, справился, и за всю жизнь не сделал больше ни единой глупости.

А сам Валентин Викторович! Ведь так мягко со мной разговаривал, так чувствительно: «Мамочка, а где мой папа?» Я чуть не заплакался, а он, заметив мое состояние, деликатно опустил глаза и переждал мое волнение...

Но, кажется, он ухмыльнулся, подумалось теперь. Да, да, он ухмыльнулся над моей чувствительностью и, заградившись ладонью, тут же отвернул лицо. Мое волнение — прежнее, теперешнее? — приняло иное качество, и что-то узловатое, упрямое взгорелось какою-то уже свежей обидой.

Однако странные люди существовали когда-то, подумал я. И странные были у них должности, например, инструктор. Но ведь они не исчезли совсем, более того — и не исчезнут, потому что остаются во времени, в памяти. В моей, например, памяти...

Одинокий пенсионер прошаркал по дорожке. Из приемника, который он тащил, ровно корзинку с базара, прозвучали сигналы — было точно четыре часа. Я вскочил, крепко отряхнулся, как будто сердит был на себя, и направился к домику с низеньким крыльцом. Вошел и сразу увидел Валентина Викторовича и в мгновение его узнал. И он узнал, но, думаю, не меня именно, а человека — из многих, — которого он обязательно встречал в сутолоке совещаний, семинаров и прочих ненужных мероприятий.

Тяжелое драповое пальто, и пухлый кус белого шарфа, и поллица под шляпой — все это качнулось в мою сторону. А когда девица, стоявшая перед ним, убежала за перегородку, он весь поворотился ко мне. Правая рука поздоровалась, а левая не глядя прихватила листочек с кипы на столике и протянула мне. Листочек призывал внести посильный вклад в областной фонд культуры. И вдруг... я сказал, что вот я и принес деньги. И даже выложил их на стол.

Вы скажете, глупо. Но я твердо знал, что такая пусть глупость необходима. Человек, который щедро выкладывает из кармана деньги, отличается от человека просящего. А я в эту минуту не хотел быть просящим, мне в эту минуту не нужны были китайские статуэтки. Валентин Викторович приятно удивился моим деньгам, но сделал вид, что это все ему не в новость. Однако, сказал он, деньги-то они принять здесь не могут, а надо их внести в сберкасса.

— Спрячьте пока в карман. И... видите, я одет, я прибежал только на минутку. А теперь мы вместе — идемте, идемте, ничуть не пожалеете. Людмила, — крикнул он за перегородку, — мы уходим.

На крыльце выяснилось, что мы направляемся на аукцион.

— Вы никогда не были на аукционе?

— Никогда! — ответил я и поспешно прибавил: — У меня весь вечер абсолютно свободен.

— Ну вот и пойдем, — засмеялся Валентин Викторович. — Правда, аукцион идет уже с утра, но и вам достанется от зрелища. Пройдемся пешком? Не возражаете? И я вам кое-что расскажу... Ну, образовался в нашем городе практик-центр и за два с половиной года вырос в крупную фирму с годовым бюджетом в десять миллионов. Кайсарова, главу фирмы, конкуренты поименовали капиталистической акулой, и недаром, потому как оперирует он категориями мировой экономики, ну, дивиденды, ссудный капитал, холдинги, биржа товарная и фондовая.

Мне оставалось только удивляться: — Поразительно, невероятно! У-ух, черт побери! Однако при чем тут фонд культуры?..

— А мы решили объединить наши программы, создать культурную среду обитания, в которой возможен культурный бизнес. Иначе, говорю я Кайсарову, твое предприятие рано или поздно деградирует. И он, черт побери, отвалил полтора миллиона на развитие искусств...

Вскоре мы с Валентином Викторовичем оказались в стареньком здании картинной галереи, в полукруглом зальце, битком набитом

людьми. Стены время от времени пронизывала металлическая и сыровая дрожь: близко проходили трамваи, мелко расшатывали каменную кладку и колыхали сырой и затхлый воздух. Штукатурка жалобно куксилась влажными безобразными пятнами по потолку и просторным стенам. Валентин Викторович, когда мы усаживались, нашептал мне, что две трети от аукциона пойдут на ремонт картинных залов.

Недолго поозирав стены, я вскоре же забыл про них, потому что уже не глазом, а внутренним ощущением воспринимал одно — праздник или даже пиршество... Тут почему-то просияло в моей голове: «Даждь нам днесь!» Я рассмеялся над неуместным смыслом этих слов, я пылал — или во мне пылал праздник. Горели большие лампы, и на возвышении перед залом ослепительно сиял в белом костюме человек с таинственным молоточком в артистической руке, и сверкали предметы уже проданные, и еще ярче сверкали еще не проданные. И вот что замечательно: здесь у людей, казалось, не было отягченных заботами чувств, даже меня с моими семьюдесятью рублями ничуть не беспокоила моя бедность, да и не думал я ни о какой бедности!

Однако почему я до сих пор не называю товары, которые выносились и выкатывались на сцену, потом отступали в таинственные сумерки уже свершенного? Именно там, в сумерках, пребывали швейная машинка, проданная за две тысячи рублей, и пылесос за три тысячи, и холодильник — за шесть.

У зала перехватило дыхание, когда объявилось на возвышении пальто производства ФРГ, кремовое, легкое, оно раскрылилось на тонкой подвижной фигурке манекенщицы. Раскрылилось и пролетело, присело, как на весенней ветке, на цифре 600 и, вознесясь до шести тысяч, стало собственностью обыкновенной, ничем не примечательной женщины.

Но восхитительней всего было крещендо звенящих цен, когда продавалась машина «Лада» в экспортном исполнении. Едва лишь, на тихой струне, прошелестела действительная цена, но вот легкой голубой волной набежала цифра, сразу удвоившая первоначальную и взбурлившая музыку. Но затем пошли мелкие и скорые волны последующих цифр, довольно ровные по звучанию и навевающие мечтательность. И вдруг — на самой квинте прозвучало нечто ошеломительное, как тридцать шесть тысяч ударов пульса в минуту. Тридцать шесть тысяч!..

А потом наступил штиль, засияло солнце, нежность разлилась в воздухе. Мое сосуществование в этой веселой канители не могло быть долгим, наворачивалась уже и оскомина. И тут я услышал по соседству какие-то утешительные для себя звуки. Потрескивание в суставах у сидящего рядом мужичонки, затем — как пошмыгивает он носом.

— Шмыг-шмыг, эфиоп тоу ма-а-ать! Это ж сколько их-то, то есть вот именно нас, а? Это ж не миллион, однако на умах не сочтешь. Мне, например, говорили, дадут целую сотню, но ведь таких-то, с артритом и малопенсионных, много небось? А с другой стороны, тридцать шесть тыщ. И эти... холодильники, пальто феергеево, эфиоп то-о-ою!..

— Ничего, дед, — сказал я уверенно, — все будет хорошо, — хотя я ровным счетом ничего и сам не понимал, но приятно ж было перемолвиться с живым человеком.

Он, выбираясь потихоньку, отдалился в толпе, а я, поглядев ему вслед, почему-то подумал: хорошо иной раз с такими мужиками водку пить, уютно, и сморщенный соленый огурчик очень вкусно проникает вовнутрь.

Исчезнувший было Валентин Викторович возник из расслабленной, жижистой толпы, как возникает нетонущий предмет, булькнувший в воду. Суровая озабоченность была в его лице, и показался он мне измученным.

— И вас утомило все это? — спросил он сочувственно.

— Ничуть, — ответил я, — удовольствие отменное. — Тут я помолчал и неожиданно для себя проговорил: — Рядом со мной сидел человек, по-видимому, больной и немолодых лет. Из его слов я понял, что цель вашего предприятия благородна и... м-м...

— Благородна, — сказал он с жаром, — благородна! И никто не должен был в этом сомневаться. А вот с нами поступили неблагородно: в последний момент инициативу перехватил фонд милосердия, и нате вам — денешки пойдут еще и на благотворительство бедным. А это... — Он повел рукой, а я вслед прокружил взглядом по сумеречным и пятнистым стенам. И стены уныло говорили: да, мы так и останемся грязными и в трещинах, и Поленов с Саврасовым к нам не придут. И Рубенс не придет.

Грустный разговор кончился между тем распитием шампанского в темном закутке, который именовался, должно быть, кабинетом главного хранителя галереи. Мы с Валентином Викторовичем пили это прекрасное вино, а хозяин кабинета, никогда, вероятно, не пивший ничего, тоскливо за нами следил. От взгляда его мы как-то быстро опьянели и сами стали тоскливы, глаза у Валентина Викторовича взмигнули и слегка заслезились.

— Обидно, — сказал Валентин Викторович, — очень обидно. Ты стараешься, чтобы создать культурную среду обитания, а тебя так просто околпачивают. Конечно, народ надо подкормить, кто же спорит... — Он помолчал, а затем туманно пригрозил: — Это дело будет, черт побери, иметь для некоторых продолжение!..

Уж не знаю, о каком продолжении он говорил, но вот наше угощение действительно имело продолжение в домике с низеньким крыльцом.

В этом домике я встретил сундук, конечно же старинный, потому что в наши дни не старинных сундуков не бывает. Это вместилище домашнего скарба замечательно тем, что в нем певучий есть замок. Валентин Викторович повернул ключ раз, другой, а чудный замок отозвался по крайней мере пятью полновзвучными тонами. Вот и пропелась татарская печаль из давнего моего отрочества... Да, но прежде чем открыть сундук, хозяин мой затопил печку, а раскрывши сундук, извлек со дна банки с консервами и твердоватую буханку хлеба.

— Я здесь... у меня, понимаете ли.. ну и чайник тоже, потому как без чайника... — Он бормотал, приятно пошмыгивая носом, ну, прямо каялся, и напрасно, очень уютная получалась тут работа и вместе как бы и житье-бытье.

Электричества мы не зажигали, а комнатка освещалась прямо из жерла печи журчащим и трепетным огнем. И прояснился столик, и на нем чашки и большая бутылка — в подвижных отливах пламени напоминала иной раз амфору. Из нее-то мы и разлили по чайным чашкам.

— Видите ли, — мягко заговорил Валентин Викторович, — последние полтора года мы прожили вдвоем с мамой. У вас есть мама? — вдруг строго спросил он.

— Да.

— О, если у вас есть мама, то почему, милый, вы не живете с нею? Почему не читаете ей книг, почему не обернете ее плечи шалью, когда она присаживается к телевизору? А что касается меня, то я

был счастлив тем, что жили мы с мамой вдвоем. И я вам скажу, почему так произошло. Видите ли, в жизни случается так, что матери стареют, а потом начинают тяжело болеть. Вот и у нас — мама не могла уже ходить, слепа, жена твердо сказала, что не может... ну, не может, у нее ведь тоже — работа, то да се, дети и вдобавок внуки, ну, один внук. Словом, у меня не было выбора, я ушел к матери, и мы стали жить вдвоем в ее однокомнатной квартире, заметьте, на двенадцатом этаже...

— О-о, на двенадцатом! — почему-то меня тронуло это упоминание о высоком этаже. И я, быть может, глупо проговорил дальше: — Вы так умеете... так проникновенно! Вот я помню, как вы однажды сказали: мамочка, а где мой папа?

— Не помню,— хмуро отвел он мою любезность. — И, по правде сказать, не хочу вспоминать... А если и говорил, навряд ли так проникновенно, как вам вспоминается. Милый мой, не надо никакой особенной проникновенности, а надо только быть искренним, вот и все. А искренний я сейчас, вот в эту минуту. И вы это бросьте!.. Может быть, вы еще скажете, что я вам рассказывал, какой у меня принципиальный и кристально чистый отец?

— Ну да, я хорошо помню, как вы об отце говорили.

Тут я подумал, а не сумасшедший ли он, так откровенно разговаривает со мной? А впрочем, времена такие, что все нормальные люди ничего теперь не скрывают из своего прошлого. Ну, может быть, привирают насчет дворянского происхождения.

— Ладно,— отмахнулся Валентин Викторович,— оставим это, я ведь рассказывал, как мы с матерью жили. Да, мы жили вдвоем, она, бывало, садилась к телевизору, а я покрывал ее плечи шалью, мягкая была шаль, мама хорошо угревалась... Иной раз мы и не смотрели передачи, а просто сидели и тихо разговаривали. Однажды она спросила, не хочу ли я почитать записки отца, после него осталось восемь тетрадей.

И вот я стал читать. И чем дальше я читал, тем чаще ловил себя на остерегающем жесте в сторону матери, не хотелось, чтобы она как-нибудь через меня почувствовала написанное. Я забыл вам сказать, что сама она в эти тетради не заглядывала, уж не знаю почему. Так вот, я читал совершеннейшую чушь! Про то, как он молодым парнем жил в летних армейских лагерях и в потемках приползал к палатке, в которой его ждала молодая жена командира, а сам командир был где-то в отъезде. Ну, ладно, проказлив был в молодости. А дальше-то, дальше-то... уже за сорок ему, едет на южный курорт и шалееет от вида тамошних красот, ну и не без того, чтобы не закрутить амуры сперва с одной бухгалтершей оборонного завода, а потом еще — с бывшей горничной румынского короля, уж не знаю, как она оказалась на советском курорте и как вообще выжила, да и была ли она действительно королевской горничной. И не это меня поразило, а... восклицательные знаки. Оборонное предприятие — и восклицательный знак. Горничная короля — опять восклицательный знак!

И так вот добрался я до последней, восьмой, тетради, и из нее-то, думаю, последней, вычитаю что-нибудь человеческое, ну, какую-то высшую хвалу жизни, ну, по самой сути, понимаете? И правда, он писал о последней поездке в родное Карабаново... Я читал, жалея его нищее, полусиротское детство, удивлялся повадкам людей, с которыми он спознавался в молодости, его суждениям, его мечтаньям. И тут же, рядом с грустью по минувшему, восторженный рассказ, как посетил он пивзавод в Карабанове. «Посторонних на завод не пускают, а меня встретили как представителя из области, и вот теперь мне семьдесят два годика, и прямо в цехе я пью наше знамени-

тое карабановское пиво. Тут оно особенное, а в продажу поступает — не тот у пива вкус». Ну и, конечно, опять восклицательный знак.

Ах, черт побери, думаю, уж лучше бы ты сел и выпил с сыном, когда он умолял о разговоре, так ему было тяжело! Нет, видите ли, у него принципы, он противник всяких распятий.

И так мне стало грустно! Сижу, тетрадки посползали на пол, и мы с матерью вдвоем, и никто к нам не заходит, ни брат, ни сестра. Про сестру одно могу сказать — ругательница. Ежели человек, с которым она схватилась, болен, например, легкими, она обязательно крикнет: чахоточный, гнилой,— чтобы сильнее ударить. Не-ет, пусть лучше не приходит. А брат... жаль его, хороший был инженер, но спился, оказался в сторожах в каком-то доме отдыха. И зачем-то дочку повез туда же и устроил кладовщицей. Ну какой из девчонки кладовщик? Вскоре же открылась недостача, был суд... и кто-то об этом сказал маме. Бог ты мой, зачем, зачем ей сказали?!

— Простите, а ваша мама...

Он качнулся вперед, его лицо крепко уткнулось в раскрытые ладони, и я услышал из-за ладоней глухой ответ: — Мамы нет.— Валентин Викторович отвел ладони, и открылось недоуменное лицо: как же так, нет мамы? — Да, нет мамы, и нет прежней жизни. Даже и квартиры нет, уж не знаю, кто там теперь поселился.

— Но как же?..

— Не задавайте глупых вопросов. Я ведь знаю, вы хотите спросить, почему квартира не осталась за мной. Да потому, милый мой, что я там не прописался. И никогда... даже когда стало ясно, что мама умирает, у меня и мыслей не было ни о какой квартире. Зачем? Ведь это очень глупо, глупо и нехорошо, если бы вдруг я подумал о прописке... чушь!

Смолкнув, он тяжело задумался. Затем попросил:

— Пожалуйста, подбросьте еще полешков. Правда, уже и жарко, но уж больно хорошо, когда искры танцуют.

Сухие полешки, брошенные в печь, тут же взялись огнем, и защелкали, затанцевали певучие искры. И стало еще уютнее. А горькие слова лучше всего говорить в доме, где пылает печка. Потому что горестное тогда возрастает до человека. Но в конце концов оно все же уменьшается, потому что не может же горестное стать выше человека. И я ручаюсь, что в эти минуты грустные мысли не превышали в нас человеческого.

Мы тихо сидели и, может быть, даже и подремывали. Так прошло, наверное, четверть часа. Пожалуй, я мог бы встать и уйти. Уйти... вот только пусть он попросит еще подкинуть дровишек, и пусть огненные чертенята прыгают в его укромном ночном гнезде. Дело в том, что я почему-то не хотел ему сочувствовать. Между нами дружбы не было, я даже и не видал его последние десять или двенадцать лет. И я не хотел брать куска от его ноши. Вот дровишек подбросить — пожалуйста, но не больше.

Когда-то меня насильно притащили к Валентину Викторовичу, и он, конечно же, не спросясь, повел душещипательный разговор. Ему и в голову не приходило, нужно мне это или нет. Вот и теперь Валентин Викторович не спрашивал.

Он, ровно прочитав мои мысли, хрипло сказал:

— Я мучился бы, когда б не рассказал вам всего.

— Но разве обязательно надо рассказывать?

— Как же,— воскликнул он, — конечно! Обязательно надо рассказывать, иначе зачем... ну зачем мы с вами сидим, и зачем вино, и зачем печка? — Он усмехнулся, но в тот же миг перевалился со стула на сундук и захрапел.

Тут и я махнул рукой и тоже отвалился в кресле, оползая усталостью в глубокий и жаркий сон. И в этом сне — нервном и жарком — почему-то привиделась племянница Валентина Викторовича, дочь его спившегося брата, о которой едва лишь упомянул он в своем рассказе. Кажется, она работала кладовщиком и сделала растрату. И надо было спасать девочку непременно и тут же, иначе пропадет вместе с бедным своим отцом!.. Болочее, жаркое чувство обернулось ознобом, и я проснулся.

Печь прогорела, угли покрылись холодным и сонным пеплом, окно светилось утренними сумерками, и тишина была совершенно глухая. В голове постукивали утренние похмельные молоточки, а от жалости, которую пережил во сне, побаливало сердце. Но теперь я жалел себя. И это было отвратительно — жалеть себя. Зачем-то вспоминался давний случай, который впервые свел меня с Валентином Викторовичем. Какой же я был наивный, искренний до глупости!..

О, искренен был страх потерять службу, искренне и больно жалел я свою семью, которая страдала из-за меня. И с какою искренностью я бичевал себя за грех, над которым теперь можно улыбнуться и сказать: чего не случается в молодости. И столь же искренно хотел я верить, что у других иная, лучшая, жизнь, там все умно, благородно и что, например, отец Валентина Викторовича из какой-то особой, высшей, породы.

Но, по правде сказать, я и тогда какою-то опасливой догадкой догадывался, что сам назидательный человек не совсем искренен. И вот, продвигаясь в смутных и неискренних годах, я, быть может, беспокойным чутьем шел как раз к встрече с Валентином Викторовичем... Ну, нет, нет! Ведь я зачем пришел-то? Чтобы китайскую статуэтку приобрести. Но кто мне отдаст ее за мои семьдесят рубликов? И тут во мне скривилась и дрогнула зависть: а он-то небось богатенький, да и раньше не бедствовал!

Он тем временем завозился на своем сундуке, привстал было на локоть и опять свалился. И, лежа навзничь, низвергаемый в пропасть похмельных сожалений и угрызений, он проговорил:

— Вчера я много чего наплел. Не верьте, забудьте...

— Ладно. Я никому не скажу, ведь вы говорили о своем дворянском происхождении.

— Вы шутите! — привскочил Валентин Викторович, так что старинный сундук недоуменно скрипнул.

— Не шучу, — ответил я. — Теперь никто не скрывает своего прошлого. И между прочим, — прибавил я категоричным тоном, — я не насиловал вас, вы сами...

— Да, да, я сам, — согласился он. — Однако — неужто?.. — Он задумался, а потом махнул рукой: — А-а, ладно, какие еще могут быть тайны?

Но тайна была. Ведь, честно говоря, я думал, что Валентин Викторович, покрутясь в прежних апартаментах, исчезнет, как исчезает в осенних вихрях желто-звонкий листок. И то, что он опять явился — в новизне теперешней жизни, — говорило только о том, что он непременно, непременно исчезнет, как тот же осенний листок. Тогда — какой же смысл во всем этом?

Но бессмыслен был и мой вопрос. Потому что он ничего не мог бы изменить в своеволии жизни. Но как же хочется противопоставить иронию судьбы свою ироническую улыбку, пусть даже и кричащую от страха и неуверенности. И во всей бессмыслице жизни только в этом и есть, наверное, какой-то смысл.

Певцы любви и марцефали

Я прочел с десяток стихотворений покойного Недгара. Это, как мне кажется, одаренный поэт, у которого собственный строй мысли и стиха. Самый стих несколько сюрреалистичен (что мне противопоставлено), но музыка стиха слышна явственно и сильно. Кое-что иногда напоминает Ходасевича, но это — хороший признак. Было бы хорошо, если бы рано и трагически ушедшего от нас поэта напечатали в одном из выпусков «Апреля».

Семен Липкин

Твой гроб стоит на старте у крючка,
В приливе и отливе воскресенья.
Ни радуги, ни свертка, ни свертка —
Ни даже человеческого пеня.

Не ангельского — ангельское вкось:
Туда певцы любви и марцефали,
Не распластав своих предвечных кос,
Не звали, не смогли, не зазывали.

И вот — пустое небо пред тобой,
И тянется дискретная картина,
Сменяясь опереточной трубой,
И рвется в бой, как пьянь у магазина.

Не уходи! Нет, не бессмертен я.
Но черный пласт у нас еще в запасе!..
Душа сменилась?.. Или бытия
Огромный груз прорезал грудь на трассе...

31 января 1985 г.

Н. М.

Стой здесь у выхода, в прозрачном,
Как будто полумертвом сне.
А я в костюмчике невзрачном
Скользну туда, где все вдвойне.

Скользну туда, где ночь протянет
Свистящий полубытия
Кружащий лист, где время канет
На дно, как молодость моя.

Постой у выхода. Не скрою,
Что пред тобою мертв и чист,
Что завтра, утренней зарею,
Протяжных птиц прозрачный свист

Услышу, в эхо упавая,
А ты — у выхода постой,
Пока творенья день шестой
Во мглу откатится, блистая.

13 мая 1984 г.

Сквозь оперение огня
Вхожу в рассвет многоугольный,
И взгляд Твой, ясный и продольный,
Во сне преследует меня.

Нигде Твой голос не найду,
Мечусь в саду, в кайме постельной,
И на расплавившемся льду
Московской осени смертельной

Чужие лица узнаю,
И на окраине скольженья
Вдруг прозреваю и пою
Отрывистые отторженья

Твоих пролетов и псалмов;
И на раскинувшемся блюде
Нет ни изнанки, ни основ —
Лишь фетром сотканые люди,

Сквозь разветвления звеня,
Летят в алтарь многоугольный.
И взгляд Твой, тонкий и продольный, —
Как свет, — выходит из меня.

29 июня 1985 г.

Н. М.

Родная, что твоя измена!
Я стал прозрачен и тягуч.
Я опустился на колена,
Вошел в кровавый солнца луч.

На брюхо волчье опираясь,
Я к раствору своему
Полз пресмыкаясь и не каюсь,
Душой готовый ко всему.

Но взвыли мертвые всезнайки
И Демидургу мне горло сжал.
Господь сошел в малиновой фуфайке,
Ко мне сошел. Восход дрожал.

И вот уже — в цветной купели
Лежу, и звезды рвутся вспять,
И вот — опять уже у цели:
Души твоей тугую прядь

Из темноты — к огню и свету —
Как помню вечно, как люблю —
Навстречу северному лету
И абсолютному нулю!

26 октября 1984 г.

М. В.

Какое счастье Вашим быть портным,
Вам саван шить из красноватой розы
И, разорвав готические сны,
Сойти в луну; и в шаткие наркозы

Фаллическую верность окунув,
Следить, как над разверстым Вашим лоном
Дракон дрожит и жлет, полууснув,
И старческим звенит одеколоном.

12 февраля 1986 г.

Когда-то давно Евгений Рейн рассказал и, можно сказать, подарил мне историю о крысе, приносящей червонцы. Я написал об этом повесть, которая в ту пору вряд ли могла быть напечатана.

Но щедрый Рейн рассказал эту историю не только мне. И спустя некоторое время я прочел этот сюжет в «Юности», напечатавшей вещь Георгия Семенова, которого, увы, сегодня нет среди живых.

Таким образом, получились два, как нынче принято говорить, альтернативных варианта одного сюжета. Никто, кроме Рейна, ответственности за это не несет.

Ему автор и посвящает свой вариант этой истории.

Крысы нашего двора

Евгению Рейну

1

Солнце дотянулось наконец до пустой казенной скамьи за спиной подсудимого. Вползло по деревянной стойке на отполированное людским любопытством и состраданием сиденье и там осталось.

Народная заседательница Лапутянко и на этот ответ подсудимого пошевелила губами брезгливо и отвергающе. Чугунов знал, что у нее на губах: «Сказки Хофмана, натуральные сказки Хофмана!»

Судья спросил:

— Что же, крыса в одно и то же время всегда приходила?

— В одно и то же, — ответил подсудимый Кокорев.

— В какое именно?

— Минут двадцать пять шестого.

Лапутянко опять пошевелила губами: сказки, мол, Хофмана!..

Судья спросил:

— Вы почему время так точно определяете?

Подсудимый говорит:

— Я, как смену закончу, пока помоюсь, пока в подсобку пустую дойду, таранку — ну, там, воблу — пока обобью, крышку с пива скывирну — минут двадцать пять обязательно пройти должно.

Лапутянко — голос у нее, надо сказать, звучный, ясный, — обращается к судье: — У меня вопрос к подсудимому. Разрешите?

Судья разрешает. Лапутянко, сука, спрашивает:

— Разве ж подсобка, то есть подсобное помещение, где вы пили, — для того, шобы в нем пиво распивать?

Судья говорит: — Отвечайте, подсудимый.

Подсудимый говорит: — Нет, не для того.

Судья у заседательницы спрашивает: — У вас еще есть вопрос?

Она отвечает: — Нет, — и худыми губами опять шевелит, будто газету читает.

Судья продолжает допрос: — Как долго продолжалось ваше общение с крысой?

Кокорев говорит: — Пока я в отпуск не ушел.

— Уточните, сколько это времени прошло со дня вашего знакомства... гм... со дня появления крысы и до момента вашего ухода в отпуск?

— Три недели.

Судья считает в уме: — Таким образом, получается, что за это время вы получили от крысы... сколько?

Кокорев плечами пожимает: — По червонцу всякий день.

Лапутянко нос к судье повернула: есть, мол, вопрос.

Судья говорит: — Вопрос имеет народная заседательница.

— Вы утверждаете, шо крыса приходила каждый день, так? — спрашивает подсудимого Лапутянко.

— Так.

— А по субботам и воскресеньям?

— По субботам и воскресеньям не приходила.

Лапутянко долго смотрит на Кокорева желтыми красивыми глазами.

— Значит, вы утверждаете, шо крыса разбирается в человеческом календаре?

Кокорев говорит: — Я не утверждаю.

— Как же ж вы объясняете, шо крыса не приходила именно по субботам и воскресеньям?

Кокорев плечами пожимает: — Может, она и приходила, я не знаю, я на субботу и воскресенье в деревню, к крестной уезжаю.

Судья Чугунову говорит, очень устало: — Может, и у вас, товарищ народный заседатель, есть к подсудимому вопрос?

— У меня пока нет, — отвечает Чугунов.

Тогда судья встает и произносит: — Объявляется перерыв в заседании суда до трех часов дня.

Кокореву солдат баланду в судке принес, и Кокорев прямо на скамье подсудимых эту баланду медленно, без охоты стал есть. Остальные, кроме солдат, пошли обедать кто куда: судья — домой (он жил по соседству с судом), Лапутянко — в диетическую столовую, а Чугунов — к другу детства, который из центра в этот, по словам чугуновского соседа Евгения Михайловича, «Альфавиль» когда еще переехал и теперь — на бюллетене, потому что, поскользнувшись в дешевой — ни городской, ни деревенской — грязи, повредил ногу.

Друг накормил Чугунова яичницей и открыл две бутылки пива. Чай и кофе у него не водилось. Чугунов яичницу одним стаканом запил, от второго отказался. Друг спросил:

— Что же, громила-то твой врет по-прежнему?

Чугунов плечами неопределенно пожал.

Друг говорит: — Да ты что, веришь, что ли, про крысу-то?

Чугунов не знает, что и сказать. С одной стороны, дикая история, и Лапутянко, сука, свой припев насчет сказок не совсем зря так часто употребляет. С другой стороны, Лапутянко — сука вполне видимая, злодейка и, наверно, Клеопатра, и если во что не верит, то не может в этом самом совсем уж никакой правды не быть. И Кокорев, такой обыкновенный и как бы знакомый по всей трудовой жизни мужик, сам, из своей собственной головы, сказку Хофмана составить навряд ли сможет.

Очень неплохое впечатление производит подсудимый на Чугунова. Хотя и преступник.

Чугунов смотрит на пиво в стакане у друга, веселое и баловное в шустром солнечном луче, и думает про свое детство, про двор, из которого друг переехал в новый район, а Чугунов как жил, так и остался на всю жизнь. Двор этот очень изменился, стал зеленым и ухоженным. А был...

Серые сараи перегораживали пространство, кое-где поросшее смелой грубой травой. Сюда выходили окна и подъезды трех четырехэтажных рабочих кооперативов, возникших в конце двадцатых годов. Предполагалось, что здесь жили те, кто работал на фабрике «Красная роза», на заводе «Каучук» или на предприятии «Гознак». Двор был окружен бараками метростроевцев и маленькими серыми домиками. Они назывались термолитовыми. Дети из этих домов почему-то всегда плохо учились в школе.

В сараях некоторые жильцы еще незадолго до войны держали кур, кроликов и даже свиней. Голос двора был похож на фабричного, который никак не отделается от деревенских интонаций. Похрапывали редкие машины, пробиравшиеся проходным из Хамовников на Усачевку, похрипывали Вертинский и Лещенко из окон редкой интеллигенции, постанывали городские породистые голуби в надсарайных голубятнях, но и гармошка повизгивала, свиньи похрюкивали, петухи покрикивали.

Но больше всего было крыс. Они жили и в сараях, и в огромных деревянных помоечных ящиках с тяжелыми крышками, как правило, не закрывавшимися из-за обилия отходов, необъяснимых при скудной жизни.

Странно, что воздух детства в памяти Чугунова был насыщен сухим жаром железных крыш, противоречащей ему прелью от кустов акации в палисадниках термолитовых домов и еще пронзительным, как свист дворовых атаманов, запахом карбида, которым почему-то не оскудевала бочка возле котельной. Обоняние забыло, как бы простило пространству, окружавшему детство, помоечный запах. Но зрение навсегда вцепилось в образ двора, с его сараями, мусорными ящиками и крупными, гвардейскими какими-то крысами, неторопливо пересекающими двор, если рядом не было мальчишек, или проносящимися от сарая к сараю у них на глазах.

Впрочем, и сараи, создающие причудливый, изобилующий игровыми возможностями рельеф двора, напоминающего ущелье с басмачами, индейцами, шпионами, чекистами, казаками и разбойниками, и мусорные ящики, где нет-нет да и попадалось что-нибудь ценное, чего не разглядел усталый взрослый глаз, и крысы, предоставляющие постоянную возможность утоления мальчишеской агрессии, — все это было скорее подарком судьбы, не тяготило, а радовало.

Интересно, что крысы, бывшие почти товарищами дворовых игр, проникая в квартиры, пугали, становились настоящими врагами...

— Будешь? Не будешь? — спросил друг и вылил в свой стакан остатки пива из второй бутылки.

Чугунов сказал: — Ты Эмку Нагель помнишь?

— Немку, что ли, из второго подъезда?

— Ну, ее, ее.

— Помню. Их в начале войны сослали куда-то. А ты чего ее вспомнил?

— А знаешь, что с ее отцом, дядей Францем, было?

— Ну, убили его в Испании.

— Правильно. А года за два перед этим крыса у них поселилась. А они, немцы, к крысам непривычные. Эльза Людвиговна орет, визжит, за Эмку трясется, хоть эта Эмка не хуже нас крыс во дворе кирпичами била... В общем, сделал дядя Франц крысоловку, сам целый день мастерил: какие в продаже были, те его не устраивали. Ну, поставил. Кусочек шпику туда засунул. Ночью — визг, возня... Потом смолкло все. Встать он поленился. А утром посмотрели: крысоловка пустая, только нога крысиная лежит, пружинкой прижата. Ну, с тех пор ее не было, крысы...

Друг говорит: — Это она, крыса, сама себе ногу отгрызла, чтобы уйти. Они так делают, я знаю.

Чугунов соглашается: — То-то, что сама. Это какую волю к победе надо иметь! Простое, невыдающееся животное на это неспособно.

Друг говорит: — Делают! И другие так делают!

Чугунов кивнул: — Ну, пусть и другие так делают... А вот как мятеж в Испании начался, дядя Франц, как старый коммунист и член которого-то Интернационала, уехал в Интернациональную бригаду против Франко воевать. И правильно ты вспомнил: убили его. И вот — Эмка сама мне рассказывала — пришло Эльзе Людвиговне извещение о его смерти, и она на кухне на табуретку села без сил, сидит, извещение перед ней на столе — сидит, не знает, как сама переживет, как Эмке скажет. Сидит и вдруг чувствует: смотрит на нее кто-то, и не с добром, а с насмешкой, со злобой такой. А никого нет в квартире, она одна. А кто-то смотрит. Глянула Эльза в угол, а там — крыса полуметровая. И лапы у нее только три. И смотрит она на Эльзу, и вроде улыбается: вот, мол, пришла я через два года посмотреть на смерть врага своего, жизнь мне искалечившего, пришла на трех лапах, но живая, помянуть его, мертвого...

Друг говорит: — Брось!..

Чугунов отвечает: — Вот тебе и «брось!» Что я писатель, чтобы такие сказки Хоффмана из головы составлять?.. Я это к тому только, что крыса животное не простое. От нее чего хочешь ждать можно. Да ты сам-то, бок о бок с крысами все детство проживя, неужто ничего такого про них не вспомнишь?

Друг стал смотреть в пустой стакан с чуть позолоченным миллиметровой пленкой пива доньшком и вспомнил много всякого такого. И хотя он ничего не сказал Чугунову, но по возвратившемуся через некоторое время взгляду собеседника Чугунов понял, что друг его — прежний нормальный дворовый человек, не лапутянка какая-нибудь, и что в суровом и справедливом — ответственном очень! — решении, которое на днях, скорее всего во вторник, предстоит принять Чугунову в суде, он, друг, — опора и подмога неповоротливой чугуновской совести, как опора и подмога ей все, с кем Чугунов трудился, озоровал и старел за свою теперь уже долгую жизнь.

2

Чугунов пришел в суд за полчаса до начала вечернего слушания дела. Сел в угол совещательной комнаты, к окну, радуясь, что Лапутянка и судьи еще нет и можно спокойно подумать о деле. Окно выходило на старые невысокие дома, единственно сохранившиеся в этом районе постройки двадцатых годов, похожие на послевоенных хулиганов. Теперь вот, теснимые юными каменными акселератами, они жалась к суду, которого раньше им прямой резон был бояться...

Чугунов хотел взять у секретаря суда папку с документами, но подумал: стоит ли? Зачем в десятый раз перечитывать то, что скоро вычишь наизусть?

В сущности от него мало что зависело. Дело было не таким уж сложным. Скорее даже простым. Подсудимый Кокорев в последний перед Новым годом рабочий день чуть не убил своего приятеля Гречушкина — того с трудом отходили реаниматоры. Кокорев сам же вызвал сначала «Скорую помощь», а потом и милицию.

Закавыка заключалась только в том, зачем подсудимому понадобилось сочинять возмущавшие народную заседательницу сказки, описывая историю, приведшую к такому печальному концу.

История эта, будучи рассказана Кокоревым, выглядела так.

Кокорев, работавший грузчиком в речном порту, полюбил после работы заходить в одиночестве во временно пустовавшую подсобку пакгауза, чтобы выпить бутылку пива: после его работы всегда хотелось пить. К пиву у него водилась вобла, доставляемая с Волги двоюродным племянником... Однажды, расположившись на шатком колченогом стуле, а бутылку и рыбу разложив перед собой на хорошем, крепком, Кокорев собрался сделать глоток, как вдруг почувствовал, что он не один. Кокорев остановил на полпути руку со щербатым стаканом,— а он всегда, когда позволяли обстоятельства, пил только из стакана,— огляделся внимательно и увидел, что по деревянной балке непонятого назначения, протянутой над полом, к нему идет большая крыса («Килограмма на полтора, со щуку»,— определил Кокорев почему-то по-рыбацки, только что на руке не отметил величину крысы, постеснялся, видать, народной заседательницы, которую при упоминании живого веса крысы всю просто перекосило. Чугунова же такая точность взволновала и почти убедила. «Вот и наши такие-то были»,— подумал он.)

Кокорев крыс не любил. Он замахнулся и сказал: «Кыш!» Крыса остановилась, но не уходила, словно бы чего-то ждала от Кокорева. Он присмотрелся — крыса дала ему эту возможность — и обнаружил, что в зубах крыса держит что-то красное. Кокорев надел очки, которые не любил носить, но в которых видел гораздо лучше, и был потрясен, обнаружив, что красное — это червонец, причем аккуратно сложенный пополам. Кокорев утверждал, что рука его, до сих пор тихая, в эту минуту сама потянулась к крысиному рту и вынула из зубов червонец, имевший вид абсолютно нормального государственного денежного знака, украшенного всем тем, что этому знаку положено. Крыса, казалось, была довольна таким оборотом дела, но не уходила, ждала. Чего?.. Кокорев, в отличие от Чугунова, был невысокого мнения об уровне крысиных потребностей. Поэтому, недолго думая, он выбежал из подсобки, миновал здание пакгауза и в заветную дыру в заборе проник на улицу, где прямо напротив дыры сверкал пустыми витринами продовольственный магазин. Кокорев купил в нем бутылку «Московской» и шматок сала, имевшего, как он выразился на суде, «непритязательный вид» и поэтому не сходявшего с прилавка, несмотря на отсутствие выбора. Когда Кокорев протягивал червонец кассирше, то испытал чувство некоторого страха, о чем честно поведал суду. Тем более что кассирша, мельком взглянув на Кокорева, потом зато очень долго и пристально разглядывала на свет купюру.

Но деньги оказались настоящими. И путь назад Кокорев проделал в состоянии радостного волнения, как будто сбылось наконец то, о чем он давно мечтал и чего заслуживал.

Крыса ждала Кокорева на том же месте. Кокорев отдал ей сало, предварительно освободив его от обертки, так как правильно рассудил, что крысе так удобнее будет нести шматок. (Когда подсудимый рассказывал, как он отдавал крысе сало, то сделал какой-то короткий, но явственный кивок не то поклон в сторону воображаемой крысы, поклон, выражающий приязнь и дружбу, так что присутствующим в зале суда, независимо от их веры в показания преступника, очень ясно представился этот момент установления взаимовыгодных торговых отношений между крысой и грузчиком речного порта Петром Кузьмичом Кокоревым.)

Так как продукт, полученный в результате крысиной инициативы, Петр Кузьмич вынужден был, по случаю непредвиденности события, употребить в одиночку, он, не будучи к этому привычен, проснулся на следующий день с головной болью и сомнением, было ли все это на самом деле или, может, приснилось ему в прекрасном, но бесконечно далеком от действительности сне. Поэтому и радостного волнения, и:

тяжелых предчувствий — всего хватало в душе Кокорева, когда после трудного рабочего дня он шел в подсобку, шел как на свидание к существу, уже дорогому тебе, но в котором ты еще не до конца уверен.

По дороге его остановил культорг и потребовал принять участие в культпоходе на «Оптимистическую трагедию» в театр имени Ермоловой, и Кокорев, который боялся, что его вид после вчерашнего произвел на влиятельного общественника плохое впечатление, внес на мероприятие один рубль десять копеек из сдачи, полученной вчера с червонца. Эта процедура отняла у него некоторое время, и когда он, нервничая, вошел в подсобку, крыса уже ждала его на том же месте, на котором вчера остановилась в своем продвижении к сделке с человеком. Из пасти у нее торчал червонец.

Все дальнейшее повторилось в той же последовательности. Но когда довольные друг другом стороны расстались, Кокорев, не будучи пьяницей, а полагая бутылку средством человеческого сближения, позвонил заранее предупрежденному пенсионеру Фахрутдинову, с которым иногда играл в шашки, и они эту бутылку выпили, пригласив третьим Гречушкина. (Все это Кокорев излагал обстоятельно, стараясь быть точным, а над словами «пригласили третьим» задумался, видимо, сомневаясь в правомерности в данном случае этого специфического все-таки термина, как правило, скрывающего за обходительным глаголом жесткую форму равного денежного участия всех троих: они-то ведь пили на кокоревские, вернее, на крысины деньги.)

И началась у Кокорева новая жизнь. Вечера его, за исключением потраченного на ермоловский театр, были полны дружбы, умных разговоров и теплого удивления кокоревских приятелей по поводу его щедрости и благоденствия, прямо осведомляться о причине которых они считали не деликатным. Цен крыса либо не знала, либо в ней текла кровь грузинских крыс: сдачи она, одним словом, не требовала. Семья у Кокорева не было: жена так и померла неродихой, и сетовать на счастливые кокоревские вечера было некому. Приятелей он подбирал для распиву нешумных и от хмеля задумывающихся, прислушивающихся к чужому слову. На работе таких было немного, и он пил в основном с пенсионерами, пил понемногу, ценя благое состояние первоначального хмеля и не идя дальше него. (И в этом месте своего рассказа Кокорев на мгновение остановился, глаза его стали нездешними, он, видно, вспомнил эти вечера, наверно, лучшие в его жизни. Может, они казались ему намеком Господа на то, какой могла бы и должна была бы стать жизнь человеческая, если бы не хреноватость, таящаяся в людской натуре, не суетливость и нахальство души, с которыми человек борется мало и лениво. В конце концов это дело Бога, кого использовать в качестве своего посланца: белокрылого ли ангела с черными кудрями, который в избе крестной всегда глядел на Кокорева с восточной стены, длиннохвостого ли серого зверя, живущего в темном чреве пакагуза,— на все воля Божья...)

3

Головные боли перестали мучить Гречушкина скорее, чем предполагали врачи. Но заикание, появившееся вследствие травмы головы, освоилось в гречушкинском речевом аппарате и грозило остаться навсегда. Однако главная беда была в другом.

Гречушкин, после того как его увезли на реанимобиле, не имел случая проверить, сохранил ли он свои мужские возможности, и ему почему-то казалось, что им причинен ущерб. Правда, он не понимал, как это может быть: где, как говорится, голова, а где... Но страх был. Из трех его соседей по палате неврологического отделения, куда Гре-

чущкина перевели после того, как спасли ему жизнь, один, глубокий старик, лежал без слов и движений и в судьбе гречушкинской участия, естественно, не принимал. Из двух других один Гречушкина успокаивал, а другой поддерживал в нем невыносимые догадки. Тот, что поддерживал страх, был разговорчивей и культурней: кончил приборостроительный техникум и полагал, что разбирается решительно во всех приборах. Он по вечерам, перед сном, доводил Гречушкина до бессонницы рассказами о том, что деверь его после производственной травмы, не имеющей прямого отношения к воспроизводящим потомство органам, «попал в погашение» и теперь страдает от поведения жены, вынужденной — а куда же денешься? — изменять ему с кем попало, включая и его, гречушкинского соседа по палате. Гречушкин, отчасти уповавший на то, что во сне ему может подвернуться ситуация, которая хоть как-то прояснит, сохранился ли он как мужчина, злился и грубил соседу. Но уснуть потом не мог. А если засыпал, сны были короткие, вполглаза, ничего дельного не снилось, и это еще больше пугало больного.

Дело в том, что Гречушкин любил и ценил в себе именно большие мужские способности. Они удивляли его самого. Невидного, а для грузчика так просто слабого телосложения, он тяжелым физическим трудом невольно умерял свои хоты и не растущие, но постоянные потребности. Сейчас же, лежа целыми днями в постели или разгуливая без дела в халате, он вправе был ожидать в себе буйной игры чувств. И, не обнаруживая ее, был подавлен и угнетен. И ненавидел соседа-приборостроителя. Жаловаться на него лечащему врачу Гречушкин стеснялся: врачом была молодая рыжая женщина. Она нравилась ему. Но именно она и заронила в Гречушкина сомнение в его здоровье. Всякий раз, когда она брала его за руку, чтобы проверить пульс, он боялся, что легкая его больничная одежда не сумеет скрыть от врачихи, как он к ней относится. Но скрывать, увы, было нечего: никак он, оказывается, Гречушкин, к ней не относился! Это было ново... Гречушкин от постоянных тяжких раздумий стал терять аппетит. Врачиха была им недовольна. Гречушкин, веря, что все недовольства в женщине происходят от одного, главного недовольства, стыдился и нервничал еще больше. Возникал некий порочный круг.

Другой сосед Гречушкина, старый отставной милиционер, которую неделю читал найденный им в больничном саду тоненький рванный журнал без обложки, по временам пугая сопалатников оглушающей, как у всех глухих, информацией:

— Слышь, чапчики, в Японии бандиту одному дружок горло перерезал, так ему врачи попугайское поставили — он всю банду враз путем этого горла заложил!

Или:— В городе Филиппине один врач кишки из спины прям влекет без ножа, пойдет, промоет и опять через спину втыкает на место. И никаких тебе клизм, не то что у нашей!..

Клизм милиционер боялся до старушечьей какой-то паники. Откуда он брал свои сведения, что путал в журнальных заметках, определить было невозможно: журнала он никому не давал, злобно отпихивал протягивающуюся к нему руку приборостроителя, кроя его старомодным, классически простым матом и вопя:

— Вот же! Вот же! Я сам зачитаю!

И действительно зачитывал что-то полупохожее.

Гречушкин в борьбе за журнал участия не принимал, милиционера проверять не собирался. Он не милиционеру не верил, а печатному слову. Проводя большую часть своего больничного времени в постели, без книг, он волей-неволей думал. И чем больше думал, тем больше расстраивался.

До последнего времени все в жизни Гречушкина было просто. Прежде всего ему нравилось время, в которое он жил. Главной гречушкинской радостью были женщины. Невидный Гречушкин доставал до чего-то в их разной глубины душах, и они ему были за это благодарны. Время же наше нравилось ему за то, что женщины совсем не требовали денег, которых у Гречушкина не было, сами еще интересовались, какая у него в чем нужда. Раньше, в другие времена, если верить старикам, было по-другому, на взгляд Гречушкина, хуже.

Любовная жадность Гречушкина, видно, создавала у женщины ощущение ее нужности ему, особой ее желанности. А что еще так дорого настоящей бабе? И у Гречушкина было сознание, что он делает хорошее и важное дело. И Гречушкин никому из женщин ни в чем не отказывал. Жил просто и сладко. Жена была, но не мешала: много बोла. Только раз сказала:

— Бог тебя, Толик, накажет за нас, за баб...

— Что я вам, чего плохое делаю? — искренне спросил Гречушкин, смутно чувствуя, впрочем, что делает не одно только хорошее. Бога он не боялся, потому что знал, что его нет. А то бы немножко боялся.

Вообще Гречушкину было ясно, что многого из того, о чем любят болтать люди, нет. Нет Бога, нет гипноза, нет молекул и дружбы народов. Есть женщины — безусловно, лучшее из всего, что есть, есть вода и, слава богу, есть крепленое красное вино, помогающее достойнее оценить женщину. Кажется, есть совесть: это когда тебе неудобно. Обманул бабу — пошел к другой: тебе хорошо, но неудобно перед первой. Подвел приятеля — опять неудобно. Все же остальное — бабкины сказки, промысел старух.

Но непонятное смыкание со старухами обнаруживал в последнее время Гречушкин у вполне нормальных и не старых, а чаще всего у молодых и — странно — образованных людей, например у студенток из техникума, что у троллейбусной остановки. Во все верили. Уж ладно — в сны. Но и в бессмертную душу. И в обезьян и коз каких-то, на годовые события влияющих. И попросту в Бога. Еще страннее, что некоторые газеты и журналы, в целом направленные наукой на сокрушение разных бесполезных вер, сами нет-нет да и поддерживали суеверия, сообщая о всяких чудесах. Вот и журнал, который читал сосед Гречушкина по палате, был, видно, из таких.

Гречушкин долго думал и наконец понял: наука растерялась. Это понимание почему-то родило в нем злобную и беззаветную приверженность той правильной науке, которую он знал раньше, в школе, и с которой у него наблюдалось согласие в главном, а именно в том, что почти ничего нет.

Сидя у окна палаты неврологического отделения, Гречушкин наблюдал за вороной, раскачивающей ветку больничной липы. У вороны был хитрый глаз, и она кого-то напоминала Гречушкину. Она поглядывала на него изредка и не прямо. Хрен знает, что у нее было на уме... Если бы Гречушкин не был так привержен материалистической науке, то вороный взгляд он мог бы принять за ехидную подлянку: вот, мол, не веришь ты, Гречушкин, что мир сложен, и удар цельнометаллическим дрыном по человеческому кумполу может роковым образом отозваться в другом, почти противоположном участке плоти людской, — за то тебе и полное твое невмешательство в женский организм, когда тебе мытой гладенькой ручкой пульс щупают.

Гречушкин сам удивлялся, как мало огорчало его заикание. Он верил, что оно пройдет. Но другое, другое, таимое им от врачихи последствие травмы! Гречушкин устал уповать на удаленность задействованных органов друг от друга. А тут еще этот Лева из Могилева!.. Гречушкин имел в виду специалиста по приборам, сторонника новомодного научного декаданса.

...Гречушкин еще раз взглянул на ворону, которая все не улетала, и понял, на кого она похожа.

«Гад Петька Кокорев,— подумал он,— какую крысу придумал!»

Гречушкин вспомнил, как он покупал в продовольственном портвейн и случившуюся вдруг отдельную колбасу — на деньги, все-таки перепавшие ему от кокоревского поручения, — как, получая в кондитерском отделе триста граммов конфет, оценил и запомнил на будущее большие, лихо подведенные глазки новой продавщицы. Из продовольственного он поехал на метро на Щелковскую, — там, к одной, которую хотел удивить нехарактерным для него приношением даров. Всю дорогу он думал о том, что Петька, хотя прохиндеем его и не назовешь, никак не назовешь, но человек он непонятный: в церковь не ходит, а на верующего похож. Вот крысу придумал. Гречушкин чуть не плюнул на пол вагона, вспомнив, как важно появилась крыса в первый раз: толстая, круглая, серая, как ушанка у Верки, куда он сейчас едет, как ушанка, только сзади провод прицеплен. И по глазу прохиндейскому видно, что все четыре подлости наизусть знает... Вот она на кого похожа, ворона! Догадавшись об этом, Гречушкин взмахнул на ворону рукой, но она не пошевелилась. «Знает, бильдюга, что между нами стекло, не достанешь ее,— подумал Гречушкин, и тут же ему стало стыдно: ворона ничего знать не может, у нее ума нет, один инстинкт. Птица и все!»

«И все!» — стараясь взять себя в руки, сказал себе Гречушкин. Милиционера, боявшегося сквозняков, в палате не было, а старик доходяга все равно возразить не мог, и Гречушкин распахнул окно и замахал на ворону руками. Ворона улетела.

4

Судья вернулся с обеда раньше народной заседательницы, и Чугунов был этому рад. Находиться с Лапутянко вдвоем в комнате ему было тяжело и неудобно. Она давила на него не своей неприятной, недоброй женской приметностью, даже не готовностью видеть в любом объяснении подсудимого заведомую ложь, а каким-то угнетающим непониманием простых и понятных каждому нормальному советскому человеку вещей: например, того, что подсобка — помещение очень полезное, в частности и для ослабления перенапрягшегося в работе организма, если это, конечно, не вредит ни работе, ни самому организму. Или того, что в мире, окружающем человека, все больше непонятного быстро развивающейся науке, о чем прямо говорит уже и Центральное телевидение хотя бы в передаче «Очевидное — невероятное». И если дальше так пойдет, то науке ничего не останется, как научно и материалистически обосновать существование самого Господа Бога.

Всего этого явно не понимала Лапутянко. Это ее непонимание было не просто неприятно Чугунову. Оно было социально опасно и, в частности, грозило советскому суду принятием нехарактерного для него несправедливого решения. Чугунову на секунду показалось даже, что у американского суда, с его двенадцатью присяжными заседателями, есть перед нашим кое-какие отдельные преимущества: ну сколько таких лапутянок может оказаться на дюжину людей, пусть даже в большинстве своем избранных путем подкупа и шантажа? Чугунов, впрочем, постарался забыть об этом, вообще говоря, не идущем к делу соображении. Но само дело от этого не менялось: Лапутянко обладала одной третьей силы, предоставленной первым в мире социалистическим государством своему суду, обязанному в ближайшие часы или

дни решить судьбу одного из полноправных граждан этого государства...

На вечернем заседании продолжался допрос Кокорева.

— Подсудимый, согласно вашим показаниям на предварительном следствии, у вас с потерпевшим Гречушкиным не было особенной дружбы?

— Не было.

— Почему же именно его вы решили вовлечь в свои... в свои утверждаемые вами отношения с крысой?

— Так он себя нормально вел всегда. Когда чего говорил — делал. В однодневном доме отдыха с ним отдыхали — нормально себя вел. Ну, конечно, извините, до женского полу активный — так это его дело. А тут у меня отпуск. Восемнадцать дней. А с ней чего делать? Она ж ведь, как гражданин народная заседательница говорит, человеческого календаря не понимает.

— Уточните, суду не ясно, кого вы имеете в виду.

— Крысу. Я в отпуск пойду, меня неделю нет, другую нет. Она ж ведь отвыкнуть может.

— Ну, и что вы предприняли?

— Гречушкину открылся.

— И что же, он вам поверил?

— Чего же не поверить? Он со мной за это время два раза пил. Все удивлялся, откуда у меня деньги, что я с него не требую. Ну, а как я ему рассказал все,— тут, конечно, удивляться перестал.

Лапутянко судье носом знаки подает: вопрос, мол, у нее к подсудимому. Судья кивает. Она спрашивает:

— Шо, по-вашему, потерпевший Хречушкин — дурачок?

— Почему дурачок? Нормальный человек.

— Разве ж может нормальный человек всему верить?

— Он не всемо. Он, когда у нас слух пустили, что зарплату к праздникам повысят, первый не поверил.

Судья на Лапутянко смотрит: — Вы удовлетворены?..

Лапутянко шевелит худыми губами: сказки, мол, Хофмана!..

Судья спрашивает Кокорева: — Не могли бы вы, подсудимый, еще раз описать суду все, что произошло после вашего возвращения из отпуска?

— Ну, что произошло... Как я на работу вышел, так в обеденный перерыв подхожу к Гречушкину, спрашиваю: «Ну, приходила?» А он, смотрю, глаза прячет. «Приходила, говорит, но червонец не отдала». «Как, не отдала?!» — «А так, говорит, посмотрела, что человек незнакомый, и ушла». — «Вместе с деньгами?» — «Вместе». — «Так ты бы на другой день пришел!» — «Я, говорит, и пришел. Дождался ее. Руку к червонцу протягиваю — она пятится». Он, Гречушкин,— ей: «Я, мол, Гречушкин, от товарища Кокорева!» Она опять пятится. Так, мол, и ушла. Я Гречушкина спрашиваю: «И что?» — «И все, говорит. Больше не приходила...»

— Ну, дальше,— произносит судья.

— А дальше мы с ним перед Новым годом уже, после смены, зашли в подсобку. Старый год проводить. Как выпили, он мне и сказал: «Обманул я тебя, Петя. Убил я крысу твою. Как она от меня попятилась — обидно мне стало, что она меня за дружка твоего не признает, я ее вот этим дрыном и убил!» И показывает на цельнометаллический дрын — он давно в подсобке валялся среди крюков для мясных туш, брошенных да ржавых. И опять мне говорит: «А бутылку эту, что мы пьем, ты на мне считай, доли твоей мне не надо, пускай она считается в том одном червонце, какой я от крысы твоей взял, как покончил ее. И еще, говорит, одна бутылка за мной. И я, говорит, очень довольный

тобой, как товарищем, что ты не пожалел мне хотя на время отпуска такое знакомство уступить, как эту мертвую теперь крысу». «Ну вот, сидим мы с ним в подсобке, и что-то захмелел я, и хмель не как при крысе, а нехороший, недобрый. Сидим, а свет от лампочки скучный, несветлый и — на балку эту светит деревянную, по которой крыса приходила, а теперь уж не придет никогда... И такая тоска меня взяла... Что ж, я подумал, ни семьи у меня, ни образования. И крысу Гречушкин, поросенок зловонючий, убил!.. И тут мне дрын этот самый под руку подсунулся... Я по голове не хотел, но попал неметко. А Гречушкину много и не надо...»

В зале суда было душно и одновременно холодно. Судья о чем-то задумался, и, когда Кокорев замолчал, заседание, никем не ведомое, застыло на месте, словно кадр из какой-нибудь киноленты, страдающей ползучим реализмом.

Первое, что задвигалось, — это нос заседательницы Лапутянко, понукающей судью к тому, чтобы ей разрешили задать очередной вопрос. Ей разрешили.

Лапутянко сказала: — Вы вот, подсудимый, нам тут всякие сказки Хофмана хородите, а ховорите прямо: раскаиваетесь вы в совершенном вами преступлении, жалко вам пострадавшего от вас Хречушкина или же нет?

И Кокорев вздохнул, промолчал и опять вздохнул:

— Жалко. И свободы жалко... И крысы.

Вечернее заседание текло вяло и медленно. Прения сторон перенесли на вторник.

5

Утром в субботу Чугунов позвонил в дверь к соседу по лестничной клетке, другу детства, интеллигенту, у которого было много книг.

— Жека, у тебя сказки Хофмана есть?

— Гофмана, что ли? Ты, Андреич, где это берлинское произношение подцепил?.. Сейчас погляжу: должен быть, если друзья не утащили... Вот Хайне, говоря по-вашему, по-берлински, стоит, а Хофман... Ага, вот и Хофман!

Евгений Михайлович протянул Чугунову толстенькую серую книгу, на которой было написано «Эрнст Теодор Амадей Гофман».

— Что ты, Жека, веселый такой?

— Во вторник на юг лечу, к отчиму.

— Передавай привет, если, конечно, помнит. А книгу я послезавтра вечером занесу.

— Да отдашь, когда вернусь.

— Нет. Мне ее быстро прочесть надо, до вторника.

— Я гляжу, Андреич, ты этак к четвергу всю немецкую культуру превзойдешь.

— Я, Жека, как прочту — зайду. Поговорить надо.

— О прочитанном, что ли? — Такое у них бывало.

— Нет, не о прочитанном.

— Ну, заходи.

Чугунов унес книгу.

Он читал ее сначала внимательно, ничего не пропуская, потом понял, что читает медленно и не успеет, и стал пропускать абзацы и целые страницы, если слабое его чутье говорило ему, что там нет ничего про крыс. Порой, — хотя и нечасто, — это было досадно Чугунову, история начинала увлекать его, становилось интересно, что же дальше, но Чугунов знал, что одоление этой, непонятно, взрослой или детской, книги — работа, а не развлечение. Субботняя часть этой работы не дала ничего. У Чугунова перед сном появилась мысль, что Лапутянко

сама не знает толком, о чем говорит, и Гофмана, наверно, не читала. Но в воскресенье к полудню приступил к новому повествованию под знакомым названием «Щелкунчик». И не успел он перевести взгляд с названия на текст, как за стенкой, у соседки, послышался голос Лапутянко.

— Танец феи-драже из балета Чайковского «Щелкунчик»,— сказал голос.

Это совпадение поразило Чугунова. Ему стало неприятно, что дикторша радио говорит голосом народной заседательницы. Чужая в этом подвох, каверза со стороны Лапутянко, до которой неведомым, телепатическим, что ли, путем, как будто дошли сомнения Чугунова в ее эрудиции.

Чугунов танец феи-драже слушать не стал, так как понимал, что искусство балета, бессловесное да еще транслируемое по радио, да еще воспринимаемое через коммунальную стенку,— не помощник ему в его темном, но честном поиске. Он снова стал читать, теперь уже ничего не пропуская, потому что совпадение, случившееся только что, счел за особый знак. Он читал абзац за абзацем и наконец наткнулся на крысу. Народная заседательница, видимо, знала, о чем шло. Мгновенно извинившись в мыслях перед Лапутянкой, Чугунов постарался тут же выкинуть ее из головы, чтобы его внимательность и объективность не понесли никакого урона при чтении этого произведения, способного пролить хоть какой-то свет на дело, таинственное и мрачное, как парадное в термолитовом, опустевшем задолго до сна, домике их двора, сером и остромордом, только что — без хвоста.

Чугунов дважды перечитал «Щелкунчика». Произведение оказалось совершенно детским, а крыса — типично сказочным персонажем, по одному этому не содержащим ничего того таинственного и необъяснимого, чем была полна реальная, окружающая Чугунова жизнь. Крыса Гофмана — это была другая крыса. Лапутянко, наверно, не разобралась в немецком писателе, торопливые, неглубокие извилинки ее мозга не улавливали разницу между обыкновенной сказкой и тяжелым уголовным делом о покушении на убийство грузчика Гречушкина грузчиком Кокоревым.

Больше Чугунов читать не стал. Ему было ясно, что с таким подходом к жизни, как у Гофмана, прояснить что-либо в сложной московской реальности невозможно.

Вечером он отнес книгу к соседу, и они долго говорили о предвоенном детстве и послевоенной юности, о смерти, которая оказалась гораздо более настырной коммунальной соседкой, чем это можно было предположить в их молодости, о Боге: существует ли он и прав ли, оказывая человеку такое лестное, но такое жестокое, кровью обращающееся доверие в устройстве отдельной человеческой и всеобщей земной жизни. Говорили о кокоревском деле. Евгений Михайлович посочувствовал Чугунову, тяжести его ответственности, понял его разочарование прочитанным немецким романтиком и достал с полки какую-то тетрадь-не тетрадь, а стопку листков, прижатых толстой скрепкой, но домой Чугунову не дал, а сам долго читал ему поэму, написанную неизвестным Чугунову поэтом-женщиной, русской, но жившей за границей, в эмиграции. Поэма была про крыс. Вернее, про музыканта, который спас немецкий город — Гомель, кажется (надо же, у немцев, оказывается, свой Гомель был, так им еще наш понадобился),— спас этот город от нашествия крыс. Заиграл на дудочке, они за ним и пошли. Он — в реку, и они — в реку. Так все и захлебнулись. Там было и дальше, про детей, которых — всех! — увел с собой музыкант в отместку горожанам, не получив от них обещанного за погубление крыс вознаграждения. Но это уже вовсе не шло к делу, кото-

рое предстояло решить Чугунову. Он допил стакан чая с соленым, не нравящимся ему печеньем и спросил Евгения Михайловича, что он сам, Жека, думает про крыс, проведя бок о бок с ними все детство. Тот задумался и сказал, что крыса представляется ему творением умным, и, пожалуй, несправедливо, с ее, крысиной, точки зрения, обиженным человеком: она к нему тянется, к жилью его, к очагу, а человек бьет ее чем ни попадя.

Чугунов согласился, но спросил, не замечал ли Жека за крысами каких-либо странностей. И Евгений Михайлович вспомнил, что в студенческие еще годы взял к себе на месяц одного бездомного соученика, парня милого, много терпевшего в институте из-за своих экстравагантностей в манерах и прическе и носившего длинные и тонкие усы, которые топорщились, когда не надо, и раздражали общественность, обладающую, как известно, безукоризненным вкусом. Парень прожил у Жеки больше года. Когда Женина мать, изнемогая от постоянного присутствия на кухне или за столом двух здоровенных мужиков, из которых одного она к тому же сильно недолюбливала, взмолилась о хотя бы кратковременном, на время студенческих каникул, отдыхе, Женин приятель, подумав, сказал, что, пожалуй, съездит на пару недель в Невинномыск, где у него тоже — мама. И уехал, хотя с болью и укоризной во взгляде.

И в ту же ночь, в половине второго, то есть именно в час, когда приятель обыкновенно возвращался со своих литературных торжищ и ристалищ, в Женину комнату вошла крыса, спокойно встала на задние лапы, уперев передние в ножку табуретки, стоявшей возле Жениной кровати, вцепилась пастью в легкую скатерку, которой эта табуретка была накрыта, и стянула скатерть, а вместе с ней лежавший на бумажной салфеточке бутерброд с сыром и скрылась в сторону кухни. То есть, за исключением некоторых технических деталей, проделала то же, что весь этот проклятый год проделывал с Женькиным ночным бутербродом малозастенчивый студент. У Женьки было даже большое искушение встать и посмотреть, поставила ли крыса чайник и потушила ли газ после того, как вскипела вода, но Женька себе этого не позволил.

К этому времени о крысах ни в их дворе, ни тем более в их доме не было и помина. Эта же крыса стала появляться и днем, всегда неожиданно, как до своего отъезда неожиданно появлялся среди дня в сладостно отдыхающей от его шумных манер квартире отъехавший оккупант. И вообще Евгений крысу рассмотрел и обнаружил в ее усах, взгляде и отчасти походке много общего со своим приятелем. Это заметила и мама. Заметила, впала в меланхолию и категорически запретила Евгению бороться за выселение крысы сколько-нибудь жестокими методами. Другие же на крысу не действовали, и она исчезла из их квартиры не раньше, чем почтальон принес телеграмму от возвращающегося студента с просьбой оставить ключ у соседей, если никому не случится быть дома в день его приезда. Причем перед окончательным исчезновением крыса обвела обитателей квартиры печальным взглядом, совершенно таким же, как прощальный взгляд Жениного соученика. Разве что не вздохнула.

Больше крыса не появлялась. А гость как приехал, так в первую же ночь вернулся в половине второго, и Евгений с ужасом наблюдал, как он схватил с табуретки бутерброд — причем скатерть упала — и унес его в сторону кухни.

Все это Евгений Михайлович хмуровато рассказал теперь Чугунову, который в ту пору служил в армии, поэтому ничего не знал. Чугунов выслушал, выпил стакан чая и спросил у соседа: как ему кажется, почему опыт двух писателей, с произведениями которых Чугунов

познакомился за последние два дня, так отличается от их — чугуновского и жекиного — опыта? Он имел в виду опыт общения с крысами. Почему литературные крысы так однозначны, просты, неудачливы и всегда, во что бы то ни стало враждебны человеку?.. Евгений Михайлович, ухмыльнувшись, предположил, что и немецкий прозаик и русская поэтесса писали о крысах Германии, тогда как крысы России, в силу исторически сложившихся условий, когда надо учитывать и качество пищевых отходов, определяющих характер не сознания, конечно, но, безусловно, крысиных инстинктов, и постоянное соседство русского хитроумного умельца, вряд ли станущего звать на помощь музыканта для истребления кого бы то ни было, а также общую загадочность и необъяснимость русской жизни,— тогда как крысы России в силу именно этих исторических условий достигли некой мудрой сложности в отношениях со своим,— Богом или природой определенным им в соседи,— современником.

На том и согласились.

6

Воскресным утром Галина Трофимовна Лапутянко погнала мужа в бассейн. Он толстел, и она пригрозила, что станет отказывать ему во взаимности. Едва он уехал, раздался звонок от заведующего роно. Заведующий говорил таинственным тихим голосом, думая, что муж Галины Трофимовны дома. Лапутянко поддержала в нем эту иллюзию: отвечала сухо и деловито, норовя свернуть с удобных заведующему затененных лирических тропинок на проверенный большак учебно-производственных проблем. Она к заведующему испытывала в основном уважение, голову ему морочить не собиралась и делала все, чтобы удержать их отношения там, где личная катастрофа одного еще не грозит другому крушением профессиональной карьеры.

Хотя все говорили о заведующем как о человеке порядочном.

Привлекательность Галины Трофимовны пусть и помогла ей на первых порах в ее продвижении по службе, так как попросту сделала ее заметной, но тут же начала и мешать, ибо некоторые из тех, кто был привлечен ее праведной, с педагогическим уклоном красотой (при несомненной профессиональной дельности и дивной анкете), сталкиваясь с твердыми принципами Галины Трофимовны, не только теряли к ней интерес, но и попросту начинали тормозить ее продвижение по служебной линии. Но Галина Трофимовна не меняла чести на карьеру. Так как во всем любила прежде всего чистоту. А то бы далеко пошла... Впрочем, она была еще довольно молода.

Заведующий роно был немолод, но тоже одержим приверженностью к чистоте, хотя странным образом не замечал грязи в некоторых отталкивающих Галину Трофимовну произведениях искусства. Собственно, их общая тяга к высокому, чистому в жизни и сблизила их после одного из районных совещаний на тему об участвовавших случаях родов среди школьников. Несомненный и искренний романтизм заведующего давал Лапутянко кое-какие гарантии в том, что он не будет мстить, когда окончательно убедится в тщетности своих надежд. Да он уж небось и убедился. Тем ценнее его дружба.

Галина Трофимовна пропылесосила квартиру, приняла ванну и легла на кровать читать «Воспоминания о Блоке», в которых заведующий роно, давший ей эту книгу, особенно почему-то рекомендовал обратить внимание на воспоминания актрисы Веригиной. Галину Трофимовну, наизусть знавшую «Двенадцать» и «На железной дороге», воспоминания неприятно поразили. Сложный, но ведь уже к девятьсот пятому году, когда он нес знамя на революционной демонстрации, до-

стигший гражданского самосознания поэт предстал в этих воспоминаниях странным, уж чересчур сложным, чтобы не сказать извращенным. Ну, ладно, его привязанность к «Балаганчику», смутному, далеко не лучшему из его произведений, или пристрастие к ночным воздействиям — это уж национальный, отечественный грех, но эти бдения при свечах и курениях среди каких-то «бумажных дам», то есть, попросту говоря, среди дам, одетых в платья из цветной, легкой — уж не папиросной ли — бумаги, артисток театра Комиссаржевской, театра, не очень ясного Галине Трофимовне по своей идейной направленности, а главное — эта противоестественная, вот уж декадентская так декадентская, взаимная приязненность жены Блока Любови Дмитриевны и его возлюбленной артистки Волоховой, снежной этой маски, «крылатых», видите ли, этих глаз — это куда денешь? И ведь обе друг от друга ничего не скрывали. Для чего это?.. Надо сказать, что в чистоту и нынешних-то артисток, которые все-таки плоть от плоти трудового народа, Лапутянко не верила, а уж те, петербургские... Галина Трофимовна знала о себе, что так и скажет заведующему: вот этот его интерес к нездоровым, с червоточинкой, пластам отечественной жизни и русского искусства и помешал ему, умнице, человеку с фронтовым прошлым и безукоризненной жизнью, стать одним из столпов и руководителей советской педагогики.

Галина Трофимовна отложила книгу. Ей хотелось просто лежать и ни о чем не думать. Завтра — неприятный педсовет, а послезавтра — опять этот суд, этот антисанитарный процесс, который должен наконец завершиться. Лапутянко лежала с закрытыми глазами, вспоминая свою беззаботную юность в родном южном городке. Нет, заботы были и тогда, но какие приятные!.. Ей вдруг ясно припомнился один поздний зимний вечер. Шел снег, и вообще-то редкий в этих местах, а тут — просто небывалый, пышный. Десятиклассница Галя Лапутянко шла с совещания комсомольского актива города: создавался городской молодежный клуб. Он должен был открыться в недоразрушенном сначала, а теперь недовосстановленном дворянском особняке в старом районе города. Галя шла под липами, на которых у ворон заканчивалось какое-то их запоздалое совещание, и они разлетались по гнездам, скорее слышные на лету, чем видные сквозь медленный и крупный снег. Снег шел, шел, шел, никуда не приходя, оставаясь все там же: между небом и землей. И Галя шла. Шла она из райкома, и пройти ей нужно было мимо этого самого особняка, в котором, по слухам, некогда гуляли местные богачи с городскими, а то и заезжими столичными артистками. Была уже почти ночь. Галя шла очень медленно, наслаждаясь снегом. Никого вокруг не было. И когда Галя увидела, как в торце особняка вдруг засветилось огромное окно с целиковым, венецианским, как было известно Гале, стеклом, то ей даже стало страшно. Окно засветилось слабым светом, не похожим на электрический. Но дело в том, что оно не могло засветиться. Им в райкоме только что сказали: особняк пока заколочен и будет ремонтироваться, а они за это время пусть придумают устав, сформулируют цели и задачи клуба... Окно тем не менее светилось ни на что не похожим светом...

Галя подошла к особняку и увидела, что тяжелая деревянная дверь с медной львиной головой вместо ручки приоткрыта. Любопытство прямо-таки вырвалось из лап страха, и Галя вошла в особняк. Света в прихожей не было, но Галя почему-то видела, что подымается по пустой мраморной лестнице без ковров, но с металлическими колечками, не иначе как для ковровой дорожки. Не было никого. Галя прошла коридором в торцовую часть дома. В коридоре была темень, и только в конце его на полу — световая полоска от приоткрытой две-

ри. Галя подошла к двери, заглянула в комнату и остолбенела... В комнате — гостиной, наверное, — было совсем не страшно, но очень странно. Там было много людей, одетых театрально, выглядевших несовременно, двигавшихся лениво и медленно, говоривших между собой негромко и пивших из красивых бокалов какое-то светлое вино. «Кино-съемка!» — подумала Галя то, что всякий бы подумал на ее месте. Но что-то во всем этом противоречило такому заключению. Ни камеры, ни режиссера, ни оператора, людей уж безусловно современных, не было видно, а главное, сквозили в поведении этих пирующих свобода и неприязательность, невозможные в кино, а только — в жизни. На Галю, стоящую в дверях, никто не обратил внимания. Только длинный горбоносый человек в черной полумаске спросил мимоходом: «Сашура не появился?..» А ответа дожидаться не стал... Галя заметила, что все мужчины были в черных полумасках, а на женщинах были платья из невиданной громко шуршащей материи. Горели свечи...

Галя стала подумывать о том, не спросить ли у присутствующих, по какому, собственно, праву они находятся здесь, в здании будущего городского молодежного клуба. У нее-то было право так спрашивать: она была городская активистка, дочь одного из отцов города... Но в это время ее позвала сидящая на кушетке в углу комнаты дама в светлом лиловом: «Посидите со мной!» Галя ошеломленно подошла и села на кушетку. «Садитесь ближе, что же вы?» — сказала дама и сама села поближе к Гале, на секунду коснувшись Галиной руки очень белым локтем над длинной черной перчаткой. Галю неприятно поразило, что локоть был очень холодный и как будто — в волосах.

— Что это за материя у вас на платье? — спросила Галя.

— Бумага, — ответила дама. — Сейчас Блок придет.

— Какой Блок?

— Александр Александрович.

Дама положила ногу на ногу, и Галя удивилась, какие они у нее коротенькие. Она внимательно, хоть и искоса, оглядела даму, и — ужас! — дама оказалась громадной белой крысой, сидящей на кушетке в бледно-фиолетовом платье, нога на ногу.

— А вы... кто?! — рваным шепотом спросила Галя.

— Снежная маска, — просто ответила крыса.

Галя обозлилась.

— Нет, вы — белая крыска! — сказала она.

— Нет, Снежная маска!

— Нет, белая крыска!

Крыса повернулась к Гале:

— Да вы что, милочка, «Снежной маски» не читали? Посмотрите получше: у меня же крылатые глаза!

Галя посмотрела и ахнула: глаза у крысы — огромные, совсем не крысиные, страшные и чудные глаза!.. Галя посмотрела даме на ноги: ноги были крысиные, коротенькие, во всяком случае, по сравнению с Галиными ногами акселератки и волейболистки.

— Все равно вы — белая крыска. И я все читала. А «Двенадцать» наизусть знаю: «Черный ветер, белый снег...»

Тут все в комнате разом перестали говорить и вылупились на Галю. Потом вдруг мгновенно построились в шеренгу, спрятали руки за спину и хором, совсем как у них в школьной агитбригаде, проскандировали:

— А мы за э-то вам ни-кто не по-да-дим ру-ки!

Галя растерялась на секунду, но тут же почувствовала за собой десятилетнюю почти правду уроков родной литературы, драматической ее истории, когда лучших людей то и дело третировали: не подавали им руки, палили в них из пистолетов — почувствовала эту прав-

ду и собиралась уже плеснуть ее в глаза этим всем, разложившимся и бесконечно далеким от народа, как вдруг в темном проеме двери возник в ореоле светлых кудрей сам автор ее любимой поэмы!.. Не обращая внимания на глупо молчащих дам в бумажных платьях и мужчин в черных полумасках, он стройно и надменно прошел прямо к их кушетке и опустился на колено перед... перед крысой — ужасно! — перед крысой!..

— Это правда, правда,— сказал он.— Я мертвец, я больше не слышу музыки!

Галя захотела крикнуть ему, чтобы он не поддавался этим низким декадентам, что народ помнит и любит его и что «Двенадцать» — вершина, но Блок вдруг повернулся к ней и сказал:

— А словесники у вас, во французской спецшколе, где вы завучем, никуда не годятся, и пятерочки ваши — липовые!..

И Галя увидела, что Блок и заведующий роно — один и тот же человек, и молодой и старый одновременно! И она тогда заплакала и стала умолять его уйти из особняка, порвать с крысой и вообще с этой загнившей страницей отечественной культуры, которая вон куда его, фронтовика и коммуниста, завела. Она плакала, умоляла и даже обещала ему пересмотреть свои очень уж — иной раз просто невоготу! — принципиальные представления о женской чести, лишь бы он бежал с ней от ног этой отвратительной белошерстой грызуни. Но заведующий роно Александр Александрович Блок смотрел на нее своими страдающими прекрасными глазами, молчал и не уходил...

...Проснувшись, Лапутянко чертыхнулась по поводу невообразимой чепухи, снящейся людям из-за бесконтрольности нервной системы, с ее недостаточно изученным аппаратом сна, и с удивлением вытерла перед зеркалом очевидные следы слез на разгоряченных щеках.

Она взглянула на часы и удивилась тому, как долго спала. И тому, как долго не возвращается муж. Его вообще в последнее время, если уж из дому выгонишь, то назад, домой, не дождешься.

И Лапутянко подумала, что в театр, куда ее приглашал заведующий роно, теперь-то уж пойдет обязательно, раз ее муж в бассейне по полдня сидит.

Но ей было ясно, что и пойдя в театр с заведующим, не следует рассказывать ему ни о глупом сне, ни о еще более глупом судебном процессе, которому послезавтра, слава богу, должен прийти конец.

Почему не следует рассказывать, Лапутянко не знала. Просто знала, что не следует. Береженого бог бережет.

7

По всему поведению на суде кокоревского защитника — общественного защитника, выделенного коллективом речного порта,— Чугуну было ясно, что его плану защиты крыса только мешает. Как и все остальные, не верил защитник в крысу, раздражала она его и казалась ему обстоятельством, только отягчающим вину подсудимого, старающегося запутать суд неуместными фантазиями.

Выходило, что один только Чугунов допускает, что преступник суду не врет. Это одиночество увеличивало ответственность народного заседателя. Разочаровавшись в способности художественной литературы правильно оценить возможности крыс, Чугунов решил узнать до вторника, что думает о крысах наука. Утром в понедельник он попросил у начальника цеха оформить ему отгул — на работе было затишье — и пошел в районную библиотеку. Он не был в ней записан. Но, ошеломив молодую библиотекаршу своим интересом к этим гры-

знаю, уговорил ее дать ему почитать в читальном зале все, что есть у них научного про крыс. Библиотекарша, подумав, принесла ему том Брема. Чугунов нашел страницы про крыс. Некоторые фразы показались ему удивительными. Например: «Альбертус Магнус первым между зоологами упоминает о крысе как о немецком животном». Это, увы, не укладывалось в их с Жекой концепцию о большей продвинутости русских крыс. Но другие фразы убеждали в значительности этого животного, во всех его национальных воплощениях. Например: «Епископ Аутунский в начале 15-го столетия отлучил крысу от церкви». Или: «До первой половины прошлого столетия она (крыса) наслаждалась в Европе ни с кем не разделяемым господством...»

Все это было интересно.

Но вот библиотекарша подошла к столу, за которым сидел Чугунов, и положила перед ним старый номер «Нового мира», раскрытый на статье с названием «Искрящие контакты».

— Вот, прочтите, — сказала она.

И Чугунов прочитал об удивительном научном эксперименте над крысами. Их приучили замыкать контакт, после чего они тут же получали в награду еду. После этого одну из крыс отсаживали в отдельную клетку, а в соседней клетке к ее собратьям были подведены контакты таким образом, что замыкание контакта и получение пищи отсаженной крысой одновременно причиняло боль другим, и крыса видела это.

Что же произошло?

Во-первых, отсаженная крыса мгновенно связала два события. И во-вторых, — вот что поразительно! — она тотчас отказалась от еды. У крыс в стае существует строгая иерархия. Так вот все — все! — крысы, кроме самой слабой и презираемой стаей, предпочли подохнуть от голода, чем причинить боль своим собратьям. И лишь эта несчастная, убогая крыса не остановилась перед тем, чтобы мучить сородичей ради своего насыщения.

— О, господи, мы-то как бы себя повели у нас, в Хамовниках, — невесело подумал Чугунов и, поблагодарив библиотекаршу, вышел на улицу.

Крысы жалеют своих! Этот научно установленный факт по удивительней, чем инстинкт честной, но, по существу, скобарской сообразительности, проявленной крысой — если она была, — в отношениях с Кокоревым.

Но все-таки была ли?.. С Гречушкиным бы поговорить...

Странно, что Чугунову не приходило это в голову раньше. Кто, как не Гречушкин, единственный видевший крысу — если она, конечно, была, — может рассеять все сомнения. В период следствия врачи не разрешали следователю общение с Гречушкиным: он долго был в реанимационной палате, потом боялись нервного возбуждения, да и следователь не особенно интересовался Гречушкиным, и так все ясно было, ни от чего Кокорев не отпирался.

Но это следователю все было ясно. А Чугунову — ничего. И он прямо из библиотеки поехал в отдаленный новый район, где, как он помнил из материалов дела, лежал в неврологическом отделении пострадавший Гречушкин.

Чугунов не знал, пустят его к больному или нет, но ему так хотелось скорее поговорить с человеком, своими глазами видевшим — или не видевшим? — крысу, что он не пожалел денег на такси. Ну, просто с космонавтом, шагавшим по луне, ему было бы не так интересно поговорить, как с несчастным шарахнутым по черепу грузчиком, который, возможно, подтвердит существование крысы, таскавшей Кокореву червонцы в обмен на лежалое сало околопортового продмага...

Такси миновало центр и за Садовым кольцом стало пробираться

мимо застроек двадцатых и тридцатых годов: шофер знал город, не собирався душить пассажира, тоже явно москвича, и вез кратчайшим путем. Чугунов смотрел на эту Москву, которую старой не назовешь, но которая и от новой отличается серым уютом заросших тополями дворов, деревьями, еще способными заглянуть в невысокое окно к соседу своему — человеку, и чувствовал в себе любовь к этой, к такой Москве. Она, такая Москва, никому не нужна, ни архитекторам, ни обществу охраны памятников: какие тут памятники, когда это — сама жизнь. Никому она, такая Москва, не нужна, кроме Чугунова, старого огольца проходного двора с двумя микроинфарктами и одним, но серьезным геморроем...

Господи, вот и термолитовый домик! Молодец, долго держался, на сколько пережил своего хамовнического родича. Но тоже — стекла повыбиты, занавесочек не видеть, а видеть, что — на снос. Чугунов рассердился неизвестно на что и в то же время почувствовал в горле какое-то неудобство: стоит что-то, как будто сладкое, а — не проглотишь.

В это время машина выдралась из трамвайных путей на новый широкий проспект, и знакомая Чугунову Москва кончилась, пошла другая...

...Гречушкин не знал, зачем к нему пустили этого человека. Он помешал Гречушкину думать о странной и неправильной зависимости как будто бы не связанных между собой частей человеческого организма, думать и волноваться.

Гречушкин сидел, подняв хилый воротник халата, и старался не смотреть на Чугунова, который, наоборот, вот уже полчаса пытался заглянуть ему в глаза, чтобы хоть что-то понять.

Дежурной медсестре Чугунов, конечно, не сказал, кто он и по какому делу: могла и не пустить. На Гречушкина же то, что Чугунов — народный заседатель, который должен вынести приговор Петьке Кокореву, никакого впечатления не произвело. Что будет с Петькой, его сейчас меньше всего интересовало. Вот что будет с ним, с Гречушкиным, которого гад Петька, похоже, лишил центральной мужской радости жизни? Об этом он хотел думать. А Чугунов ему мешал.

— Вы с ним, с Петром, раньше-то ссорились? — спросил заседатель.

— Ч-чего мне с ним ссориться? Что он мне — н-начальник?

Они и впрямь никогда не ссорились. Но не нравилась Гречушкину способность Кокорева ничему особенно не удивляться, спокойно верить в то, во что верить разумному человеку никак нельзя. Скажут ему, что зарплату к праздникам повысят — он и верит. С чего? Почему? Зачем зарплату повышать, когда в магазине одни сырки плавильные, а все сыты и довольны, и на водку всем хватает. Кто такую бесхозяйственность допустит, чтобы еще больше могли пить?

Тут, по правде говоря, Гречушкин на Петьку зря клепал: Кокорев в повышение зарплаты тоже не особенно верил. Но в гипнозе не сомневался. И в сороковой день — ну, что душа в этот день с близкими прощается, — верил. Ну, не то чтобы верил, а совершенно не понимал, почему этого не может быть.

Когда Кокорев сказал ему про крысу, Гречушкин, конечно, не поверил. Но, с другой стороны, он два раза перед этим пил с Кокоревым. И то, что Кокорев не просил у него доли, положенной с третьего, было фактом, ничем научно не оправданным и не менее удивительным, чем крыса, таскающая в зубах червонцы. Когда Гречушкин согласился встретиться с крысой, он ждал, что появится кто угодно: например, какой-нибудь малый по прозвищу «Крыса» или чем-нибудь на крысу похожий, может, по фамилии Крысин. Почему этому малому надо от-

давать червонец Кокореву или ему, Гречушкину, вместо того чтобы самому пойти в продовольственный,— об этом Гречушкин как-то не задумывался. Мало какие резоны могут быть у этого малого. Может, у него жена в этом магазине работает, и ему ее видеть лишний раз противно? Или у него аллергия на магазинные запахи? Совсем об этом не думал Гречушкин.

Когда он увидел чуть не полуметровую крысу, идущую к нему по балке с червонцем в зубах, то сначала ужаснулся, почував, как шатается нормальный крупноблочный корпус его мировоззрения. Он тут же решил, что крыса — дрессированная. Но можно выдрессировать крысу, если Пете делать больше нечего, а где червонцы взять? А червонец, вон он — из зубов у хмырюги торчит. И сама гладкая, пушистая, серая, как шапка у Верки, только провод сзади прицеплен. Разъелась на Петькином сале!.. Когда Гречушкин протянул руку к червонцу и крыса попятилась и медленно ушла, исчезла в какой-то дыре, Гречушкин долго сидел в подсобке, дожидаясь, не передумает ли недоверчивая богатая крыса, не явится ли снова.

В этот день она не явилась...

Неразговорчивость Гречушкина огорчала Чугунова. Он подумал, что бутылка в этом деле была бы большой подмогой. Но спиртное приносить в больницу было нельзя. И это правильно: кто знает, как бы подействовала водка на гречушкинские раны.

Но Чугунов решил быть настойчивым.

— А что это за крыса была, про которую Кокорев рассказывает? — спросил он.— Вообще была она?

«Еще бы не было! — подумал Гречушкин. — Лежит, как утюг, цельнометаллическим дрыном прибитая, только провод сзади, как у электрического утюга. И червонец из пасти не пускает. Еле вынул!» Гречушкин в момент вспомнил, какую беспокойную ночь провел перед вторым свиданием с крысой. Как ему вдруг захотелось этих червонцев: не для богатой жизни, не для достатка — баб своих удивить и растрогать, баб, ничего от него кроме большого мужского здоровья не видевших. Хотя, с другой стороны, чего кроме им и надо?

— К-крыса? Это — б-богатая-то?.. — переспросил Гречушкин и — осекся...

Не хотелось ему отвечать на вопрос заседателя. Ну не хотелось и все!

— Мне в туалет надо,— сказал Гречушкин и вышел в коридор.

В туалете без всякой надобности провел он десять долгих минут, размышляя о том, сказать ли этому пристебывающемуся к нему дядьке правду или не говорить, стараясь догадаться о том, почему эту правду говорить не хочется. Гречушкин думал, уставясь в стенку туалета, на которой некоторыми выздоравливающими больными были нарисованы разные штуки и ситуации из быта, Гречушкину хорошо знакомого и любимого им. Под рисунками были сделаны поясняющие подписи, большей частью нечетко, что вызвало чей-то размашистый и тоскливый вопль — синим фломастером: «Товарищи! Пишите яснее!»

Гречушкин, отвлекшись на секунду, подумал, какого прекрасного мира он может лишиться по милости ученых прохиндеев, додумавшихся связать голову, которая вон где, с вон чем, который совсем в другом месте и при старой гуманной к народу науке никакого отношения к мозгам не имел. Гречушкин подумал с теплом и признательностью о той правильной полезной науке и понял, что нельзя предавать ее, отдавать на поругание длинноволосым студентам с крестиками на крепких шеях. И вспомнил Гречушкин, как унижался он перед крысой во время второго с ней свидания, как заглядывал ей в хитрые вороньи глаза, убеждая, что он от товарища Кокорева. Подумал, вспомнил и озледел. И решил, что ему делать!

Вышел он из туалета, вошел в палату, где дожидался его напряженный Чугунов, сел на кровать и уверенно сказал:

— Н-не было н-никакой к-крысы!

И тут же в палату вошел отставной милиционер и крикнул:

— Ну, пропадай, чапчик, сдал тебя злыдень наш нашей сдобе. Стукнул ей, что не маячит у тебя после того, как по кумполу тебе при-весили!..

Гречушкин сразу очень устал и лег под одеяло, Чугунов наклонил-ся к нему:

— Так как насчет богатой крысы?..

— Н-не было н-никакой к-крысы, с-сказал уж я в-вам! — начал злобно заикаться Гречушкин, — И д-давайте отс-сюда, м-мне в-волно-ваться н-нельзя, в-врача позову!

Чугунов понял, что беседа их окончена, и ушел.

Гречушкин лежал без движения с четверть часа. Милиционер ку-да-то исчез...

И вот дверь палаты открылась, и вошла молодая врачиха, белоко-жая, рыжая, по определению милиционера, — «сдоба». Она села рядом с кроватью Гречушкина на табурет, на котором недавно сидел Чугу-нов, взяла Гречушкина за руку, проверяя пульс. И едва она это сдела-ла, как Гречушкин вдруг ощутил давно забытый подъем сил, такой для него очевидный, что он побоялся, как бы этот подъем не стал оче-виден сквозь тоще большое одеяло и докторше. Он боялся и хо-тел этого... Доходяга-старик хрипел в забытьи. Его все равно что не было. Злыдень — знаток приборов не возвращался, может, боялся, чувствуя себя виноватым. Милиционер, наверно, забивал в холле коз-ла... Гречушкин был наедине с рыжей красавицей, каких у него ни-когда не было и никогда не будет. Но это уж на совести у малахоль-ного мира, сколько ни строящего баррикад, сколько ни разрушающего дворцов якобы на благо хижинам, а все равно не способного добиться такого равноправия, чтобы ему, грузчику речного порта, ухватить сейчас эту образованную кровную интеллигентку за тугие крахмаль-ные вымена и дать ей счастье на этой узкой и скрипучей больничной койке, дать ей счастье, какого ей сроду не узнать с ее могучими очка-стыми лыжниками и теннисистами. Это уж на совести правительств, и не знает Гречушкин еще кого — профсоюзов! А у него, у Гречушки-на, вот он, наработан! Каким ты был, таким ты и остался! — краснел и ликовал Гречушкин, благодарно и возвышенно думая о своем орга-низме словами старой душевной песни. Он знал, за что это ему. За его верность правильной надежной науке, за его убежденность в невоз-можности противоестественной связи головы и этого, другого, за его решительное «Нет!» придуманной Кокоревым неисторической крысе!

8

Во вторник утром ни прокурор, ни защитник не сказали ничего нового. Защитник про крысу вообще не упомянул, настойчиво, хотя как бы между прочим, употребляя в отношении своего подзащитного выражение «человек большого физического и нервного перегруза». Однако никаких медицинских справок на этот счет суду представлено не было. Кокорев же слушал защитника, как, впрочем, и прокурора, и вообще всех в суде, со спокойным и доброжелательным лицом и на нервного никак не походил.

Прокурор наоборот про крысу вспоминал то и дело с саркастиче-ской интонацией, и когда попросил для подсудимого восемь лет, то выглядело это так, что по крайней мере половина из них следует Ко-кореву именно за крысу. Чтоб, дескать, не морочил голову советскому

суду реакционной мистикой, может, и имеющей хождение на идеалистическом Западе, а у нас обреченной на всеобщее негодование и провал.

Чугунов с грустью подумал о том, что, несмотря на гладкую, не зацепляющую ни одной душевной мышцы речь, прокурор прав: преступление Кокорева ужасно, бессмысленно, и за него надо отвечать по всей строгости по статье такой-то, как за нанесение тяжких телесных повреждений. Но строгость наказания, казалось Чугунову, не исключала, а наоборот предполагала возможно большее доверие суда к словам подсудимого, которые к тому же никак не могли облегчить этого наказания.

Как все это объяснить суду, Чугунов не знал и страдал.

Когда Кокорев говорил свое последнее слово, он дважды посмотрел на Лапутянко и дважды сказал, похоже, без интереса к своей судьбе, а как бы ее, народную заседательницу, в ее мучительном душевном сомнении утешая:

— А моего товарища Гречушкина мне жалко. Очень даже.

А больше ничего существенного и не произнес. Еще, правда, про крысу прибавил:

— А крыса, конечно, извиняюсь, но действительный факт, имевший место.

...Судья, собираясь выносить решение, никак не думал, что уйдет из суда лишь поздним вечером. Дело и так непозволительно затянулось. Все было в основном ясно, а фантазии Кокорева судью не очень волновали: ему и не такие истории случалось выслушивать за его долгую службу. Лапутянко, как она дала понять, тоже куда-то торопилась, кажется, в театр имени Ермоловой. Оба понимали, что прокурор в своем требовании был прав, лишнего не запрашивал: восемь лет за тяжелые повреждения, нанесенные человеку, не сделавшему тебе ничего дурного, — это нормально.

Но Чугунов с самого начала обсуждения приговора стал задавать судьбе вопросы, говорившие о том, что он, Чугунов, никуда не торопится. Сначала он долго и занудливо расспрашивал судью, одинаковые ли наказания должны получить какой-то деревенский мужик, убивший соседа немотивированно, и другой какой-то мужик, убивший соседа за то, что сосед извел у него корову, бывшую кормилицей семьи. Судья, не понимавший, при чем тут эти коровы, и видевший в поведении Чугунова лишь наивную заседательскую спесь, смешную судьбу, так как приговор, в крайнем-то случае, можно вынести и без второго заседателя, занеся его никому не нужное особое мнение в протокол, — раздраженно спросил Чугунова, что он понимает под словом «извел»?

— Убил! — сразу ответил Чугунов, так как, стыдясь задерживать других, старался поскорей промахнуть все промежуточные вешки, идя к какому-то главному для себя месту.

— Ну, если семья совершившего убийство предварительно была лишена убитым средства к существованию, это, в известных случаях, может служить относительно смягчающим обстоятельством, хотя...

И тут Чугунов, сознавая и глубоко переживая свое занудство и торопясь освободить от себя судью и Лапутянко, заговорил. Он говорил, обращаясь в основном к судье, так как на то, что народная заседательница поймет его, у него не было надежды. Он только иногда из вежливости и неведомого ему доселе желания всех расположить к своим словам глядел в холодные глаза заседательницы и снова переводил страдающий взгляд на судью.

Он говорил о том, что мы мало знаем о людях и о крысах, а о Боге — и совсем ничего; что очень страшно решать судьбу Кокорева, не зная точно самых мелких обстоятельств дела; что двор дома, где он, Чугунов, живет, стал гораздо лучше и чище без крыс, но немножко и хуже,

а почему так — Чугунов не знает и вот спрашивает у образованных людей; что крыса и корова, конечно, животные разной полезности, сравнивать их нельзя, но никто не знает, не была ли крыса для одинокого Кокорева важнее и ближе коровы, потому что давала ему чувство радости, когда он тихо и щедро угощал пенсионеров и они вели с ним умные разговоры о жизни: как ее наладить и вообще возможно ли это. Чугунов вырós не где-нибудь в Парагвае: приученный к речам на собраниях и радиоречам, он понимал, что в его стране не принято говорить так, как говорит сейчас он. Но не замечая уже того, что Лапутянко несколько раз бешено взглянула на судьбу и отошла к окну, не помня об этом и обращаясь уже к одному только судьбе, Чугунов говорил о том, что крысы разных народов — разные крысы, и если немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман и русская поэтесса Цветкова, жившая, как известно в эмиграции, сталкивались с неразвитыми и вредными крысами Западной Европы, то это не значит, что крысы везде таковы, и что его друг детства Евгений Михайлович, известный человек, выступавший даже по телевизору, может подтвердить большие, хотя временами и недобрые способности крыс, за которыми они вместе наблюдали еще с испанских событий, когда фашист Франко, поддержанный Гитлером и — скрытно — империалистами всех стран и народов, душил испанскую народную республику.

Вернее, Чугунов думал, что он все это говорит. На самом деле он повторял на разные лады, то искательно, то гневно, семь-восемь фраз, длинных и страстных, каждое пятое слово в которых было «вообще», а каждое кратное четырем было даже и не словом, а разговорным его сокращением, началом названия древней женской профессии, с которой, как сказала на том памятном районном совещании стоящая сейчас у окна Лапутянко, у нас в стране давно и навсегда покончено. Галине Трофимовне было непонятно, как вообще это слово могло так долго удерживаться в языке и даже быть среди носителей этого языка более популярным, чем многие другие слова, выражающие действительную реальность. И уж совсем было непонятно народной заседательнице, как может терпеть судьба это слово, пусть и в его усеченной форме, в помещении, принадлежащем советской юстиции, как он может терпеть эти бессвязные речи в святой святых нашего суда, в совещательной комнате, где обсуждаются самые справедливые в мире решения.

Когда судьба, задумчиво смотревший на Чугунова и, кажется, не замечающий сложка-паразита в чугуновском клокотании, прервал его вопросом о том, как Чугунова угораздило в народные заседатели, Лапутянко с удовольствием повернулась от окна, желая видеть, как судьба уничтожит наконец этого малограмотного и непристойного мистика. Правда, форма, в которой судьба задал свой вопрос Чугунову, не понравилась заседательнице: она была неуверенная, содержала оттенок почти извинения за якобы бестактный, а на самом деле давно напрашивающийся интерес к необъяснимому факту избрания Чугунова в заседатели. Но, может быть, в этом таился сарказм? Чугунов, прервав свое косноязычное летание на метле, теперь уже вполне внятно и спокойно объяснил, что его на заводе почему-то считают справедливым и что никто не хотел в заседатели, потому что в суде рабочий день не нормированный, а у них у всех дачные участки. Лапутянко, которую выбрали в народные заседательницы по совершенно иным, серьезным причинам, ждала, что сейчас-то судьба и объяснит зарвавшемуся наглцу, что почем. Но судьба, задав вопрос и получив ответ, замолчал, и Чугунов опять распался и заклокотал о трудном детстве, будто бы точно известной ему, Чугунову, неспособности таких людей, как Кокорев, к составлению сказок, о русских и западноевропейских крысах, о научно доказанном сочувствии, которое способны испытывать кры-

сы к больным собратьям, тогда как волки, например, жрут их... Что такое?! Лапутянко, привыкнув малость к чугуновскому способу изложения, со стыдом обнаружила, что она, как будто выучив за этот час некий новый для себя русский язык, начинает — через пень-колоду пока — понимать смысл произносимого на этом языке, что этот смысл, как ни странно, существует.

Но что это был за смысл!

Лапутянко начала быстро соображать, куда именно она, как честная гражданка и в некотором роде избранница своего народа, должна написать о недопустимом по легкомыслию факте выдвижения на важный общественный пост другого народного, стыдно сказать, избранника. На судью она больше не надеялась.

За окном еще не темнело. Но воздух терял прозрачность, становился похожим на запыленное стекло. Прозрачным он оставался только над крышами: там кружились пять голубей и летали туда-сюда две вороны. Воздушное стекло выдвигалось снизу, как автомобильное, надвигалось на день, чтобы окончательно отделить его от вечера. Вечер был почти уже настоящее. А день почти уже прошлсе. И они должны быть отделены друг от друга вот этим стеклом... Как будто стекло нельзя разбить в любую минуту, даже когда оно станет совсем темным, толстым, многослойным,—разбить и снова оказаться там, где был раньше, а то и вовсе там, где никогда не был, скажем, в каком-нибудь пахнущем грехом и ладаном аристократическом особняке.

Чугунов говорил, судья слушал, Лапутянко складывала в уме слова гражданственной своей обиды, которые ночью должны были стать письмом к людям, какие не могли же не понять ее... Чугунов говорил, судья слушал, Лапутянко складывала... Но и окончательно разочаровавшись в председателе суда, она все-таки не ждала от него того, что он сделал, и была потрясена, когда судья задумчиво, как будто про себя, но вслух сказал:

— Интересно, если бы Гречушкин, убив крысу, пришел на следующую день в подсобку, явился бы кто-нибудь из крысиных детей или родичей с червонцем? Или крыса была бездетная и одинокая?..

Чугунов стал высказывать свои соображения по этому поводу, а судья вставлял реплики в его речь. И реплики — не сбивающие, а превратившие их общение в разговор, в котором уже судья начал молоть что-то о мыши, живущей под полом у него на даче, и будто бы регулярно вылезавшей слушать вместе с обитателями дачи сводку погоды в программе «Время», и снова скрывающейся в свою нору при первых звуках такой хорошей, такой грустной музыки, заключающей эту сводку.

Лапутянко казалось, что она сходит с ума. Если взять их совещание за миниатюрную модель общества, — а ведь так делают, она сама читала в «Литературной газете», — то выходило, что у двух третей этого общества было постоянное общение с отвратительными грызунами, и ей, живущей в трехкомнатной сверкающей чистотой квартире с мужем, чистюлей и подкаблучником, и видевшей в последний раз крысу семь лет назад во время туристской поездки в Бангладеш, ей, Галине Трофимовне Лапутянко, завучу французской спецшколы, одной из лучших в городе, ей предлагалось чувствовать себя чуть ли не обделенной этим крысиным вниманием, этой противоестественной близостью передового человека мира с грязной тварью, голохвостой мерзостью!

Судья медленно посмотрел в окно и, кажется, только тут обнаружил, что кроме них с Чугуновым в комнате есть еще и народная заседательница. Он помолчал, как бы собираясь для неприятного разговора, и наконец промолвил, обращаясь к Галине Трофимовне:

— Дело-то на исследование надо посылать... А? Как вы считаете?..

То ли Лапутянко не написала заветного письма, то ли им пренебрегли, может, оно не дошло, а может, там, куда было направлено, тоже не обходится без лодырей, разгильдяев или, того хуже, мистиков, но вскоре после суда Чугунову предложили срочно оформить документы для командировки на два года в одну слаборазвитую страну. Там внедрялось наше оборудование. Чугунов уехал, так и не узнав, чем кончилась история Кокорева. Вначале он все вспоминал, как неприятно и шумно завершилось обсуждение приговора, как со слезами в голосе закричала Галина Трофимовна в ответ на вопрос судьбы об ее мнении, посылать ли дело на следствие, как «судья тихим, но непреклонным голосом сказал ей, что ее особое мнение непременно будет зафиксировано в протоколе, как потом судья кричал по телефону на кого-то, кто, видимо, начал кричать на него. Чугунов не знал, кто это был: прокурорский надзор или председатель народного суда, или управление юстиции. Он все удивлялся: разве закон не запрещает общение с судьей во время обсуждения приговора?

Но потом местные, тропические радости и невзгоды заглушили понемногу московские впечатления, и Чугунов перестал думать о несчастном грузчике...

Вернувшись в Москву, Чугунов обнаружил, что от долгой разлуки с близкими у него обострилось чувство родной крови. Он стал баловать свою любимицу, дочку сестры, модницу, щеголиху и, к сожалению, чуточку Клеопатру, по его своеобразной терминологии.

И вот теперь он вместе с ней ехал в магазин «Березка», чтобы купить племяннице какие-то хитрые штаны на чеки, полученные им во «Внешпосылторге» за свою работу за границей. Оказалось, что «Березка» находится в двух шагах от хорошо знакомого Чугунову здания суда, где он судил Кокорева. Когда племянница торопливо подвела его к длинному белому дому, где все окна первого этажа были закрыты изнутри белой материей, Чугунов огорченно сказал:

— Ну вот, закрыто. Учет, наверное...

Но племянница, раздражаясь от нетерпения, объяснила ему, что это всегда так закрыто, чтобы не злить прохожих, большинство из которых чеков не имеет, видом товаров, большинства из которых они никогда не приобретут... Племянница оказалась права, но все-таки им не повезло: нужных штанов не было, и появятся они разве в конце месяца. Пометавшись на всякий случай вдоль прилавков, собрались уже уходить, когда Чугунов заметил стоящего у парфюмерного отдела человека. Растерянный его вид напомнил Чугунову, что это судья, судивший Кокорева. Чугунов попросил племянницу обождать и подошел к судье. Судья тоже узнал Чугунова. Огорченно он сообщил, что французские духи, которые хотел подарить дочке, стоят двадцать семь чеков, тогда как он думал, что — двадцать пять. Он и купил столько: двадцать пять чеков — на пятьдесят рублей, как тут же проговорился Чугунову, то ли не боясь осуждения с его стороны, то ли попросту не предполагая такого осуждения от человека, который ведь тоже, надо полагать, не с простыми рублями пришел в этот странный магазин.

Судья был расстроен. Видно было, что он очень любит дочку и что дочка очень любит французские духи. Чугунов, смущаясь сначала, но потом, — вспомнив, как хорошо они тогда поговорили с судьей про крыс, — все настойчивее стал совать ему бумажку в пять чеков, меньше у него не было. Он совал ее, стыдясь почему-то своего богатства, которое обнаружил перед взором судьы, раскрыв лопатник из нарядного слаборазвитого крокодила, совал, бубня что-то об огорчительной способности темнокожего рабочего сломать в первую оче-

редь то, чего не может починить в силу разных обстоятельств его советский друг. И судья наконец взял чеки. Оглядевшись, он вытащил из кармана пятерку, потом трешку, потом, подумав, рубль, но, взглянув на Чугунова, сунул все обратно в карман и поблагодарил крепким рукопожатием. Он подошел к кассе, заплатил, вернул Чугунову три чека и получил свои духи.

Хотя племянница посылала Чугунову подстегивающие взгляды, он дождался судьи, познакомил его со своей любимицей, и они втроем вышли из магазина. Пошли медленно: Чугунов с племянницей — к метро, а судья — домой, было им по пути. Чугунов спросил, чем кончилось следствие по делу Кокорева. Судья остановился, посмотрел недоуменно, а потом повеселел и сказал:

— Да ведь вы же тогда уехали! Так ничего и не знаете?

Чугунов сокрушенно признался, что жизнь завертела его, и он, как ни стыдно это, так ничего и не узнал о судьбе докера Кокорева. И судья рассказал, что следователь, занимавшийся исследованием, после беседы с судьей сосредоточился на моментах, связанных с появлением крысы, добился у прокуратуры права на вскрытие пола в пакгаузе — и... Тут судья с опаской взглянул на племянницу Чугунова, потому что ему показалось, что в глазах ее появилось истерически-холодное выражение, знакомое по совместной работе с Галиной Трофимовной Лапутянко. Но Чугунов, перехвативший опасливый взгляд судьи, успокоил его, сказав, что Настька — человек нормальный и что в настоящую минуту она едет отсюда к своей тетке, которая — очень правдивая гадалка и обещала Настьке раскинуть карты на младшего научного сотрудника Серегу, в свою очередь племянника чугуновского соседа Евгения Михайловича, между прочим, принимавшего участие в судьбе Кокорева и дававшего Чугунову консультации, касавшиеся образа крыс в мировой художественной литературе... Но пусть судья скорей продолжает: что же, что обнаружил следователь?.. Под полом, сказал судья, оказались деньги в количестве, поразившем даже видавшего виды сыщика, по словам которого весь подпол был устлан бумажными червонцами, причем верхний и нижний слои купюр частично сгнили, частично же были погрызаны крысами, но в середине лежали червонцы целенькие и невредимые — они устроили бы самую привередливую кассиршу. Очевидно, какой-нибудь складской жулик упрятал в подпол добытое неправедным трудом. То, что крыса таскала Кокореву купюры из середины, — лишнее свидетельство того, что мы не все знаем о наших меньших современниках.

— Ну, а с Кокоревым-то, с Кокоревым-то что?

Судья пожал плечами: — Сидит, наверно...

Чугунов засокрушался: шесть лет ему еще сидеть — подумать жутко!.. Тут за два года без родного двора тоской намаялся в слабо-развитой стране...

Судья сказал:

— Не шесть, а год.

— Почему? — удивился Чугунов.

И услышал, что Кокорев на новом суде получил три года. Ибо статья такая-то, предусматривающая наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, была заменена, — с учетом быстрого, без всяких последствий, восстановления здоровья пострадавшего, — на статью такую-то, полагающуюся за нанесение травмы при наличии смягчающих обстоятельств, которыми можно считать состояние крайнего душевного смятения, возникшего у преступника в результате потери им основного источника существования (лошади ли, коровы ли, в данном случае — крысы).

В настоящее время судья был на пенсии.

Про Лапутянко он слышал, что она чуть не испортила себе жизнь и общественное положение, вступив в открытый и незаконный роман с каким-то начальником из роно, но вовремя одумалась, сохранила семью и теперь уже, наверное, наверстала упущенное...

Они отпустили Настю, рвавшуюся к родственнице-гадалке, а сами долго стояли у выхода из метро. Через равные промежутки времени метро, как живое существо, выбрасывало клубящуюся толпу: так дышат простые и здоровые организмы, не обремененные размышлениями и стрессами, с сердцем и легкими, за которыми хорошо следят те, кому положено за ними следить.

Чугунову и судье предстояло еще уточнить одно место в кокоревской истории. Оно оставалось темным и после умно проведенного исследования и не давало покоя ни бывшему судье, ни бывшему народному заседателю, поверившим в крысу, бывшую источником если не существования — это уж натяжка расположенного к грузчику суда, — то, во всяком случае, источником его бедного и запоздалого бобильевого счастья.

Ибо даже такая крыса, как может она своими острыми зубами, цепкими своими лапками — острыми, цепкими, но не приспособленными же к этому делу, — как может даже такая крыса аккуратно сложить человеческий червонец пополам?

Как она может это?!

Под шум дождя, под рокот грома

Получивший широкую известность своей прозой и драматургией, Валентин Петрович Катаев начинал как поэт и писал стихи на протяжении всей жизни. Стихи его печатались в газетах, журналах, включались в Собрания сочинений. Однако большая их часть оставалась в столе.

Незадолго до смерти Катаев начал работать над составлением своего первого стихотворного сборника, которому так и не суждено было выйти в свет.

Я знал, я чувствовал, что поздно или рано
Вернусь на родину и сяду у платана,
На каменной скамье,— непризнанный поэт,—
Вдыхая аромат цветущего бурьяна,
До слез знакомый с детских лет.

Эти строки из стихотворения 1944 года, посвященные освобожденной Одессе, можно отнести к судьбе поэтического творчества мастера.

Вниманию читателей предлагается подборка стихотворений Катаева, написанных в 1917—1922 годах.

* * *

Зима была сырой и длинной,
Но март пришел прозрачно-тих
И лег на пихты паутиной
Лучей сияющих своих.

И я опять брожу как пьяный,
Предчувствуя приход весны,
Вдоль берега, где спят бакланы
И солнце греет валуны.

Там на обрывах красной меди
У синей мартовской воды
Лежат, как белые медведи,
Еще не стаявшие льды.

1917

* * *

Под шум дождя, под рокот грома
Лепечет дикий виноград.
Раскрыты настезь окна дома,
И ярко зелен мокрый сад.

По желобам струится пена,
Бела, воздушна и звучна,
И горек дождь, как вальс Шопена,
Легко летящий из окна.

1918

* * *

В праздник спаса, в золотую пору,
Сквозь морские пыльные сады
Мы опять с тобой сошли под гору
И на камень сели у воды.

Море было ласковым и синим.
Помню я, как улыбнулась ты
И сказала: — Ну давайте кинем
В жертву морю красные цветы.

И упали в голубую воду
Два пиона ярких и больших.
Желтый зной был в полдень слаще меду,
И лазурь текла из глаз твоих.

1918

* * *

На лотках золотистые груши
Наливаются соком в тени.
Все яснее, все тише, все суше,
Все прохладней сентябрьские дни.

Слаще лепет желтеющих листьев
И у нежной, любимой моей
Паутинки волос золотистей,
А глаза все темней, все темней.

1918

* * *

Ночь увяданья, ночь сомненья
Была темна и глубока.
От листьев тонко пахло тленьем
И мокрой тиной от песка.

Но вся с дальних побережий
Осенним запахом земли,
Бежал по звездам ветер свежий,
И звезды как весной цвели.

1918

* * *

Истомленный бессонной любовью,
Я стремился к родным берегам
По горячим пескам Приднепровья,
По душистым сосновым лесам.

Сквозь зубчатые дали лесные,
Как дары красоты и любви,
Мне показывал дедушка Киев,
Купола золотые свои.

И о счастье твердили колеса,
И дышала в лицо высота,
И мелькали бегущие косо
Броневые решетки моста.

1919

* * *

Я был один, Полтавы гость случайный,
Я дом родной, я близких забывал,
Но о любви «в молчаньи ночи тайной»
Мне голос твой далекий повторял.

И я следил сквозь слезы сожаленья,
Сквозь мрак дубов и трепет тополей
Июльских звезд беззвучное паденье,
И в блеске их искал судьбы своей.

Текли часы густым и душным ядом,
И думал я: о, этих звезд полет,
Чем больше их просыплется над садом,
Тем больше роз на утро расцветет!

1919

* * *

Пуховые звезды, и пахнет дождем.
Струя из-под крана звенит под окном.

Над книгой открытой мерцает свеча.
От слез ли, от дум ли щека горяча?

И слабые звезды и пенье струи
Все выше, все тоньше, как мысли мои.

1919

* * *

Под темным образом святого Николая
В рыбачьей хижине, на лавке засыпая,
Я слушал, как во тьме, за тонкою стеной,
Звенел весенний вихрь натянутой струной.
В кривом окне звезда холодная мерцала,
И море в темноте шумело и вздыхало
И рыло волнами береговой песок.
Во тьме звенел стакан и низкий потолок
Качался и дрожал, как потолок в каюте.
Я выходил во двор. Полна холодной мути
И странных крупных звезд морская ночь была.
Казалось, что земля качалась и плыла.
Качались на ветру деревья, и во мраке
С порогов лаяли озябшие собаки.
Должно быть, ветра свист им не давал уснуть,
Должно быть, в темноте, сквозь бурю, мглу и муть
Им кто-то чудился, неведомый и грозный,
Идущий медленно и льющий холод звездный.
Не Он ли был со мной, неумолим и строг,
Когда не в силах спать, я вышел на порог
И к ветру став лицом в тревоге и волненьи,
Смотрел не трепет звезд в немом оцепененьи.

1919

* * *

Голубыми куполами
Город смотрит на восток.
Новый месяц над домами
Тонок и высок.

За домами, над вокзалом,
В дыме розовой зари
Утомленными глазами
Светят фонари.

И несется свист тревожный,
И взлетает сизый дым,
И мелькает осторожный
Семафор под ним.

Дальний путь зовет и манит,
Манят тайные пути.
Только знаю: сил не станет
От тебя уйти.

1920

* * *

Если ночь за решеткой светла,
Среди грусти и праздности странной,
Ароматна, крахмальна, бела —
Папироса, мой друг постоянный.

* * *

Я все медлю курить, и пока
С папиросою пламя не слито,
В золотом волокне табака
Невозможность возможного скрыта.

* * *

Но едва золотой огонек
Пропорхнет по обрезу тупому,
В нем малиновый вспыхнет глазок,
И запахнет табак по-иному.

* * *

И сейчас от иного огня
Легким дымом до сердца достанет,
И опять, как и прежде, меня
Невозможностью счастья обманет,
1920. Лето. Тюрма. Одесса.

Эсфирь

До полуночи дождь веселый
Растекался по Балте дымом.
А на мокрых ступенях школы
Целовалась Эсфирь с любимым.

Растрепала Эсфирь прическу,
Прислонившись спиною к дверце.
Ах, у девушки мягче воску
Под рукою мужчины сердце.

А потом, огнем заливаясь,
Говорила: — Мне стыдно, милый,
И ответил он, улыбаясь:
— Не стыдись, я твой до могилы.

— Милый, как же мне не стыдиться,
Все узнает Господь на небе:
Люди утром пойдут молиться
И у двери найдут мой гребень.

1921

Весенний день наполнить нечем.
Пою. Скучаю. Жду.
Но кто ко мне придет на встречу
И ждать в каком саду,
Когда затеплит синий вечер
Знакомую звезду?

Ни бред любви, ни пламень страсти
Меня не жгли в пути.
Зачем же мне мечтать о счастье?
Куда за ним идти?

Кто примет мой последний пламень
И мой последний вздох,
И на простой могильный камень
Положит вечный мох?

Но не забыть печальной деве
Слиянья жарких уст.
Я знаю, минет срок тридневен,
И гроб мой будет пуст.

1921

Дом

Дом стоял на болоте.

Впрочем, если не знать этого, то никакого болота заметить было невозможно. Ярко зеленела трава ухоженных газонов вокруг, поlying оранжевым, голубым, малиновым огнем цветущих клумб, разбитых повсюду, мощно тянули себя к небу, шелестя на ветру листвой, деревья с могучими, раскидистыми кронами,— никаких болотных кочек в перьях осоки, никаких танцующих, хлипких стволов в мшистом налете плесени, и певчие птицы, что селились в зарослях боярышника, сирени, акации, окружавших дом, были те же самые, что и возле других домов, и по утрам жильцов пробуждали те же чудные песни, от которых просыпались обитатели домов соседних. К дому вела прекрасная асфальтовая дорога, твердая, ровная, широкая, детская площадка для забав и игрищ подрастающего поколения была разбита во дворе: с деревянными песочницами, доверху наполненными песком, с металлическими каруселями и качелями, с решетчатыми беседками для настольных игр.

Болото было засыпано, завалено привозным чужим грунтом при строительстве, и тем, кто это делал, наверное, казалось, что оно полностью задавлено, с ним покончено навсегда,— было и нет, можно о нем не думать.

Однако там, в глубине, в темном земном чреве, под слоем привозного чужого грунта болото продолжало жить своей тайной ужасной жизнью, оно дышало, оно вздымалось и опускалось, шевелилось, ворочалось, и дом постоянно ощущал на себе эту затаившуюся под ним хлябь. Старожилы вспоминали рассказы обитателей дома, что были в их нынешнем возрасте, когда старожилы были еще детьми: дом, стоявший на месте того, что стоял сейчас, засосало под землю. Он был деревянный и сначала ушел под землю нижним венцом, потом вторым, третьим, четвертым, сырость пропитала его бревна до самого верху, они сопрели, и в один прекрасный день то, что еще не было втянуто хлябью, просто рухнуло, погребя под собой всех, кто находился внутри. Оставшимися без крова на скорую руку, лишь бы появилась крыша над головой, был поставлен временный, маленький, тесный домишко, а рядом с ним начал возводиться большой, основательный, каменный — красивый и просторный, удобный для житья и, самое главное, вполне надежный: сваи его фундамента вгоняли, прошивая болото, до скального грунта.

Это и был тот дом, где мы жили. Однако это был вовсе не тот дом, который предполагалось построить, когда он вычерчивался на бумаге. Во времянке было настолько тесно, что, едва у дома появился первый этаж, его заселили. Строительство замедлилось — пришлось как-то облаживать для житья этот заселенный первый этаж, подводить всякие коммуникации, устраивать отопление, а там, только взялись за второй этаж, хотя и была подперта со всех сторон контрфорсами, времянка развалилась, и достраивать дом по проекту не осталось никакой возможности. Спешно, спешно, только хоть как бы достроить, тянули вверх стены, вставляли в кривые оконные проемы перекошенные рамы, и вместо мраморных плит на облицовку пошла

обычная керамическая плитка, а вместо майолики, где она предполагалась, стены расписали, расцветили для глаза обыкновенной масляной краской. И будто ласточкины гнезда, в возмещение утраченных при корректировке проекта эркеров, террас, лоджий, налепились повсюду всякие самодельные верандочки, балкончики, глухие кладовки,— видок у дома вышел еще тот.

Но нас, обитателей дома, вид его, откровенно говоря, не очень смущал. Главное, фундамент его был вполне надежен, и нам, нынешним его жителям, не грозила участь тех, что жили здесь, на этом же месте, в том, рухнувшем, доме.

Хотя болото и не давало забывать о себе.

Оно напоминало о себе прежде всего комарами. Ознобное их зудящее пение возникало в доме с первым весенним теплом и не оставляло вас до осенних холодов. Комары были необыкновенно злы, кровожадны, никакие мази против них не действовали, и душные летние ночи превращались из-за того в истинную пытку. Чтобы спать спокойно, почти все в доме прибегали к одному, единственно надежному способу: закрывали на ночь наглухо окна и, включив пылесос, обходили с ним потолки всех своих помещений, втягивая комаров струей воздуха. Но спать после этого нужно было не открывая окон, и что было большим злом: комары всю ночь напролет или жаркая липкая духота, после которой наутро поднимался с такой головой, будто мозги у тебя сделаны из кирпичей?

Другим, столь же постоянным напоминанием болота о себе была вода в подвале. Дренажные канавы, окружавшие дом, впитывая в себя тающий снег, спускали вешние воды в болото, и оно, переполняясь, выталкивало их из себя коричневой мутной жижей в фундаментный котлован. Приезжали водокачки, затакивали рифленые толстые шланги заборных рукавов в слуховые отверстия, металлические стаканы поршней, отсасывая воду, со стуком и чмоком ходили вверх-вниз, и коричневая струя выплескивалась на асфальт, бежала по нему ручьем под уклон, чтобы стечь в ближайший канализационный колодец. Но или канализация была несовершенна и не могла принять такое количество воды разом, пропуская какую-то ее часть обратно в почву, или уж виной тому было только болото, вбиравшее в себя стоки со всей округи, а только осушенный подвал через самое недолгое время начинал вновь наполняться водой и бывал действительно сухим лишь неделю-другую раз в несколько лет — в какое-нибудь необычайно засушливое лето.

Собственно, комары были только следствием этой непроходящей воды в подвале. И, в конце концов, они не были малярийными, оставляли после себя зудящие красные волдыри, и все, сырость же, что шла от воды, пропитывала собой весь дом, и многие в доме страдали от болезней, причиной которых являлась именно влажная атмосфера нашего жилья. Артрит, ревматизм, эмфизема легких — это были болезни, которые имел в нашем доме едва не каждый взрослый. А дети все время ходили с насморками, кашляли, то и дело температурили, — растить детей, живя в нашем доме, было едва не подвигом: каждый знает, что это такое, болезнь ребенка, сколько она отнимает сил.

Особенно страдали от сырости, конечно же, те, кто жил на первом этаже. Когда-то первый этаж считался привилегированным — ведь в свою пору в него из временки заселялись наиболее уважаемые, заслуженные, первые люди или просто, в конце концов, наиболее дошлые. — теперь при малейшей возможности все старались с первого перебраться на второй. Но спускаться со второго на первый никто не хотел, то и дело между жильцами первого и второго возни-

кали конфликты, в которые по цепочке втягивались все новые и новые участники; то затухая, то вновь разгораясь, эти конфликты длились, случалось, годами, жить, ощущая под ногами их тлеющий жар,— тоже в этом не было ничего хорошего.

Но, в общем-то, мы привыкли к такой жизни. Главное, что фундамент был вполне надежен. А в других домах, в тех существовали свои проблемы, не могли не существовать, ничуть, может быть, не меньше, чем наши, и живи мы в каком-нибудь из них, мучились бы, глядишь, еще больше. Так мы себя успокаивали. Так помогали сами себе терпеть все это дальше. И учили тому терпению своих детей. И разве мы были не правы?

Трещина, измеившая наискось дом от фундамента до крыши, появилась не вдруг, она не оказалась неожиданностью, она была сначала такой тоненькой, паутинной, что глаз, схватывая ее, не обращал на нее внимания, привык, что она есть, и когда наконец сделалось ясно: да ведь трещина же! — она была уже весьма изрядна: местами кое-где едва не в полпальца толщиной.

В доме могло рухнуть где-нибудь перекрытие — это было бы скверно, но это была бы не беда. В доме могли сгнить стропила, потечь крыша, разморозиться трубы отопления — все это не было бы бедой, потому что все это в конце концов оказалось бы поправимо. Но трещина в стене — это была действительно беда. Потому что причиной ее могло быть только одно: поехавший фундамент.

Ультразвук показал, что несколько свай, на которых стоял дом, уходит в болотную глубь не вертикально, а наискось, и выяснилось, когда подняли архивные документы, так, наискось, они и были вбиты, с самого начала, пошли так — и нечего было делать, но расчеты показали, что это не должно сказаться на устойчивости дома, запаса прочности остальных вполне достаточно, и никаких дополнительных свай вбивать не стали.

Открытие было ошеломляющим. Вон что! Мы-то думали, пусть простуды и артриты, пусть мучительные летние ночи и неприязненные отношения между соседями, главное — фундамент стопроцентно надежен и уж тут беспокоиться нечего. А он вовсе не был надежен, и нам, получается, угрожало то же, что произошло с нашими предками, жившими в деревянном доме!

Некоторое время после свершившегося открытия в доме царила паника. И, как всегда в пору паники, никто ничего не делал, никто и не знал, что, собственно, делать, а трещина между тем становилась все шире, шире, было ощущение, что скоро она прорвет стену насквозь.

И тут наконец проявился управдом. Это в его обязанности входило вызывать водокачку, когда подвал начинал переполняться водой, он собирал квартплату и время от времени обходил все квартиры, проверяя правильность заполнения книжек квартплаты с показаниями электросчетчика, это он заведовал перемещениями из квартиры в квартиру, когда какая-нибудь освобождалась,— в общем, он был заметной фигурой в доме. И конечно же, кому первому и следовало озаботиться возникшей ситуацией, так это ему.

На подъездных дверях появились подписанные им, отпечатанные на машинке листы, в которых как бы официально сообщалось о проведенных исследованиях, их результатах, а затем — и эти строки были отщелканы на верхнем регистре, прописными буквами,— уже не как бы, а действительно официально объявлялось о выводах совершенного исследования: на косо вбитые сваи нет никакой нагрузки, вся нагрузка лежит на нормальных, вертикально вбитых сваях, для

беспокойства нет никаких причин, а трещина — результат естественных напряжений в стеновой конструкции, и достаточно ее просто заделать раствором.

Мы собирались около этих листков целыми толпами, читали их вслух, обсуждали, и хотя большинство не то чтобы не поверило объявленным выводам, но как бы не почувствовало их истинности, спустя несколько дней почти все, однако, обнаружили, что вполне удовлетворены этими выводами, успокоились и в каких-либо дополнительных сообщениях не нуждаются. Ну в самом деле, не могли же наши предки, строившие дом, после всего происшедшего ужаса не подстраховаться, не забить лишнюю сваю вместо тех, пошедших вкось, обязательно бы подстраховались, если бы в том действительно была нужда!

Появились строители, с крыши на стальных блестящих канатах свесилась заляпанная раствором и известкой люлька, — от трещины за полдня работы не осталось и следа, а строители вдобавок ко всему в последующие дни еще и освежили весь дом: подштукатурили, подкрасили и подновили кафельную облицовку цоколя.

Трещина обнаружила себя совсем через недолгое время: разорвав паутиной плитки цокольной облицовки, вновь прозмеила собой стену до крыши. Но теперь на нее никто не обратил никакого внимания. Пусть себе будет, пусть растет, если ей нужно, а станет необходимо — замажут.

Так с той поры мы и зажили: трещина появлялась — и ее замазывали, появлялась — и замазывали, и все привыкли к этому, и перестали даже убирать со стены подвесную люльку. Что ее убирать да вешать, убирать да вешать; вот когда напряжение в кладке перестанет раздирать стену и трещина после очередного ремонта больше не появится, тогда уж и убрать ее, раз и навсегда. Правда, заделывать трещину приходилось слишком часто, средств на ремонт стало не хватать, и оправдом теперь то и дело ходил по квартирам, собирал дополнительные деньги. Каждый раз при этом он говорил со смешком, все, в последний раз, и по этому его смешку всем было ясно: может, конечно, и в последний, но кто его знает, не от его воли зависит, может, и совсем не в последний даже.

Но когда он в очередной раз пошел по квартирам собирать деньги, вдруг оказалось, что сумма, которую он просит с каждого, многократно превосходит ту, которую бы требовалось внести для обычного ремонта. Словно бы он собирался заделывать десять трещин. Или даже двадцать.

Да ну что вы, да это я решил впрок, чтобы сразу на несколько ремонтов собрать, чтобы не бегать мне то и дело, — улыбаясь, виняся и успокаивая одновременно своей улыбкой, — говорил оправдом, отвечая на недоуменные, встревоженные вопросы.

Однако когда около дома появился компрессор и рабочие с перфораторами принялись вскрывать асфальт около стен, вгрызаться в землю, обнажая коммуникации, всем стало ясно, что оправдом лукавил, — не трещину замазывать собирал он деньги. А когда уровень коммуникаций был пройден и все эти тонкие и толстые, в изоляции и без, серые и черные трубы обнажились, повиснув в воздухе, будто части скелета, на котором каменной плотью держался дом, длинная членистая машина привезла и свалила гулко сотрясшие землю бетонные спицы свай, прикатил копр, — и земля сотряслась уже от равномерных мощных ударов, которыми копр вгонял сваи в ее темное чрево...

Ну что ж, может быть, оправдом и был прав: незачем было сообщать нам, для чего действительно собираются деньги, тревожить понапрасну, — все равно узнали. Стали бы обсуждать, что да как, лезть

с уточнениями, советами, да еще б и денег не дали, а так — некуда деться, машина заперта, и, видимо, невозможно было обойтись без такого ремонта, все-таки нужно было укреплять фундамент, и нельзя больше тянуть, — иначе бы, конечно, он не решился на подобное.

Дом от ударов копра ходил ходуном, летела штукатурка, трещина в стене делалась все шире, все мощней и буквально разломилась, став сквозной. Внутри в доме никого не осталось. Все от мала до велика высыпало на улицу, и не только из любопытства, — страшно было оставаться внутри. Казалось, еще удар, еще один — и крыша обвалится, перекрытия рухнут, и дома не станет. И боже мой, как же всем нам стало жалко наш дом, сколько мы кляли его, сколько честили, какими словами ни поносили, а тут, в шаге от его возможной гибели, мы обнаружили, как он, оказывается, дорог нам, как мы жили с ним, как нам уютно в нем, хорошо и как скверно нам будет, если мы его утратим!..

Но нет, все, видимо, было рассчитано: дом не развалился. Сваи встали на положенной глубине, краном и бульдозером с лебедкой под дом подвели несколько дополнительных несущих балок, намертво приварили их, — и коммуникационный скелет вновь исчез под землей, каток своей многотонной машиной утрамбовал дымящийся свежий ноздреватый асфальт, и отделочники живо заделали, закидали раствором, затерли шпателями щель, заштукатурили заново те места, где штукатурка отвалилась, прошли, завязав лица марлей, вокруг дома с распылителем, и дом, заблагоухав краской, засиял чистотой и невинностью новорожденного.

Из соседних домов приходили посмотреть на нашего новорожденного. Обходили вокруг, качали головами, прицокивали языками. Что говорить, хотя мы и не блистали красотой, а с архитектурной точки зрения являлись, может быть, даже уродцем, все-таки мы были необыкновенным домом. Исключительным. Стоять на болоте, на волнующейся под тобой жадной хляби, но все-таки стоять и пусть через напряжение, через сверхусилие, но выглядеть вполне прилично, — это что-нибудь да значило! Нам было чем гордиться. Попробовали бы они жить в таких условиях. У них-то дома стояли на твердой почве.

Новая трещина прозмеила дом совсем в другом месте, чем прежняя. И она не заставила себя долго ждать. Она появилась — мы еще не успели привыкнуть к отремонтированному, заново рожденному облику нашего дома. Появилась внезапно, в один миг: ночью многие вдруг проснулись словно б от сотрясения, от резкого мощного толчка, как бы подбросившего их на постелях, от некоего гулкого, будто орудийный выстрел, надсадного звука, проникшего извне в их сонное сознание, и, когда утром стали выходить на работу, обнаружили, что было причиной ночного их пробуждения. Трещина пересекала дом сверху донизу, и повсюду была шириной в палец, не меньше, а местами пробила стену насквозь.

Вечером оправдом устроил собрание. Обычно он являл собой само довольство и цветущее благодушие, нынче он был бледен, тревожен, и глаза его никак не могли остановиться на одном месте. Однако смысл его речи сводился к тому, что все сделано правильно, не сделать того, что сделано, было нельзя, все расчеты верны, и согласно этим расчетам происшедшее ожидалось, должно было случиться, вес дома переместился, возникли новые напряжения и дали себя знать, могут дать о себе и еще, но во всем этом ничего страшного, фундамент теперь укреплен на вечные времена, а заделывать трещины — пара пустяков.

И снова, как тогда, после ошеломивших нас результатов ультразвукового исследования фундамента, всем нам хотелось верить управ-

дому; нам хотелось — и мы поверили. У всех у нас были свои дела, свои заботы, а его делом, его заботой было следить за домом, и, если мы полагали о себе, что справляем свои профессиональные обязанности вполне качественно и никто со стороны не может судить нас, почему мы должны были не доверять ему?

Другое неприятно оцарапало всех, насторожило и поселило в каждом невнятную, но вполне отчетливую тревогу: на собрании почти не было молодых лиц. Конечно же, причиной тому являлась и сама молодость, не очень-то любящая расприживаться по всяким собраниям — многие из молодых просто-напросто не пришли, — но, оглядывая собравшиеся плечи, морщины, седины, все мы с не посещавшей до того никого остротой ощутили, что каждый из нас вместе с тем не слишком уверен в будущем дома. Ведь все мы старались, чтобы наши выросшие дети, выходя замуж, женись, переселялись бы к своим новым родственникам, в семьи жен и мужей, чтобы там жили, не здесь. Все так старались. И оказывается, в доме у нас на первом этаже уже пустовало несколько квартир, в них не было ни одного жильца, и уже порядочное время!

Впрочем, жизнь продолжалась. Мы приняли к сведению сообщение управдома и разошлись, посудачив лишь о его лице и бегающих глазах; снова появились рабочие, повисли в люльке над щелью... но тут произошла другая неприятность.

Провалилась ведущая к дому асфальтовая дорога.

Подобное случалось и раньше, и не только с дорогой, повсюду на нашей территории, — то не выдерживал напора болотной стихии насыпной привозной грунт. Однако обычно это случалось весной, когда таяли снега, а сейчас от весны нас отделяло уже весьма изрядное время. И кроме того, вдруг выяснилось, что мы не можем отремонтировать дорогу. Обычно, когда происходило подобное, тотчас появлялись самосвалы, возили, вываливали в образовавшийся провал песок, щебенку, всякий строительный мусор, ползал, разравнивал вываленные кучи бульдозер, и если то была дорога — приходил следом грейдер, если же какая-нибудь газонная, зеленая часть — высаживались новые деревья, разбивались новые клумбы, и все становилось, как прежде. Теперь же, оказывается, нам нечем было оплатить все эти работы. Наш счет в банке зиял бездонной пустотой, — то, что там имелось, вместе с деньгами, собранными по квартирам, ухнуло на укрепление фундамента...

В конце концов провал был засыпан песком, который мы взяли из песочниц. Мы сами засыпали его. Собрались в выходной день, кто с ведрами, кто с носилками, и засыпали. Жалко было опустошать песочницы — ужас, хоть и мало у нас в доме оставалось детей, но были, и получалось, что мы лишаем их радости возни с песком. Но что было делать, чем еще засыпать, и пришлось.

Ничего, не беда, говорил управдом, таская вместе со всеми носилки к провалу. Не на веки же вечные мы забрали. Вот поднакопим денег — и снова завезем полные песочницы. Поднакопим, непременно, как же иначе, дом отремонтирован, у нас теперь больших трат долго не будет.

Да, конечно, думалось нам вслед его словам, теперь со всеми этими ремонтами мы надолго закончили.

Но, видимо, расчеты были все же неверны. Видимо, нельзя было вбивать новые сваи — болото было под нами, не твердый грунт, — должно быть, от сотрясения конструкция фундамента потеряла жесткость, а новые несущие балки на новых сваях оказались или просто бессмысленны, или, еще хуже, вредны, — сразу три трещины иссекли

дом в разных местах, и он, буквально на глазах, стал разваливаться. За несколько дней трещины пробили стены насквозь и все увеличивались, все росли, сыпалась штукатурка, вылетали вывернутые невероятным давлением осколки кирпичей, вода в подвале поднялась необыкновенно высоко, она стояла едва не вровень с землей.

Мы все, семья за семьей, семья за семьей, переселились на улицу. Кто вытащил с собой почти всю свою мебель, кто лишь кровати с бельем и одежду, кто умудрился прежде всего снести книги, кто посуду, но после какого-то момента вдруг стало ясно: что взял, то и взял, больше заходить внутрь нельзя, опасно, жизнь дороже любых вещей. Управдом ходил между нами с бледным, напряженным лицом, но теперь ни от кого не уклонял глаз, смотрел прямо, и взгляд его светился печалью. Это было неизбежно, говорил он. Я это знал. Я это давно знал. Я просто не хотел никого пугать. Но вообще до конца дом не развалится. Запас прочности у него большой, это точно. Вот остановится процесс, который идет, поставим контрфорсы, укрепим перекрытия, заделаем как следует щели — и будем еще жить в нем и жить. Это наверняка.

Должно быть, он действительно так думал. Потому что прошел по окрестным домам, те по его просьбе организовали некое общество помощи нам, пустили шапку по кругу, собрали какие-то средства,— по отремонтированной с помощью детских песочниц дороге прикатили машины, сгрузили во дворе контейнеры с кирпичом, мешки с цементом и вывалили даже с десяток кубометров песка, чтобы замешивать раствор,— нашим детям мигом появилось чем играть.

Группа нетерпеливых мужчин, когда все это завезли, потребовала от управдома начать строительство контрфорсов немедленно. Вызвать рабочих, пообещать им любые деньги — и чтобы немедленно.

Управдом не соглашался. Процесс должен завершиться, увещающе говорил он. Иначе контрфорсы тоже подвергнутся ему. Напряжения в конструкции исчезнут, процесс завершится, щели перестанут расти, и тогда мы совершенно беспрепятственно поставим контрфорсы, и укрепим перекрытия, и заделаем щели, и будем еще жить в доме и жить...

Но мужчинам не терпелось. И, потеряв надежду уговорить управдома, они решили ставить контрфорсы сами. Здесь, ходили они вокруг дома, ставим два, здесь один и здесь один, а здесь тоже два... Реквизировали у кого-то несколько корыт замешивать раствор, нашли лопаты, перетаскали из контейнера к месту намеченной кладки кирпичи.

Они не успели положить ни одного кирпича, только сделали замес и, передыхая, закурили,— дом рухнул.

Все произошло так быстро и так заурадно, что никто из наблюдавших это толком в тот миг и не понял, что происходит, не успел ни испугаться, ни вскрикнуть, ни тем более отозвать тех мужчин от дома — чтоб отбежали. Крыша вдруг поехала вбок и просела, что-то ухнуло внутри — провалились, должно быть, чердачные перекрытия, выметнуло вверх громадное, плотное облако пыли, и стены, надломаясь, с гулом ухнули к своему подножию, рассыпаясь на кирпичи, лохмато ломая оконные рамы, стреляя стеклом... дом во мгновение ока стал грудой мусора, погребя под собой и стоявших около него с сигаретами в губах нетерпеливых мужчин.

Нам помогают. Теперь, когда произошло непредвиденное и ужасное, сами собой, без всяких просьб с нашей стороны, возникли всякие комитеты помощи нам, собираются деньги, вещи, закупаются строительные материалы, техника, дети дают благотворительные концерты, и сбор от концертов тоже идет в нашу пользу. Нам помогают всем

миром — мы живем в палатках, купленных на средства, собранные жителями вон того, видите, вон вдали, на возвышении, красивого белого дома с греческими колоннами, мы готовим себе еду на «буржуйках», подаренных нам обитателями вот этого, да, вот этого высокого, с дымчатыми стеклянными стенами дома, и вон дом, да вон же он, вон, чуть левее, который весь в зелени и цветах, он тоже здорово помог нам, и вот этот еще, и вот этот...

Нам все помогают. И готов уже проект нового дома — скоро можем начинать строиться.

Но строиться нужно на прежнем месте. Другого для нас нет. Ведь дом — это не только стены под крышей, дом — это и пространство вокруг него, необходимое для здоровой, разумно организованной, комфортной жизни, и никто с нами своими территориями не поделится. Да, помочь деньгами и палатками — это конечно, это пожалуйста, но свое пространство — нет, это нет. И мы бы, случись на их месте, тоже бы не поделились.

Однако мы на своем месте, и строиться нам снова здесь, на болоте. При мысли об этом опускаются руки и не хочется браться ни за какое строительство. Где гарантия, что в нынешнем проекте нет никаких ошибок и дом, поставленный нами, не постигнет участь предыдущих? И где тем более гарантия от ошибок в ходе самого строительства, от тайного брака, от какой-нибудь небрежности какого-нибудь выпившего монтажника, что выплывет наружу потом, годы спустя?

Нет ни от чего никаких гарантий. И потому мы никак не можем взяться за дело. Живем в продувных палатках, готовим на «буржуйках» еду — и ничего не строим, а только все ходим кругами вокруг развалин, ходим и смотрим, смотрим и стонем про себя: Господи, да почему так нам досталось, за что?!

А уже подступает зима, уже пожухли цветы, облетела листва с деревьев, уже выпадал снег, и по утрам земля схвачена морозцем. И уже в соседних домах говорят о нас дурно, возмущаются нашей ленью, сердятся, что привезенная ими техника стоит в бездействии под открытым небом, уже жалость и сочувствие готовы заместиться там негодованием и холодным презрением, но Боже, Боже, кто б знал, кто знает, кроме нас самих, что это такое — строить без надежды, что построенное тобой будет стоять — нет, не вечно, разумеется, но именно так: будет с т о я т ь, просто с т о я т ь, знает ли кто это, кроме нас?

Мы будем строиться, будем, куда мы денемся. Нельзя же бесконечно жить в этих мерзлых палатках и готовить еду на ветру. Но как это тяжело — строить без н а д е ж д ы, как это тяжело — строить без в е р ы, Боже, Боже, милостивый, как это тяжело -- строить без л ю б в и!..

Баллада

В середине 30-х годов, когда мы с Константином Симоновым дружили, учась на одном курсе в Литературном институте, он написал маленькую балладу, которая всем нам, однокурсникам, очень понравилась, но которую, насколько мне известно, он так никогда и не напечатал. Думаю, в его архиве она все же хранится. Мне она запомнилась на все следующие Пятьдесят пять лет. Хотелось, чтобы эти стихи вошли в нынешнее собрание его сочинений.

Владимир Россельс

В далекой стране жил веселый король,
Пьяница, путаник, вор,
Жирный, как боров, багровый. как кровь,
И на правое око кривой.

Он ездил без свиты на грузном коне,
Не боясь ни за власть, ни за честь,
Ибо мог он любого в своей стране
Пережить, перепить, переесть.

И не было в мире счастливой страны,
Чем та плутовская страна,—
Там всё продавалось — от старой луны
До дырки на старых штанах.

Там всё покупалось — от чистой воды
До отпущенья грехов,
И клялись при сделках клочком бороды
Властителя своего.

И кто бы и что б у кого б ни украл,
Кивали на короля,—
Мол, дескать, еще не такого вора
Носит наша земля.

И кто бы и что бы ни совершил,
Кивали на замок его,—
Мол, нету на свете чернее души,
Чем у владельца его.

Так жили они, никого никогда
Не ломая и не круша,
И чем длиннее была борода,
Тем была короче душа.

Чистим-блистим

1

Ермаков звонил Лизе из автомата под ее окнами. Так повелось. Откуда бы он ни ехал — из дому, с работы, из командировки, — он доезжал до проспекта, нырял в подземный переход и, только придя к ее дому, влезал в телефонную будку. Набирал номер. Слушал гудки. Дальнейшее зависело от обстоятельств. Если мальчишка уже уснул, Лиза спускалась к Ермакову, он усаживал ее, еще домашнюю, теплую, в такси и увозил к себе. Когда мальчишка гостил у бабушки, Ермаков крадучись поднимался по лестнице, толкал приоткрытую для него дверь и оказывался в объятиях. Случался еще третий вариант, не частый, но с ним приходилось считаться: в трубке раздавался мужской голос. Ермаков ладонью зажимал микрофон и, придерживая дыханье, терпеливо ждал, пока кончатся выкрики на другом конце провода и там бросят трубку. Предвидя такую возможность, казалось бы, остроумней звонить заранее, хотя бы прежде чем ехать, но так уж у них повелось с тех пор, как он вырвался из экспедиции и напрямиком из Внукова прикатил к ней. Вернее, к автомату возле ее дома. «Ты откуда? — спросила она. — Междугородняя почему-то не предупредила». — «А при чем тут междугородняя?» — «Ты что, в Москве?» — «Я внизу». Она растерялась: «Как — внизу?» — «В автомате под вашими окнами!..»

Ее растерянность объяснялась просто. Их село далеко от этих окон, от этого автомата, от Москвы и вообще ото всех городов, в поселке, который назывался Звездным, возможно, именно потому, что небо над ним триста сорок дней в году заполняла разбухшая от влаги вата, а огоньки бурвышек по гребням сопки вокруг заменяли все созвездия мира. Когда Ермаков нанимался в экспедицию, он жаждал бродяжьей жизни, безлюдья, он достаточно отбарабанил в одном многолюдном месте и искал перемены. А очутился в поселке из нескольких улиц, где перла картофельная ботва за заборами, среди рубленых изб стояли изба-школа, изба-клуб и даже стрелковый тир в аккумулятельном сараюшке. Кто мог думать, что геологи так живут! Только столбики цифр на волнистых боках срубов выдавали призрачность этого оседлого быта. Каждый венец отличал свой номер, избу можно было разобрать за день, перевезти и без путаницы собрать в новом месте, словно не кряжистые пихтовые бревна ее составляли, а планочки детского конструктора.

Ермакова поставили пом. мастера на 5-ю вышку.

Когда лебедка вытягивала из скважины стометровой длины штангу, чтобы поднять на поверхность образец глубинной породы, по шаткой лесенке Ермаков забирался на самую верхотуру. В жесткой робе, в широкополой, надвинутой на глаза шляпе, ему нравилось стоять на ветру, в тумане, словно на мостике таежного сейнера, — над сопкой, над Звездным, над хребтом Мяо Чан.

Но иногда он смотрел на бурвышки из поселка, снизу. Они окружали Звездный со всех сторон, их тонкие контуры прорисовывались в разрывах низких облаков, словно вычерченные пером на сером листе неба. И Ермаков вспоминал другой поселок, с другими вышками по сторонам.

Он не больно-то любил заполнять анкету. Кому следовало, тот знал. А по собственному желанию рассказал одному Сашке Вахненко, своему бурмастеру.

Если не было сбоев долгими, как бурильные штанги, ночами, он рассказывал спокойно, словно не о себе, что Владлен Ермаков учился на юридическом, увлекался криминалистикой, римским правом и спортивной стрельбой. Еще в школе военрук, бывший снайпер с черной лентой на глазу (за что был прозван Кутузовым), оценил руку Ермакова, научил не мазать. В университете, к стыду фронтовиков, Ермаков сделался чемпионом. Его выбрали капитаном стрелковой команды и вручили в личное пользование малопульку ТОЗ-9. Он хранил ее дома. Его взяли в сорок восьмом за подготовку теракта, как он вскоре узнал в Большом доме. «Признавайся, — требовали от него на следствии. — Выбирай: десять лет или девять грамм». У следователей имелись сильные доводы, но он не признался, и к его двадцати ему добавили двадцать пять. Четверть срока он отбыл, немного больше, чем четверть.

С Лизой они встретились в тире. В стрелковом тире, который был главным развлечением жителей Звездного. Ермаков обходил его стороной, как ни тянул его туда Сашка Вахненко: все надеялся, что стрелок в нем проснется. Наконец уломал-таки заглянуть — с уговором, что стрелять он не станет.

Была ли она красива, Ермаков не успел заметить, а способность к оценке со стороны потерял в тот же день, когда в тире сделал ей какое-то замечание, а Лиза попросила его показать, как надо, но он стал отнекиваться, только повторил свой совет, и она сама убедилась в его правоте. Из тира, позабыв Сашку Вахненко, он ушел с ней в сопки и целовал ее, и рвал ей ландыши, которые почти не пахли, как вообще все цветы в тайге, и вспоминал колымскую прибаутку: цветы без запаха, женщины без сердца. Но ему не с кем было сравнивать Лизу, голубые факультетские девочки остались так далеко в его прежней жизни, что казались современницами римского права.

А она была геолог, из тех, каких представлял себе Ермаков. С карабином и рюкзаком за плечами она мерила ногами тайгу километрах в трехстах от Звездного. Начальником партии был ее муж. Время от времени она появлялась в поселке по каким-то экспедиционным делам и, почти не таясь, приходила к Ермакову, все равно в таком поселке, как Звездный, мало что скроешь от людских глаз. Лиза без стука входила к нему и, если не заставала, ждала. И, попадая с порога в ее объятия, он благодарил бога за то, что здесь не принято запирают двери, а если и вешает кто замок, то больше для вида.

Так они и встречались, налетами, вспышками, но когда она уезжала в Москву, до железной дороги провожал ее Ермаков, а не муж.

«На моей машине стекла не возят», — предостерег Лизу шофер, как только она отказалась от места в кабине. Полулежа на лапнике за кабиной, они подскакивали на ухабах, охали и вспоминали шоферское остережение, а попутчица, направлявшаяся в соседний поселок Лучистый за оставленными там под присмотром курами, в перерывах рассказывала, что уж пять дней, как перевезла вещи на Звездный, а дом все едет. «Нам не наш дом везут, Степановых, — говорила она. — Пока вещи на дворе под брезентом, этажерку, жалко, разломали дорогой на колдобинах этих, ох!»

А потом Ермаков позвонил Лизе из автомата, и она удивилась, что междугородняя не предупредила, как предупреждала обычно, когда он звонил.

И все-таки Лиза не уходила от мужа. Ермаков и не требовал этого — как он мог. Конечно, у Лизы были причины. Хотя бы мальчишка. Сын. Да и то, что Ермаков намного моложе, должно быть, тоже

смущало ее. Только главное, думал иногда Ермаков, заключалось не в этом. Иногда Ермакову приходило в голову, будто главное в том, что удобен он именно так и именно потому, что она с ним ничем не рисует.

2

В этот вечер шел дождь. Осенний, холодный. За мокрым стеклом телефонной будки, как в аквариуме, беззвучно разевал рот человек. Ермаков, покачиваясь на носках, ждал своей очереди звонить. Наконец тот, в будке, повесил трубку, и в дверях, когда Ермаков его пропускал, их глаза ненароком встретились; доля секунды, мгновение, а Ермакову показалось, будто он зашнулся, зацепился за что-то, как бывает, когда споткнешься; он тут же оглянулся в спину выходящему человеку. Человек не ушел, а остался стоять в своем модном плаще болонья под дождем возле будки, поменявшись с Ермаковым местами. Не наговорился, как видно. Ермаков сунул в щель аппарата монетку, снял с рычага трубку. Начав с буквы А, шесть раз крутанул диск, набрал номер, который не мог ответить. Суматошно гудели прерывистые гудки. Ермаков, прижав трубку к уху, в упор разглядывал стоявшего на дожде человека. Если это тот, за кого Ермаков его принял, они не могут разойтись как прохожие. Если Ермаков не обознался, этого человека он не смеет выпустить из виду, больше случая не повторится. Если он действительно тот, им есть что вспомнить. Но прошло много лет, много лиц промелькнуло перед глазами за эти годы, многие стерлись из памяти, а какие не стерлись — разве они остаются такими, какими запомнились. Похож, но обмяк, постарел, и глаза помутнели, голубые кукольные глаза, глаза робота. Оптические приборы для преломления света. А лицо в самом деле трудно запомнить. Ведь различье предметов в их особенностях, а попробуй запомни монетку, которую держишь в руке. Лицо человека сильно смахивало на монету, единственно по этой причине Ермаков не вполне был уверен. Чтобы что-то придумать, он еще раз набрал несуществующий номер. Тот, конечно, его не узнал, сколько таких Ермаковых перебывало у него в руках. Но проспект не совсем подходящее место, чтобы напоминать о себе. Зажав трубку плечом, Ермаков нащупал в кармане мелочь, выудил с ладони трехкопеечную монету. Повесил трубку и с силой загнал три копейки в предназначенную для двухкопеечных монет щель. А потом подергал рычаг. Изобразил на лице досаду. Выходя из будки, сказал тому, под дождем:

— Черт возьми, монета застряла! Не знаете, где здесь еще автомат?

— Нет.

Разумеется, он не поверил, не из тех он был, чтобы верить, и опять полез в будку.

Раз не знает, не здешний, решил Ермаков. Автомат был поблизости, за углом в переулке. Возле стройки, которая превратила переулок в тупик. Ни машин, ни людей, то, что надо.

Этот тип должен сам притопать туда, добровольно и без нажима.

— Вы не знаете, где здесь еще автомат? — обратился Ермаков к прохожему, продолжая следить за типом в будке; он присматривался к нему, как к мишени. Убедившись лично, что телефону каюк, тип повесил трубку.

— Не могу сказать, — не остановился прохожий.

— Вы не скажете, где здесь еще автомат? — войдя во вкус, спросил Ермаков у другого в тот самый момент, когда тип показался из будки.

— За угол направо,— отозвался — подкинул приманку — прохожий.

Непонятная штука память, несмотря на азарт, размышлял на ходу Ермаков. Если бы когда-нибудь ему сказали, что он не сразу узнает ту сволочь! Ну а если все же осечка?.. Перед тем как свернуть за угол, Ермаков оглянулся. Тип с лицом, как монета, топал следом, как будто на поводке. Ну а если осечка, поначалу постарается поосторожней.

Он опять набрал придуманный номер, простой до предела. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Несуществующий телефон А2-34-56, который его выручил. Правдоподобные шесть поворотов диска. Звонить Лизе и вообще кому бы то ни было не имело ни малейшего смысла. В тушике ни людей, ни машин, надо только дожидаться ту сволочь и уступить ему место в будке. Никто им не помешает.

Ермаков так и сделал.

— Не дозвонюсь никак, что за черт,— сказал, выйдя из будки.

Опять они поглядели один на другого, второй раз, и у Ермакова... у Ермакова вдруг схватило живот.

Раздумывать не было времени, в двадцати шагах начиналась стройка, штабеля железобетонных плит. Ермаков направился туда не спеша, точно как на прогулку. Он нашел еще силы выбрать позицию, чтобы не потерять будку из виду. Ермаков мог не верить глазам. Желудку нельзя не поверить. Через столько лет отозвался, сработал, как срабатывал тогда, в Большом доме, как только Ермакова вызывали к этой сволочи на допрос.

Он и обратно не побежал — так боялся спугнуть птичку в клетке.

Когда он рванул на себя дверь, тот, в будке, недовольно оглянулся и, продолжая бубнить в трубку, потянул дверь к себе. Но Ермаков держал крепко.

— Минуточку,— сказал тот в трубку и, раздраженный, оборотился к Ермакову: — Да вы что?!

Не ответив ни слова, Ермаков ударил его ногой в самый низ живота; от неожиданности и от боли (за последнее Ермаков готов был поручиться) он выронил трубку, а Ермаков, не давая ему опомниться и целясь, как на стрельбище, нанес новый удар, поточнее; человек в будке начал медленно оседать по стене, раздвигая к тому же ноги, словно специально для Ермакова.

3

— «Чайку» знаешь? — спросил Ермаков у шофера такси. — Поплавок на набережной?

Летний ресторанчик на реке дотягивал свой сезон, в нем было просторно, пусто, и вдобавок он чуть покачивался на воде, баюкал. Как раз то, что нужно. Ермаков поднялся по трапу, как на всамделишный пароход, и уселся к окошку с видом на реку, но окошко, черное, с косыми царапинами от дождя, отражало, как зеркало, белые ромбики скатертей и едва колеблющиеся на длинных шнурах люстры. Они покачивались, как маятники. Как качалась выпавшая из руки телефонная трубка там, в будке, где на полу осталась та сволочь.

Ни облегчение, ни радость не пришли к Ермакову, только острое наслаждение в первый момент, только в момент, когда тот, в будке, отяжелел, обмяк от боли, как куль. А потом стало тошно, еще тошнее, чем было. Мерзопакостное занятие избивать человека; даже те, кто этим ремеслом кормились, едва ли испытывали удовольствие от хорошо выполненной работы. Говорят, что тоже спешили надраться.

Ермаков пил водку, заедая одними грибочками, но бездумной легкости не наступало, а ведь он, он мог бы эту сволочь убить, он авансом получил за убийство. Сколько раз рисовал себе эту встречу, мечтал до нее дожить, продельвал в уме процедуру, разыгрывал, как эту, тренировался, хотя, конечно, не знал — откуда мог знать, — что произойдет она в телефонной будке, и эта сволочь не пикнет, и брошенная телефонная трубка будет болтаться, как маятник, на шнуре, как люстра в покачивающемся на воде поплавке, как подвешенный вниз головой человек, и орать женским голосом. И никак он не думал, что тот все стерпит. Ермаков отвечал урок без запинки, как ученик с первой парты, плащ болонья служил учителю слабой защитой. Но и крика Ермаков не боялся: чем он, в конце-то концов, рисковал? Он бы мог эту сволочь убить, он авансом получил за убийство, а уж два-то года за драку, за исполнение желаний не жалко, да и лагеря теперь разве те?! Но тот не орал, не сопротивлялся, не звал на помощь, хотя Ермаков не унижился до объяснений, только пхал методично остроносим ботинком, пырлял между ног. То ли узнал он его, то ли узнал свой почерк, который не оставляет улики, то ли ждал такой встречи... Ермаков-то думал, они будут квиты, да, видно, бывшего не избыть. Рассчитаться за прошлое невозможно, цены такой нет, чтобы расквитаться сполна. Но, пожалуй, отныне и эта сволочь будет знать хотя бы, как жить человеку, от которого даже жена имеет полное право уйти, как только захочет, сразу, только подаст на развод, и никто у него не спросит, а согласен ли он.

Расплатившись, Ермаков вышел из ресторана под дождь — трезвей, чем вошел; опять взял такси. Так и подмывало вернуться к той телефонной будке, он тревожился и ничего не мог с этим поделать.

Тряпка, сказал себе Ермаков, а шоферу назвал Лизин адрес.

Ясно, в будке никого уже не было, трубка, как следует, покоилась на рычаге. Сам ли уполз этот гад или какой сердобольный прохожий вызвал ему 03, это было уже не так интересно. Хорошо, хоть не Ермаков! Он опустил монету, снял трубку, набрал Лизин номер.

— Да, — сказала она, но он ничего не ответил, а зажал микрофон ладонью, чтобы она не услышала его дыханья, как делал в тех случаях, когда в трубке раздавался мужской голос.

— Алё, — уже громче повторила Лиза, а в третий раз крикнула: — Алё! — потом с раздражением спросила: — Чтобы помолчать, зачем трудиться звонить? — и ту-ту-ту зачастили гудки.

А Ермаков очутился опять под дождем. Холодные хлыстики щекотали лицо, Ермаков морщился, слизывал воду с губ и раздумывал, куда бы податься. На проспекте в черном мокром асфальте рассыпались, дробились пятна от фонарей. Только не домой. От такой перспективы его передернуло. Одиноким троллейбус промчался, как глиссер, часто-часто простучали каблучки. Время позднее. Москвичи расползаются по постелям в предвкушении невинных радостей после долгого дня.

— Плодитесь и размножайтесь, — протянул Ермаков тихонько. — Плодитесь и размножайтесь, аминь!

И выскочил на мостовую навстречу зеленому огоньку.

— Знаешь, какая разница между такси и женщиной с огоньком? — спросил шофера.

— Вам куда? — спросил шофер.

— Внуково. Женщина с огоньком не бывает свободной. Аэропорт.

Он любил туда попадать. Люди, которые улетали, отличались от тех, которые уезжают или уходят. Избавившись от чемоданов и сумок, в ожидании самолетов те же самые люди как-то перестают суетиться, становятся свободней и шире. Может быть, оттого, что боль-

шинству летать приходится не каждый день, или по другой причине, на пороге неба люди как будто меняют масштаб.

Щетки чиркали по стеклу, сметая воду то вверх, то вниз. На поворотах фары выхватывали из темноты то дом, то дерево, то стену леса. «Летайте самолетами!» — призывал придорожный щит. Полезное напоминание озабоченным повседневностью человекам. Не червяками ползайте, граждане, не бочком пробирайтесь по жизни — летайте самолетами!

На подороге машину остановили. Двое вышли на шоссе с поднятыми руками, рюкзаки за спиной делали их похожими на горбунов. На обочине возле перекошенной «Волги» возился третий.

— Подкинь к аэропорту, шеф,— сунулся в дверцу бородатый парень, — на самолет опаздываем. А тут баллон...

— Не возражаете? — спросил шофер Ермакова.

— Валяй.

— Будьте человеком, товарищ, — мрачно сказал бородатый. — Понимаете, нас четверо. С вещами. Через пять минут он отвезет вас куда надо. Баллон только сменит.

— Валяйте, — Ермаков не стал спорить и вылез на дождь. — Далеко летите?

— Вы даже не представляете, как нас выручили, — сказал бородатый. — А летим на восток.

Другой уточнил:

— Пока до Хабаровска.

— Счастливенько, — сказал Ермаков.

От Хабаровска до поселка Звездного можно за день добраться. На самолете в Комсомольск, а там на машине. Ермаков мысленно проделал весь путь, покуда парни грузили свои рюкзаки.

Шофер, на короточках, вертел колесные гайки.

— Садись бы в машину, чего зря кнуть, — проворчал он, когда его пассажиры уехали.

— Может, помочь чем?

— Испачкаетесь. Уж как-нибудь сам.

Ермаков пожал плечами и не двинулся с места. Не везет ему нынче на шоферов.

Во Внукове он первым делом направился к справочному.

— На Хабаровск ушел рейс?

— Семьсот сорок пятый? — сверкнула раскрашенными глазами девица в пилотке.

— Вот недавно, не знаю номера.

— Семьсот сорок пятый, — кивнула она. — Вылетел по расписанию.

— А никто не опоздал на него?

— Не знаю.

Ермаков обегал вокзал, но парней с рюкзаками не встретил, они успели, должно быть. Он вышел на летное поле, послушал, как режут моторы, полюбовался прочерченными вдали цветными пунктирами: красным по черному одна полоса, зеленым по черному другая. Этим птицам и дождь не помеха. А Ермаков вконец отсырел.

Он вернулся в вокзал, поднялся в ресторан и, прикинув ресурсы, попросил двести граммов у стойки.

— За столик сядьте, — буркнула буфетчица.

За столиком удрученный одиночеством сосед-лейтенант обрадовался Ермакову, налил ему из графина.

— Поздновато ужинаешь, — сказал Ермаков.

— У нас уже утро, — сказал лейтенант.

— Другое дело, — сказал Ермаков.

Выпили. Теперь Ермаков разлил — из своего графина.

— Авиация, — сказал лейтенант. — Быстро лететь, долго сидеть.

— А я только сейчас проводил, — сказал Ермаков. — По расписанию.

— На восток провожал-то? Ну вот. А мне на юг. Сочи не принимает.

Выпили. Налили, теперь уже один другому, наперекрест. Чокнулись.

— Отдыхать, стало быть?

— Точно.

Помолчали. Разговор не вязался.

— Мне пора. Счастливенько, — поднялся Ермаков.

Проходя мимо телефона-автомата, он подумал, а не позвонить ли ему к Склифосовскому, справиться о той сволочи. Как у вас, мол, больной Сидоркин? Фамилию-то он помнил отлично. Кто спрашивает? Родственник. Брат.

Но не нашлось монетки.

Он спустился в подвал, в туалет. В уголке белоснежного тамшнего великолепия увидал старика перед ящиком с сапожными щетками.

— Чистим-блистим? — спросил Ермаков и поставил на ящик ногу в замызганном остроносом ботинке.

Это было последнее средство избавиться от воспоминаний.

Полуднем нагретая тишь

* * *

О чем же ты скажешь, полуднем нагретая тишь,
Набитое брюхо, созревшая ярь-земляника,
Сосновый дурман, в оловянном застое камыш —
Великая сила в своем отрешеньи великом?

Во всем растворилась, до капли себя отдала,
Устала, откинулась, меряя выцветшим взглядом
Конец суеты, отпустившие душу дела,
Прозрачный покой уходящего в яблоки сада.

Какая немая свалила меня благодать,
Какое глухое, какое слепое блаженство.
Как странно стараться, естественно как умирать,
Когда не осталось ни слова в запасе, ни жеста.

...Я тщетно хитрю. За окном проливные дожди.
И сжаться б душе от такого простого ответа,
Когда спохватиться и вдруг зарыдать без нужды —
Почти все равно, что дождями окончатся лету.

* * *

Представь себе, что в переписи звезд,
Где и моя тебе мерцала строчка,
Теперь лишь неба темный купорос —
Ни шороха, ни зги, ни огонечка.

И откровенье вечной высоты,
Прозрачной, незамусоренной мною,
Которую почувствовала ты
Одновременно с болью ледяною...

Еще ловлю улыбками глаза,
Надеюсь на ответное свеченье,
Но ясен мне и холод облегченья,
И строгости чужая новизна.

И будто ты погасла, а не я,
Когда еще огромен и массивен,
Еще при полной мере бытия —
В твоих глазах откликнуться бессилен.

И пусть пока не прибыло беды,
И фонари горят тысячеваттно,
И только мной глаза твои бедны
Уверенно, упрямо, безвозвратно...

Гусь

Все боюсь не уживусь
В тесноте души и тела.
Только снова этот гусь
Распахнулся неумело

И поплыл на облака,
Как покинутая лодка.
Точно обручем, бока
Были стянуты чахоткой.

Ни железо, ни трава
От полета не спасали,
И висела голова,
И заплечия плясали.

И земля была мала
Для конца, а для начала —
Слишком жадно зазвучали
Обреченные крыла.

Он летел, пока летел,
Перегруженно для птицы.
В наступавшей темноте
Было некуда садиться.

Снегирь

С березы капает вода —
Печальный посвист.
Всегда опаздывал сюда,
Являлся после.

Когда, последнюю горя
Из красных самых,
Висела капля снегиря,
Меня спасала.

Как благовест по февралю
Не умолкала
И в кровь застывшую мою
Перетекала,

И оплавляя немоту,
В груди горела,
И эхо прыгало во рту —
Будило тело.

И, от всего отрешены,
Пускаясь в слезы,
Удел бескровной тишины
Несли березы...

Кобыла

Может, не было... а может, было —
Но порою удивляюсь сам:
Тощая, дотошная кобыла
Вытянула морду к небесам.

Может быть, земное надоело —
Только изменила лебеде.
Не твое, кобыла, это дело —
Провожать глазами лебедей.

День идет, задумываться рано,
Каждое копыто на виду.
А кобыла просто умирала,
Крупом оседая в лебеду...

Календарные сроки

Вот: сгнули холода, будто слизнул их за ночь кто-то, или так уж засвирепствовала эпидемия гриппа, что общая, повышенная температура населения передалась природе и — потаяло, побежали первые капельки по асфальту, нам за шиворот; отчего это по весне я так ежусь?.. Потаяло, будто заплакал снег, городской почерневший снег, почерневший от горя? Заплакал от наших невзгод, от всеобщей растерянности, от постоянной нескладухи, из-за которой расстраивается все — погода, биоритмы, служебные дела, личная жизнь и здоровье вообще. Или, может, подобрали люди, вопреки вселенскому разладу, и вслед за ними подобрела атмосфера, навела порядок внутри циклонов и антициклонов; подобрела, сменила гнев на милость; да и впрямь: злобствовала зима...

Сгнули холода, и хочется скинуть шапки, швырнуть портфели оземь, крикнуть: «Андрюха, Серый, Валерка, Митяй! Слабо?!» За Вадима Синявского — Борька Цебренко, 1-й тайм... И зрители — дамы подростковых сердец. Я был неповоротливым, «жиртрестпромссосиска», и потому — лучшим вратарем, при условии отличной обороны. Но Валерка всегда играл против моих ворот, и ему удавалось прорываться сквозь Серого и Митяя, выходить один на один, и тогда я собирался в комок, вру: сплющивался от страха и кидался под ноги; я был отважен, честное слово, только — неумел...

Сгнули холода, и хотелось скинуть шапки, сплющиться от страха, словно на крыше 25-этажного «спичечного коробка», который напротив мухинской скульптуры на проспекте Мира; на этой крыше я дрался с Серым из-за Ленки Богдановой; мы дрались из-за нее как гладиаторы на арене цирка, а небожители — почтенная публика... Куда там большой палец: вверх, вниз?..

Она вышла замуж за старшего инженера, родила ему мальчика и девочку, уехала в другой район; раз в пять лет мы встречаемся с ней в метро, на эскалаторах; я, как правило, еду вниз, а Ленка — вверх; мы вначале не узнаем друг друга, потом я соображаю, откуда я знаю эту сдержанную, аккуратно причесанную, с минимумом косметики женщину, так похожую на учительницу математики в старших классах, что хочется сказать: «Честно, Марь Пална, не списывал я...», виноват, «Честное слово, Ленка Богданова, ты вовсе не изменилась!» Потом я соображаю, откуда я знаю эту аккуратную учительницу и кричу ей: «Как живешь?» Она улыбается, кивает в ответ, проезжает мимо, и по ее спине я понимаю: у нее все, как у всех...

Мы дрались с Серым на крыше «спичечной коробки»; я заводился с пол-оборота, сплющивался от страха и кидался под ноги; разве тогда я знал, что дерусь с Серым вовсе не из-за Ленки, да и не с Серым на самом-то деле; я дрался со своим страхом, многоликим, как Вселенная: со страхом высоты, чужой силы, со страхом не успеть во-

время отметить на всех полустанках подростковой жизни, со страхом так навсегда и остаться «жиртрестпромсосиской», вратарем в пустых воротах...

А потом садились на край крыши, свешивали ноги, горделиво закуривали — не таясь — «Шипку» из плоских, открывающихсяверху пачек; мы тогда очень дружили, нам казалось — навсегда, до последнего вздоха, и никогда не будем жениться, и не встанет ни одна женщина между нами, никогда, слышь, Серый?! «Ты не забудешь, родной, два килограмма сосисок, три пакета картошки, три-четыре штуки свеклы, я борщ затеяла, несколько морковок, лука на полтинник, в универмаге десять пачек порошка, три «Персоли» и хозяйственного мыла, обязательно. Вечером забери Лешку с продленки и Эдика из сада, заезжай к матери, она приготовила продукты, у них хорошие заказы давали. Ладно, милый?»

Мы встречаемся по субботам в негаснущей по ночам «Комете», и мама-Лена, везет же нам с тобой на это имя, наливает по двести пятьдесят «Терека»; мы оба знаем, что это — для разгона, всего лишь, но ритуал — свят; мама-Лена кладет порезанный апельсин, четыре «Маски»; мы забираемся в самый дальний угол, за самый дальний стол, садимся спиной к двери и боком к стойке и медленно тянем «Терек», губя печень и еще что-то там такое... Мы долго молчим, лишь улыбаемся, вспоминая одновременно китайские мелочи; молчим и, таясь, иначе распесет все к чертям мама-Лена, курим; около нас, в рядок, стоят четыре сумки на больших колесах, две — мои, две — его, все — битком... «Твое здоровье!» Его здоровье, мое здоровье, наше... ваше... Господи, как не хочется говорить, сколь ничего не значат слова, услышь мя, Господи! Дай руку, Серый, и мы потихонечку пойдём по длинной дороге, по длинной дороге нашей юности, которая, мы так были уверены в этом, суждена нам вечная и сулящая надежду и которая кончилась, будто лопнула струна гитары, как тогда, помнишь? И мы с Ленкой отпрянули друг от друга, наши лица приобрели скучное выражение; ты ушел на кухню и возвратился с бутылкой шампанского, протянул ее мне: «Открой!». Я спросил, уверен ли ты, что у меня это получится, ты кивнул, Ленка притащила бокалы, у меня, действительно, все получилось лучшим образом; кто мужчина в этом доме? — горделиво спросил я; кто придет, сказала она, и ты закусил губу... Интересно, ты уже знал тогда, что мы с Ленкой вот уже третий месяц живем вместе, знал ли ты это тогда, когда позвонил мне и позвал к ней в гости, потому что ты собрался объяснить с ней и тебе страшно было ехать одному; она жила в то время на «Соколе», мы доехали до «Аэропорта» и пошли пешком на Песчаные улицы, а ты все прокручивал будущий разговор, и у тебя дрожали пальцы, когда ты встал на углу у мебельного, чтобы прикурить. Ты позвал меня для храбрости, Серый, и у меня не хватило храбрости отказать тебе; я всегда был трусоват, ты знал об этом, но в тот раз тебе казалось, что моей храбрости хватит на нас двоих, вернее, ты думал, что я смогу отдать тебе весь свой запас; так думал ты, учивший меня жизни на крыше «спичечного коробка». Когда у нас все началось? Да тогда же, помнишь: мы ушли от тебя; я занудил, что пора домой, и Ленка меня поддержала; ты предложил поставить Высоцкого, мы поблагодарили; ты вызвался проводить Ленку домой, она ответила, что уже поздно, зачем же; мы дошли до ее дома, вот... Ленка очень удивилась, увидев нас с тобой, потом все поняла, сунула тебе в руки гитару, и ты пел нам Визбора, и его песни взбадривали нас, они вели нас в горы, к Солнцу... Упокой, Господи, его душу... Мы жили с Ленкой третий месяц, и я становился — медленно и не просто — мужчиной, ее соседи уже перестали мне удивляться по утрам, когда я на кухне жарил глазунью, а дед-ворчун Семен, Сергей Алексеич, старый токарь с авиазавода, косясь на меня,

склабился в густые усы, бормоча: «Однаво живем, парни»; тот самый, да-да, Сесеич, который сказал тебе после того, как лопнула струна и после того, как ты закусил губу,— на кухне,— когда ты стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу и безуспешно пытался не разреветься, который сказал тебе: «Не в етом дело, паря... Главное — это человечество надо иметь»; он помог тебе, Серый, не правда ли, и ты на меня не в обиде... Я становился мужчиной, и это не происходило так быстро, как мне хотелось бы; прости, старый, ты зря морщишься; я не про то, если бы я говорил про то, когда я бешено завидовал бы нынешним, которые легко и радостно меняют геометрические построения своих тел в пространстве; нет, уволь, что-то рождалось внутри, новое, неведомое, что и зовется мужчиной... Я рвался поговорить с тобой, объяснить как-то случившееся; сказать, что виноват, но такое дело, понимаешь...

Но я вовсе не завидую нынешним, и мне, прости, не интересны их ценности и кумиры; совсем не потому, однако, что они хуже наших, просто мне хорошо в моей юности, и я ни за что не хочу менять свое на чужое. Завидуют только слабые, да?! И оправдываются они же... Тогда меня остановила Ленка; она сидела на кровати, забывшись в угол, и смотрела на меня такими глазами... грустными, как у коняги. Тебе не кажется, что ты сволочь, спросила она. Я остолбенел; тебе не кажется, что это называется предательством, уточнила она; не думаешь ли ты, что в любви нет и не может быть ничьей вины, продолжала она разъяснять свою мысль; я попытался ее погладить; уйди, прошептала она; это были первые ее слова, которые я услышал; другие я понял совсем недавно, когда наконец стал мужчиной. Тогда она просто молчала. В любви нет и не может быть ничьей вины, только вот, знать бы наверняка: что пришло, что догнало тебя, бедолагу, запасного вратаря в пустых воротах, что же это обняло тебя сзади за плечи? Я все равно позвонил тебе, и мы поехали на дачу к Митяю, на платформу «Детская» по Ярославке, и ты не позволил мне ничего сказать тебе, одной фразой, помнишь? «Посиди со мной...» И я сел на край продавленного дивана, ты поставил себе на живот пепельницу, и мы осторожно стряхивали пепел... Так будет всегда, спросил ты. Я кивнул; было темно, но ты разглядел мой кивок; тогда мы хорошо видели в темноте, не правда ли? Дай-то бог, ответил ты, дай-то бог; за окном шумел ветер, скрипел, как старик ревматик, и нам с тобой было жалко эти стены и эти стропила, и ты поглаживал доски стены, как, наверно, поглаживал бы... впрочем, эй вы, плотники, а ну-ка, выше стропила!

Ворвался голос мамы-Лены; она скучала за своей буфетной стойкой; нам предложили коньяку; мы смугились: жены лучше нас знали, сколько нам надо давать на день; пустое, ответила мама-Лена, за счет казны, такое дело... Что, Серый, пойдём на содержание к общепиту?!

А потом мы с Ленкой расстались; все было просто: мы одновременно почувствовали, что не хотим ехать на край света, пусть даже и на электричке, и оставаться там вдвоем; напротив, нам стало не хватать людей вокруг, и мы зашлялись по компаниям, очень пьяным и не очень. Мы приходили каждый раз в новые дома, разлетались по углам и торжествовали свою автономию; я сажал к себе на колени девицу, начинал ее щупать, и так мы сидели, пока ей не переставало быть удобно; мы выходили, через полчаса возвращались; все повторялось; нам нравилось, что мы такие свободные, независимые и прогрессивные; нам тогда еще не приходило в голову, что это называется скотство; я понял это значительно позже, когда наконец стал мужчиной.

И тогда мы расстались с Ленкой, как интеллигентные люди, поблагодарив друг друга за приятно проведенное время; ну, а я добавлю, за преподанные уроки... Хорош коньяк, право, Серый! Сам по себе хорош, а на халяву — вдвойне. Ты не дергайся, я расплачусь завтра с мамой-Леной, она знает об этом наверняка, потому так добра, честное слово...

Ленка вышла замуж за старшего инженера, родила ему мальчика и девочку; мы встречаемся с ней, раз в пять лет, по преимуществу в метро, иногда в «Детском мире»; совсем недавно Борька Цебренок собрал нас отметить пятнадцать лет после школы; мы пришли с женами и детьми; тебя не могло с нами быть, дружок, ведь когда ты ушел, оставив нас с Ленкой вдвоем и впридачу гитару с оборванной струной, с которой ты никогда не расставался, потому что это был прекрасный «Орфей», ты не поехал домой, а поехал к Митяю, на «Детскую», по Ярославке, у тебя были ключи от его дачи, и там ты растопил печку, до сухого жара, предварительно плотно закрыв вьюшку...

Ты устал от наших грехов, милый...

Вот...

Назови по именам

* * *

Назови по именам
тени ночи, тени смерти.
Чтобы вмиг исчезли черти,
тихий ужас, тайный срам.

Назови по именам,
приводи рисунком точным,
чтобы бесам полуночным
не являться в гости к нам.

Чтобы дух смятенный твой
рано утром вышел в горы
и постигнул свет, который
отражается росой.

Знаменосец

Побиты
Войско,
Полководец.
Но, губы криком разодрав,
Бежит ослепший
Знаменосец,
Нагое древко
Крепко сжав.

Давно сорвало взрывом знамя,
И груди мертвых за спиной.
А он,
Нелепый кол
Вздымая,
Он кровью булькает:
«За мной!».

Морозный день

Морозный день — такой же, как всегда.
Все кончено — ни страха, ни мученья.
В запретной зоне грянула беда.
Мы приняли сверхдозы облученья.

Огонь над белизною декабря.
Прекрасное до скорби польханье.
Гори, гори, вечерняя заря,
сквозь белые кристаллики дыханья.

Прощайте, лес деревьев и друзей,
листы и милых губ неясный лепет.
Я чувствую, что кровь моя белеет
под альбм небом родины моей.

Боров

У стола багровый боров
хлещет водку из ведра,
хрустко гложет бок бараний
в нежном луке золотом.

Хороша его перина
и супруга хороша.
У него, как балерина, —
невесомая душа.

Если пьяно он тоскует,
в блюдо уронив башку,
та душа пред ним танцует
падеграс и полонез.

Захрипит он, умирая,
и оставит книжку нам.
Та плясунья голубая
по страницам побежит.

А когда закроем книгу,
словно двери в райский сад,
нам покажется внезапно
ни с того и ни с сего,

как багровый буйный боров
хлещет водку из ведра,
хрустко гложет бок бараний
в нежном луке золотом.

Такая боль, такая пытка

* * *

Свободой пахнет на земле,
Как пылью — безнадежно остро.
Так долго я была в тебе,
Так выйти из тебя не просто.

Почти уж не осталось сил,
Лохмотья кожи и улыбка,
А прорастанье новых крыл —
Такая боль, такая пытка.

* * *

Юродствуешь и что-то говоришь,
Влекомый мне неведомым сюжетом...
Прекрасна жесьть уже намокших крыш,
Еще не позабывшая про лето.

Мы сядем в теплом поезде метро,
Где пьяные пленительно лукавы,
Где пахнет отсыревшими пальто,
Где все, как надо, где мы оба правы.

* * *

Тихо тлеет под облаком солнце
И покажет свой красный бочок,
Слюдяное осветит оконце,
Кинет желтого счастья клочок.

И какая-то глупая птица
Постучит мне в стекло коготком.
Просто надо вскочить и умыться,
И уйти, повязавшись платком.

* * *

Все начинается, кончается не так,
Не так, как я б хотела — поневоле.
Сжимать в кармане зябнувший пятак,
Бежать в метро и тосковать о воле.

А если снова? — Я б замкнула круг
На этом самом, злополучном месте,
Где муж не муж, а друг уже не друг,
Где плохо врозь, и невозможно вместе.

* * *

Сколько я знаю, но сколько не знают меня.
Сколько хотела хотя бы рукою коснуться,
Запричитать и в одежду с размаху уткнуться.
Как удивились бы, как засмеялись они —
Баба не баба, ребенок уже не ребенок.
Я на чуть-чуть, мне бы выйти из этих потемок.
Мне б дотянуть до утра, ну хоть до луны,
Только напрасно, шаги их уже не слышны.

Укроп, пиво, раки

Папа — ужасный человек, он от нас ушел, уехал на грузовике. Но комнату ему дали в том же квартале и даже в том же доме, потому что это был огромный дом «Россия», который выходил на четыре улицы сразу.

Папа жил в «фонарике» в бельэтаже, а перед окном их кухни висел на чугунных цепях огромный фонарь, который никогда не зажигался и загораживал весь свет.

Надо было идти к папе проходными дворами, нумерованными, одинаково желтыми, а посреди дворов на площади стояла электростанция с высоченной кирпичной трубой и старыми радужными стеклами, и кучи мокрого антрацита вокруг нее блестели и пахли пленительно.

По ночам меня преследовали гвардейцы кардинала, и я бежала всеми двенадцатью дворами к папе и попадала к нему через черный ход, которого не было наяву. На самом деле мы к папе ходили через прачечную.

У папы жгли индийские куренья, папа играл Шуберта. В огромном окне в саду лица напротив на старых вязах высоко в водянистом небе возились и кричали грачи. Папа приносил бурых раков с Кировского, они копошились, потом их варили и подавали, празднично-красных, с укропом, в фаянсовой лепной миске. Папа считал, загигая пальцы, месяцы, когда можно есть раков — чтоб была буква «р». Мы выдумывали смешного грека по имени Укроп Пивораки, грек ехал через реку.

Папа боялся родителей своей новой жены. Они кричали за него, что он не добытчик, какой же это муж. Он просил дать ему тарелку, а ему отвечали — обойдешься и так. Папа был неудачник.

Всегда кончалось слезами. Живи с нами, кричали мы. Я не могу с мамой жить, говорил он, и начинал сердиться. Он супил лоб и наддувал губы, они дрожали. Папа был слабый человек.

Он не ходил к нам: они с матерью сразу начинали кричать друг на друга. Только когда мы болели, тогда он приносил книжки из лавки писателей: то исторический роман Мордовцева, то «Сирано Ростана»; раз принес «Мир искусства» за 1904 год. Мать его презирала: кто это сейчас читает? Сперва я чего-то стыдилась, читая эти книги. Сам папа больше всего любил римскую историю.

Мы все чаще просиживали у него. Дома в кухне радиотарелка: «Ах, Самара-городок». Солнце, пыль в луче, котлеты, лук, ругань. Придешь к нему — там гости, подают продел или чечевицу, но пиво пьют из венецианских бокалов. Папа рассказывает анекдоты, трагически делая бровями.

Папа в пестрой жилетке, мама ему давно связала, он носит, некрасиво не носить — подарок есть подарок. Острые уголки воротника «бобочки», короткие рукава натянуты на мышцах, большие руки — некрасивые, но холеные и нежные. Подбегаешь к нему, смотришь вверх — какое богатство! Бесконечно огромный, навеки молодой! Больше всего я люблю его лохматые черные волосы, всегда нелепо стриженные, прямые: он рукой их поднимает, а они опять рассыпаются вокруг высокого покатого лба. Лицо большое, такое кра-

сивое, широкие татарские скулы, брови мощные, он их так храбро сдвигает — но глаза подвели, глаза переменчивые, небольшие, он их отводит, не выдерживает. И рот слабый — совсем исчезает нижняя губа, когда он недоволен собой. Зато радуется так целиком, что чуть не слишком ослепительно смотреть на него, его слишком много... Пахнет от него «Золотым руном».

Садилась играть в буриме. Папа, разводя руками — мол, ничего не могу с собой поделаться,— зачитывал:

Я осторожно запер дверь
И на крючке от абажура
Жену свою повесил дуру,
И той же ночью скрылся в Тверь.

Он наигрывал джазовые мелодии: джаз уже проникал. Но сильнее всего тянула Индия, синеватые куренья. Даже в кино показывали хронику: «хинди, руси — бхай, бхай».

Играли в палиндромы — папа виртуоз. Я, пыхтя, порождала:

То не енот.

Папа парировал:

То не гугенот.

И раздражался целой серией:

Ну тебе, щебетун!
Успел допить сок, а кости отдал псу.
Их оперетка и актер эпохи.

Тогда меня озаряло:

Дроля лорд.

Папа отвечал актуально:

Отгудел Ле Дуг То.

И завершал, краснея удивленно сам на себя:

Чохом охоч!
Барал араб!
Едром по морде!
Утроба аборту!

И уж совсем под конец выдавал неожиданно длинное:

О, так нет-то, о, голая я алого оттенка-то!

Мать его ругала. А он про нее говорил нам всегда одно и то же: «Я очень любил вашу маму, она была похожа на ангела. Но жить с ней я не могу». После наших походов «туда» мать давилась от рыданий в ванной.

Когда приехал грузовик и погрузили рояль и Брокгауза и Эфрона и банкетку, во дворе собрались няньки и лифтерша Анна Степановна. Анна Степановна — бабушкина подруга по блокаде, они вместе голодали. В черном беретике, бледная, опухшая от диабета,— у бабушки тоже диабет. Анна Степановна смотрит на нас своими огромными глазами и говорит: «Бедные вы, бедные».

Я реву, но не от обиды, а оттого, что кончено то маленькое, тесное, когда плачут, что не хотят натягивать тугие шершавые рейтузы на толстые ножки, что настали переезды, грузовики, что кончены

крики и скандалы, остались грустные, спокойные разговоры; двор кажется меньше и чужой — это оттого, что грузовик занял весь наш закрытый, тупиковый двор, и сейчас он уедет на открытый, огромный Кировский. Я плачу, но я счастлива, что я бедная; я важная, что я стала большая.

Леонтий Бенуа

Огромную кафельную плитку в кухне топят дровами, трут клюкву с манкой, варят кисель на ужин; орет тарелка.

В стенке кухни у окна каменный чулан, в нем соленые огурцы в банке, капуста в ведре и черный хлеб.

Вечером из окна кухни видны в окнах напротив торжественные оранжевые абажуры в юбках и казенно-зеленые лампы. И одно страшное окно с синим светом.

В коридоре щемящий запах уборной: детство боится уборной, страшно одному; страшно вдруг осрамиться.

Коридор перегорожен шкапом, доверху забит фанерой. Коридор ведет в парадную часть квартиры. Там все мы жили, когда меня еще не было. А теперь там живет генерал, а мы здесь.

Коридор покрашен темно-зеленым — это пожелтевшая и почерневшая берлинская лазурь. Он был голубой, гигиеничный, в шведском стиле. Забегались совсем, мыться и спать.

В ванной круглая печка-колонка. Иностранные кафели в полу, с красивой, непонятной буквой. «Скоро,— говорит нянька,— скоро года твои придут». Вода — кипяток, я вскрикиваю. За дверью начинает ругаться соседка. Соседей вселили, когда от нас уехал папа.

К папе вход парадный из черного дерева со множеством квадратных стекол, в нем лифт. А мы живем на черной лестнице, ход через кухню, и у нас бывший лифт замурован; и пахнет кошками.

Наш дом построил Леонтий Бенуа, наш и папин; это и наш римский купол над парадной аркой, пол-яичка с пупочкой сверху. Но мы живем на самом последнем, внутреннем, охряном дворе, на самом верху восемнадцатой черной лестницы, и чугунный с завитушками козырек над нашим входом выглядит по-вдовьи, как довоенная шляпка на няне Александре Алексеевне. Эх, Леонтий.

Няня сухонькая, как сморщенное райское яблочко, она спит на сундуке, а вечером сидит на том же сундуке, покрытом старым пледом, и пахнет у нее в комнатке за кухней каплями и старыми книжками. В мирное время было больше классиков. Крестовский был классик: Антон Кречет, Петербургские трущобы. Леон Фейхтвангер тоже был классик, но перевели в запрещенные. У нее есть «Еврей Зюсс», чудная книжка, ветхий, распавшийся, в желтой газете и без обложки, ей дали на три дня. У няни приятельницы все билетерши, носят беретки и платья серого цвета с искрой, называется «торшон». К Акимову няня ходит каждую неделю и обожает комика Беньяминова.

Она точно знает, что в фильме «Мост Ватерлоо» наши отрезали английский конец и специально досняли плохой: а в том, настоящем, конце она все рассказала, как она пожертвовала собой, и он все понял, потому что это он был виноват перед ней.

Она из Дибунов, и она девица, и про это она спорит с домработницей тетей Зиной и обижается. Перед сном мы с братом играем с ними вчетвером в акульку и пьем чай с сушками и колотым рафинадом из сахарницы, похожей на букву «Ф». За чаем они не одобряют родителей, но говорят хоть по-французски, но понятно: маман, папа.

Мамы никогда нет дома,— мы все пьем чай на сундуке, и тетя Зина вспоминает мирное время: свой дом в Лигове, салатového цвета, и свою антоновку, вот такую, и штамбовые розы, и единственного сына Жоржика, и мужа — почетного гражданина, и как они ходили по праздникам в Народный дом. Вот она уже по-настоящему взволнована и начинает петь:

Тебя я, вольный сын ефира...

У тети Зины все было, и все она потеряла. В Лигово пришли немцы, всех жителей собрали, сказали, что отправляют ненадолго, на месяц, унд цурюк, и попала она в город Нюрнберг. Там она считалась цивилизно-пленная и работала на погонной фабрике, шила погоны. Обращались с ней, представьте, очень хорошо, называли фрау, хозяин всегда с почетом и уважением. Не то, что... Эх!

Тетя Зина вся красная от гнева. Нянька на нее кричит: «Вас в Сибирь сошлют!» Тетя Зина сжимает кулаки и поет:

Скорей! Быстрей! На полюс, вперед!
Поборем стихию наукой!
Не страшен нам холод, и голод, и лед, —
Поборем все собственной мукой!

После войны она вернулась в Лигово, а Лигово разбомбленное, дом сожгли свои, когда отступали, на участке одна черемуха, так она и просидела целый день под этой черемухой. И завербовалась на консервный завод — баночки, баночки закрывать. А приехала — завода никакого нет, они же его и строили, по колено в ледяной воде, ворочали ломом. Там и получила все болезни, и сбежала в Ленинград, попала в прислуги!

Не страшна нам тайна полярных морей,
Загадка для нашего века,
Где тысячу лет
И тысячу дней
На льду не видать человека!

Жоржик пропал без вести, а он уже учился в вузе на заочном, был высокий, с пепельными волосами, и она его учила: «Своего не давай, чужого не бери». А когда вырос, брюки клал под матрас, чтоб ей меньше работы! Приходит из вуза и говорит: «Мамуня! Сегодня крупно поговорил с преподавателем!»

И тетя Зина начинает басом, на одной ноте:

Я б хотел забыться и заснуть!

И упрямо мотает головой из стороны в сторону: нет, нет!—

Но не тем, холодным сном могилы
Я б навеки так хотел заснуть —
Чтоб в груди дрожали жизни силы, —

Она делает атлетический вдох:

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...

Она уже плачет и повторяет тихо:

Чтоб, дыша,
Вздымалась тихо грудь.

И рассказывает свою мечту.

Она б вернулась в свой дом, если б было можно, если б можно было; и пусть он обветшал, и все вещи украли, но чтоб дом был — деревянный, салатного цвета, с мезонином. И не стала бы убирать и мыть, а легла бы на кровать, накрылась бы пальто. И только бы лежала. И не ела бы ничего, только сварила бы жидкого, несладкого киселю. Вставала бы, пила и опять ложилась. И так лежала бы три недели.

Тетя Зина ходит по дому, квадратная, неумолимая, с белой мокрой тряпкой на лбу от вечной головной боли, и ходит на Ситный рынок за мясом для котлет, капустой и клюквой, и держит всех в страхе, и обсчитывает, и вышивает красной ниткой по суровому полотну немецкие фестоны с кофейной мельницей, которой у нас и в заводе нет,— мы пьем чай.

В детской висит немецкий натюрморт из комиссионки: зеленый глухой фон, на крышке рояля стоят и отражаются четыре куклы. Одна белая, накрахмаленная в жесткую сборку, злая и дельная. Вторая маленькая, глухо застегнутая, сухая, в темном. Самая лучшая, старая в букольках, с широкой улыбкой, полная, вальжная, серо-серебряная. А позади, выше всех, в таинственной шляпе, с черными локонами — неизвестная красавица в лиловом.

Перед сном я гляжу на нее и думаю: «Это тетя Зина, няня, бабушка. И мама».

Утром в школу: прыг-скок, как легко бежать вниз по лестнице, из каждой квартиры свой запах. Во дворе сыро и пахнет углем. С карнизов каплет на последние остатки снега, получают пупырчатые сверкающие корки — ледяной виноград, в нем кусочки угля, как зернышки. Черный лак и стекло парадных — кто там, за стеклом, кто эти люди? Наверное, особенные, чудные люди, которые не кричат на детей, дети их делают физзарядку под радио и переходят к водным процедурам и строят авиамодели, жены с гладкими прическами, в пиджаках с плечами, они директора заводов и непримиримы к недостаткам, а мужья гладкощекие блондины в сером габардине, на папирсы я не сегую, сам курю и вам советую; они от жен не уходят, у них пижамы и чай из подстаканников, как в поездах,— потому что они пилоты. Пилоты и генералы, у них квартиры не перегорожены, у них, как в мирное время, может быть, только с черного хода — так, как сейчас, так, как у нас?

У меня табак

Бабушка купила нам акварельные краски: всю неделю у меня в окне желтая стенка, черные окна, а в субботу-воскресенье у бабушки окно перламутровое утром, дымное, розовое к вечеру, грозное в первомайский неперемный снегопад, когда из кухни огурцовый дух свежей корюшки.

На балконе за окном гипсовая балюстрада: снег стоял, и на гипсе слои растворенного в снеге угля, они перекрывают друг друга, имитируя технику акварели,— можно не заметить, как из цветного фильм часам к четырем превратился в черно-белый, серый, потому что розовый подсвет продлевает иллюзию цвета.

С зимы остались горы голубино-го гуано, хрупко-оплывшие, наподобие замков, которые дети строят, зачерпнув открытой ладонью жидкого песку и капая из нее по тому желобку, что в домашней хиромантии означает число будущих детей,— и так, пока сталагмит не вырастет достаточно, чтобы рухнуть в ту ямку, откуда был взят. За окнами небо, нарисованное все тем же неопытным акварелистом, незнакомым с разложением цвета и всюду добавляющим кость жже-

ную: ровные крыши, дымящие под одинаково косым углом в небо, оранжевое внизу, сверху пыльно-бирюзовое; на нем в полный рост голые, оцепеневшие вязы на остановке. И угол бабушкиного серого дома, чтоб так он и остался на этом фоне, последний перед мостом и закатом; чтоб так и ездил на зеркальном лифте-шкатулке красного дерева, становились коленками на узкую кожаную скамеечку, нажимали по очереди все костяные кнопки, особенно в дикой надежде седьмую, — представляя вылетающий в трубу лифт и плавный полет над параллельными дымами в ясную, холодную плазму и бирюзу...

Теперь, уперев язык в щеку, изобразить кусок отдернутой портьеры, тени замазать черным и красного дерева стол перед окном, чуть ли не весь он, опять-таки, видите ли, отсвечивает серым блеском, а ваза — стеклянный шар с потонувшими по горло фиалками, растворяется в огибающем сером сиянии: какой взяты цвет?

Тут подсаживается брат и рисует желтой краской льва с обрюзгшим лицом, в оперном гофрированном парике, оранжевой — бабуягу на липовой ноге, руки, как поленья, потом обиженного монголоидного зайца и красную морковку величиной с зайца.

У каждой фиалки на просвет видно алую полоску, а внутри душную коричневую тень. Но холодеет свет, и все окончательно сереет, и ничего не различить на этой замурзанной гризайли.

Лучше совсем задернуть черную портьеру, зажечь дедову лампу — корзинку с бисерной бахромой, где среди прозрачных бисеринок попадаются сиреневые, на круглом, с помойки стащенном столе.

У бабушки на белом диване позолота с ручек сошла и гобеленовые клетчатые пастушки вытерлись. Зато на шкафу фигурные колонки и головки ангелов с толстыми щеками: шкаф такого твердого красного дерева, что уцелел в блокаду, пила не брала.

На стенах лица, лица: это Севочка, мой старший брат, он умер от чахотки; это моя младшая сестра, она в Москве, мы туда обязательно поедем. Это дедушка молодой, а это я! Да!

Рамки то драгоценные, то базарные, кто умирает, того нужно срочно к ретушеру, а то обязательно выцветет.

Приносят в потертых зеленых тарелках с золотыми вензелями кислые щи, сметки, пирог с рыбой; бабушка рассказывает, как Бакст поставил им в школе Званцевой желтые купавки в синей вазе на лаковой крышке рояля. Потом опять читаем «Виконта де Бражелона» и пишем все вместе стихи:

Меня манит эпоха Возрождения:
Сеньоры знатного происхождения...

Представить невозможно, в какой грязи они все жили. В этом самом Версале после дождика буквально было не продохнуть: горшки выливали за окно. Не очень-то прогуляешься вечером под окнами возлюбленной:

Я вижу прелесть той эпохи:
Разврат и роскошь, шелк и блохи...
Обязанность тушить улитки
К столу надменной фаворитки
И выносить ее горшки —
На них веночки, пастушки:
Их рисовал старик Ватто,
Он рисовал еще не то...

Бабушка чувствует, что заехала не туда:

Покончив с роскошью в поэме,
Вернемся к социальной теме...

Социальная тема (восторженный визг):

Бедняк питается убого:
Людовик ест безбожно много.
Такое в пище расхожденье
Зависит от происхождения.
Попы — и те не отстают:
Им очень много есть дают.
За это, к небу подняв лапу,
Крестьянин матом кроет папу.

Это, конечно, белиберда, я же жила в эмиграции, сама видела — крестьяне в провинции страшно благочестивые, буквально все такие верующие, до смешного, и все так уважают своего кюре и руку ему целуют, и вовсе это не раболепие, а трогательно.

Спать жалко, но стелят на белом диване.

Ворочаешься, потом появляется наша кухня. Запах воды из кра-на и сырых котлет. В углах темновато, а посередине, оказывается, про-росло дерево, голый, толстый ствол. Веток не видно, они уходят вверх, в потолок, корни скрыты под полом, в нижней квартире, только круг-лый, толстый ствол и кора — серая, сухая, но внутри оно живое...

...Подымаешься по лестнице: приоткрывается дровяной чулан, а оттуда рыжий, поленный дровяной, в стружках и снегу, и стучит, трещит, ухаает, карабкается — не добежать до двери.

...Стоишь у закрытой двери на лестницу. Звонок: открываешь на цепочку, высовываешь голову: на ночной лестнице под лампочкой сто-ит желтый, косматый, пахучий лев и смотрит внимательно и угрю-мо — пустишь ли.

Но все успокаивается, и снится дом, построенный подковкой, и внутри серый асфальтовый парадный двор, серые клумбы с замерз-шей голой сиренью, серый пустой бассейн (если у тебя есть фонтан, заткни его — дай отдохнуть и фонтану). Из-под темной трехстворча-той арки въезды во внутренние дворы, где горит только одна лампоч-ка в колпачке-конусе и страшно проходить, появляются белые зай-цы — холдные, пушистые, теплые, мягкие: они сами ловятся, уша-стые, и прыгают вокруг... танцуют...

В воскресенье мы идем в Зоологический музей, где скулы сводит глядеть на бесконечных колибри, таких прекрасных порознь, таких утомительных оптом; интереснее звери в их естественной среде. Сре-да: коробка, зато уютно освещена изнутри, там все, как он привык, бедное чучело.

Все это ерунда, не сравнить с Эрмитажем: сперва какие-то бело-золотые лестницы и душевный подъем. Хорошо. Но тронные залы, серебро, серебро, бам! бам! Павлин-часы опять не работают... Вот ваш предок — шведский генерал.

Потом оружие, рваные знамена, шпалеры, шпалеры, шпалеры, ша-гом марш! В глазах потемнеет, пока дойдем до Мадонны Литты и Мадонны Бенуа; зато лоджии Рафаэля не надо разглядывать, пройти по ним — как выздороветь. Потом опять: темные, жестоко-пухлые испанцы, сидишь на малахитовой скамейке — жестко, больно, а ноги как будто обули в испанский сапог.

И вот наконец Рембрандт: око за око, зуб за зуб! да здравствуют гезы, испанцев всех долой. Что Даная такая некрасивая, это как-то утешает. А та девочка — вообще переодетый Титус. Сладко, сладко жаль старушку, и правильно старик прощает сына, как епископ Жан Вальжана. У них любимые лица, как у бабушки, и вовсе это не карти-ны, а родственники.

Галерея над канавкой с розовыми и фиолетовыми стеклами — как капли в глаза: сиреневый свет вышибает желтизну, тут только вспоминаешь, что это Ленинград, воскресенье, снег, что мы сейчас

пойдем и купим в «Норде», теперь, конечно, «Север», где знаменитый кондитер Каравайчук, пирожные «александровские», и «картошку», и «буше».

Теперь бежим по залам зажмурившись, мимо, мимо приторных французов — и, с тоской и головной болью, выходим. «Это ничего. Это музейная хандра», — объясняет бабушка.

Вечером день рождения бабушки: на шкаф, на немецких ангелов лепят поздравления:

Наведя на морду глянец,
Поздравляю — правый Франц.
Сделав бабке реверанс,
Поздравляю — левый Ганс.

Специально издали газету «Унита-сс», в ней юмор: «Бабушка полна противоречий: она сладострастна, но не выносит сладостей, чадолюбива, но страдает от чада». Тут же специально досозданный дворянский фольклор, не сохраненный историей: «Не спи валетом с оставленным корнетом»; «Пойдешь направо — попадешь в розарий». Мы все за круглым бабушкиным столом: мы все ужасно большие, и от этого уютно, только бабушка маленькая, и французские диван и кресла она подпилила под свой рост. И у нас особенные лица, таких нет у других, пусть даже простые, но не простые, некрасивые, а на самом деле красивые, потому что похожие на фотографии на стене. Нет никого лучше нас, у других в чем-нибудь да подвох, даже если в чем-то лучше, значит, что-нибудь другое подкачал. Это только в нас все хорошо. Нам поэтому трудно. Никто нам этого не забудет, не простит. Мы всегда вместе, нас ужасно мало, поэтому так много нас, детей, у папы трое, у дяди уже пять.

Мы любим друг друга, шлепаем, тискаем. Но это только мы любим... Мы в руинах, но мы это знаем и сами хохочем: «На графских развалинах» — это такое кино про шпионов. Даже нянька кричит: «Ты просто вырождаешься! Посмотри на себя — волосы не чесаны, чулки перекручены! Разве такие девочки бывают нормальные?» Я на нее ору, а она: «На вас проклятие царевича Алексея — буйный нрав!» А в школе еще хуже: «Нечего тут воображать со своим Жулем Зандом! У нас все равны! Лучше прочла бы «Алые погоны!»

Все хотят быть, как габардиновые блондины с витрин или целлюлоидные, розовым подкрашенные красотки из кино. А нам всего главное вот эта наша так крепко нанизанная гроздь похожих лиц, тел, голосов: этот небрежный говорок, скользкий, едва задевающий согласные (зъевающ), эти крупные, длинные лица, татарские скулы, длинная верхняя губа, высоченный, широкий таз на мраморных колоннах-ногах... слоновая кость зубов — неуязвимых, как у мамонта в Зоо...

Только мы не знаем, что гроздь эта держится на бабушке: вынь ее — все рассыплется кто куда.

Бабушка серебряная, светлая, на ней новое серое платье с малюсеньким узором, волосы наверх куполом, брови — стрельчатым сводом, страдальческим. Но навстречу им сейчас подымутся уголки рта, щеки круглые, веселые, подопрут этот свод, расхохочется бабушка; тогда откроются окна-глаза и такой впустят свет: «Вы все мои, вы все одно. Я знаю, как нужно, чтоб вам было хорошо». И вот она опять как на карточке: Да! Это она! Всегда одна и та же! Поднимет руки — а у нее руки маленькие, пальцы твердые-твердые, и ногти никогда не ломаются, длинные, блестящие — и как прищелкнет пальцами! Это она в эмиграции научилась — запоет по-французски, то ли нам, то ли папе-мальпу — сидит он на берегу Сены, строит из песочка и не знает слово «сугроб»...

Приходит дядя Витя, он изучает, а у нас отдыхает душой.

И бабушка рассказывает, как она еще до войны ехала из Ленинграда в Москву, вдруг дверь купе отворяется и входит великая поэтесса! Поэтесса оказалась огромного роста, в мужицких сапогах! Ее низкий, сиплый голос оглушил интимную, камерную бабушку, посвятившую себя семье, поэтесса заняла собой все купе, бабушка забилась в уголок, а поэтесса пила водку стаканами... Вдруг у всех лица прояснились, ожили, появились особенные жесты и вспомнились слова... Как будто дядя Витя приходит пыль с нас вытирать.

Завтра в школу... Не хочу в школу. Не хочу спать... Сплю или не сплю? Нет, пока не сплю. Я не сплю, а утро: сыро, булыжники разные, стволы сирени уже коричневые, прутьки пухнут и узелки видны. Мимо дворницкой за ворота: кругом и наверху легкое, легкое небо. Кронверкский садик закрыт на весну и распутицу. Все мокрые дорожки ведут лучами наискосок к горке, а горка так, пологий холмик метра в два всего вышиной, тут много таких скверов с такими горками, бабушка говорит, тут была церковь, а горка оттого, что лень было свозить мусор, когда взорвали. Утренняя моя голова, обалдевая от розового света да от летучего, вверх летящего неба... я иду вдоль стен, и каждая трещинка в стене — мне намек и урок, эти трещинки нарисовал Бакст...

А на горке нарисован терем красного дерева, вишневым, малиновым, стрелчатый, весь в колоннах мраморных: витых, резных, сверху ангелы лепные, щекастые, летают и трубят. Называется Москва!

Боюсь войти: лица, лица на стенах, и стоит спиной кто-то в длинном, золотом. Поворачивается медленно... Бабушка! Иду навстречу ей и отражаюсь в рамах, зеркалах, но не я — коричневая, с косичками, в чулках в резиночку, а я царевна, Марья Моревна, золотая коса распущена, платье жемчужное... жемчужно-серое в полоску, и капрон! Из окон под сводами свет, он тянет... и я тяжело, тяжело подымаюсь на метр, на два... мне трудно, такой толстой, лететь, но я медленно подымаюсь выше, еще, к окнам, а в них даль невероятная... и вылетаю в окно: море! теплое оранжевое море, лечу над ним, песок зеленоватый, бирюзовое небо, закат... пляж, полосатые жалюзи, белые акации, цветы эмиграции, экипажи, все говорят, и мне все понятно, ж'э дю бон таба дан ма табатьерё, я кончила школу, ура! Уезжаем, уезжаем, а куда — еще не знаем, может быть, в Италию, может быть, в Австралию... На улицах там такой разноцветный скипидарный дождик, и лопаются почки, желтые точки... забили фонтаны, по булыжникам побежали дрожание, из точек, гризетки с мидинетками, и по Сене поплыли смелые кораблики — одним мазочком, а Сена течет, крутится, вертится... Не промокли ноги в Сене, а одеяло сползло. Не хочу в школу!

Всю неделю сидишь в классе и только и думаешь о субботе-воскресенье: как подынешься к бабушке на третий этаж и три раза позвонишь: два длинных, один короткий. И сразу же голос рыдающий: «Деточка!» Как скорей дожить? И начинают прямо за партой мерещиться коричнево-золотые обои, тут же выплывает шкапчик «александровский»... и сейчас же появится запах, и что же это за запах — этих ли острых хрустальных флаконов, где на дне что-то зеленое?

Знаете ореховый запах в домах, где жарят на сливочном масле? У нищеты запах алюминия и половой тряпки. Есть сладкий нафталиновый запах: женщина мокнет под дождем, носит перекрашенное платье, охотится зимой за дымчатым холодным капроном, вечно у нее проблема обуви — и как будто от мокрых туфель идет этот всесильный, сладковатый, волнующий дух.

А у бабушки в квартире запах без единой капли сладости, а со-

вершено бескомпромиссный, острый, хрустальный или металлический. Она состарится, он будет теплый, больничный, но все-таки тот же, который сверкал, как люстра, по субботам-воскресеньям!

Я вижу прелесть той эпохи

Школа с понедельника до субботы. Не хочу в школу, а иду. Ах, Карповка, черная, бурая, зеленая; говорят, аммиак полезен. Под деревянным еще, темно-зеленым еще мостом жижа, в ней родится только малявка-колюшка, по-скобарски кобэда. На том берегу драная, желтая с колоннами, вся в черных ветлах больница Эрисмана, там все мы родились.

И вот стоит у воды малокровная ленинградская малявка в лыжном костюме в катышках, смотрит нечеловечески чудными бело-голубыми глазами, как качается на воде скользкая радужная сетка поверх черной дряни. Если ему что нравится, говорит: «нарский» — от «нарвский», что ли? Не понравится, пихнет локтем, обзовет психовной, а то потребует: «Ответь за галстук». На это надо говорить:

Не тронь мою селедку,
Не то получишь в глотку.
Не тронь рабочий класс,
Не то получишь в глаз.

Это нашу женскую-среднюю слили с хулиганской мужской. Раньше в женской на переменках набегали друг на друга классы, стенка на стенку, пели: «А мы просо сеяли, сеяли» — «А мы просо вытопчем, вытопчем», но запретили некультурные игры, теперь в коридоре драки до крови, нас, девчонок, дергают за все места и ругаются непонятными словами.

Классный руководитель оставила после уроков одних девочек и говорит: «Безобразие! У девочек видны штаны!» А потом созвала общее собрание и говорит: «Безобразие! Класс резко делится на мальчиков и девочек!» и посадила самых липучих подлиз с самыми начальными хулиганами. Теперь подлизы все время дают отпор: «Нехорошо тебе, Иванов!», а хулиганы все равно хоть бы хны, их могила исправит, у них и лбов-то нет, а только чуб, оскал, прищур.

Не хочу... Страшно идти: могут побить. То ли дело раньше в женской: максимум проблема лент, проблема кос. Ленты только черные или коричневые, косы обязательно, стрижка — вроде позора. Лиза Калитина по женской школе сучает.

Лиза Калитина ото всех отдельно, она белая, как зефир, с пепельными волосами, мы с ней на переменках ходим под руку и шепчемся — у нас секрет: «Разве теперь книги: «Консуэло» — это да!»

Моя мама на работе, а Лизину на работу не берут, она и сидит с Лизой, наверно, все рассказывает про старое время. Надо мной она смеется: «Какой фильм ничего? Разве это фильм? Вот «Новые времена» — это да!»

Лизина мама хромая, высокая, седая, всегда она в кружевном воротничке, и потолки у них высокие, и мебель карельской березы — красиво на темно-синей стенке, и нет денег ни на что, поэтому она так вкусно готовит, и весь год они едят грибы соленые из Гатчины и бруснику из больших банок, как достают ее, так и говорится обязательно, неважно, кем: «Боюсь, брусничная вода!»

Мама учит Лизу английскому, и у нее неприятности с милицией, не из-за английского, а она занимается благотворительностью. Слово-то какое! Она носит деньги и вещи бедным. Бедным!

Лиза рисует прямоволосых ангелов в белых плащах без пояса и лилии, она срисовывает с книжки: у ангелов зачерненные глазницы,

а лилии ломаные, угловатые — похоже на картинки в Чарской, и довольно стыдно.

Лиза копит деньги на подвенечное платье из белых гипюровых кружев на тюле. Это решено. А мама ей вечерами плетет из белых и черных шерстинок ткань на пальто, называется твид. У нее болят глаза, и она плетет, потушив свет. Через три месяца будет готово Лизе осеннее пальто.

За чаем Лизина мама учит нас: «Теперь многие девочки так глядят, будто говорят глазами: «Пооди сюда!» Правда, гадость?» Смотрит с нами альбом и ругает Рембрандта: и светотень-то у него фальшивая, и все смазано, а должно быть ясно. И Рафаэль ей нехорош: сладкий, расслабленный какой-то. Что ж она хочет? Одни лилии?

А Лиза вся подобранная, и оживленная, и доброжелательная ко всем. Но что-то в ней такое, и через это не шагнешь. Лилии и ангелы? Или, может, это чувствуют только я? Нет, в классе она ото всех отдельно, значит, чувствуют про лилии, хотя знаю про них только я.

У них лампы, переделанные давно из газовых, и стоит странная черная бронза: зверь неизвестной породы, а на звере верхом, ноги растопырив, голая девушка: прищурившись, оскалилась, волосы космами. Вот тебе и лилии.

Простыни у них белые-белые, стирают сами, а на ночь мама ставит Лизе стакан клюквенного морсу и подкладывает книжку Олькотт. Ну уж вместо Олькотт я возьму «Тиля Уленшпигеля», я люблю мальчиковые книжки, и Рембрандта, и мушкетерского Франс Гальса, хоть Лиза называет его хулиганским художником.

Побьют. Не хочу... Только самое первое сентября и было хорошее. Школа оказалась старинная: женская, средняя школа! Кирпичная, окна полукруглые, тугая дверь, бронзовая ручка, пологая лестница с кружевной балюстрадой наверху! В физкультурном зале черные кожаные маты, желтые брусья, а кони! — высокие, с блестящими упитанными крупами с двух сторон, на растопыренных лаковых ногах!

В белых, шелком зашторенных полукруглых окнах сияет первое сентября, и передники и ленты белые — и от всех белых первоклассниц вручаю гладиолусы директору школы — я! именно я!

Наш директор! Ростом метра в два наш директор с благородно пожелтевшей белой гривой и длинными желтыми зубами в гордой улыбке. И до чего ж она породиста! и пенсне ее, и фамилия — Долгáя, именно не Долгая — Долгáя, перекладная... Золотая, ярким солнцем залитая... и я, ног не чуя, иду навстречу ей, сую букет, а она — меня! признав во мне ребенка, меня-то, дома старшую и вечно виноватую, — так прощает и даже поднимает, чтоб поцеловать! Правда, не слишком высоко — я выше всех в классе, я почти среднего женского роста — но на то она и Долгáя, с ее двух метров я ребенок, ей видней. И вот, поцелованная, отмеченная, мечтаю: Она и я. Она — меня, лично, публично отличила! Теперь между нами связь — и я тоже вырасту и буду, может быть, директором чего-нибудь... А пока — отличницей!

На верхних этажах они ходят обнявшись, десятиклассницы, отличницы, выпускницы, у них будет аттестат зрелости, румяной, мичуринской зрелости, у них груди под комсомольским значком, высокие шеи и гибкие выи и косы вокруг головы, как бы украинские, но ни тени вульгарности. А какие покрои форменных передников! А воротнички: отложные рипшелье, стоячие с воланом, крошечные плисированные, антикварные желтоватые на тюле, глухие пасторские.

А эти густые контральто, а эти ленинградские чеканные двойчатки согласных — знаете ли, что и «ч» и «щ» можно выговаривать стакато?

Конечно, эти коричневые фигурки спешат в булочную — а

там они купят саяк и ситного, потому что время «белого хлеба» (это что еще такое?) пока не пришло.

Наверху совершенство, а у нас в классе все проще, у нас всех девочек почему-то зовут Люда, и у них лихорадка на губе прижжена зеленым, зеленкой, и кос нет, а волосы скобкой под круглую железную гребенку. А самая из всех Люда пронзительно несчастная, безграмотная, с тифозной стрижкой, и называется тоже пронзительно-простонародно: Енькина. В раздевалке на физкультуре она поет:

Этот случай был
В одном городе,
По прозванию город Петров:
В нем была семья
Небогатая —
Мать была побледневши как воск.

Мать долго мучилась над страданием, наконец схоронили ее, небогатую, и появилась злая мачеха: дальше описывалась так называемая расчлененка. Рифма явно требовала к «воск» — «Петровск», если не Днепропетровск, но у Енькиной получался то ли город Петров, с городом Ивановым в одинаковых кепках, а то, может, и впрямь град Петров?

И так три года утром одно и то же: идешь-бредешь, ночь еще, небо коричнево-лиловое, под ногами лед: явно это полярная ночь, явно я капитан, по курсу страшный кирпичный айсберг, лево руля, лед трещит, асфальт под ним расседается... На полюс, вперед!

Полярная ночь, а в школе только реакция Пирке и реакция Манту: идешь, бредешь, сама, собственными ногами, а на что идешь, спрашивается?

А на то, чтоб заставили тебя раздеться (штаны!) прямо у парты, голишом чтоб выставили у всех на виду, навалились, держали и всадили иголку — самое главное, неизвестно куда! И идешь, и не взбрыкнуть, не сорваться...

В школе Марья Макарьевна, в золотых очках, строгая, но справедливая — до полного уничтожения! Чем беспощаднее, тем мы ее больше сбожаем, от обожанья прямо дрожим. Не стараешься, говоришь, двойка, а стараться мне надо — обратно учиться читать по складам: как это мне так постараться?

«Про-сто у-ди-ви-тель-но, сколь-ко э-то ан-жуй-ско-е ви-но по-гло-ща-ет пе-чень-я! — вос-клик-нул А-тос?»

А Люда-то, она сама, как воск, и не мало она читает, а вообще прочесть не может ни строчки... И почему надо было Марье Макарьевне заметку про плохих учеников поручить именно мне? И почему, почему мне надо было рифмовать «читает» и «не знает»?

Это про Марью Макарьевну вальс «Школьные годы»: «Тебя с седыми прядками...» Мол, с седыми прядками и не так уж страшно, когда вырос, и даже сердце сжимается сладко и официально одновременно — а вспомнил бы этот свирепый скрип вместо голоса... Брр!

Сегодня Пирке, завтра Манту, послезавтра опять организованно лечить зубы, как тогда шли парами в затылок, шли и шли и пели, всем вторым классом, чтоб не так мучиться от страха:

Помнишь, мама моя, как девчонку чужую?

Потому что, чтоб не было так больно, сверлить будут мед-лен-но-мед-лен-но...

Нет, на полюс, вперед, пусть выпадают лучшие зубы от цинги, только не медленная бормашина и не на Люду смотреть. А чем реакция Манту, лучше от чахотки зачахнуть. Как Овод.

Ох, тогда в Петропавловской крепости эти койки узкие в камерах.

Камеры ничего, по метражу приличные, сказала Люда. Вот на такую коечку к бледному, израненному красавцу узнику подсаживается кардинал... но чахоточный, умирающий отвергает все утешения, все планы, на рассвете расстрел... и тем же утром кардинал умирает от разрыва аорты! Еще бы! Все равно родной сын!

Мне в крепость идти и не хотелось, я тогда пошла потому, что Аня, наша вожатая, просила, семиклассница Аня, вся в ямочках украинка, грудастая и оглушительная, обожает детей и будет педагогом, а как она рассказывала про Павлика Морозова, как его нежное, израненное тельце потом нашли в шахте! Или нет, потом в шахте нашли краснодонцев, у которых подрисованные лица на фотографиях, как у актеров, но Павлик тоже не очень:

Великое слово отец,
Великое слово мать,
Но страшно, когда этим словом
Не можешь отца назвать.

А бабушка сказала: «Том Кенти сделал ужасную вещь. Он сказал: «Не знаю тебя, женщина», он отрекся от своей матери».

Так что ушел-не ушел, а все равно папа. Не надо нам павликов.

А сама Аня? Аня обожаемая? Аня вожатая? Я опоздала на пять минут, а у дверей дежурные записывают опоздавших: гляжу — Аня. А она «фамилия?» Может, не Аня? Или не совсем Аня? Она смотрит мне в лицо, я смотрю ей в лицо: «Но, Аня, вы же знаете?» — Аня и Аня, тугое платье, значок на соске — ее, колечки украинских волос — ее, только щеки натянуты другие, где ямочки? Где Аня? — «Фамилия?»

Нет, ни за что не хочу. Пусть расстреливают, никаких не может быть утешений. Теперь уже никогда не захочу в школу, пусть там Аня обожает детей! В стенгазете для больших про меня пропечатали, активседьмого-возмущен-поведением! И фамилию!

Ну ее с ее Петропавловской крепостью! В штольню!

Нет, сплошная полярная ночь. Мороз, направо крепость, одета камнем, вся в вечных льдах, меня тайно послал кардинал, лед взломать, до рассвета спасти Артура, два верных инсургента на мулах перевезут его в Мантую, в горы, там его вылечат от чахотки реакцией Пирке! Скорее, быстрее, бегом!

(В школе нельзя сказать прокардинала, надо быть немым как два капитана, это наш секрет спапойи бабушкой.) Поздно, Артур.

На кружевной балюстраде над лестницей стоит директор Долгая: благородное пенсне и беспощадные зубы.

«Фамилия?»

Да какая там женская средняя, просто попытка гимназии, со старшими вышло, а с нами не успели. Вспомнить нянечку в сатиновом халате, с плаксивым татарским лицом: подберет в коридоре, увидит: «Прощтрафилась?», отведет в свою каморку под лестницей, даст чаю с рафинадом... А сама Долгая в своем форменном темно-синем шелку директрисы? Ей бы на грудь часики на цепочке фирмы Павел Буре!

Ведь как надо было ухитриться, на сколько оборотов обратно завернуть, чтобы выплыла в пятидесятих Долгая да кристально-свирепая Марья Макарьевна... Это ж надо, всех они победили — Ясную Поляну, курсисток Герье без турнюра, земских учительниц, кутающихся в пуховой платок, устный счет. Далькроза, ученические комитеты, единую трудовую, светло-страшного мистика Макаренко...

Ах, женская средняя, уютно-пугающая, мягко-стелющая... И вдруг — квадратные окна, с потолков каплет, голые стены, дуры-учительницы: «Я вам предложила...» — плебейство, ужас, скука. Не хочу я в школу. Не хочу быть отличницей, лучше хулиганы.

А я спросила однажды хулигана, что значит непонятное слово. Ли-

за Калитина ужаснулась, он побагровел, объяснять не стал, а научил песенке: «В Неапольском порту, с пробойной в борту» и велел всегда отвечать так: «Верьте совести». И с тех пор он меня больше не бьет — другие, правда, бьют. Не хочу в школу.

Тревожное зябкое ощущение плаща после зимнего пальто: вперые у меня плащ, мамин мантель — так она говорит, все говорят «пыльник», а бабушка: «макинтош». И взрослые туфли на ребристой резинке, подумают, что мужские, и могут задразнить. А за плащ точно побьют.

Я прохожу мимо зеркального окна сберкассы и думаю: «Вот идет я».

Берет, круглое лицо, широкие скулы, широко расставленные два круглых глаза, две косы. Две ноги в грязных чулках широко расставлены — иксом. Мне нравится, что плащ расстегнут, что руки красные, что лицо как распахнутое. Я рада, что я уже не отличница.

Благородные отличницы, как они падали в обморок публично в тот памятный день, когда папа поднял указательный палец и сказал: «Запомни! Сегодня умерли замечательный гений и мрачный тиран». Год назад я провозгласила бы ликуя: «Папа, ты контрик!», а теперь только напыжилась от важности. Замечательный гений был Сергей Прокофьев.

Коричневые отличницы надели габардиновые синие пиджаки с ромбиками, нацеленными на светлое будущее, то есть именно такое, которое уже сейчас, что ли, будет, оно — тенденция, угадываемая и лелеемая... только от дымки грамматических модальностей оно кажется еще голубее и розовее, и, может быть, в хвостике «будущее» уже содержится сравнительная степень?

Только ничего другого, неизвестного не надо, да пребудет вечно: прямо буддизм. Хочу и будду.

И они захотели и пошли в Институт стали и стали доцентами истмата, диамата и сотрудниками аппарата.

Тут и наступила та очень краткая, вскоре опошленная и в пустых подростковых надеждах прошаляпленная эпоха, когда в булочной на Льва Толстого стали продавать толстые горячие бублики и открылись кафе-мороженые с мраморными столиками и черносмородиновым пломбиром грязно-сизого цвета с настоящими ягодами. Шли грозы, простуды, после кори в глаза пускали атропин, и в расширенных зрачках влажный черно-серый город разбухал: не рвать, не щипать, вашу зелень показать.

Школы как будто не стало вовсе! Появились радиоприемники. Собака Тито оказался человеком, и довольно толстым, и проехал в открытой машине по Кировскому, и все шутили: «Иованка, брось Тито», а бабушка все говорила: «Де Гол, де Гол».

Уже улучшал крестьянскую породу Жерар Филипп, а приклатненный сын грустного Тото наигрывал на рояле дочке полицейского. Дети распевали: «Денег нет — продам кальсоны за два сольди...», а какой-то журналист из лучших взял псевдоним «Устин Малапагин».

От этих фильмов стыдно. Как-то слишком неофициально получается. Но ничего, стыд этот приятный, к нему быстро привыкаешь: опасно, но и упоительно.

Как будто стало дальше видно и слышно: начали приходиться письма из Парижа, и какой-то эмигрант, Энгельгардт, прислал бабушке флакон французских духов с мертвой розовой фиалкой внутри; наконец, появился Ив Монтан. В него все были влюблены, и больше всех — бабушка. Все шутили: «Если у тебя есть Монтан, заткни его — дай отдохнуть и Монтану». Братик ежидно пел:

А Пари!

По полям Елисейским бульонные ноги идут!

И по Сене поплыли бульонные ноги — плывут!

Появилась рукописная поэма про Монтана и контрпоэма. Запахло мемуарами. Бабушка села и описала своего отца, брата, сестру, дедушку молодого и себя.

Мы с сестрой сели и написали мемуары про бабушку, помню, там была фраза «со следами былой красоты» — бабушка очень смеялась.

Сестры

Вот карточка: на ней мне десять лет. Мне? Я же тут и пишу: «Я написала первые мемуары в десять лет».

Может быть, она? Она там так и осталась, в рамке. Она ничего обо мне не знает, слава Богу. Мне перед ней неудобно, как ей скажешь: «И вот что из всего этого выйдет?» Но и я за нее не отвечаю и рассказать могу не все: немое неудобство. Немое, не мое? Да чего там! Все равно «она» трескается по швам, как тесные штаны, и «я» вылезает. Пусть!

Значит — задним числом (где оно, это число?) она — я, и так ее выставить, бедную? Мол, отстраняюсь, а беру на себя — и обеим легче?

Тем более что глядя туда, в десять лет, обнаруживается не одна девочка, а две. Мы сестры, разница в год, и ничего, что двоюродные, все равно Сестры. Мы даже похожи: обе крупные, по-отрочески оплывшие, плечистые, русые: мы глядимся друг в друга как в зеркало.

Зеркало: надо открыть зеркальный шкаф, стать наполовину за эту полуоткрытую дверь, и видной ногой и рукой свирепо вращать по направлению к зрительнице, стоящей напротив, — на нее прямо по воздуху на раме верхом понесется, сейчас налетит! сдвоенное, то есть целое, отражение.

Мы спим у бабушки валетом на широчайшей тахте «сомье» и шепчемся перед сном: сестра мечтает выйти замуж за китайца. «Они все такие смиренные, такие покладистые, такие Хорошие!» Они всегда в одинаковых прорезиненных плащах и ходят, желтенькие, выводком.

А мне она пророчит грузина: «Увидит — и готов, влюбился: вай, такой бэлый, толстый, как булка!».

Жирный, как барашек,
И изюм глаза,
Губы шибко крашен,
Рыжий ваа-ла-саа...

Грузин предложит восточные сладости:

Шоколад, изюм,
Жареные гвоздики
И шурум-бурум...

Но, наевшись, невеста надует бедного кацо:

Убежал мой барышня,
Убежал с другим,
Вещи мои, мебель
Убежал за ним!

Смешанный брак не оправдывает себя, и генацвале поклянется товарищам —

Что на русской барышне
Больше не женюсь!

Рэро! Он танцует лезгинку. И окончательно разоблачает идею брака, пусть даже в пределах национальной республики:

Ее чудная коса — Ханум
Из чужих волос была — Ханум,
Ее правая нога — Ханум,
Деревянная была — Ханум.

Нам нечего бояться Рэро, он, как мы, — во всем разочарован.

Скоро елка: я делаю подарок сестре, куклу-испанку из черных старых чулок, обрезков кружев и стекла. Но сперва из ваты и чулка надо сшить ей тело: насколько должны быть проработаны детали? Ведь все равно юбка-то длинная? Короче — сколько ног? «Сейчас будет готово тельце» — говорю я, а сестра пока рисует невероятных уродов: синемордые, клыкастые, многоногие, одноногие, с разбухшими, тройными, четверными утробами.

Надо клеить цепи на елку, но сперва сыграем в чепуху.

Он. Она. Где. Когда. Что делали. Вариации бесконечные, а сюжет один и тот же. Скоро становится скучно.

«Начали с чепухи, а кончили цепями», — изрекает сестра.

Как Жан Вальжан. Он украл хлеб, тринадцать лет гремел цепями в Тулоне, бежал — и изобрел новый способ изготовления стекла. Милый, любимый епископ, ты лучше всех — ты не наказал его за подсвечники. Бабушка тоже не испугалась, открыла дверь этому небритому, в ватнике, и не захлопнула, когда услышала немецкий, и дала пленному на кухне щей со сметаной, а он ей дал деревянный домик, белый, крыша красная, герань под окошечками — копилку. Но никто из нас так и не научился копить.

Бабушка нам позволяет рыться в сундуке. А сама открывает шкаф, достает сафьяновую бежевую коробку — веера, пряжки, кожаные, сладко пахнущие розы. На елку мы наворачиваем на себя весь этот ароматный хлам, надеваем — парижские еще! — крутобокие туфли с прорезями-узорами, черные чулки, бабушкины юбки до полу — устраиваем маскарад.

Елка крепится на крестовину, лучше бы в ведро, но в ведре с водой она валится на сторону. Сверху звезда! Надо чтобы не обвисли боковые слабые лапки от старинных стеклянных игрушек, чтоб лучшие игрушки не оказались в глубине у ствола, чтоб не выскочила из стеклянной шейки петелька-проволочка, чтобы нитки не перекрутились... Где вы, картонные месяцы с вдавненной улыбкой? А вы, ватные крашенные морковки, облепленные бертолетовой солью? Самые лучшие игрушки были самодельные бумажные, с прошлых елок, но они-то из году в год больше всего мялись и портились. Зато бессмертным оказался розового молочного стекла немецкий поросенок — несмотря на отбитое копытце, он прошел все испытания детства, отрочества и переходного возраста.

У нас с сестрой судьба общая, страдальческая — нас обеих мучат в школе мальчишки, говорят ужасные вещи. Смотреть на себя в зеркало — одно расстройство: «Корова!» — ужасаюсь я. Сестра оптимистически поправляет: «Коровелла».

У нас родственные души, у нас чуть ли не роман, мы звоним друг дружке по телефону; тогда нам только что поставили телефон в коридоре, на железную кружевную подставку от «зингера», и бабушка вспомнила эмигрантскую сценку: русская дама мечется по берлинскому перрону, картонки вываливаются из рук, и кричит как резаная: «Во ист майне швайне машине?»

Вдруг сестра увлекается почтовой бумагой, конвертами, марками, сидением на почте, у привязанной чернильницы, над столом в

кляксах. Ей хорошо на почте, много людей и поэтому одиноко, и грустно, и можно поплакать. Ей нравится само писание, ее письма приходят каждый день, в них стихотворные послания:

Люблю почтовую бумагу,
Но не люблю, как ты, отвагу.

За отвагу я влюблена в д'Артаньяна и даже начала учить французский: «Ан аван» — д'Артаньян с'экриа». Но сестра глубже:

Люблю иные я переживанья,
Люблю читать про узников страданья...

Мы гуляем по вечерам и разговариваем о любви. У сестры огромная, но неразделенная, а именно слишком мелко разделенная любовь к матери: сестра средняя из шести детей, на нее у матери просто нет времени. У меня любовь к папе, она поглощает меня целиком, я брежу папой, я рвусь к нему, я роняю светским тоном про его младенца от новой жены: «Он похож на коршуна» — и меня наказывают.

И обе мы буквально влюблены в бабушку. Мы гуляем и разговариваем про бабушку: как она описала свою дружбу с сестрой.

Они так дружили, что мылись вместе в ванне, а потом, «чистая перышки», секретничали. Бабушка была прелестная, ясная, милосердная. И писала стихи. А младшая ее сестра была, как мальчишка — прямая, резкая, без глупостей, модная художница десятых годов.

Мы бродим с сестрой по проспекту: средневековый замок-кино «Арс», сказочный красный дом с допетровскими украшениями, и наш дом «Россия» — портики, граниты, купола. Мы бредим Щуко и Бенуа, бредим бабушкой, ее стихами, ее влюбленностью в лейтенанта Глана, серым сукном на полах, серым суконным занавесом на Камергерском, майоликовым, рассыпающимся на блики Врубелем...

Вот ее дом: массивный, с зеркальными окнами, последний на проспекте, на нем выложено из кирпичей: «1913». От него идет чувство расширения и будто бы полета: эти радужные пересверки фонарей поверх темных, таинственно прозрачных окон, смотришь на них и как будто проникаешь в бабушкины секреты, роешься в ее японских шкатулках, парижских лоскутках.

А есть дома, ни на что другое не похожие, и от этого не по себе. Эти низкие, поперек себя шире окна, эти сплошные полосы стекол по фасадам, эти вывалившиеся и откатившиеся зачем-то в сторону великанские каменные шары и кубы — что это? Особенно трамвайная остановка — только одна такая есть: на циклопических овальных бетонных тумбах низкий, хмурый козырек, и все покрашено пугающей сизой краской. Не тем дождями размытым сиротским ультрамарином, который до сих пор видишь на брандмауэрах где-нибудь на Голодая, а сознательным, угрожающе глухим сизым. Еще не легче телефонная подстанция — синячной, синюшной синевы, куб весь в слепых узких прорезях окон — не-окон.

А вот дом, выгнутый волной, где живет сестра, издали утешителен, почти как ротонда «Ленфильма», несмотря на сплошные окна плашмя. Но геометрические грохочущие решетки трехэтажной высоты такого нагоняют страху, что кажешься себе какой-то допотопной незаконнорожденной, в бурнусике и прюнелевых башмаках... Перешагнув через классовое чувство,ходишь во двор, поднимаешься к ним по энергичной лестнице с высокими ступеньками: пахнет то ли здоровым стулом, то ли сырым бетоном. В квартире много детей и родственные запахи: все дети румяные, с темными, теплыми глазами, и у всех прекрасно-тяжелое капризное лицо, короткий нос и длинная

верхняя губа. Все крупные, оплывшие в высоких бедрах, и все в общих отрепьях: кеды снашиваются, поднимаясь по этой лестнице эволюции, от матери к дочерям, и все доносит последний и решительный — воу.

Там собака и кухарка Вера, как из поленьев сбита, про которую поговаривают, что она мочится стоя, и которая рыдает ночью на сундуке, там французенка, англичанка и русская учительница, приживалка тетя Мотя, которая свищет, цокает и чтокает, как будто согласные — это стыки рельсов, а она — старый ленинградский трамвай: «Петропавловская крепость!» Длиннь-шшшш!

Тетя Мотя любит подойти сзади и взять руками за талию — ободрить, встряхнуть. Тогда кто-то подкрадывается и тихо берет за талию самое тетю Мотю, а сзади беззвучно подстраиваются один за другим остальные — и слипаются в немую и торжественную генетическую цепочку, пока тетя Мотя не обернется и не обнаружит, что она, как носитель золотого гуся, породила сюжет с нанизыванием.

Там ценят бодрую шутку, и я, полная зависти и влюбленности, жадно прошу: «Дядя, пошутите». Дядя долго безучастно смотрит на меня, делает длинные, равнодушные щеки — и вдруг оглушительно цокает языком.

Неслышно выходит тетка: кроткое, смолистое лицо, на одно ухо не слышит, резко поворачивается: «А?» Милый оскал, темный зубик. Не спрашивает, лепечет безумно быстро, скользит, не задерживаясь на согласных, спрямляя, стягивая гласные: так говорят старые университетские ленинградцы и самые лучшие эмигранты. Она жалуется, что никак дети не прочтут «Кво вадис?», как ни подкладывая, не идет.

Я приношу показать сестре дневник, который пишу, там стихи, рассказ и мнения о книгах: я прочла «На краю Ойкумены» и записала в дневнике: «Вообще я не люблю Ефремова», потом зачеркнула «не». Главное, чтобы было вообще мнение, взрослое, небрежное.

Сестра нагибается и сообщает мне на ухо стишок. Откуда он — неизвестно: «Ты сама написала?» Загадочно молчит:

Поздно ночью у сарая попадается мне кто?
Низколобые мужчины в одинаковых пальто.
А один из них, поменьше, а теперь наверно знаю,
Ровно в полночь открывает дверь проклятого
сарая...

Бессознательный неуклюжий блеск сестры меня с ума сводит. Как она серьезна и проста — в замызганной майке, с загорелыми, голыми, тяжелыми руками. На даче она красит стены, чинит стулья, ухаживает за бабушкой на старой даче Петерсена. Она стрижется, от этого еще упрямее ее подбородок, но скрывается ясный лоб. Тогда она делается угрюмой. И подолгу плачет на няниной кровати, отвернувшись к стене.

А у нас перестают топить дровами, ломают плиту, проводят газ, в ванной теперь только холодная вода, и мы ходим по субботам в баню. В бане так стыдно, что страшно туда идти. В бане страшно, как в книжке про немецкий концлагерь. «Это не должно повториться», там стыдно, как в церкви. Тетя Зина про баню говорит: «Мы идем в маскарад».

Мне шьют синее платье, то есть перешивают из мамино, и в нем можно ходить в театр. Если б не рвались так чулки! Нянька стыдит за чулки: «Ты же барышня!» Я на нее ору. И перестаю смотреть в зеркало, потому что ничего утешительного там не вижу.

В московские особняки!

Бабушка подробно описала Гранатный переулок в Москве, где она росла: как в их особняке останавливался Горький, как перед домом ходил шпик в шубе и ботах и как ее мать, жалея его — «ведь замерзает человек!» — высылала ему с девочками бутерброд с тертым зеленым сыром, и едкий бледно-зеленый сыр попадал сыщику на усы, в нос, сыщик чихал, а в это время подозрительные гости поспешно удалялись в противоположном направлении, а шпик только головой качал: «Эх, барышни!»

И как бабушка-барышня сидела на окне, читала поэта Бальмонта и глядела на японскую лиственницу в саду; и как они уезжали из-за Горького в ссылку. И вот наконец мы с бабушкой едем в Москву! И увидим Гранатный переулок.

Ленинград всегда серый, серебряный, если небо и голубое, то оно бледное, высокое, его много, как моря. А здесь все другое — все залито оранжевым светом, все солнечно-горчичное или солнечно-желтое с колоннами, а асфальт еще мокрый, он дымится. Небо низкое, уютное, ярко-синее, а на нем толстые, аппетитные тучки. Гам, все смеются, в троллейбусе гадят, а в Ленинграде у всех губы сжаты, попробуй там засмеяться в троллейбусе — все повернутся и посмотрят. Здесь ни одного контролера, а там по два на рейс.

Про Гранатный переулок бабушка читает свое стихотворение:

В небе веточка косая
Перережет луны овал.
Эту лиственницу Хокусайя
Черной тушью нарисовал.

Мы скоро туда пойдем. А пока идем в гости к родственникам на Ордынку, в одноэтажный деревянный дом, увешанный картинами с такими подписями, которые сами собой произносятся губами в трубочку и шепотом. Про такие же московские особняки читают там стихи, но не из книги, а из-за пазухи достают свернутые в трубку листы: от этих стихов как-то зазорно — настолько это свое:

И вспархивает моль за шкапом...

От этих стихов у ленинградских родственников кислое лицо, а у московских глаза начинают блестеть.

Назавтра у других родственников сидит настоящий, правда, больной, индус: у него любовь с близкой нашей знакомой, русской, и все по этому поводу переживают и шушукаются.

К третьим родственникам приходит серый, желчный старик с желто горящими дикими глазами и читает свою комедию, желтые листочки: называется она «Космос и соевос». Он пахнет формалином, это потому, что он работает прозектором, для своих семидесяти восьми лет он прекрасно сохранился.

И наконец, мы с бабушкой попадаем в самую интересную квартиру, ледяную, с глухими шторами на окнах и подводным полумраком в углах, из которого выплывают только отблески на бронзах. Туда явились толпою родственники, зажгли люстру, поставили на стол бокалы на золотых граненых ножках, и Клава подавала кильки и пиво. И вошел тонкий, весь прозрачный, как замороженные и оттаявшие фрукты, старичок, которого все ждали.

У старичка борода острая, как у д'Артаньяна, только снежно-белая. А глаза татарские, но синие, сияющие. Он рассказывает про ле-

сопоял, и как он заставил себя выходить на работу, и получал хлеб, и ел, и жил, и выжил все эти двадцать лет. Он пришел к хозяевам мрачной квартиры, но они уже умерли — или это они сидят там, в углу?

Старичок говорил быстро и резко, как никто тогда еще не говорил, а потом вернулись многие, и заговорили все. Он сидит в круге то ли света, то ли какой-то особенной силы его, и рассказывает; это была его история про пайку: как шел инженер по тайге, и умирал от голода, и взмолился Богу, и видит — на пне стоит буханка ситного...

В эти дни возникли вокруг бабушки московские старушки и старички, и выяснились многие вещи: про ее родителей-теософов, про карму и переселение душ, и про тарелки, и про треугольники, и про марсиан.

Оказалось, не одно на свете интересно наше трухлявое генеалогическое древо, ветви которого вечно цепляются: папа ссорится с братьями, потом пишет им письма на восемнадцати страницах.

Есть и другая линия, бабушкина: священники, расстриги, народники, религиозные издатели в новом, просвещенном духе, детские писательницы, учащие пользе и добру, меценаты, юдофилы, подпольщики, теософы, любители скандинавской литературы, корреспонденты Розанова.

Прабабушка, корреспондентка Розанова, даже попала в историю: приехал в советский Ленинград тридцатых годов знаменитый Уэллс, пришел к знаменитому советскому писателю, а тот за границей: но все равно, прием так прием, заказали осетра в метр. Но никто из официальных и неофициальных лиц ни на одном языке не говорил: тогда к Уэллсу подошла бабушка со слуховым рожком и на чистом французском языке спросила, наверно, про пророчество Нострадамуса: он, наверно, объяснил ей про карму России. Она, наверно, спросила, что он думает об ауре Ленина и как духовный климат России ему показался через десять лет. А он, наверно, спросил ее, как уживается мэтр д'осетр с сообщениями о голоде в западной прессе. Вот так и уживается, учитесь, — сказала, наверно, она. Ни на кого больше во всей сталинской России старик Уэллс не обратил внимания.

Но бабушка не теософка, она для этого слишком смешлива. И вот мы идем с ней наконец в Гранатный переулочек по уютным одноэтажным улочкам. Вон особняк Горького. Вон те самые ворота, где ходил наивный шпик, топал на морозе.

Тепло, небо бледнее, зеленее, на нем тонко и четко виден рисунок ветвей. За ним почти прозрачная еще луна.

Ворота бледно-зеленые, как и сам ампиный особняк. Снег в саду весь стаял, только дорожка через сад к входу в дом по краям в сугробах. Все тихо, как будто в доме никто не живет.

Вдруг отворяется наружу дверь, и оттуда выходит маленький желтолицый человечек: лицо у него детское, ябедно-обиженное, как у зайца, но он явно взрослый: губы сжаты и одет по-взрослому, в военную форму и шапку с ушами. Не обращая на нас внимания — или нас не видно за широкими ампиными воротами? — он расстегивает штаны и долго, долго мочится в сугроб.

От этого в сугробе образуется косая, оранжевая, угрожающе вулканически дымящаяся щель. Тогда он поворачивается и, громко топя, возвращается в дом. Дверь захлопывается. Нам с бабушкой холодно стоять, и мы поспешно уходим в противоположном направлении. Вьетконг, говорит бабушка. Или Камбоджа, говорю я. Бабушка хочет.

Мамина мама и мама

Мамину маму, Капитолину Кондратьевну, даже бабушкой не называли. В ее темную, окнами во двор-колодец, сырую квартиру с мебелью ар, как я теперь понимаю, деко, приходили родственники ее мужа Соломона Шапиро и играли в карты на деньги: она волновалась, жулила, ссорилась; до этого готовила много и тяжело, потом угощала родственников — запальчиво, надсадно, ненавидя. Все это надо было сгнать.

Она шила на дому. Их насильно переселили на новую квартиру, освобождая дом под учреждения, и через год она умерла от рака. Это было в июле, и хоронили ее на даче, где она умерла.

Соломон Шапиро в последние годы наконец стал респектабельным. Он работал антрепренером эстрадных гастролей в провинции и носил лжетвидовый пиджак в крупную клетку.

Он был на десять лет моложе маминой мамы. Когда она овдовела, он пришел к ней и сказал: «Я знаю, что вы меня не любите и никогда не полюбите. Но я о вас буду заботиться всю жизнь». Они прожили вместе двадцать пять лет. Мамина мама его терзала. Как я теперь понимаю, она не могла простить ему «и никогда не полюбите». Эту уверенность.

А я не могла ему простить, что, когда я была маленькая, он сказал, что у меня душонка. Душа, поправила я. «У тебя душа? У тебя еще душонка», — засмеялся он.

Сперва он был закройщик по меху, потом массовик-затейник. «Какое время! Какие люди! Че-калов, Шмидт и Бай-ду-ков!», кассир, администратор. Прирабатывал он так: надевал очки без стекол и шел играть в бильярд, а его приятель заключал с посетителями бильярдной пари, что очки без стекол. Это казалось невероятным, приятель выигрывал, и выручка делилась.

Его друзья были часовщики из стеклянных киосков в Пассаже и кассиры кинотеатров. Он говорил: «Натан! Я же ему сделал!» Но Натан делал в ответ только под страшным нажимом и нехотя, и он вечно был уязвлен, аферы лопались, деньги исчезали, и дома стояла брань.

Тем не менее с течением лет у них образовалась дача в Зеленогорске, куда мы с матерью и приехали вечером хоронить мамину маму. В поезде за час прошло двое контролеров.

Мы спали на ее веранде. Тело было в морге.

Ночь была страшно ясная, небо лимонное, на нем черные костлявые ели. Каждые десять минут гудки ночных электричек в окне, пришлось закрыть, но спать невозможно — холодная духота, сырые перины, где-то — рядом или внутри — убогая возня: как будто все наполняет собой разрастающийся кусок желе или наваливаются ломти густого пространства, они страшные, потому что несложные.

Душа цепляется за слова, но слова разваливаются, каждый звук звенит отдельно от смысла и пропадает в жуть. Полинялый штапель на окнах весь в ромашках — черные гигантские ромашки, как колеса без ободов, катятся, заковыриваясь на неровных лепестках. На мелких стеклах веранды — холодный пот.

Смотришь на руку — ну ведь это моя родная любимая рука, — а видишь в этом зеленом мраке оцепенелую клешню, со складками кожи на сгибах, как у старого земноводного или пресмыкающегося.

Таких ночей было три, потому что гроба не было четыре дня — пришлось суббота и воскресенье, заказали в понедельник, а поехали за ним только во вторник утром. Гроб был с торжественными кистя-

ми и оранжевой фанеровкой. С пустым гробом мы тряслись по давному, детскому еловому шоссе вдоль залива: в Зеленогорске шофер повернул не туда, и проехали впустую еще час.

Из морга пришла соседка по даче: «Посмотрели — Боже мой! Пришлось выносить на простынях». И обиженно добавила: «Будто это и не Капа вовсе». Июль был жаркий.

Автобус поехал в морг за телом, мать не могла себя заставить поехать в морг, там с утра был Соломон Шапиро. Наконец еще через час гроб с телом привезли к даче: автобус въехал в ворота, поместился не весь и так остановился.

Мамина мама хотела, чтоб ее отпели в церкви, поэтому Соломон Шапиро поехал в Ленинград заказывать заупокойную службу. Через два часа он вернулся взмокший, но ликующий, и сказал, что священник на Пестеля не согласился отпевать на пятый день, тогда он схватил такси и ринулся в Шувалово, где действующая церковь, и там обо всем договорился, и все будут там в пять, а некоторые здесь в четыре.

Было одиннадцать часов. Все посмотрели на автобус, и кто-то велел шоферу отъехать с солнцепека. Автобус утянулся задним ходом со двора и стал в холодке под елями. Минут через сорок солнце опять было на крыше автобуса, и тогда он подался в конец улицы и там въехал в заросли черемухи, половину поломав.

По двору и огороду слонялись чужие родственники и незнакомые знакомые. Тетка, набывшись, как мамина мама, ворчала: «Это страм, кто в церковь пойдет — одни евреи!»

Потом она опять пришла, грузно ступая, как мамина мама, и сказала: «Ведь еще три часа. Куда ж это отпевать. Я посмотрела утром — какая Капа плохая!»

Тут появился шурин, жулик Сеня, и мужественно и раздраженно закричал всем садиться в автобус. Но как же так! Бедный Соломон Шапиро бегал и кричал, что он же все устроил, обо всем договорился, и вдруг! Рассаживались долго, вдруг никто не захотел ехать в том же автобусе, где гроб, и все кинулись во второй автобус, на котором приехал жулик Сеня. В первом остались только Соломон Шапиро и соседка по даче.

Наконец приехали на новое кладбище, въехали в молодой еще, ладный ельник. Дорогу загородил грузовик с чужими похоронами. Походя заломив веревкой розовую кривую березу, вытащили гроб. Мужчин было мало, несли за каждую ручку по двое, обходили грузовик сбоку, вламываясь в ельник.

Гроб открыли рядом со свежей оранжевой кучей. Но ни один из нас не умел молиться. Спасла тетка, она повалилась на колени и заголосила.

Волосы она стригла так же, как мамина мама, под мальчика, и так же маленькие, ловкие ладошки ее казались приставленными к пухлым рукам. И тоже похожа была на матрешку, и таким же этническим тычком тыкала жесткой щепотью в бок тебе — это означало «Послушай!».

Кричала она, какая ее сестричка была умница, и как вырастила деток и внучков, и как они теперь будут без нее! Зачем бросила!

Заупокойную знал могильщик, он и читал. Стали подходить целовать. Мать поцеловала руку своей матери через платок. Мамина мама лежала как ватная портновская кукла, бедра ее были широко развалены, лицо слилось на сторону. Мать не плакала, она объясняла растерянно: «Я никогда никого не хоронила».

Мать обтирала рот платком — боялась заражения. Чья-то теща красиво разложила цветочки бордюром. Соревнуйся с ней, соседка по даче, приговаривая, обложила цветами всю могилку доверху.

Когда вернулись на дачу, навстречу выехал третий автобус — с гостями, зря дожидавшимися в церкви в Шувалово. Они наполнили шумом весь участок. Уже выносили столы, посуду, салат, колбасу, сыр и водку. Через час Соломон Шапиро уже кричал маме: «А ведь я твою мать никогда не любил! Терпел ее, привязан был, все делал, а не любил! А характер у нее был — о! Но, должен сказать, женщина она была необыкновенная! Какой человек! Золотой человек!»

Он быстро напился. Блестели мокрые глазки, блестел клубничный нос, он легко ронял потную лысую розовую голову, и вскидывал опять, и кричал, и был рад, жив, пьян.

Матери нигде не было, я пошла через огород к даче. Она сидела молча в углу, сжавшись, мне она прошептала: «Ужасно».

По огороду к нам шел пьяный Соломон Шапиро и кричал матери: «Вот ты где! Где ты была утром, когда я твою мамочку одевал? Где ж ты была, доченька?»

Я пошла в конец участка, к знакомой будке, за которой открывалась калитка в такой пустой еловый лес, что там даже горькушки не росли, — и вернулась, вымыла руки ленинградской шелковой водой под ключующимся дачным умывальником, налила на подорожники внизу.

Через участок наискосок, по ботве шла мать, протянув к кому-то руки. С чужого участка навстречу ей шел короткий человек с большим медальным лицом и кричал мамину девичью фамилию.

Оказалось, это был мамин одноклассник, теперь он дирижировал эстрадным оркестром и снимал здесь дачу. Он удивлялся, что мама, девочка его мечты, хоронит мать. Мама сияла и плакала, плакала, они долго вспоминали школу. Мама — себя с косой венком и с высокими плечами? Белую консерваторию и шулерский, махерский Апраксин двор? Нет, наверно, они говорили о Шостаковиче. Все они всегда говорили о Шостаковиче.

Наутро пришли бабы мыть. Весь низ дачи вымели, помыли, тахту вынесли на траву, сняли с нее обивку и постирали.

Соломон Шапиро сидел на тахте, поставленной посреди двора, и разговаривал с матерью. Он был не потрясенный, вчерашний, а старый, немного осевший и привычно, заранее уязвленный.

На меня он поглядел грустными глазами жабы: «Думал я, ты родная моя... Думал, подарю ей Капино колечко... А ты чужая!»

Растерянная мама все приглашала его. Он отвечал уверенно: «Нет, милая, ты не хочешь, чтоб я приехал. Ты не от души».

Да будет он легкий и цветущий

Мы с сестрой полюбили розарий у Елагина дворца, в особенности — белые, круглые, пустые конюшни. Бульвар, ведущий на Стрелку, весь разрыт, выгаскивают с корнем прошлогодние цветы: синие гелиотропы и желтые пижмы с серебряными листьями. Нам предстоит разлука: мать переезжает, я уезжаю жить в Москву.

В школе я теряю всякий стыд: Ура! Я уезжаю от всех вас в Москву!

И вот мы уезжаем: я плачу, все плачут, я пишу записку: «Здесь жила девочка...» и что-то еще, не помню что, — и сую ее, свернутую в трубочку, в щелку в стене.

Няня и тетя Зина заходят в вагон нас провожать, засиживаются и, опомнившись, слезают только в Любани, спят там вдвоем на железнодорожном деревянном диванчике.

Потом тетя Зина приезжает к нам в Москву и смотрит телевизор. И уезжает обратно в Ленинград жить в углу у невестки. Она скопила

тридцать тысяч на свой дом. Это узнается после ее смерти. В последний год она ходила в кино на все сеансы, и лежала у себя в углу на кровати, укрывшись пальто, и ела конфеты. Мне снится черная лестница, шестой этаж, открывается дверь — оттуда пар, стирка, мокрые простыни бьют по лицу: «Вам кого?»

В Москве я учусь рисовать и пишу стихи про Ленинград, похожие на прозу: «Черная лестница, дровяные чуланы и запах котлов; черные в тихих зеленых водах отраженья деревянных мостов; Черная речка, черные прутья в окне, воровбинный рассвет; в зазеркальях шкафов отражается нежный, страшный и желтый свет».

Скоро эти черно-белые, вернее, черно-желтые стихи кончаются и начинаются цветные, про Москву: это не стихи, а картинки, которые у меня не получается нарисовать.

«Багрец и зелень — Кузнецкий мертвец; лилово, багрово вокруг неоновых ламп; их болотные блики у банков на охряных лбах. В этом свете щеки домов прорастают щетиной букв: тут сияло когда-то малиновое «Дац аро» — срочно нужен ремонт».

В Ленинград я теперь езжу в гости к отцу: «По мокрым панелям, вдоль черных каналов, трамваем, в разбитых шпильках, в холодной болонье, с цветами в руках. Не стой над водой — фонарь ныряет. Свет коммунальных окон, стук досок на горбатых мостах».

Я возвращаюсь в Москву и начинаю ее любить:

Сплошное ах

По сияющей крошке на мокрых темечках на музейных
бульжных горбах
Эта ртутная розовость луж, осторожно стоящих в краях
Этих крошечных охряных улиц трогательно кривых
Где жить нельзя совершенно и только жаль.
Я заболеваю глазами и бросаю рисование.

Розовая гриппозность

«Развозили по снегу простынь красноватую грязь, саднит воспаленное небо зимы. От холода город слезит, розовеет, болит. С мороза в универмаге застит астigmatизм».

Бабушка умерла от отека легких, когда я была уже большая и училась в институте; раньше я училась рисованию, а теперь филологии, чтоб все понять про бабушку. На гражданской панихиде оркестр играл Скрябина и читали бабушкины стихи.

В особняке на набережной, где была гражданская панихида, мы все тогда сидели в круглом зале и смотрели на синюю, сердитую, рябую Неву и на тот берег — не гравюрный, а лепной, на ярком холодно-золотом косом свету. Зал весь пропах крепким, каким-то репным запахом хризантем.

Пришли музыканты, и все мы встали у гроба. Лицо бабушки было тонкое, как старая драгоценная чашка или раковина, желтоватое. Волосы казались живыми. Рот стал какой-то общий, мужской, горький. Было страшно грустно, но почему-то легко.

Долго играла музыка в хризантемном зале. Мы с сестрой долго говорили — нам казалось, что и от смерти бабушки у нас ощущение полета.

Я ночевала в бывшей бабушкиной квартире, где жил теперь папа, и завтра должна была ехать к сестре на дачу.

В комнате ее, которую пока сохраняли, лежала пачка телеграмм с

соболезнованиями. Рядом пустой флакон с сухой розовой фиалкой — внутри, шкатулка с фотографиями: на старых, дымчато-розовых и сангиновых карточках начинают исчезать некоторые лица — надо отдать ретушеру. Под столом золотой сундучок с письмами Розанова.

В комнате стоит запах острый, но приятный — запах чистого, слабого, привычно больного тела.

Я не сплю. На потолке шалая рябь от реки. На занавеске нарисованы черные веточки, за окном торчат такие же, дрожат и те и другие.

Узкая горка угрюмо смотрит на меня. Голубые рюмки и венецианские золотые бокалы, пупырчатые пивного стекла фужеры стоят чужие, и в каждом — пронзительно четкий квадратик окна, желтый с черными веточками. Я сплю, не снимая белья, забыли, не дали мне необъятную, рваную, неизносимую дедову сорочку, в которой я всегда спала у бабушки,

Я сплю на ее узкой красного дерева кровати: белый диван развалился, и его перенесли на кухню. Надо мной на стене до праха истертое туркестанское сюзане: на нем вишневые катучие колеса — солнца, а между ними темно-синие мечи, расцветающие тройниками розовых почек. В углу, высоко, «Воскрешение Лазаря», восемнадцатый век.

Под потолком фонарик — молочное яйцо в бронзе. Это яичко раньше качалось в детской спальне: чтобы заснуть, надо было обязательно наесться черного хлеба с сахарным песком: «Хлеб да вода — солдатская еда». Бабушка приотворяла дверь в освещенный коридор, тогда на стене протягивалась ножка — косяя полоса света, срезанная под острым углом, как ножка балерины с вытянутым носком, с зазубриной — пяточкой. Под шафрановым одеялом, на низком, широчайшем диване мы засыпали.

Я сплю. Тяжело моей правой руке, на ней привычная, любимая тяжесть — это я веду бабушку, мы идем мимо домов, чуть видных, как засвеченных; какая же это улица? — судя по порядку магазинов, Восстания: сейчас пройдем мимо соков, конусы с томатным соком, грязная, вкусная соль на губах... Мы подходим к мясного цвета особняку с жирными колоннами. А все уже садятся в машины, спорят, все комбинации рушатся, бабушке не хватает места в машине, ее никто не берет... Папа сердито кричит на своих братьев; в слезах просыпаюсь и вдруг понимаю: ехать-то все рассаживались на ее похороны.

Хмурое, тихое утро за окном: мягкий серый свет, не оставляющий никаких иллюзий; пустое зеркало, пустые острые флаконы. Под зеркалом карточка — на ней бабушке десять лет. И вдруг я понимаю.

Как она отыгралась! Ничего же у нее не было! Все у нее было, и все она потеряла. Ограбленная, сыновей давно проигравшая миропорядку, из карточек и пустых пузырьков она построила нам дворец! Зажгла в нем бисерный мемуарный абажур, раскрасила акварелью. А не верила ни во что! Но забежали толстые ножки и ожили пастушки на белом диване, затрубили немецкие ангелы, и на пряные литературные игры стареющей камерной поэтессы и туго зреющих подростков вернулись сыновья... Выдуманный ею конец пятидесятих, героически старомодный, удался ей куда лучше ее десятых! Этот висельный юмор, этот инфантильный и усталый восемнадцатый век, полученный из вторых рук Бакста, Сомова, Бенуа, в третий раз, за черными портьерами, перед мостом и закатом, прозвучал громче, отчаянней, требовательней: у нее получилось! Экспромтом, вдохновенно! Это же был блеф, а победила, и с каким блеском! Да, это она!

Трамвай, электричка, контролеры. К сестре я приезжаю всегда на каникулах и раз от разу забываю дорогу. Ну да: вон на этом откосе, высоко над рельсами мы сидели маленькие на траве, еще старой, влаж-

ной, а потом сошли в тот орешник собирать среди талых луж нежно пахнущие ничем сырые подснежники.

Пусть ноги сами вспоминают, где поворачивала лыжня: вот озеро, торфяная дорога через можжевельник, в озере лодка фофан, я никогда этого не забуду, потому что не знаю, что значит фофан.

Где сходятся два озера, там соединяются два голых мыска — только вереск и черника. Да-да, направо, где торчат ветки сквозь железный сетчатый забор: как веник в авоське.

Две стены бузины, а в просвете дача Петерсена. Мокрый малинник, из него выползает мальчик, бело-розовый, с блестящими широкими глазами, разевает нежный рот. Ты взяла ему дефективную няньку и, хохоча, сочиняешь ей кляузы в ЖЭК. Мальчик скачет голышом по дому и твердит, как заведенный: «Ты кто? Иван Никто».

Под этой сосной сидела слепая бабушка: «Деточка! Дай я потрогаю личико твое милое!»

Мы с сестрой пьем чай на даче под моей детской картинкой: три мушкетера и с ними д'Артаньян. Каждый раз, как принимают д'Артаньяна в мушкетеры, все разваливается — замечали? Его же несколько раз соглашаются принять, а потом об этом забывается, и снова он вынужден домогаться... И правильно: в продолжениях они же, четверо, делятся на парочки и ссорятся — так уж лучше пусть всегда будут три и один.

Мы гуляем с сестрой по черной дороге, над озером и говорим о том, что папа со всеми братьями перессорился из-за денег на памятник бабушке. Потому что дорого, никто не соглашается вырезать на нем эпитафию — бабушкины стихи, как она хотела, длинно, и не сойдутся, что сократить: про круг жизни, и про венок любви, и радости, и мўки, который подхватят снова молодые руки и который должен благоухать им, то есть нам, но не так, как нам, то есть им, благоухал: «Не бойтесь повторенья!»

А вечером у папы сидит дядя Витя и рассказывает папе бабушкины истории: дядя Витя совсем старый и грустный, потому что папа плохо их помнит, путает... но разливают в бокалы пиво, и папа встряхивает головой, рассыпаются черные волосы: «Сыграем в буриме?» Через пять минут зачитывает удивленно:

Дабы ни вор, ни злокоманник
Проникнуть в баню не могли,
Жандармы пусть займут предбанник,
Покуда в бане короли!



Валентин ЕРАШОВ

Питер: сороковые, роковые...

В то далекое время ни одно торжественное собрание, ни одна сессия, каждый пленум, собрание актива любого масштаба, кто бы ни участвовал, какой бы вопрос ни обсуждался, — непременно начинались избранием почетного президиума — Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным, а завершалось принятием приветственного письма Великому Вождю и Учителю.

Все приветствия составлялись на одну, неведомо откуда заимствованную колодку (точнее — на три ее варианта: партийный, советско-хозяйственный и комсомольский), и если первые два из них еще содержали какую-то, пускай липовую, информацию о достижениях района, города, колхоза, а также повышенные обязательства, то третья, комсомольская, по традиции строилась, как выражаются газетчики, н а з в у к а х, состояла только из патетических шаблонных фраз, речевых блоков.

Примерно (импровизирую сейчас) так.

«Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!

Мы, комсомольцы (такого-то) района, собравшись на пленум, посвященный (такой-то дате, такому-то вопросу), в этот знаменательный для нас день шлем Вам, лучшему другу советской молодежи, верному продолжателю бессмертного дела Ленина, вождю и учителю советского народа и пролетариев всех стран, свой боевой комсомольский привет!

Наш родной Отец, товарищ Сталин! Под Вашим мудрым руководством мы, комсомольцы и несоюзная молодежь района, как и вся наша страна, уверенной поступью идем по Ленинскому пути, под Вашим гениальным руководством, к построению коммунистического общества — светлого будущего человечества. Несмотря на подлые происки оголтелых...»

Ну, и так далее, страницы две-три.

Сочинение клятвенно-восторженных воплей поручали одному из самых грамотных активистов. Мне такое ответственное дело выпадало еще до армии, когда я был секретарем школьной комсомольской организации, членом бюро Мензелинского райкома в Татарии. Ста-

рался изо всех сил, полагая, что ищу самые-самые распрекрасные, искренние слова; несколько часов просиживал, не один лист чернови-ков портил, пока не считал произведение законченным. Затем пись-мо обсуждали на бюро, согласовывали в райкомпарте, по возможнос-ти красиво перепечатавали, вкладывали в особую, хранимую для этого случая папку. И первый раз, и второй, и все последующие я ис-пытывал трепетное чувство любви к товарищу Сталину и скромной горделивости данным мне поручением, и сам слышал, как голос мой радостно звенел, когда я оглашал текст с трибуны, и аплодисменты в честь Вождя словно бы в крохотной степени относились и ко мне, автору и исполнителю-декламатору.

Я представлял, как там, в далекой Москве, письмо наше вложат в кожаную, с золотом, папку, и она ляжет перед Ним, и, мудро при-щуриваясь, Он прочтает, довольно улыбнется, положит в специаль-ный сейф. Или даже напишет несколько гениальных слов в ответ...

Мне и в голову, дурачку, не приходило, что подобные привет-ствия сочиняются десятками тысяч в день, «от Москвы до самых до окраин» и, вздумай товарищ Сталин читать их или хотя бы просмат-ривать бегло, никаких суток на ознакомление с ежедневной этой про-дукцией не хватило бы Вождю.

И не осенила меня простейшая мысль: уж коли так заведено, по-чему бы не отпечатать обращения типографским способом.

И я не обращал внимания, не придавал значения тому, что сочи-нения мои секретарь райкома всегда укладывал в одну и ту же неиз-менную папку, хотя ведь полагалось отправлять, думал я, каждый раз в другой обложке.

Лишь в послевоенном Выборге, куда я попал осенью сорок пя-того, служил в полковом штабе в звании старшины, был заместите-лем комсорга части, от воинов гарнизона оказался избранным в состав горкома ВЛКСМ и вскоре стал и тут сочинителем приветствий, — ког-да я огласил этакое, с позволения сказать, стихотворение в прозе и передал листки в президиум, первый секретарь сунул их куда-то в прочие бумаги; а после, когда я заглянул зачем-то в его кабинет, наш Первый чистил пленумовскую папку от чернови-ков и записок, и я увидел, как, порванная в мелкие клочья, полетела в корзину моя вос-торженная бумаженция. А Первый уловил мое удивление и снисхо-дительно пояснил: неужели ты, Ерашов, думаешь, что все это шлют товарищу Сталину... И растолковал причины, о которых я уже сказал выше.

Глумление, кощунство, с гневом и обидой подумал я. Но что-то надломилось во мне, с той поры я больше не пытался с вдохновением сочинять очередные послания к Родному и Любимому, шпарил на-мертво впечатанными в память штампами и блоками, благо никто того не замечал, принимали как должное, под гром аплодисментов.

Бес искусительных сомнений нет-нет да и трогал мою ангельски праведную душу.

Летом сорок шестого начальство оценило мое служебное рвение и поднесло царский подарок: месячный (надо сказать, незаконный) отпуск на родину.

У школьного приятеля на чердаке старого дома, — полезли туда из любопытства, в таких местах почти всегда обнаруживается инте-ресный хлам, — в корзине с газетами, книгами, какими-то тетрадка-ми сыскалось берлинское (почему именно тамашнее, я не понял тог-да), 1923 года, издание сборника Анны Ахматовой «Четки», на рус-ском (почему?) языке.

Об Ахматовой я только слышал доселе, а сейчас открыл и, потрясенный, почти всю книжку выучил наизусть, в поезде твердил без конца.

И надо же случиться такому совпадению: в Ленинграде на вокзале купил газету, развернул и увидел постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», где Ахматову смешивали с навозом, и не одну ее, а и всеми любимого Михаила Зощенко и некоторых других, не столь известных писателей.

Я недоумевал: как же так, великолепные стихи о любви, о человеческой боли, и вдруг... Или Зощенко: он же издевается над мещанством, обывательщиной, бескультурьем, глупостью, а его обвиняют в шельмовании советских людей, в уклонении от фронта (я знал из биографии, что писатель тяжело болен, отравленный газами в первую мировую). Я недоумевал... Значит, чувство партийной идейности еще не глубоко проникло в меня, я не достиг нужного уровня сознательности, а ведь я вот-вот подам заявление о приеме в кандидаты ВКП(б)... Мне было стыдно перед самим собой и даже страшновато за свою раздвоенность.

Там же, в постановлении, раздолбали поэта-блокадника А. Хазина за издевательство — под видом пародии — над Пушкиным, за клевету на отважных ленинградцев. И этого я не понял: читал эти стихи, ничего не заметил криминального в забавных строках о Евгении Онегине, попавшем в послевоенный Питер (цитирую то, что сразу же запомнилось тогда):

В трамвай садится мой Евгений.
О бедный милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век!
Судьба Евгения хранила:
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!».
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман. Но кто-то спер
Уже давно его перчатки.
За наименьшем таковых
Смолчал Онегин и притих...

Говорилось — беззлобно, в тоне легкой шутки, — как Татьяна Ларина работает маляром на восстановлении разрушенного войной дома, безобидно высмеивались «недостатки бытового обслуживания».

А журнал «Ленинград» этим постановлением — закрывали...

В пути до Выборга я так и сяк перечитывал газету и ничего-то не мог взять в толк. Мне оставалось укорить себя в невежестве, безоговорочно поверить партии — иначе какой я буду коммунист, и молчать, куда не спросят, а если спросит кто — отвечать «как положено»... Даже со старшим другом и наставником, начальником полковой библиотеки Сергеем Константиновичем Модестовым я побоялся обсудить. И я молчал, пока продолжалась хамская, непотребная кампания, вакханалия, ведьмовский шабаш, нечто похожее, как после понял, на массовый психоз, в коем просматривалась, однако, определенная система, по крайней мере, сначала она показалась мне если не системой, то последовательностью.

Мне лично тогда ничто не грозило: к литературе я не имел отношения (не принимать же всерьез занятия в поэтическом кружке С. К. Модестова, нескольких стихотворений, напечатанных в газетах). И тем не менее я отчетливо помню растерянность в те годы, растерянность, затянувшуюся до самой смерти Сталина.

Я не знал тогда латинского выражения, правила римских юристов: мысли ненаказуемы. Я думал, и думал уже чаще по-взрослому (мне исполнялось двадцать, по тогдашним меркам — возраст мужской; во всяком случае, в армии с нас был спрос на всю катушку). И читал я много, все свободное время.

Нет, причастности товарища Сталина ко всей этой кутерьме и неразберихе (так представлялось мне тогда) я и не предполагал. Вождь находился для меня, как и для многих, даже, вероятно, большинства, — вне критики. Странно, однако, я не знал даже, к примеру, о геноциде, осуществленном по отношению к некоторым народам Кавказа, калмыкам, крымским татарам, молдаванам, части прибалтов. Знание этого пришло позднее, породив ярость и боль, породив стыд, не очень понятный и в то же время какой-то естественный стыд за себя.

Правда, тайное недоумение вызвала речь Гениального Полководца на приеме 24 мая 1945 года в честь командующих войсками Красной Армии, командиров сталинской школы, как называли их.

«Товарищ Сталин выступил на приеме с речью о заслугах советского народа в Отечественной войне, и прежде всего русского народа, как наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Русский народ, сказал товарищ Сталин, заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди народов нашей страны. Товарищ Сталин провозгласил здравицу в честь русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. Безграничное доверие русского народа Советскому правительству, вера в правильность его политики и всемерная поддержка русским народом Советского правительства и большевистской партии, сказал товарищ Сталин, оказались «той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом»¹.

Я сразу же диву дался — почему все заслуги приписаны русскому народу, разве другие не воевали? Почему подчеркнуты некие якобы особенные качества? Почему здравица и благодарность только ему? Чувство национальной исключительности, сколько себя помню, вовсе не было присуще мне, от лестных слов Верховного ничуть не возгордился, напротив, было стыдно, будто присвоил чужое. Но, конечно, опять я помалкивал, размышляя, к чему это затеяно, и не находил ответа, он пришел значительно позже...

А преследования интеллигенции разгорались... Постановления ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» (26 августа 1946 г.), «О кинофильме «Большая жизнь» (4 сентября 1946 г.), «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели (10 февраля 1948 г.). Особенно поразило меня последнее, выпущенное после значительного перерыва. В нем шла речь не только — даже вдруг показалось, что и не столько, — о музыке, но и о национальном вопросе. В той части, где речь шла о произведении народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии Ваню Ильича Мурадели (1908—1979), в частности, говорилось:

«Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление Советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918—1920 гг. Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым; так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы»².

¹ Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Изд. 2-е, испр. и доп., М., 1952, с. 220.

² Сборник указанных постановлений. М., 1953, с. 25.

К тому времени я уже слышал о репрессиях некоторых народов Северного Кавказа, в том числе чеченцев и ингушей (правда, конечно, считал эту кару справедливой, а как же иначе!). Но я знал и другое, естественно: Сталин — грузин; и вдобавок ходили туманные слухи, что Он — осетин (стихотворение Осипа Мандельштама о Сталине, где сказано про «широкую грудь осетина», большинству оставалось еще неизвестным). Неясные подозрения возникали у меня: а что если это попытка выгородить одни народы (нуждаются ли они в том?) и очернить другие (зачем?).

И я вспомнил то, о чем, вероятно, помнили (и тем более помнят сейчас) немногие: еще в ходе войны, в 1944-м, рядом с важнейшими документами, касающимися фронта и тыла, вдруг вышло постановление ЦК «О состоянии и мерах улучшения идеологической работы в Татарской партийной организации». Да, его мало кто помнит, но я-то был членом бюро, председателем идеологической комиссии Мензелинского райкома ВЛКСМ и немало поработал над пропагандой и разъяснением этого документа, тогда еще не разбираясь в его глубинной сути, а она заключалась в том, что шла речь и об ошибках в переводе и публикации татарского средневекового эпоса об эмире Едигее, где якобы идеализировалось и возвеличивалось ханство как таковое (кстати, эпос этот распространен среди ногайцев, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, туркмен и тюркских народов Западной Сибири, а приписали его почему-то лишь татарам)¹.

Могу задним числом порадоваться, что ко многим рассуждениям тогда я пришел совершенно самостоятельно — не потому, что уж так умен, а просто никто не мог подсказать мне этих мыслей, я жил в полном одиночестве и страхе, но уже тогда был насквозь политизирован, как говорится ныне, и не думать о происходящем попросту не мог.

Парадокс же состоял в том, что, додумавшись до неких сомнений, я нимало не поколебался в восприятии личности Великого Вождя... Восхищаясь, к примеру, стихами Анны Андреевны Ахматовой, я не мог считать неверными свои оценки, однако не мог тем более предполагать, что ошибочным является постановление ЦК... Быть может, я переживал то, что несколькими годами позже сказал поэт моего поколения Наум Коржавин: «Это уже ты не веришь — боишься безверья». Возможно, и так. Но, скорее всего, я — верил, я лишь тайно, робко колебался. Это ничуть не помешало в начале зимы 1946 года стать кандидатом, а через год ровнехонько и членом Ленинской партии, в которую меня, к слову, никто не агитировал, не тянул, не было тогда установки на форсированный рост ее рядов, и пошел я туда вполне доброхотно и восторженно, на многие годы став ярым ее адептом.

Но поводов и пищи для размышлений хватало.

Появился специальный рупор проводимой антиинтеллигентской, а вскоре и антисемитской кампании «Культура и жизнь», газета Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Явление уникальное: наряду с центральным органом, «Правдой», впервые после революции возникло второе партийное периодическое издание, выпускаемое под фирмой не самого ЦК, но лишь одним из его управлений, и не официальный орган, а только газета (ежедекадная), статус которой, по идее, не мог быть директивным; вскоре, однако, выявилось истинное положение вещей.

¹ О партийной и советской печати. Сб. докум. М., 1954, с. 526—529.

Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т. 5, стлб. 474—475.

Начиная с первого номера, выпущенного 28 июня 1946 года, «Культура и жизнь» (почти немедленно прозванная — шепотом, шепотом, конечно, — «Братской могилой», а еще «Культурой и смертью») взялась крушить критической дубиной налево, направо и кругом; удары ее, словно выпады опытного и не стесненного правилами фехтовальщика или боксера, не умели предугадать, как мне рассказывали после, даже самые дотошные знатоки газетной к у х н и.

Зато сейчас, по прошествии четырех с половиной десятилетий, когда перелистываешь комплекты этих невзрачных выпусков (появление фотоснимков здесь казалось событием; верстка полос отличалась примитивной унылостью, как в нелегальной «Искре»; заголовки длинные и невыразительны; никакой броскости, подчеркнутая деловитость и официальность стиля и оформления), видишь, как по строго продуманному плану, продуманному на месяцы, а может, и на годы, строилась газета, в каком системном порядке закапывала в яму людей, журналы, книги, спектакли, кинофильмы... И как, судя по откликам, публикуемым тут же, боялись ее, как многое позволялось ей, в том числе и критика неприкосновенной большевистской «Правды», которая, как ВЧК—НКВД, «никогда не ошибалась» до того.

Похвалы от «Культуры...» мало кто дожидался, тем более — по заслугам, а не из конъюнктурных побуждений. Зато всякий раскритикованный, пускай даже мимоходом, промельком, спешил публично сыпать главу пеплом, будь то отдельное лицо или коллектив.

Появление редакционной (изредка — за подписью) обобщающей статьи о положении дел в том или ином виде искусства незамедлительно порождало лавину откликов (одобрения, добавления, расшифровки, униженная самокритика вплоть до самобичевания) и, как правило, в конечном итоге вызывало к жизни очередное постановление ЦК или другой партийный документ рангом, так сказать, несколько пониже. И опять следовали одобрения и прочее. И так из месяца в месяц, из года в год.

Я уходил в прекрасную библиотеку Выборгского дома офицеров и там углублялся в чтение, почти тайное, укрывшись в уголке, — даже этого боялись! — и уж от совершенно понятной трусости не делал никаких выписок (тенденциозность не проявлял!); приводимые здесь ниже цитаты и примеры занесены в рабочую тетрадь лишь в шестидесятые годы, во времена хрущевской «оттепели».

Невозможно показать хотя бы более или менее полными штрихами весь этот дикий разгул оскорблений, обвинений, глупостей (а многие из очевидных нелепостей дорого обходились тем, кого непосредственно касались!), злобы, подозрительности, невежества, торжествующей пошлости (в которой обвиняли иных деятелей), уничтожения личности, попрания чести и достоинства человека.

Немыслимо — особенно в рамках избранного мною жанра воспоминаний — хоть как-то квалифицировать все кажущиеся теперь бредом, фантазмагорией, нонсенсом выпады партийной критики, если можно обозначить это сумасшествие к р и т и к о й.

Приведу некоторые если не самые характерные, то, на мой взгляд, наиболее чудовищные и дикие примеры (датирую лишь в самых необходимых случаях), взятые из «КиЖ» за 1946—1948 гг. Отбор их, естественно, субъективен: другой на моем месте привел бы иные, однако любой случайный отбор даст представление о картине в целом.

Самый первый номер: статья о литературной критике. Главные «отрицательные персонажи» — А. Гурвич и Г. Бровман (пока еще антисемитизмом в массовом масштабе не пахнет, это — лишь предупредительный выстрел, намек).

Пустячный, в общем-то, стишок известного уже к тому времени баснописца и детского поэта, дважды лауреата Сталинской премии (в ту пору) Сергея Михалкова — «образчик непечатной пошлости» (кошка-девственница родила!).

Журнал «Новый мир» отстаёт от жизни, в нём много идилличности, самоуспокоенности (это сказано, повторю, в первом номере газеты, а в № 5-м редколлегия хором признаёт себя во всем повинной).

В фельетоне Эмиля Кроткого советская девушка Маня Лескова кощунственно сравнивается с героиней французской книги Манон Леско — имена подобраны созвучные!

Виднейшие актёры М. Кедров, М. Прудкин, В. Станицын, Р. Симонов (также и режиссер) и другие восторженно приветствуют постановление ЦК «О репертуаре драматических театров», а Константин Симонов тут же подвергает глумлению чохом весь американский театр.

А. Ахматова и М. Зощенко исключены из Союза писателей. От руководства СП СССР отстранен Николай Тихонов. Введена должность Генерального секретаря этого Союза, им утвержден Александр Фадеев. Деятель ЦК П. Юдин расхваливает на все лады его роман «Молодая гвардия», — вскоре книгу жестоко раскритикуют и автор станет униженно благодарить, спешно устранять недостатки, натолкает в произведение тьму лживых, выдуманных фактов, книгу испортит, вконец исфальшивит.

На писательском собрании новоиспеченный Генсек от литературы распинает за безыдейность Бориса Пастернака, Илью Сельвинского, Василия Гроссмана (уже просматривается «подбор по пятой графе»). Ему дружно подпевают Леонид Леонов, Константин Симонов, Анна Караваяева, Валентин Катаев, «непечатный пошляк» Сергей Михалков. И лишь отважный Александр Адольфович Бек, участник гражданской и Отечественной войн, открыто и резко выступает в защиту великого прозаика Василия Гроссмана.

После выхода постановления «О кинофильме «Большая жизнь», где за вторую серию ленты «Иван Грозный» (любимый исторический персонаж Вождя!) критиковали и Сергея Эйзенштейна, последний публикует письмо: полностью виноват, проявил легкомыслие, безответственность, безыдейность, вызванные недостаточной политической грамотностью, незнанием истории (эта серия фильма вышла на экран только в 1958 году; что же касается не в е ж е с т в а режиссера, то с 1939 года он имел высокую ученую степень доктора искусствоведения, звание профессора).

Профессор Б. Эйхенбаум, по словам критика Б. Рюрикова, осмелился облыжно говорить о влиянии немецкого философа-идеалиста Артура Шопенгауэра на творчество русского классика Л. Н. Толстого. Кроме того, Рюриков возвращается к уже упомянутому в первом номере газеты своему коллеге Абраму Гурвичу, — тому достанется в «КиЖ» и других газетах еще не раз, — он, Гурвич, равнодушный к нашим достижениям, идейно убогий эстет...

Еще один, следом за С. Михалковым, пошляк, Корней Иванович Чуковский написал, видите ли, сказку о царстве, где живут одни собаки (автор критики видного ученого и детского поэта — руководительница дошкольных учреждений Министерства сельскохозяйственного машиностроения)...

Начало 1947 года газета ознаменовала ударом по великому Андрею Платонову: его рассказ «Семья Иванова» («Возвращение») по личному, гласила молва, указанию Сталина назван порочным и опять-таки пошлым (далось им это определение!); автора отлучили от литературы до самой его смерти в январе 1951 года.

К растерзанию Бориса Пастернака вслед за А. Фадеевым подключился создатель знаменитой «Землянки» Алексей Сурков: Пастернак злобно относится к революции, он — объевшийся рифмами зазнайка, ничего не создавший оригинального, ибо его духовные ресурсы — скудны, произведения бессмысленны (это еще цветочки, настоящая травля Пастернака будет в 1958 году, в связи с присуждением ему Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго»).

В докладе А. Фадеева на пленуме Союза писателей СССР весной 1947 г. едва ли не впервые употреблена железная и достаточно долговечная формула: преклонение перед Западом, низкопоклонство перед иностранщиной; формула была и резиновой, под нее легко подверстывалось что угодно.

21 сентября того же года газета ретиво нахваливает лучших представителей советской музыки — Ваню Мурадели, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича. В феврале (и полугодом не миновало!) в очередном постановлении именно они, все, фигурируют как декаденты, антинародные деятели, натуралисты и проч.

Критикуют Осипа Резника, недостаточно хвалебно (!) отозвавшегося в «Правде» (непогрешимой!) об официально признанной повести Владимира Добровольского «Трое в серых шинелях».

31 июля — 7 августа 1948 г. состоялась сессия Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук, под руководством шарлатана Т. Лысенко разгромившая лучших ученых и целую отрасль науки — генетику.

Под крикливым заголовком «Проф. М. Эйхенгольц искажает русский язык» некий истинно русский патриот Александр Иванов (не подозревать известного ныне поэта-пародиста, он родился в 1936 г.) пишет: профессор в статье употребляет непонятные народу слова, как то — эрудит, мифологизировал, стилизаторские тенденции, эпатирование, гротеск, перипетии, экспозиция... Вскоре профессор распинается: да, совершил ошибку, критика товарища Иванова совершенно справедлива, спасибо, учту в дальнейшей деятельности, буду понятен советскому народу...

(Это повсюду, повсюду красной нитью известнейшие ленинские слова о том, что искусство должно быть понятно народу. Долгие годы эта формулировка объективно служила принижению роли искусства, фактически для формирования так называемой массовой культуры, ибо «искусство должно принадлежать народу и быть понятным народу». Казалось, никто не замечал, что это высказывание противоречит словам того же Основоположника, сказанным о Демьяне Бедном, популярном поэте времен гражданской войны: грубоват, идет за массами, а надо быть чуть впереди...¹ Впрочем, одно ли это противоречие обнаруживается при желании в сочинениях гения человечества...

И лишь в восьмидесятые годы спохватились: еще не известно, произносил ли вождь революции эти слова, приведенные в воспоминаниях Клары Цеткин; и, кроме того, в оригинале ее труда слова эти звучат так: «*muß... verstanden und geliebt werden*», т. е. «должно быть понято и стать любимо». Речь, следовательно, не о снижении уровня искусства, но о повышении культуры народа.

Но в любом варианте понятие *народ* использовали для обозначения некоей однородной массы, этим словом размахивали словно тяжелой кувалдой, дубасили им куда попадая.)

Конечно же, не только «Культура и жизнь» изгалялась над научной и творческой интеллигенцией. И «Правда», и «Литературная газета», и «Комсомолка», и другие, практически все без исключения га-

¹ См.: Горький М. Собр. сочинений. 1952. Т. 17, с. 45.

зеты, а также и журналы, и местная пресса как бы соревновались между собой: кто пошибче шарахнет, кто выявит новых антинародных, поставит их на колени, вынудит биться лбом об пол.

Пока что ограничивалось обсуждениями, проработками, исключениями из творческих союзов, запретами печататься, исполнять те или иные произведения.

Но за словом, даже самым хлестким, неминуемо должно было последовать дело. И оно возникло — так называемое «Дело Ключевой и Роскина». В нем непосредственное участие — хотя никакого значения, к счастью, не имевшее, — довелось принимать и мне.

11 марта 1947 г. все та же пресловутая «Культура...» крупно, броско, под заголовком «Выдающееся открытие советской науки (о книге Н. Г. Ключевой и Г. И. Роскина)» опубликовала рецензию проф. А. Струкова. Сам факт публикации в открытой печати, естественно, означал, что работа двух ученых не содержит в себе ничего секретного; а редкостная положительная оценка «Братской могилой» подчеркивала значение, придаваемое этому труду, и явно была нацелена на его популяризацию.

Миновал год — или того меньше, и появилось нигде не напечатанное постановление (или Закрытое письмо?) ЦК ВКП(б) по «Делу Ключевой и Роскина».

В документе практически не говорилось о научном значении их работы: им совершенно бездоказательно инкриминировали продажу американцам рецептуры и технологии изготовления противораковой вакцины (каковой, известно, и по сей день нет ни в одной стране). Вот где продвинулось в широкий обиход пущенное А. Фадеевым выражение «преклонение перед иностранщиной», родилось новое значение слова «космополит» (раньше оно имело единственный смысл, отнюдь не осудительный — «человек мира», «гражданин мира», теперь стало однозначным понятию «человек без родины», антипатриот). Вскоре к «космополиту» накрепко присобачили усиливающее определение «безродный», а немногим позже «безродный космополит» стало синонимом слов предатель, изменник, а с другой стороны, еврей, жид (точно как и теперь, в девяностых годах, при наличии так называемых гласности и демократии, желая запятнать этот народ, евреев прозрачно-иносказательно именуют «сионистами», хотя дураку должно быть известно, что национальность еврея и приверженность идее обретения исторической родины — сионизм — отнюдь не тождественны).

В отличие от предыдущих постановлений по вопросам идеологии, каковые у нас, в армии, публично не обсуждались (видимо, считали, что литература и искусство — не солдатского ума дело) — материалы «по Ключевой и Роскину» вынесли на специальное собрание партийного актива нашей 45-й гвардейской стрелковой дивизии (симптоматично, что носила она имя А. А. Жданова!). Впрочем, непонятного тут не было: обнаружены предатели, изменники — следовательно, выше бдительность, а она главное для Советской Армии и Флота (не забудем, что вовсю гремела так называемая холодная война против недавних союзников).

Как и в школьные, в райкомовские годы — теперь уже «от имени солдат и сержантов» — выступал на активе я, присяжный оратор, верный сталинец, новоиспеченный член ВКП(б)... С равным успехом я мог, допустим, держать речь о средневековой китайской литературе... Полагаю, за исключением нескольких военных врачей, сидящие в зале разбирались в проблемах цитологии и гистологии (основные направления деятельности обвиняемых) ничуть не больше моего,

попросту и слов-то не слыхивали этих. Но того и не требовалось. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность — вот это понимали все.

Жаль, не уцелел текст моего выступления: он занимал, помнится, страниц десять, собственноручно отпечатанных на штабной машинке, одобренных и утвержденных в политотделе дивизии.

Я ретиво, в привычном комсомольском возвышенно-патетическом стиле клеймил предателей ученых, не жалея заимствованных из газет обозначений вроде рептилии. Велели, как испокон веку и доселе полагается в большевистской пропаганде, «связать с жизнью, с местными примерами». И я усердствовал, разоблачал преклонение перед иностранщиной у нас в полку: писарь Цыбиков хвастается пепельницей, привезенной из Германии, у нас, дескать, таких не производят; штабной чертежник младший лейтенант Олег Третьяков заявляет, что отдает предпочтение западной джазовой музыке перед русскими народными песнями... Я распинаясь в патриотизме, в любви к Великому... слава Богу, тогда уже (и еще) не арестовывали, а то, вполне возможно, Цыбикову и Третьякову несдобровать бы после моей акции, по сути, безусловно, доносительской.

(Впрочем, арестами попахивало, хотя они до поры и не афишировались. Косвенное доказательство тому — биографическая справка о Григории Иосифовиче Роскине в нынешней энциклопедии: одно его сочинение датировано 1946-м, следующее 1963-м годом¹).

Стыдно мне за тогдашнюю речугу? О чем говорить, еще как! Но ведь лишь позднее стало безгранично совестно. А тогда чувствовал себя на коне, перечитывал текст неоднократно, любовался собой. Странно, оба мои товарища продолжали общаться со мной, не плюнули, по справедливости, в морду, — думаю, тоже боялись.

«Дело» считалось секретным. Однако вскоре по мотивам его вышел фильм — художественный! — «Суд чести».

Передо мною — капитальное издание, выпущенное в 1961, либеральном, году. Как ни странно, в нем сказано:

«Сложная международная обстановка, активизация империалистической реакции требовали от советского народа пристального внимания к вопросам политического воспитания, требовали бдительности, борьбы со всякого рода проявлениями чуждой идеологии.

У советских художников естественно (! — В. Е.) возникла потребность откликнуться на многие занимавшие общественность вопросы. В 1949 году большой резонанс получил фильм «Суд чести», созданный по пьесе А. Штейна режиссером А. Роомом. Фильм этот отличала острая злободневность и высокое чувство гражданственности»².

Далее кинолента всячески расхваливается. В ней играли — побоялся отказаться? не постыдились? неужто поверили? — такие блистательные актеры, как Ольга Жизнева, Лидия Сухаревская, Борис Чирков (исполнитель главной роли в знаменитой довоенной трилогии о большевике Максиме) и другие.

Стыдно было им все-таки, хотя бы впоследствии, как и мне. Правда, мой стыд поменьше, я не красовался перед десятками миллионов зрителей. Но грех есть грех, не важно, даже если он останется тайным.

Единственный — подчеркиваю! — случай прямого, открытого выступления против массовой травли деятелей культуры я обнаружил, внимательно прочитывая газетные подшивки семи позорнейших и страшных лет.

¹ Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Том 22, с. 207.

² Очерки истории советского кино. В трех томах. Том 3. М., 1961, с. 52.

«Культура и жизнь» в № 33 за 1948 год ругая ругала журнал «Звезда» за то, что известный партизанский генерал, а затем не менее известный писатель Петр Вершигора, Герой Советского Союза незадолго до того обласканный Сталинской премией в области литературы, на страницах этого ленинградского ежемесячника заявил без обиняков: у нас правду писать нельзя, а надо лишь довольствоваться прилизанной правдой.

Сказано достаточно мягко, сдержанно. Но и этого достало.

В следующем, 34-м, номере на коммуниста Вершигору, этим поступком оправдавшего название собственного романа «Люди с чистой совестью», дополнительно обрушили такую, с позволения сказать, оценку его произведения, дотоле восхваляемого безудержно: «Смесь невежества и обывательщины, элементарной политической неграмотности и лжи».

Справедливости ради следует добавить, что в последующем храбрый солдат Петр Вершигора вел себя далеко не столь же смело и благородно. Веселое было времечко, кого и каких ни ломали...

Возникает естественный вопрос: к чему я рассказываю это, я ведь тогда не принимал участия в литературном процессе, был далек от него. Да, так. Но я много читал, российская словесность казалась мне моим призванием; сейчас, через толщу времени, я понимаю, что был все-таки не самым последним болваном. Однако состояние мое было противоестественно двойственным: понимая и принимая близко к сердцу конкретные события, я никак не связывал их с порочностью политики партии, тем более — Великого Сталина. Конечно, подобным образом жило немалое число людей, но только не в моем армейском окружении, где я был одинок и одержим страхом...

Сержантской моей службе не виделось конца, я сделал в жизни крутой виток: подал рапорт о поступлении на курсы подготовки лейтенантов-политработников при политуправлении Ленинградского военного округа. 31 января 1949 года с чемоданом в руке я переступил порог проходной будки двухэтажного длинного здания на Звенигородской, 5, в центре Питера, близ Витебского вокзала.

В альманашном варианте воспоминаний я опускаю рассказ о том, что представляли собой эти курсы и сами курсанты, хотя это, на мой взгляд, интересно. Но я не стану отклоняться от основной темы данных фрагментов. Для полноты собственной характеристики скажу только, что я сразу стал секретарем парторганизации одного из четырех взводов, а во второй половине срока учения возглавил, как говорится, партийное бюро курсов, где числилось ровно сто коммунистов.

Буквально с первого часа я познакомился с единственным среди нас евреем — национальность упоминаю не случайно — Мордухом К. (таким именем он обозначался в документах, заполненных с ошибкой, правильное начертание древнего имени — Мардехай; никто в документы не заглядывал, все на курсах звали Михаилом, а чаще, как и прочих, Мишкой; фамилии не называю, ограничиваюсь инициалом К.). Участник боев, с почетной, истинно солдатской наградой — орденом Славы, человек живого ума, начитанный и неплохо информированный, до курсов Мишка служил в дивизионной газете, писал стихи, занимался в литобъединении при окружной газете. Он сыграл несомненную роль в намечавшейся достаточно основательной перемене

моих воззрений, о чем я вспоминаю с признательностью и теплотой (ныне Михаил К.—полковник в отставке, бывший политработник с университетским образованием, преподаватель института).

Страх господствовал в стране, люди остерегались друг друга, замыкались, а мы с Мишкой сразу же обнюхались, и вскоре стало привычным — когда командовали отбой и все засыпали, мы вдвоем, накинув шинели на белье, усаживались в закутке на забитой наглухо бывшей парадной и толковали до двух-трех часов утра. Поговорить всегда находилось о чем: события принимали крутой и явственно обозначенный оборот.

За несколько дней до прибытия на курсы мы прочитали (28 января 1949 г.) редакционную статью «Правды» — «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Разоблачали там «буржуазных космополитов». Подряд шли специфические фамилии: Ю. Юзовский, А. Гурвич, А. Борщаговский, Е. Холодов (он же Меерович), Л. Малюгин, Я. Варшавский (замыкал список, видимо, для некоего уравнивания, армянин Григорий Нересович Бояджиев). О содержании, тоне статьи можно судить хотя бы по таким кратчайшим выдержкам: «Полна издевательства его (Юзовского.— В. Е.) статья, где он язвит... о том, что авторы пьес зачастую не хотят «думать» и тем самым не дают якобы «думать своим героям»... «А какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека...» «Позорные и невежественные измышления... Шипя и злобствуя... Пытаясь создать некое литературное подполье...»

Но главное, рассуждали мы с Мишкой вдвоем, все-таки даже не в этих ужасающих словах. Главное — фамилии. Тут не могло быть сомнений: ранее только пунктиром, вскользь обозначаемый государственный антисемитизм становился широкой кампанией... Я воспринял этот удар как направленный и против меня, так же, как отнесся бы к оскорблению любой нации; что ж касается Михаила — уж тут дупили прямо по нему, он был в отчаянии; первое, что приходило в голову, — отчислят с курсов, а он, как и я, уже прикинул свое будущее; и отчисление окажется демонстративным, оскорбительным, без хотя бы мало-мальски придуманных причин.

Не пытаясь задним числом после столь длительного времени воспроизвести наши бесконечные разговоры, опять приведу некоторые примеры из прессы того сорок девятого — ведь именно вокруг газетных и журнальных публикаций, естественно, сосредоточены были наши интересы и разговоры.

Впечатление было: статья «Правды» явилась сигнальной ракетой, после чего загодя заряженная газетная артиллерия ударила разом из всех стволов. Даже вакханалия предыдущих лет казалась теперь не такой чудовищной, бессмысленной, безумно-алогичной.

Борьба против космополитизма охватила все виды искусства, культуры, а также многие, если не все, отрасли науки.

«Правда», 10 февраля. Статья придворного иконописца Александра Герасимова «За советский патриотизм в искусстве». Объекты нападок: А. Эфрос, М. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, Н. Пунин, И. Маца, Я. Пастернак (не Борис Леонидович.— В. Е.), И. Врона и другие. «Распоясавшийся... По-хулигански... Приказчик, услужливо сгибающийся перед знатным гостем... Двуручнический маневр...» Это — об отдельных (и соответственно — о каждом) из упомянутых режиссеров, критиков, искусствоведов...

«Культура и жизнь», начало февраля. Отчет о партийном собра-

нии московских критиков. Повестка дня: «До конца разгромить антипатриотическую группу театральных критиков». Докладчик — известный мракобес, драматург и пиит Анатолий Софронов. С рьяными речами выступили прозаики Николай Грибачев и Маризетта Шагинян, критики Владимир Ермилов (травивший в свое время В. Маяковского) и Анатолий Макаров.

Как ни удивительно, голос протеста осмелились поднять Иоганн Альтман, Лев Субоцкий, Даниил Данин, Федор Левин (замечу, чтоб подчеркнуть их отвагу, — все они евреи). Собрание, извещает газета, глубоко возмутилось их выступлениями и поручило партийному бюро рассмотреть вопрос о них: критикуемым полагалось только виноватиться.

Та же газета, февраль. Статья: «Буржуазные космополиты в музыкальной критике». Перечислены и ошельмованы Л. Мазель, Д. Житомирский, С. Шлифштейн, И. Мартынов, Г. Шнеерсон, И. Бэлза, А. Оголевец, Ю. Вайнкопф. Они, дескать, хвалили формалиста Шостаковича, высокомерно отзывались о массовой народной музыке (чем не мой уровень выступления на партактиве! — В. Е.), нагло отрицали антинародность творчества всех тех композиторов, кто упоминался в постановлении об опере «Великая дружба».

Здесь же письмо о работе Литературного института: преподаватели Г. Бровман, П. Антокольский, Б. Левин являются космополитами; в частности Григорий Бровман шельмовал выдающиеся романы Веры Пановой «Кружилиха», В. Авдеева «Гурты на дорогах», Ф. Панферова «Борьба за мир». Вскоре последовало сообщение: указанные педагоги из института отчислены.

«Литературная газета», 9 февраля. Статья о серьезных ошибках издательства «Советский писатель»: переиздали Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» («насквозь формалистическая, исторически ложная»), И. Ильфа и Е. Петрова («дают искаженную картину жизни советского общества»), Б. Лавренева «Ветер», Л. Сейфуллиной «Перелетная».

Там же, 12 февраля. «Живые трупы». Передовая о космополитах. (Под нею письмо рабочего.)

«Культура...», февраль. Редакционная статья «Разоблачить проповедников космополитизма в философии». Об академике Б. Кедрове: он лживо утверждает, что вопросы приоритета русской науки не имеют значения для народа... В следующем номере Кедров, понятно, самораскритиковался; заодно указывалось, что ученый-философ М. Розенталь оклеветал Н. Г. Чернышевского, заявив якобы, что тот сформировал свое мировоззрение на основе изучения западного опыта (что, конечно, соответствовало действительности.— В. Е.).

«Правда», 26 февраля. Собрание критиков и драматургов, докладчик — молодой (род. в 1915 г.) преуспевающий заместитель генсека Союза писателей Константин Симонов (А. Фадеев «ушел в творческий отпуск», устранился от дел, запил). Текст доклада опубликован в № 3 журнала «Новый мир», главным редактором коего был тот же К. Симонов, — документ невозможно без содрогания перечитывать и ныне... В прениях — с очередными восторгами, изобличениями, самоуничижениями — корифеи: А. Софронов, Б. Ромашов, А. Первенцев, Н. Погодин, С. Михалков, В. Пименов и другие. Борис Ромашов, как шутят татары, «мало малá ошибку давал — вместо ура караул кричал»; прихлестнул к безродным космополитам (понимай: евреям) давно расстрелянного Всеволода Эмильевича Мейерхольда, тот был — немец...

Печатали опусы о космополитах в поэзии, киноискусстве, кинокритике, литературоведении, языкознании, всего не перечить.

Уже появилось обвинение, вполне соответствующее стилистике расстрельных тридцатых годов: в «подрывной антипартийной деятельности» обвинили выдающихся деятелей кино Л. Трауберга, М. Блеймана, С. Юткевича.

Николай Грибачев, кстати, участник войны, по поводу трагичной поэмы Маргариты Иосифовны Алигер, посвященной памяти мужа, павшего в боях, писал: автор «копается в своей мелкой душонке»; обвинял в формализме поэтов-фронтовиков Семена Гудзенко, Александра Межирова, работавших во вполне традиционном духе.

Трое студентов Литературного института (не стану называть фамилии, двое из них живы и, помнится, публично покаяться) клеймили своего учителя, руководителя творческого семинара Павла Григорьевича Антокольского.

Фадеев, видимо, на некоторое время протрезвевший, выругал издательство «Советский писатель» за попытку выпустить произведения крупнейших дореволюционных писателей Иннокентия Анненского и Андрея Белого.

Семен Бабаевский, автор эталонного романа «Кавалер Золотой Звезды», печатно хвастался, что на имя героя поступают тысячи писем, подчеркивал понимание народом литературы. (Беспрецедентный факт: роман выходил ежегодно отдельными частями, всего их было три; и за каждую часть по отдельности автор получал Сталинские премии!)

Возник из ниоткуда некий драмодел А. Суров, его пьеса «Зеленая улица» («о проблемах железнодорожного транспорта») шла на сцене униженного и оскорбленного МХАТа; великолепная актриса, чьей лучшей ролью была Анна Каренина — Алла Тарасова, играла то ли стрелочницу, то ли дежурного по станции... Суров заделался мэтром, непрестанно выступал, клеймил, поучал. Вскоре выяснилось, что даже графоманские опусы Суров не сочинял, работали «литературные негры»; Суров пьянствовал, его подбирали в канавах. Шарлатан и проходимец, он в «Литгазете» снисходительно похвалил маститого Вадима Кожевникова за пьесу «Огненная река» («о металлургах»); а через два с небольшим месяца пьесу охаяла всемогущая «Культура...», и главный редактор «Литературки» В. Ермилов, генсек А. Фадеев, его зам К. Симонов и... сам автор пьесы били себя в грудь и плакались (попробуй возражать «Братской могиле!»).

Некая учителька в «ЛГ» под заголовком «Это не нужно детям» долбала любимые книги детворы «Кондуит» и «Швамбрания» Льва Абрамовича Кассиля.

В суматохе и усердии доходили до трагикомических курьезов.

«Литературка» 16 марта обвинила «космополита» Илью Вайсфельда в злонамеренном искажении ленинской цитаты: под исковерканными этими словами подпишется, мол, любой идеалист и махист. А в следующем номере, 19-го, та же газета — единственный случай за весь период погромов! — принесла извинения (!) космополиту: выяснилось, что цитата была точной, и, таким образом, идеалистом и махистом объявили самого Основоположника!

Никто не мог предугадать, что чем обернется.

6 апреля в «Литературке» академик И. И. Мещанинов разразился статьей «Творческое наследие Н. Я. Марра», где требовал «разоблачить всякие попытки ревизовать материалистическое учение» этого лингвиста... Угадать бы Мещанинову и редакторам «ЛГ» и «КиЖ», в то же время изрекавшей хвалу Марру, что в не столь далеком 1952 году «ревизовать учение» Марра будет не кто иной, как Сам товарищ Сталин, великий знаток языкознания... Тогда принялись топтать и обвинять в антимарксизме — Мещанинова...

У нас с Михаилом голова шла кругом. Но притом и занимались мы старательно, хотя, конечно, долгие ночные разговоры на лестнице изрядно выматывали нас.

К слову скажу, что антисемитский характер событий наши сокурсники разгадали быстро. И следует отдать ребятам должное: ни единого выпада против Мишки, сколько помню, никто не допустил и за спиной его не ухмылялись; напротив, проявляли сочувственную деликатность. Правда, к прозвищу «Мишка-демократ», порожденному некоторыми особенностями его натуры, прибавилось еще одно: «безродный космополит», но то была вполне безобидная шутка, это понимали все, включая самого Михаила.

Другой стороной «разгрома космополитизма» стало «развенчание преклонения перед иностранщиной», борьба за приоритет русской и советской науки и техники.

Вопреки объективным и хорошо известным фактам наша страна объявлялась родиной чуть не всего, что создано мыслью и руками человека. Уши прожужжали: лампу накаливания изобрел не Эдисон, а Лодыгин и Яблочков; паровоз — не Стефенсон, а Черепанов; самолет (точнее — аэроплан) не Блерио и братья Райт, а Можайский (и лишь в 1990 году научно доказано, что аппарат, построенный Можайским, просто-напросто не мог взлететь); радио — не Маркони, а Попов и так далее... Нашептывали анекдоты: «Россия — родина слонов», «Идея рентгеноскопии принадлежит опричнику Малюте Скуратову, он говорил жене: «Я тебя, блядь, на с к в о з ь вижу» и прочие.

За «преклонение» изгоняли из Ленинградского университета, и, разумеется, не только из него, крупнейших ученых.

16 ноября «Литературка» провозгласила: долой «словесные сорняки» — и мигом знаменитое питерское кафе «Норд» на Невском получило название «Север», как и одноименные папиросы; «французская» булочка стала «городской» (теперь о существовании этого изделия помнят лишь пожилые люди, страна доперестраивалась до нищеты); пирожное «эклер» превратилось в «заварное»... Спешно меняли м е ж д у н а р о д н у ю научную терминологию; особенно круто обошлись с геологией, морским делом — там преобладали английские, голландские, немецкие обозначения.

Интеллигенция тайком резвилась: «Почитаем, что писал Однокаменников» (т. е. Эйнштейн: эйн, ein — один; штейн, stein — камень).

Однако всей этой свистопляски Вождю явно не доставало или, быть может, казалось слишком пресным: дальше публичного распинания и сравнительно небольшого числа арестов интеллигенции дело не шло. Кроме того, быть может, ему казалось, что недавно насильственно окрещенные странами народной демократии «младшие братья» ведут себя не вполне по-социалистически, следует их приструнить, дать почувствовать, сколь тяжела Его, Победителя, Крестителя, рука.

В сентябре 1949 года в Венгрии начался первый политический процесс в дружественных (вынужденно дружественных!) государствах Восточной Европы: судили одного из высших руководителей недавно провозглашенной республики Ласло Райка: «Нити заговора ведут в Белград и Вашингтон». Одновременно опубликовали — в устрашение миру, что СССР с 1947 года имеет водородную бомбу.

После камушка, мимоходом брошенного «Правдой» в Югославию, «Литературка» предоставила слово одному из старейшин советской изящной словесности Федору Гладкову. Сочинение именовалось «Пре-

датель Тито» — так отныне стали называть югославского маршала, нашего верного союзника в минувшей войне.

Декабрь ознаменовался судом над болгарским деятелем Трайчо Костовым. В других молодых государствах «социалистического лагеря» аналогичные акции осуществились несколько позже.

Сорок девятый год советское искусство, надо полагать, извлекающее уроки из партийной критики, ознаменовало выпуском выдающегося и загодя прославляемого произведения к юбилею Вождя: двухсерийного цветного шедевра «Падение Берлина», поставленного придворным лизоблюдом, увенчанным всяческими лаврами Михаилом Чиаурели по сценарию приспособленца и конъюнктурщика Петра Павленко.

Как сейчас вижу (смотрел по необходимости не раз) начальные кадры фильма, его символический пролог.

...Безоблачное голубое-голубое небо. Камера панорамирует книзу. Верхушки цветущих деревьев во весь экран. Затем — яблони, яблони в белом наряде. Пересвист нежных птиц. Сапог, сильно нажимающий на лопату. Объектив идет вверх, видим галифе, френч, видим, наконец, лик Сталина, Вождь окапывает пристволье (метафора по известнейшему афоризму Его, изреченному в конце страшных тридцатых годов: заботиться о людях так же любовно, как садовник бережет плодовое дерево).

Рабочий с тоже символической фамилией Иванов — роль играл прекрасный актер Борис Андреев, — неведомо как попавший на дачу Сталина (вроде бы шел мимо, заглянул по-соседски), — оказывается перед Вождем. Конечно, Иванов волнуется, пятится, — а почему, собственно, от Родного и Любимого надо пятиться, а не кидаться к Нему с объятиями? — наступает на пышную клумбу, идиотически лепечет: «Здравствуйте, Виссарион Иванович». — «Это мой отец был Виссарион Иванович, а я Иосиф Виссарионович» — с добрейшей улыбкой поправляет Гениальный, берет под руку...

И вот они оба — на застекленной веранде, за обеденным столом, вместе с членами Политбюро (портретный грим сделали превосходно, сразу же угадывался любой). Они — безмолвны, почтительны и льстивы; только Иванов, усаженный рядом с Хозяином, ведет себя теперь свободно и уверенно (надо понимать, снова символ: рабочий, хозяин страны!). Тосты за товарища Сталина. Тост Вождя — за Народ в лице желанного гостя, пролетария Иванова. Потом Великий отходит к распахнутому окну и, повернувшись спиной к прочим, декламирует: «Кавказ подо мною. Один в вышине стою я у края высокой стремнины...» Вот как оборачивается пушкинское творение! Один! В вышине!

Нестерпимо фальшивый финал: Сталин прилетает в поверженный Берлин (летал он единственный раз в жизни, в 1943 году, на Тегеранскую конференцию трех держав; самолетов боялся). Поле аэродрома забито людьми: пестрые национальные костюмы; полосатая — чистенькая-чистенькая, словно пижама в первоклассном отеле, — униформа узников гитлеровских концлагерей. Сталин — в белом костюме — на верху трапа самолета, а кругом ликование, разноязычная толпа, рвущаяся к Освободителю. Дружественные Его рукопожатия...

В цитированных уже мною «Очерках истории советского кино», в 1961-м, лента характеризуется достаточно противоречиво: отмечены схематичность, лозунговость, но сказано и про определенные достоин-

ства¹. Да, мне, например, запомнился эффектно отснятый штурм Зеловских высот под Берлином... Но в реальной жизни там полегли сотни тысяч наших, в том числе большинство ребят 1926 года рождения; мог бы сложить голову и я, родился на три месяца раньше...

Да, отмечали недостатки ленты, но позже. А тогда, в январе пятидесятого (время выхода фильма на экран) оценка была однозначно восторженной, авторов и актеров осыпали наградами. Мы же с Мишкой у себя на лестнице и горестно недоумевали (как же можно сочинять подобную фальшивку) и хохотали над всякого рода глупостями, несть им числа. Дорого бы нам обошлось, услышь кто наш хохот и наши рассуждения... Но, между прочим, дневальный в фойе мог спокойно подойти к «нашей» лестнице и подслушать, о чем болтаем, и не один, и не в одну ночь. Возможно, и слушали. Никто не стукнул за весь год. Никто.

Скажу еще о семидесятилетии Вождя, последнем Его юбилее — 21 декабря 1949 года.

Со всех концов света заходя съезжались в Москву руководители коммунистических и рабочих партий, главы стран народной демократии. Запомнилось: в газетном сообщении о прибытии Мао Цзе-дуна (так тогда писали его имя) китайского руководителя назвали господином, а на следующий день — товарищем (видимо, в кратчайший срок решился вопрос о политическом и государственном строе его республики).

Ждали чего-то небывалого. Говорили, что объявят всеобщую амнистию, в том числе и врагам народа, политзаключенным. Что издадут некое постановление, резко улучшающее жизненный уровень. Что учредят орден Сталина (только в 1990 году этот слух подтвердился официально, даже описали восемь эскизов). И уж совсем сенсационное: Москву переименуют в город Сталин (тоже вроде впоследствии подтвердилось). Ждали программную речь юбиляра — он помалкивал почти четыре года, непривычно долго... Словом, ждали, не зная сами чего.

Утром 21 декабря получили «Правду» на двенадцати полосах — за всю историю советской печати, кажется, первый такой случай. На первой полосе — Его портрет во весь рост; френч без наград и орденских планок (он вообще их не носил; единственное изображение Сталина с орденами и медалями — не фото, не кинокадр, а рисунок Б. Карпова). Далее — Указ о награждении орденом Ленина («всегонавсего», не выше предыдущих, ибо Он к тому времени был Героем Социалистического Труда и Героем Советского Союза, кавалером двух высших полководческих орденов «Победа», имел два ордена Ленина, три — боевого Красного Знамени, Суворова первой степени)². Приветствие ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР с традиционным партийным обращением «на ты».

Вторая полоса — поздравление Президиума Верховного Совета Союза ССР (здесь — «на Вы»). И — передовая статья.

Остальную площадь газеты заняли статьи членов и кандидатов в члены Политбюро и еще двоих прихлебателей. Вот имена «авторов» этих опусов — в порядке опубликования, по какому-то неведомому нам всем порядку: В. М. Молотов, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Л. М. Каганович, Н. А. Булганин, А. А. Андреев, Н. С. Хру-

¹ См. т. 3, с. 236—241.

² Рисунок Б. Карпова впервые опубликован в кн.: Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Изд. 2-е, М., 1952, вклейка после с. 208. Там обозначены не все награды Вождя. Список их составлен мною по разного рода справочникам.

щев, А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, а также не входившие в Политбюро М. Ф. Шкирятов, А. Н. Поскребышев.

О них поясню. Шкирятов — председатель ВЦСПС (профсоюзы), а вскоре — председатель Комитета партийного контроля, жестокий и тупой палач. Поскребышев — личный помощник Сталина, генерал КГБ, перед ним дрожали даже партийные «вожди». По интригам Берии незадолго до своей смерти Сталин убрал своего «верного оруженосца», как назвал Поскребышева в докладе на XX съезде Хрущев: Великому всюду мерещились покушения. «Оруженосец» умер в 1965 году, будучи персональным пенсионером. Говорят, оставил надиктованные стенографистке интереснейшие (еще бы!) воспоминания. За достоверность этого слуха не поручусь. Я по другим делам разговаривал с его дочерью, но вопрос о мемуарах отца задать посчитал неделикатным.

Вернусь к юбилейному номеру газеты. Все статьи — в духе безудержного и безбрежного славословия; по этим публикациям можно бы составить «Словарь хвалебных эпитетов русского языка». Вместо занятий в тот день мы вслух читали «Правду», хватило на весь день. И ждали, что же принесет вечер.

В просторном фойе у единственного нашего репродуктора слушали трансляцию из Большого театра, ничем не нарушая тишины, не смея выйти даже по нужде. А из раструба неслись восторженные речи, вопли приветствий с мест, овации. Выступали наши вожди, выступали представители братских компартий...

Сам виновник торжества не подал ни единой реплики, ничто — по радио — не выдавало Его присутствия там, в зале. Славословие продолжалось несколько часов. Когда оно завершилось, Вождь народов не промолвил даже простого «спасибо».

Мы разошлись в полном недоумении.

До сих пор не понимаю. Почему он промолчал... Болел? Нечего было сказать? Пренебрег всей этой мишурой? Посчитал сборище недостойным Своего внимания? Однако сидел ведь часа четыре или пять на сцене... Или то был — ходили такого рода слухи — загримированный под Сталина актер Михаил Геловани?

А после, кажется, примерно с полгода, «Правда» изо дня в день печатала списки предприятий, учреждений, колхозов и прочих коллективов. Заголовок был: «Поток приветствий», это словосочетание стало ироническим, люди моего поколения частенько употребляли его, высмеивая чрезмерные чествования (например, Брежнева).

А теперь — история крупного политического масштаба, в которой я играл, так сказать, пассивную роль (события оборвались, я не успел оказаться в числе активных, т. е. в данном случае пострадавших; а вполне мог бы).

До сравнительно недавнего времени (точнее до 1987 года) об этом сюжете в учебниках и пособиях приводилась примерно одна и та же формулировка:

«Вскрывая и устраняя грубые нарушения социалистической законности, ЦК проверил так называемое «ленинградское дело» и установил, что его сфабриковали карьеристы с целью ослабить ленинградскую партийную организацию, опорочить ее руководящие кадры. Партия реабилитировала в связи с «ленинградским делом» секретаря ЦК КПСС А. А. Кузнецова; члена Политбюро ЦК, заместителя председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского; председателя Совета Министров РСФСР М. И. Родионова и других»¹.

¹ История КПСС. Учебник./Под. ред. Б. Н. Пономарева. Изд. 5-е, М., 1976, с. 558.

Меня давно интересовало, как отвечали преподаватели и лекторы, когда кто-то из вдумчивых слушателей,— а такие безусловно были! — спрашивали, в чем же суть «ленинградского дела», в чем обвиняли его жертвы? (Меня Бог миловал: во время моей пропагандистской работы печать о «деле» помалкивала, следовательно, и вопросов не было.) Большинство историков, с кем я беседовал до начала так называемой гласности, в том числе и аспиранты, и даже кандидаты наук, ничего, кроме общих слов, содержащихся в приведенной выше цитате, сказать не могли.

С осени 1987 года начали появляться первые публикации¹. Сведения из них я частично использовал при доработке этой рукописи, хотя в основу данного сюжета положены личные воспоминания. Читая опубликованные материалы, я радовался, что память за сорок с лишним лет не подвела меня, ничего существенного я не напутал; в основном текст сохраняю таким, каким он был написан до напечатания статей и книг, внесены только некоторые уточнения (зато в публикациях нет многого того, что имеется в моих записях).

Свой рассказ начну сюжетом, на мой взгляд, необходимым для понимания некоторых аспектов случившегося в Ленинграде в 1949 г.

Я уже упоминал, что входил в состав Выборгского городского комитета ВЛКСМ. На очередной конференции мне поручили председательствовать в счетной комиссии.

По тогдашнему правилу в каждом районе или городе делегатами областных комсомольских (партийных, разумеется, тоже) конференций обязательно избирали товарищей Сталина, а также первого секретаря обкома ВКП(б) и — в комсомоле — первого секретаря ЦК ВЛКСМ (тогда — Н. А. Михайлова). Под привычный взрыв казенного энтузиазма их кандидатуры (в обкомпарте Первым был П. С. Попков) у нас, как и всюду, включили в список для тайного голосования.

Прежде чем счетная комиссия удалась для определения результатов голосования, меня отозвал в сторону представитель обкома комсомола. «Вот что, Ерашов, — сказал он. — Если, понимаешь, окажется вранье, что найдется какая-нибудь сволочь... В общем, если окажется, что фамилии... Ну, понимаешь...»

Никак не мог решиться произнести... Я на прежнем опыте кое-что знал, однако не помог «высокому представителю».

«Значит, так,— наконец отважился он.— Если кто-то вычеркнет товарища Сталина, Попкова, Михайлова, это в протоколе отразишь, а бюллетени с зачеркиваниями передашь мне и при объявлении результатов доложишь, что все трое избраны единогласно».

Не на того нарвался! Я был святее Папы Римского. Став членом партии, я неукоснительно выполнял все требования Устава, все порядки и правила. Зная, что коммунист, находящийся и на комсомольской работе, обязан там проводить линию партии, я готов был руководить всеми комсомольцами независимо от их постов (хотя они, в свою очередь, тоже носили партбилеты). Я сказал областному товарищу: «Каковы будут результаты, те и объявим. Ты меня что, на фальсификацию подбиваешь?» — «Ну-ну,— ответил представитель.— Храбрый».

¹ Они сведены в кн.: «Ленинградское дело». /Сост. В. И. Демидов, В. А. Кутузов, Л., 1990.

Официальный документ: В Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начале 50-х годов («Ленинградское дело»). Известия ЦК КПСС, 1989, № 2, с. 124—137.

Перепечатано в кн.: Реабилитация: Политические процессы 30—50-х годов. Под общ. ред. А. Н. Яковлева, М., 1991, с. 311—322.

Иронизировал он зря: и в самом деле, я был храбрым там, где сознавал себя неуязвимым (это на фоне общего постоянного страха), храбрый был и по молодости лет, и по несокрушимой вере в правильность того, что делает партия (отдельные мои колебания — не в счет).

Бог меня миловал: товарищ Сталин и те двое прошли единогласно, ни лезть на рожон, ни врать, если струшу, не потребовалось.

Что мне грозило, сложись иначе, я понял год спустя, на курсах, будучи секретарем партбюро.

В один из осенних, кажется, октябрьских, дней дежурный по курсам вызвал меня с лекции, вручил телефонограмму: к стольким-то ноль-ноль прибыть в политотдел спецчастей гарнизона в сопровождении двух вооруженных бойцов.

Я весьма удивился: зачем охрана? Доложил начальнику курсов, которого недавно сменил на посту секретаря бюро; старшина выделил двоих с винтовками, поехали в трамвае до площади Искуств.

В политотделе собрались человек тридцать секретарей.

Инструктаж получили такой.

В канцелярии нам вручат пакеты с совершенно секретным документом. Городским транспортом для возвращения к месту службы не пользоваться; если нет служебной машины или денег на такси — топтать пешком. По прибытии в часть немедленно созвать закрытое партийное собрание. Перед его началом взять у каждого коммуниста подписку о неразглашении. У входа в помещение, где будет проходить собрание, выставить часовых. Документ оглашать лично секретарю. Никаких вопросов быть не должно. Прений не открывать. Решения не принимать. К такому-то часу документ, снова засургученный, возвратить тем же порядком в политотдел.

Служебной машины у нас вообще не было, денег на такси у нас троих тоже не оказалось, не подумали. Обратный путь по многолюдным, как всегда, Невскому и Загородному проделали пёхом. Некоторые прохожие оборачивались: вроде арестанта ведут.

Снова доложил начальнику курсов. Тот велел было распечатать, дать ему почитать. Я отказался, памятуя инструктаж (ну, и, конечно, тешил самолюбие: вот, и начальнику не подчиняюсь; мальчишка был еще). Вызвал секретарей взводных парторганизаций, велел составить списки для росписи о неразглашении, попросил старшину насчет часовых. У меня оставалось минут пятнадцать. Поднялся в мансарду, в помещение партбюро, взломал печати на конверте.

Опять (как в случае с «делом Ключевой и Роскина») не помню, было то постановление или Закрытое письмо ЦК ВКП(б), а может, и не ЦК, а Ленинградского обкома и горкома. Скорее всего, последнее, ибо в других регионах документ, насколько я знаю, не считывали, я у многих знакомых коммунистов о том спрашивал. Приблизительное название: о преступной антипартийной деятельности бывших руководителей Ленинградской партийной организации (кажется, в заголовке перечислялись имена)¹.

¹ Вот о ком шла речь.

Вознесенский Николай Алексеевич (1903—1.10.50). Партстаж с 1919 г. Доктор экономических наук, академик. В 1935—1937 на руководящей работе в Ленинграде. Затем заместитель председателя, председатель Госплана СССР, заместитель, первый заместитель главы Советского правительства (т. е. Сталина), член Политбюро ЦК ВКП(б). Депутат Верховных Советов СССР и РСФСР.

Кузнецов Алексей Александрович (1905—1.10.50). Партстаж с 1925 г. С 1937-го — второй, а с января 1945-го — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома, с марта 1946 по февраль 1949-го — секретарь ЦК ВКП(б). Член ЦК с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР.

В документе говорилось о событиях, лишь небольшую часть которых я знал только по слухам: армейские парторганизации держали на удалении — убежден, что сознательно, — от «гражданских»; в стране было голодно, скудно, и нас, оплот Отечества, могли в любое время поднять на подавление недовольств, которых явно боялся Великий Вождь.

О том, что в городе сменилось руководство, конечно, мы знали, поскольку сообщалось в газетах. О новом Первом, Василии Михайловиче Андрианове, ходило много разговоров. Тут мои воспоминания расходятся с материалами, опубликованными в книге «Ленинградское дело», где сказано, что Андрианов сразу повел себя вызывающе и восстановил против себя людей. Я слышал другое: отличался демократичностью, напоминал питерцам их любимца — Сергея Мироновича Кирова. Вероятно, правда неоднозначна, было и то, и другое.

...Пришел кто-то из ребят, сказал, что все собраны в клубе.

Никогда — ни до, ни после — за сорок четыре года пребывания в ВКП(б) — КПСС не доводилось мне принимать участие в партсобраниях, проводимых под охраной часовых. Нелепость добавочно заключалась и в том, что территория курсов была обнесена забором, на территории караульные посты, на проходной — вооруженный наряд. От кого оборонялись дополнительно — Аллаху ведомо.

Мне отдали листы с подписками о неразглашении, я объявил, что вопросов и обсуждения быть не должно. Начал читать — заняло, помнится, минут сорок. Обрато в политотдел поехали втроем на такси, теперь деньги сыскались.

«Дело» началось с анонимного письма-доноса в ЦК ВКП(б).

В конце декабря 1948 года состоялась объединенная Ленинградская X областная и VIII городская партийная конференция. При выборах руководящих органов получили голоса «против»: Попков — 4, второй секретарь обкома Г. Ф. Бадаев — 2, Капустин — 15, Лазутин — 2. Председатель счетной комиссии, зав. отделом тяжелой промышленности горкома ВКП(б) А. Я. Тихонов объявил делегатам, что все указанные товарищи избраны е д и н о г л а с н о (вот, моя выборгская

Родионов Михаил Иванович (1907—1.10.50). Партстаж с 1929 г. Работал в Горьковской области, где вырос до первого секретаря обкома ВКП(б). С 1946 г. — председатель Совета Министров РСФСР. Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Депутат Верховных Советов СССР и РСФСР.

Попков Петр Сергеевич (1903—1.10.50). Партстаж с 1925 г. С 1928 г. работал в Ленинграде. В 1939—1946 гг. — председатель исполкома городского Совета, с марта 1946-го — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1939 г. Депутат Верховного Совета СССР.

Капустин Яков Федорович (1904—1.10.50). Партстаж с 1927 г. В 1940—1945 гг. — секретарь горкома, с января 1945 по февраль 1949-го — второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Депутат Верховного Совета СССР.

Лазутин Петр Георгиевич (1905—1.10.50). Партстаж с 1925 г. В 1941—1944 гг. — секретарь Ленинградского горкома партии, с 1944-го — первый заместитель председателя, а с 1946-го — председатель исполкома Ленгорсовета. Депутат Верховного Совета СССР.

Все они расстреляны 1 октября 1950 года в связи с «ленинградским делом».

(См.: Известия ЦК КПСС, 1989, № 2, с. 134—136.)

Гусев Дмитрий Николаевич (1894—1957). Партстаж с 1932 г. В Советской Армии с 1919 г. Герой Советского Союза, генерал-полковник. С октября 1941 г. — начальник штаба, командующий Ленинградским фронтом, с 1945 г. — командующий войсками Ленинградского военного округа, с 1950-го командующий войсками других округов. С 1955 г. — в запасе. Депутат Верховного Совета СССР в 1946—1950 гг.

Из Ленинграда переведен в Восточно-Сибирский военный округ в связи с «ленинградским делом».

(См.: Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е, т. 7, с. 460.)

Далее в тексте воспоминаний должностное положение этих товарищей, как правило, не упоминается.

ситуация, о которой я рассказал выше). Об этой фальсификации говорилось в письме, адресованном Центральному Комитету.

Анонимка, видно, пришла очень ко времени. Полагаю, что товарищу Сталину позарез требовалась крупная политическая акция как грозный знак предупреждения всем без исключения. Правда, всюю громили космополитов, но это были в основном интеллигенты, по большей части евреи, кампания носила как бы локальный характер; для упрочения «морально-политического единства советского общества» этих очкариков показалось, видимо, маловато. Следовало пригрозить аппарату, особенно партийному, — он, привыкнув с войны к полновластию, не спешил с ним расставаться. Ленинград — «колыбель пролетарской революции» — удачная модель, на которой можно было легко продемонстрировать еще и еще раз могущество Генерального.

Вообще-то, в интересах объективности, следует сказать, что культуром П. С. Попкова, насколько я могу судить, попахивало основательно. Не знаю, как было тогда в других областях, а «Ленинградская правда» старательно прослеживала каждый шаг Первого, помещала многочисленные фотографии, информировала о любом посещении предприятий, учреждений, колхозов. Имя Попкова на собраниях встречали аплодисментами, иногда Петра Сергеевича избирали в почетные президиумы, куда по традиции полагалось включать лишь членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Говорят, человек он был властный, грубоватый. Но авторитет его в Питере был велик: его имя стояло рядом с именами руководителей обороны города А. А. Жданова, А. А. Кузнецова, Маршала Советского Союза Л. А. Говорова. После перевода А. А. Жданова в Москву Попков стал Первым.

Кузнецов же «провинился» уже в столице: в числе прочего он, секретарь ЦК и начальник его Управления кадров, стал курировать и ведомство Берии, тот не замедлил настроить против него Хозяина страны.

Что касается Н. А. Вознесенского, то Сталин однажды в узком кругу (по свидетельству очевидцев) назвал его своим преемником; затем, видимо, испугался, что тот может поспешить его убрать, и опередил воображаемые события.

В документе, зачитанном мною, эти причины, естественно, не указывались, были названы иные.

А. А. Кузнецов, М. И. Родионов и П. С. Попков обвинялись в том, что они провели в Ленинграде без ведома ЦК и Правительства Всесоюзную оптовую ярмарку, что якобы привело к разбазариванию государственных товарных фондов и к неоправданным затратам государственных средств на организацию ярмарки.

Им инкриминировали «нездоровый, небольшевистский уклон», выражающийся в демагогическом заигрывании с Ленинградской организацией, в охаивании ЦК ВКП(б), в попытках оторвать Ленинград от Центрального Комитета вплоть до перемещения в этот город столицы РСФСР и, кажется, создания Российской Коммунистической партии.

Я. Ф. Капустин был объявлен английским шпионом.

Н. А. Вознесенскому ставили в вину сперва то, что он не информировал ЦК о предложении П. С. Попкова «взять шефство» над Ленинградом, а затем дополнительно приписали еще и утрату документов Госплана.

Объявлено было, что П. С. Попков и другие секретари обкома и горкома знали о лживости информации по голосованию на конференции, однако не пресекли обман, не доложили правду ни делегатам, ни Центральному Комитету.

Говорилось, что в Ленинграде всячески принижалась роль Верховного Главнокомандующего в организации обороны города, заслуги приписывались А. А. Жданову, П. С. Попкову, А. А. Кузнецову (впрочем, кажется, имя Жданова в документе не упоминалось: он ходил в любимчиках у Вождя и даже породнился с ним — Светлана Сталина вышла замуж за Юрия Андреевича Жданова).

Как давно известно, наиболее действенный вид лжи и клеветы — тот, что опирается на полуправду.

И в самом деле, насколько помнится, возникал вопрос — не по инициативе Кузнецова и Попкова — о перенесении столицы Российской Федерации в Ленинград с целью разгрузки Москвы от республиканских учреждений и повышения престижа города, носящего имя В. И. Ленина, города — героя войны. Попков, если не ошибаюсь, высказывался и за создание Компартии РСФСР, только отнюдь не ратовал за ее автономию и независимость от ВКП(б). Как известно, эта идея нашла свое воплощение при М. С. Горбачеве — РКП была организована во главе с ярым консерватором И. К. Полозковым...

Ярмарка дала убытки не из-за плохой подготовки, а потому, что представили образцы дрянных товаров, хороших у нас не производили тогда, не производят и сейчас. Кстати, имелось постановление Правительства о проведении ярмарки, а вовсе не личная инициатива П. С. Попкова и других.

Завышенная оценка роли А. А. Кузнецова и П. С. Попкова в организации обороны города, прорыва и снятия блокады могла быть при желании (а такое желание имелось!) усмотрена в газетной статье генерал-полковник Д. Н. Гусева, о чем скажу ниже.

Итак, некоторые основания для возбуждения дела нашлись, хотя, по справедливости, даже коли все подтвердилось бы, это вряд ли заслуживало большей кары, нежели разбор в партийном порядке. Но Сталин жаждал крови...

21 февраля 1949 года в Ленинград инкогнито прибыл вершить суд скорый и праведный особоуполномоченный Г. М. Маленков (фактически — второе лицо в партии). По тогдашним слухам, явился также один из маршалов Советского Союза; фамилию не называю, поскольку в опубликованных материалах о нем не говорится даже намеком. Журналист В. И. Демидов и доктор исторических наук В. А. Кутузов со слов полковника в отставке К. И. Харитоновы утверждают, что расправу с военными осуществлял заместитель начальника Главпура генерал-лейтенант Сергей Шатилов¹.

Инкогнито Маленкова раскрылось быстро. Город был наэлектризован. Уже знали, что в Москве снят с должности секретаря ЦК партии А. А. Кузнецов, что П. С. Попкова вызывали на заседание Политбюро. В газетах перестали упоминать имя Н. А. Вознесенского, на что не все обратили внимание (см. эпизод ниже).

Аресты начались в июле, первым в з я л и Я. Ф. Капустина как английского шпиона (узнали мы об этом позже). А пока репрессиями еще не занимались, обходилось полегче.

На пленуме обкома и горкома в феврале 1949-го Попкова сняли с должности, объявили выговор (и вскоре направили до поры до времени в аспирантуру Академии общественных наук). Капустина и некоторых других тоже сняли с выговором. Председателя счетной комиссии той, памятной конференции А. Я. Тихонова исключили из партии. Объявили, что А. А. Кузнецов (он имел со времен войны

¹ См. в кн.: «Ленинградское дело», с. 125.

звание генерал-лейтенанта) направлен на курсы переподготовки высшего армейского политсостава.

По предложению Маленкова парторганизацию Ленинграда и области возглавил «привезенный» из Москвы В. М. Андрианов, бывший с 1939 г. Первым в Свердловске, с 1946 г.— заместителем председателя Совета по делам колхозов при Совмине СССР и членом Оргбюро ЦК ВКП(б); говорили также, что был и одним из личных референтов Сталина.

Мой приятель Михаил К. зашел как-то в редакцию газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», там ему рассказали, что арестован (и впоследствии осужден на большой срок) сорокалетний редактор, член партии с 1943 года полковник Максим Ильич Гордон. Партийное собрание проводили в его отсутствие. Обвиняли в том, что, напившись пьяным, вел контрреволюционные разговоры. Что был перерожденцем. Что кузнецовскую шапку выдавал за спасителей Ленинграда. Что угодники Гордона писали статьи за командующего войсками округа генерал-полковника Д. Н. Гусева, члена Военного совета округа генерал-лейтенанта В. Н. Богаткина и политработника генерал-лейтенанта Д. И. Холостова, занимавшихся самовосхвалением...

И в самом деле, к двойной годовщине— и прорыва, и снятия блокады, события эти происходили в январе 1943 и январе 1944 годов,— окружная газета опубликовала на целую полосу статью генерала Д. Н. Гусева. Писали за него, как водится, другие, двое офицеров, штабник и журналист, статья как статья, все они к любым юбилеям сочинялись на одну колодку.

С поразительной для ежесельника оперативностью на эту рядовую статью откликнулся центральный теоретический журнал «Военная мысль» (он выходил с грифом «только для генералов и офицеров» и рассылался подписчикам в запечатанном конверте, библиотека наших курсов его получала).

На месте передовой — материал с броским заголовком: «Генерал Гусев фальсифицирует историю» (отлично помню, все зачитывались). Автор — маршал (впоследствии — Главный маршал) бронетанковых войск, начальник кафедры Академии Генерального штаба, доктор военных наук, профессор Павел Алексеевич Ротмистров (1901—1982).

В этой, с позволения сказать, рецензии — по объему раза в два больше, чем подписанная Гусевым статья,— говорилось о том, что генерал преувеличивает роль Кузнецова, Попкова и свою собственную, а также других ленинградских партийных, советских и военных руководителей в деле организации обороны города, в создании ледовой трассы через Ладогу — «дороги жизни», как ее называли,— в прорыве и снятии блокады. По Ротмистрову, все это являлось только и исключительно заслугой лично Верховного, который ежедневно, ежечасно, чуть ли не ежеминутно руководил всеми ленинградскими делами, чуть ли не самолично наблюдал за сооружением ледовой трассы... Генерал Гусев злобно и намеренно, ради личной корысти преуменьшает всемирно-историческую роль Верховного Главнокомандующего...

Камень — и увесистый! — бросили, по воде пошли круги.

Д. Н. Гусев еще легко отделался — быстренько сослал командовать внутренним, менее значительным, округом. Фактических авторов статьи, сколько помню, уволили в запас. О судьбе редактора окружной газеты я уже говорил.

Тот же Мишка, мой друг, встретил на улице своего бывшего начальника политотдела, у которого служил до поступления на курсы, полковника по фамилии, если не изменяет память, Гавриленко. Он

был в военной форме, но без погон. Вот что он рассказал Михаилу. Гавриленко входил в состав той злополучной счетной комиссии, где фальсифицировали результаты выборов.

Его вызвали в Смольный. Вошел в кабинет, где разместился приехавший с Маленковым для расправы военный деятель (помнится, Гавриленко и утверждал, что был это — Маршал Советского Союза; версия, как я уже говорил, не находит документального подтверждения; сохраняю рассказ полковника в его версии).

Доложил, как положено: «Товарищ Маршал Советского Союза! Полковник Гавриленко по вашему приказанию прибыл!».

«Говнюк, а не полковник!» — отреагировал Маршал, и в то же мгновение порученец сорвал с Гавриленко погоны.

«Партбилет на стол!» — скомаандовал Маршал.

Гавриленко в отчаянии произнес фразу, ставшую сакраментальной:

«Не вы билет выдавали, не вам и отнимать».

«Силой отберем», — посулил военный деятель.

Было понятно: и в самом деле, скрутят руки, отберут. И выложил партбилет.

«Пошел вон, ...твою мать», — напутствовал Маршал.

Гавриленко с превеликим трудом устроился завхозом в какую-то артель, изготавливавшую, если мне память не изменяет, игрушки.

К нам на курсы, на вакантную должность начальника учебной части (по штату полагалось быть майору, и начальник курсов был майор) прибыл подполковник Петр Сергеевич Г., милейший, интеллигентнейший, вовсе не военный, типичный петербуржец, в золоченых очках, с мягкими, сугубо штатскими манерами; так и казалось, что обратится к тебе: «знаете, батенька...».

Становясь у меня на партийный учет, известил, как положено, что имеет взыскание — строгий выговор с предупреждением. Говорил несколько странно — оживленно, словно речь шла о награде, а не о партийном наказании. Оказалось, у Петра Сергеевича были основания тому радоваться.

Еще во время войны, по горячим следам, в старинном здании так называемого Соляного городка на правом берегу Фонтанки создали сперва выставку, а затем прекрасный, богато насыщенный подлинными экспонатами Музей обороны Ленинграда. Я там бывал не однажды.

Начинался Музей, помнится, полукруглым вестибюлем, где, по примеру Эрмитажной галереи генералов — героев Отечественной войны 1812 года — создали экспозицию портретов полководцев и военачальников Ленинградской битвы. Естественно, по тем временам, что в центре красовался во весь рост Вдохновитель и Организатор, а по бокам Его, тоже в рост, Жданов и Кузнецов; прочие генералы и полковники, занимавшие должности командиров дивизий, изображались по грудь и некрупно.

После статьи Ротмистрова о фальсификации в Музей явилась высокая комиссия. Кому-то из усердных ее членов пришла в голову нетривиальная мысль: измерили высоту трех основных персон (каждая метра, помнится, в четыре) и обнаружили, что — вместе с широким багетом, — на три, что ли, сантиметра меньше двух других... «Принижение роли... Неоправданное возвеличивание...».

Основные руководящие должности в Музее занимали военные. Петр Сергеевич Г. служил начальником отдела экспозиции. Он-то и ответил за небрежность столяра, делавшего рамы: сняли с работы, вкатили строгача. Петр Сергеевич был счастлив: могли исключить из

партии, перевести в лучшем случае куда-нибудь подальше... А тут и в рядах славной ВКП(б) оставили, и в Ленинграде, на тихой, непыльной должности у нас...

Музей же — не только, понятно, из-за тех злополучных портретов, нашли другие недостатки — почли за благо закрыть. Ныне раздел, посвященный войне, в Музее истории Ленинграда не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Соляном городке. Сейчас, знаю, принято решение о восстановлении Музея обороны, но ведь, думаю, по-настоящему его не воссоздашь: где найти теперь предметы быта, хотя бы... Прежде, в сороковых, всё было подлинным, не муляжи, не ксероксы...

Доходило до трагикомических анекдотов.

Рассказывали: на одном предприятии, кажется, заводе «Большевик», проходило какое-то собрание. Традиция известна: избирается почетный президиум «в составе Политбюро Центрального Комитета во главе с товарищем Сталиным»; бурные овации, все встают, «разрешите ваши аплодисменты считать за единодушное избрание»...

Поскольку после скандала с выборами на партконференции, после февральского пленума обкома и горкома — вот образчик ханжества! — резко ставили вопрос о соблюдении норм партийной демократии, заводской секретарь парткома перестарался: состав почетного президиума огласил не общей формулой, а поименно — «во главе с товарищем Сталиным, в составе товарищей Андреева, Берии, Ворошилова» и так далее, строго по алфавиту.

О судьбе отстраненного от всех постов Н. А. Вознесенского никто еще не знал достоверно, но слухи ползли — Ленинград, как в дни блокады, был переполнен слухами. Имя первого зампредсовмина, члена Политбюро исчезло с газетных страниц, кое-кто это заметил. И вот в рядах пролетариата поднялся еще один борец за демократию и объявил, что он — против кандидатуры Вознесенского, объявленной секретарем парткома в списке почетного президиума. Аргументов не привел. Против — и все дела.

Партсекретарь окончательно ошалел: с одной стороны, Вознесенского вроде никто ниоткуда не снимал и не исключал... С другой стороны, действительно, слухи... И вот еще: демократию объявили. И поступило предложение...

Секретарь повел себя так, как диктуют нормы партийной демократии.

«Поскольку в отношении товарища Вознесенского поступило два предложения, ставлю на голосование в порядке поступления. Кто за то, чтобы избрать товарища Вознесенского»...

Слухи-то слухами, а официально ничего нет... Кто решился бы открыто проголосовать против члена сталинского Политбюро! И все голосовали «за», кроме того упрямого чудака.

Собрание шло своим чередом. Секретаря из президиума вызвали за кулисы. Только его и видели... Коллективу объявили: секретарь повел всех за врагом народа Вознесенским. Более того: еще и подтвердил голосованием...

История эта, на мой взгляд, весьма смахивала на провокацию. Как и оглашение результатов голосования на партконференции, как и анонимка в ЦК по этому поводу.

Зимой того же года действительно развернулся Андрианов. Восторженные легенды о нем, — а их я помню отлично! — кончились. Присланная по его просьбе группа специально подобранных Москвой

людей сменяла в должностях ленинградские кадры — аппараты обкома, горкома ВКП(б), областные и городские органы Советов, профсоюзов, комсомола.

Настала очередь районного звена, затем и первичных парторганизаций — это уж мой тогдашний уровень (будучи курсантом, я состоял секретарем партбюро освобожденным, на офицерской должности, да вдобавок парторганизация была не какой-нибудь артели, а военно-политических курсов, на правах военного училища).

Исключали из партии с грубейшими нарушениями Устава, непосредственно на заседаниях бюро райкомов, тут же отбирали билеты, что не полагалось по тогдашним правилам.

Процветали стукачество, шкурничество, возрождались провокации, предательство, что пользовалось одобрением нового руководства городом и областью. Поводы для исключения из партии, а затем и арестов и судов были самые разнообразные: недоносительство о преступных действиях Попкова и К⁰, связь с врагами народа, измена Родине, участие в антипартийной, антисоветской группе, разбазаривание государственных средств...

Я, как и знакомые мне партийные работники низового звена, жил даже не в страхе, скорее — в оцепенении. Состояние обреченности не покидало ни на минуту. Даже, помнится, с Мишкой стал разговаривать реже и меньше — не из недоверия, которого быть не могло, а от явной депрессии.

По выходным — вместо театров, куда мы регулярно ходили с Михаилом, — я отпраивался к дяде, Леониду Георгиевичу Ерашову, с которым дружил на равных. Он был заместителем секретаря парткома фабрики. Рассказывал то, чего я за казарменной оградой слышать не мог. Выпивали, конечно. Прощаясь, обнимались: не знали, свидимся ли на следующей неделе.

Из непроверенных источников знаю, что работников моего «ранга» в Ленинграде репрессировали около половины. Снятия с должностей, исключения из партии, аресты продолжались до 1952 года. Мне, случалось, в жизни и везло: уцелел, хотя бывших ленинградцев «доставали» и далеко за пределами этого города.

Суд над главными «виновниками» состоялся лишь в сентябре 1950-го (долго же их мучили, чего, собственно, добивались?) в Ленинградском Доме офицеров, на Литейном, 20. Дело рассматривала выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР в якобы открытом заседании (присутствовала публика, составленная исключительно из новых партсовхозпрофкомсактивистов и сотрудников госбезопасности). Не стану перечислять всех приговоренных к смерти, осужденных на длительные сроки. Скажу только, что смертная казнь в стране была к тому времени отменена, но перед этим процессом срочно введена вновь и применена к подсудимым, хотя закон обратной силы не имеет, по общему правилу.

Еще трагическая деталь: назначенный после арестованного Капустина на должность второго секретаря горкома Н. А. Николаев попал в списки арестуемых уже «по второму кругу». Когда за ним прибыл «воронок» (по ленинградскому прозвищу — «маруся») — застали труп: Николаев отравился газом на кухне.

За «основным» процессом последовали «дополнительные», тоже расстрельные и долгосрочные.

«Ленинградское дело» аукнулось далеко по стране, где были репрессированы бывшие работники Питера, выдвинутые в разное время на работу в Центр и в другие регионы.

Подверглись репрессиям и те, кто работал с бывшими ленинградцами, — снимали уже, так сказать, боковой слой.

Году этак в 1960-м в областную «Калининградскую правду», где я после демобилизации работал, прибыл новый редактор, Лев Михайлович Скрипченко, пожилой, деликатный, тихий, забывчивый человек. В конце сороковых — начале пятидесятых он занимал такую же должность в Крыму. Когда арестовали тамошнего Первого, бывшего председателя Леноблисполкома Н. В. Соловьева, следом, «за связь» с ним, забрали членов бюро и заведующих отделами Крымского обкома, в том числе и Скрипченко. Он пять лет рубал уголек в Воркуте, после смерти Сталина реабилитирован, прозябал где-то заместителем редактора газеты, пока не был назначен к нам...

А меня Бог миловал...

* * *

То, о чем рассказано здесь, — лишь фрагмент моей личной, общественной, литературной биографии.

Сколько помню себя, — а помню с ранних лет, — я был тем, что принято называть нелестным словом «функционер».

Еще в детском садике, когда мои сверстники упоенно распевали вокруг разукрашенного деревца: «В лесу родилась елочка» (праздник этот после долгого запрета разрешили по инициативе одного из вождей, Павла Петровича Постышева, впоследствии объявленного — разумеется, не за елочки — врагом народа), — я с еще большим азартом декламировал стихи о родном и любимом товарище Сталине. Я занимал всяческие руководящие — в октябрятской «звездочке» и в пионерской дружине. Недотерпев месяца до положенного возраста, в начале войны вступил в ВЛКСМ и почти сразу стал секретарем школьной комсомольской организации, в пятнадцать лет — членом бюро райкома. Первая запись в моей трудовой книжке (шестнадцать лет) — работник райкома... В годы войны я ушел в армию, и в первый же день был назначен комсоргом роты, затем батальона, заместителем комсорга полка, после Отечественной — членом горкома ВЛКСМ...

Как только появилась возможность получить рекомендации — нужно было прослужить на одном месте не менее года, — в 1946 году я вступил в ряды ВКП(б), вступил без всякой агитации, без малейших помыслов о карьере — как говорится, по велению сердца, с чистой душой. Неоднократно избирался секретарем крупных первичек. С начала 1950-го — на штатной партийно-политической работе — заместитель командира по политчасти, штатный пропагандист. После многолетней воинской службы — работа в партийной печати, на других общественных (по сути, партийно-номенклатурных) постах. Только в 1967 году я столь же добровольно и бесповоротно оборвал это постыдное существование, которое тяготило меня, а в 1990-м, еще задолго до распада КПСС, выложил на стол партийный билет.

Перелом в моем восторженно-большевистском сознании, обозначившийся еще в описанное здесь время, усугублялся с каждым годом, и доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС не был для меня громыханием весеннего грома, я к этому был подготовлен. Хотя на основании не покушался, в коммунистические идеалы продолжал верить еще

долго, на Ульянова-Основоположника даже в мыслях не замахивался до середины семидесятых годов, сколь бы ни было критическим мое отношение к личностям и делам руководителей, начиная с Хрущева и кончая Горбачевым (период эйфории по поводу так называемой перестройки у меня оказался непродолжительным, слишком хорошо я знаю кухню партийного аппарата и его игры).

Словом, долгая моя жизнь оказалась достаточно противоречивой и путь к прозрению — окончательному прозрению — сложным и неоднозначным. И столь же закономерным, как вступление в большевистскую партию, оказался и мой формальный разрыв с нею, лишь зафиксировавший давний фактический разрыв.

Обо всем этом я еще попытаюсь рассказать подробно, а пока — лишь фрагмент моей биографии, лишь одна глава будущей книги, которая, даст Бог, состоится и, быть может, кому-то послужит уроком...

Дело Емельянова

Подсудимый Кижэ

Однажды утром — это было в сентябре 1980 года, у меня раздался телефонный звонок. Мне сообщили, что в Московском городском суде началось слушание дела Емельянова.

Бросив все намеченные на тот день дела, отменив встречи, я помчался на Каланчевку.

Уже несколько лет мне было известно не только имя Валерия Николаевича Емельянова, но и его публицистические работы, опубликованные в официальной печати, и те, что разошлись в самиздате. Известно мне было и содержание его публичных лекций; мои друзья раз-другой попадали на них, а потом подробно пересказывали, о чем шла речь. Самому же мне узнать о предстоящей лекции Емельянова ни разу не удавалось, несмотря на большие старания. Организаторы его выступлений соблюдали некую конспирацию. Загодя объявлялся другой лектор, и лишь в самый последний момент, когда уже слушатели сидели в зале, выяснялось, что выступит доцент Емельянов. Мне описывали его наружность: крупный пятидесятилетний мужчина, физически сильный, немного сутуловатый, нервный, с наклоненной вперед коротко остриженной головой, с темными, жесткими, посеребрёнными седinou волосами и насупленными, сдвинутыми к переносью бровями. Говорил убежденно, горячо, почти яростно. Конечно, столь колоритную личность хотелось увидеть собственными глазами.

В суд приехал с большим опозданием, видимо, заседание шло уже более часа. Небольшой зал оказался переполненным, и у распахнутых дверей грудилась плотная толпа. Я попытался заглянуть через головы, и первое, что увидел, было лицо человека в дымчатых очках. Он сидел в самом центре второго или третьего ряда, откуда можно было хорошо видеть все: судей, представителей сторон, дающего показания свидетеля, скамью подсудимых... Но человек в дымчатых очках туда не смотрел. Повернув голову, он смотрел только в сторону входной двери, фиксируя каждого, кто к ней подходил. У него был большой, как бы разорванный, крепко сжатый рот. Подбородок выдавался вперед, а плоский лоб, напротив, был несколько скошен назад, отчего возникало впечатление, что голова его неестественно запрокинута. Однако главная особенность его лица состояла в том, что даже сквозь дымчатые очки ощущался давящий, свинцовый, настороженно-подозрительный взгляд.

Правую часть зала, где, собственно, происходило судоговорение, от меня закрывал дверной косяк. Я мог видеть через головы только окно в противоположной стене и трех высоких длинноволосых парней, стоявших у этого окна, а также стол, за которым, спиной к окну, сидел человек средних лет, в темном костюме, весь какой-то скучный, непроницаемый и полусонный. Это был прокурор.

Когда мне удалось внедриться в толпу и ближе протиснуться к дверному проему, мне стал виден еще и край возвышения для судей. В кресле с высокой спинкой сидел один из народных заседателей —

мужчина, тщательно причесанный на косой пробор, примерно тех же лет, что и прокурор, такой же скучный и такой же непроницаемый. Я продолжал протискиваться сквозь толпу, но судья и второй заседатель, так же как защитники и скамья подсудимых, оставались скрытыми от меня.

Между тем шел своим чередом допрос свидетелей — тех трех молодых парней, которые стояли у окна. Их поочередно вызывали к отведенному для свидетелей месту, спрашивали имя, отчество и фамилию, предупреждали об ответственности за ложные показания и предлагали рассказать все, что им известно по данному делу. Все это произносилось громче, четким женским голосом, и мне хорошо было слышно, однако то, что говорили парни, я разобрать не мог. Сколько ни напрягал слух, я слышал лишь невнятное бубнение, и только по вопросам судьи понял, что речь идет о какой-то стройке и каком-то пожаре.

Когда парней отпустили, они поспешили удалиться из зала. Я воспользовался движением, возникшим из-за этого в толпе у дверей, чтобы как можно дальше протиснуться вперед. Теперь мне стал виден судья — приятная, как мне показалось, женщина с пышными крашенными хной волосами, в больших модных очках, и второй народный заседатель — тоже женщина, совершенно безучастная ко всему происходящему. Увидел я также и защитника: он сидел боком к публике и судьям, прямо напротив прокурора. Это был несколько тучноватый старик в поношенном костюмчике. Когда он на миг повернулся к залу, я увидел, что у него нездоровое обрюзгшее лицо с красными воспаленными веками. Однако скамья подсудимых за спиной защитника и теперь оставалась мне невидимой. На ней царило молчание.

Судья стала вызывать новых свидетелей. Она громко называла имя, и оно, многократно повторенное в публике, облетало зал, выпархивало в коридор, но не производило никакого эффекта. Выждав минуту, судья называла другое имя — опять с тем же результатом. Так было повторено раз пять, но никто не отозвался. Судья объявила перерыв на пятнадцать минут...

Толпа у дверей развалилась, и я смог наконец попасть в зал, чтобы рассмотреть подсудимого. Но...

Черная скамейка за невысоким барьером у самой стены оказалась пуста!

Что это могло значить? Может быть, его увели на перерыв в другую дверь — ту, что возле возвышения для судей?.. Нет, дверь эту только что открыли, судьи еще не успели выйти в нее, еще не покинули зала прокурор и адвокат... Неужели подсудимого вовсе не было на скамье? Я не был искушен в подобных вопросах, но мне всегда казалось, что, если подсудимый арестован и вообще имеется в наличии, он должен присутствовать на суде!

Как же следовало понимать происходящее? Какая-то кафкиана. Судили пустое место. Подпоручика Киже, а не доцента Емельянова...

В недоумении я стал озираться по сторонам и снова напоролся на взгляд человека в дымчатых очках. На перерыв многие вышли, но он продолжал сидеть на прежнем месте, все так же повернув голову к двери. Его вид не располагал обращаться к нему за разъяснениями. И тут я встретился взглядом с рыжеволосой женщиной, стоявшей рядом со мной. В ее зеленоватых глазах вспыхивали искры страстного нетерпения; симпатичные веснушки делали ее молодое лицо почти детским.

— Что вы скажете про этих оболтусов? — обратилась она ко мне.

— Про каких оболтусов? — не понял я.

— Про этих, свидетелей! — последнее слово она произнесла с

презрением. — Это же оболтусы! Дегенераты. Ну, что они видели? Они же ничего не видели!

— А что они говорили? Мне оттуда не было слышно, — я показал на дверь.

Она махнула рукой.

— Был пожар, нашли пустую канистру... Ну и что? Какой-то мужчина уходил... А какой? Может, это не он!

— А они говорили, что он?

— Они его видели со спины. И в темноте! Ведь ничего не видели, а говорят!

— Суд разберется, — попытался я ее успокоить.

— Как же — разберется! — возразила она. — Им бы только засудить человека.

— Скажите, пожалуйста, почему нет его самого, — задал я на конце тот вопрос, который больше всего интересовал меня.

— Вот именно! Сказали, что болен.

— Разве в таких случаях не переносят слушание? — удивился я.

— Нет, вы не поняли, — ответила она, понизив голос до шепота. — Сказали, он вообще болен. Психически. То есть сумасшедший. Так они объяснили.

— Ах, вот оно что! Невменяемый... А разве невменяемых судят?

— Выходит, что судят, — сказала она, снова понизив голос до шепота.

Шизофрения

В сущности, я уже догадывался о том, почему подсудимый отсутствует, но все же не мог поверить, что такое возможно. Не надо быть юристом, чтобы понимать, что вся процедура суда становится пустой формальностью, если такой важный вопрос, как вменяемость или невменяемость подсудимого, может быть решен до судебного разбирательства и без всякого участия судей. Если подсудимый в таком тяжелом состоянии, что не может быть доставлен в зал суда, должны быть допрошены эксперты, признавшие его невменяемым. Здесь, однако, и этого сделано не было. Скептики имели право предположить, что подсудимого прячут от публики, ибо бояться его показаний. Или же хотят уберечь от почти неминуемого смертного приговора, так как по советским законам за преднамеренное убийство без смягчающих обстоятельств (а здесь, как увидим, все обстоятельства были отягчающими) полагается смертная казнь.

Впрочем, я меньше всего мог быть причислен к скептикам. Не потому, что безоговорочно верил предварительному следствию или титулованным экспертам. В конце судебного заседания были названы имена: именно эти «врачи» во главе с академиком Морозовым признавали психически больными тех, кто не угоден властям. Однако я имел основания полагать, что в данном случае экспертам не пришлось кривить душой. Ибо того, кого судили, я сам признал психически больным заочно еще за два года до суда, хотя ни малейшего отношения к медицине не имею.

«А диагноз» я поставил на основании записки В. Н. Емельянова в ЦК КПСС, носившей сенсационное название: «Кто стоит за Дж. Картером и так называемыми еврокоммунистами». В этой рукописи утверждалась и горячо отстаивалась мысль, что за тогдашним американским президентом, еврокоммунистами, социал-демократами, диссидентами внутри СССР и всеми вообще общественными силами и группами в мире, которые, по мнению автора, не лояльны по отношению к СССР и КПСС, стоят явные или замаскированные организации масонов и сионистов, стремящихся захватить господство над миром.

Поскольку над западным миром господство уже было захвачено, то их главная задача состояла в подрыве государственного строя в СССР и социалистических странах. Поэтому с сионизмом и масонством необходимо вести самую решительную борьбу, и в первую очередь — неустанно разоблачать его замаскированную сущность. Разоблачать Талмуд, Библию и другие иудейские книги как носящие в себе идеи захвата мирового господства евреями. Разоблачать евреев, занимающих какие-либо влиятельные посты, ибо все они — ставленники мирового сионизма (в том числе и те, кто на словах борется с сионизмом). Разоблачать диссидентов, таких, как Сахаров, Солженицын, Жорес Медведев, как масонов, выполняющих тайные приказы «сионистского правительства». Разоблачать французских, итальянских и других еврокоммунистов, выполняющих задание расколоть мировое коммунистическое движение.

Автор предлагал в срочном порядке ввести в школах и вузах преподавание специального курса «сионизма и масонства», а также создать научно-исследовательский институт по изучению и разоблачению сионизма и масонства, но ни в коем случае не допускать в него на работу евреев. И наконец, в записке предлагалось принять предупредительные меры против советских евреев, которые обязательно изменят родине в будущей войне. Дабы предотвратить эту массовую измену, выдвигалось требование уже сейчас (когда начнется война, будет поздно!) поступить с «этой частью населения» так, как было поступлено с «народами-изменниками» в прошлой войне (имелась в виду поголовная депортация Сталиным крымских татар, немцев Поволжья, чеченцев и других). В качестве положительных примеров указывалось также решение еврейского вопроса в Польше, откуда евреи почти поголовно были изгнаны в 1968—1969 годах, и в Центральной Европе в годы войны, где они подверглись тотальному уничтожению гитлеровцами.

Обширная записка содержала массу экскурсов в историю, в ней приводилось множество цитат, малоизвестных исторических сведений, что свидетельствовало о незаурядной эрудиции автора. Уверенный страстный тон не оставлял сомнений в его искренности. В то же время в записке бросались в глаза явные логические несуразности (из приводимых автором фактов никак не могли следовать те выводы, которые он делал), прямые мошеннические подтасовки. Здесь обнаруживало себя явное раздвоение личности, ибо автор вполне сознательно лгал и передергивал и в то же время безусловно верил в свою ложь как в непреложную истину.

Я проанализировал это неординарное сочинение и пришел к заключению: параноидально-шизофренический бред. Во второй день суда выяснилось, что этот вывод точно совпал с диагнозом экспертов: «Параноидальная шизофрения». И все же я был изумлен до глубины души услышанным от моей словоохотливой собеседницы.

Барельеф на скале

— Посмотрите на мать... Как держится! Как она замечательно держится! — переменяла она тему.

Старуха сидела молча, смотрела перед собой, так что мне виден был ее профиль. Черты лица у нее были крупные, нос большой, слегка выгнутый, губы толстые, мясистые, резко очерченные; подбородок массивный. Вообще весь профиль был как бы высечен из камня — не живое лицо, а барельеф. Барельеф на скале...

Старуха была в строгом темно-синем платье, на коленях у нее лежала сумочка, а на ней руки — темные, со старческими узловатыми

пальцами и корявыми веточками вен, просвечивающих сквозь сухую кожу. Руки не шевелились, они недвижно лежали на сумочке, как бы демонстрируя уверенность и спокойствие.

Старуха, вероятно, почувствовала мой взгляд. Она обернулась, и я смог увидеть ее глаза. Это были большие, серые, сильно выцветшие глаза. В них тоже царили уверенность и спокойствие.

— Похоже, она несколько не переживает, — заметил я.

— Можно представить, сколько ей стоит такая выдержка! — ответила моя собеседница.

— Скажите, его так с самого начала и не было? — вернулся я к тому, что занимало меня больше всего.

— Как же, покажут они его... Он бы им все сказал!

— Вы что же — не верите, что он сумасшедший?

— То все был нормальный, а как судить, так сумасшедший!

Симпатии моей собеседницы были всецело на стороне подсудимого.

— Вы, вероятно, его хорошо знали? — спросил я.

— Нет, я его не встречала, только на лекции видела. Он выступал в нашем КБ. Знаете, какой это человек? Необыкновенный! Не такой, как все. Убежденный! За это и пострадал.

— Пойдите, ведь его судят за убийство. При чем же здесь убеждения? Я что-то не понимаю...

— Что же тут непонятного, — удивилась собеседница. — Так они умеют расправляться, когда хотят мстить. Убили жену и ему же подсунули. А чтобы правда не обнаружилась, объявили сумасшедшим — вот и концы в воду! Да еще свидетелей подобрали... Разве это свидетели? Это же оболтусы!

Я был ошеломлен и не мог продолжать разговор. Предполагаемая невменяемость Емельянова как-то объясняла его отсутствие на суде, но то, что говорила молодая женщина, подлинно было кафкианой.

Я опять стал озираться по сторонам и вновь наткнулся на взгляд человека в дымчатых очках. И вдруг я понял, что меня больше всего в нем поразило и почему он сидит такой настороженный, ошетиненный, как бы на что-то решившийся и к чему-то приготовленный. Это была ошетиненность явного шизофреника, преследуемого маниакальными видениями. Да и весь воздух в зале был словно насыщен особыми испарениями, заражающими тем же шизофреническим бредом даже тех, кто по природе своей вполне нормален, но не защищен от пагубного действия этих паров стойким иммунитетом.

Собственно, с самого начала, когда еще стоял за дверями, я ощущал что-то нездоровое в атмосфере зала, и только потому, что был слишком поглощен стремлением поскорее проникнуть внутрь, не обратил на это должного внимания.

Я снова посмотрел на мать Емельянова. Ее тронула за рукав соседка, что-то шепнула ей, и старуха вся вдруг встрепенулась, заерзала, руки ее нервно задвигались, она открыла сумочку, достала тоненькую шариковую авторучку ценою в 35 копеек, протянула соседке и пристально смотрела, пока та что-то записывала. Видно, ее очень беспокоила судьба авторучки. Только после того, как ее ей вернули, она опять успокоилась. Мне вдруг стала понятна причина ее сверхестественного спокойствия: в такой атмосфере она чувствовала себя как дома.

Специалист

О Емельянове я был наслышан не только задолго до суда, но и задолго до того, как прочитал его сенсационную записку о Джимми Картере. Хорошо помню, например, анекдотическую историю, которая случилась в конце 1975 года.

В связи с приближавшимся 150-летием восстания декабристов в «Правде» появилась статья, в которой говорилось, что в Москве открывается музей декабристов и в этом музее будут экспонироваться многие оригинальные предметы и документы; среди других назывались масонские знаки Пестеля.

После появления этой статьи в музей пришел человек, отрекомендовавшийся доцентом Института иностранных языков Емельяновым, и устроил скандал, заявив, что масоны, «как это хорошо известно», являются подручными сионистов, стремящихся к мировому господству. Поэтому демонстрация масонских знаков есть сионистская диверсия. А через несколько дней в музей позвонили из горкома партии, куда Емельянов направил письмо, и сказали, что автор письма, конечно же, сумасшедший, но масонские знаки из экспозиции лучше убрать...

Надо полагать, эта история поощрила Емельянова к продолжению деятельности на том же поприще.

В отличие от других «специалистов» по сионизму Емельянов в своих разоблачениях шел до конца, не прибегая к оговоркам, уверткам и недомолвкам. Лекции он читал напористо, страстно, уверенно, не тушуясь перед коварными вопросами, потому его лекции производили сильное впечатление на аудиторию. Что касается его многочисленных статей, писем, записок, справок, заявлений, то, не отличаясь гибкостью формулировок, они редко попадали в печать, но зато имели широкое хождение в самиздате, что придавало им дополнительный интерес как полузапретным. Впрочем, некоторые органы печати изредка публиковали сочинения Емельянова. Журнал «Наш современник» — даже под его собственной фамилией; другие, например «Комсомольская правда», журнал «Москва», — под разными псевдонимами.

Особенно активно Емельянов разоблачал «сионистов» в институте, в котором работал, а так как «сионисты» сопротивлялись, то время от времени это оборачивалось неприятностями для самого Емельянова. В лекциях по политэкономии, в которых он на протяжении многих лет утверждал, что весь мировой капитал сосредоточен в руках «сионистов», вдруг обнаруживали «немарксистский подход». За необоснованные обвинения в адрес товарищей по работе Емельянову однажды объявили выговор. В другой раз его временно перевели из членов партии в кандидаты. А в третий раз — уволили с работы. Восстановился он только через 21 месяц по прямому указанию ЦК КПСС, причем ему выплатили жалование за все время вынужденного прогула.

Емельянов подготовил докторскую диссертацию, но «сионисты» сделали все, чтобы не допустить ее к защите. Тогда он попросил своих студентов из арабских стран перевести диссертацию на арабский язык (что они с энтузиазмом и сделали).

«Диссертация» в течение двух месяцев изо дня в день печаталась в одной сирийской газете. Потом ее перевели и издали в Израиле и в ряде европейских стран как образчик современного советского антисемитизма. Вышла она и на русском языке, причем, по некоторым сведениям, Ясир Арафат лично доставил в Москву несколько сот экземпляров и передал их автору. Широкое внимание, которое книга Емельянова привлекла за границей, привело к тому, что автора вызвали для объяснений в Комиссию партийного контроля.

Вместо того чтобы покаяться, Емельянов заявил, что у председателя Комиссии Пельше жена еврейка, у другого члена Комиссии дочь замужем за евреем, а третий сам по бабушке еврей... Когда об этом доложили Михаилу Суслову, тот, как говорят, позеленел от злости.

Емельянова исключили из партии.

Когда об этом узнала его жена, с ней случилась истерика. Она была уверена, что его снова снимут с работы и теперь уже не восстаноят. Рыдая, она напомнила мужу, как они бедствовали почти два года, и упрекала, что он сам губит жизнь себе и семье. Емельянов понял, что сионистский заговор проник в его семью. У него созрел план упреждающего удара, и при первом удобном случае он привел его в исполнение.

«Женя, я не виноват!»

...Пятнадцатиминутный перерыв длился более часа, после чего объявили, что из-за неявки свидетелей заседание откладывается до утра следующего дня.

Назавтра, опасаясь снова остаться за дверью, я постарался не опоздать. Но опасения оказались излишними: многие были разочарованы вялостью первого дня процесса, и публики на этот раз было гораздо меньше. Правда, все места в небольшом зале снова были заняты, но оставалось достаточно места, чтобы поставить еще один стул, внеся его из коридора.

Как и накануне, в центре зала сидел человек в дымчатых очках, с плотно сжатыми бледными губами. Он смотрел только в сторону двери. Вчерашней моей собеседницы не оказалось, зато в первом ряду восседал отсутствовавший накануне мой давний знакомый Дмитрий Анатольевич Жуков, весьма плодовитый литератор, переводчик с сербского и других языков, а также автор большого числа книг, очерков, статей, рецензий на самые разные темы, как правило, написанных бойко, но крайне поверхностно. Впрочем, он был известен не столько как писатель, сколько как борец с «сионизмом»*. В записке Емельянова в ЦК КПСС, наряду с другими, выставлялось требование немедленно опубликовать неизданные работы Владимира Бегуна, Евгения Евсеева и Дмитрия Жукова. Емельянов мог познакомиться с ними, только получив непосредственно от авторов, так что все трое, очевидно, были его знакомыми, и к тому же — единомышленниками. Поэтому появление Жукова в зале суда не было неожиданным. Возможно, что Бегун и Евсеев тоже сидели здесь, но я их не знал в лицо.

На этот раз явились все вызванные свидетели, за исключением двух, супругов Бакировых, уехавших в отпуск и «не разысканных», как объяснила судья. Чуть позже стало ясно, что именно эти два свидетеля наиболее важные. Но суд постановил не откладывать дела, а показания Бакировых зачитать по протоколам предварительного следствия.

Перед публикой стала разворачиваться картина страшного злодеяния.

Случилось оно в апреле того же года. В тот день мать Емельянова, жившая вместе с семьей сына, уехала к своей подруге на целый день — по случаю какого-то семейного события и должна была вернуться очень поздно. Тамара Емельянова, отведя детей в детский

* Много было толков о фильме «Тайное и явное» по сценарию Д. Жукова. Фильм не был выпущен на большой экран, но его показывали на закрытых просмотрах. Мне увидеть его не довелось, но содержание было известно по многочисленным пересказам. Недавно опубликовано и письменное свидетельство человека, видевшего фильм. В нем повествовалось о том, как «еврейские капиталисты приводили к власти Гитлера, как сотрудничали с нацистами... как провоцировали один за другим конфликты на Ближнем Востоке, как вызвали Карибский кризис, как поднимали контрреволюцию в Чехословакии...» Шли склеенные вперемешку кадры и фото, надерганные с единственной целью доказать существование «мирового еврейского заговора».

сад, уехала к своей матери, в подмосковный город Подольск, но муж строго приказал ей не задерживаться и вернуться пораньше. Сам он в тот день имел только одну лекцию, в первой половине дня, и должен был вернуться домой никак не позже часа.

В три часа дня Тамара выехала из Подольска в Москву (так показала на суде ее мать, проважавшая ее до поезда), и примерно в то же время Емельянов позвонил на квартиру своего друга и бывшего ученика Бакирова, которого не оказалось дома. Емельянов говорил с его женой и настоятельно просил их вечером никуда не уходить, так как ему нужно заехать к ним по важному делу.

Около пяти Тамара вернулась домой, а около семи Емельянов вышел из дому с тяжелой поклажей: рюкзак, чемодан, большой молочный бидон (его демонстрировали на суде как вещественное доказательство).

С этим грузом он подкатил на такси к дому Бакировых. Войдя к ним, он объяснил жене своего друга (сам Бакиров еще не вернулся с работы), что ему нужно срочно сжечь сионистскую литературу, потому что сионисты его преследуют, «хотят убить или арестовать», у себя во дворе он этого сделать не может: однажды пробовал, но вспыхнуло большое пламя и приехали пожарные; а здесь, на окраине города, он это сделает на соседней стройке, где часто сжигают мусор, так что никто не обратит внимания. Он только попросит Бакирова, чтобы тот ему помог.

Емельянов спросил, куда пока деть литературу. Жена Бакирова дала ему ключи от их машины, которая неисправная стояла во дворе. Он спустился, сложил свое имущество в багажник, после чего вернулся и около часа сидел за столом, пил чай, много говорил о сионизме.

Когда появился Бакиров, Емельянов объяснил ему цель своего визита. Они вдвоем вышли к машине, чтобы оттащить груз на стройку. Здесь, однако, Емельянов заявил, что все сделает сам, только просит одолжить ему канистру с бензином.

Бакиров с готовностью дал канистру (она тоже фигурировала как вещественное доказательство) и минут через десять вернулся домой — так он и его жена показывали на предварительном следствии. А Емельянов вернулся минут через пятьдесят, уже без груза, с сильно запачканными ботинками и брюками, которые он долго отмывал в ванной. После этого все трое сидели за столом, пили чай, Емельянов был совершенно спокоен, как всегда, много говорил о сионизме, в нем не было заметно никаких отклонений от обычного поведения.

На следующий день к Бакировым в дверь позвонил милиционер. Бакиров снова был на работе, милиционеру открыла жена. Тот объяснил, что накануне вечером на соседней стройке вспыхнул пожар, рабочие прибежали тушить (эти рабочие и были те «оболтусы», которые давали показания в первый день суда). Они загасили огонь и.. обнаружили обгорелые куски человеческого тела. Теперь милиционер обходит квартиры, чтобы выяснить, не заметил ли кто-нибудь из жильцов чего-либо подозрительного или необычного.

Бакирова сказала, что ничего необычного не видела и не помнит, однако вечером, когда муж пришел с работы, поспешила рассказать ему о приходе милиционера. Бакиров тотчас позвонил в милицию и сообщил об Емельянове и его сионистской литературе.

Между тем ни сам Емельянов, ни его мать не подняли тревоги по поводу исчезновения Тамары. А когда мать Тамары, томимая тяжелым предчувствием, заявила к ним с вопросом, куда девалась ее дочь, то мать Емельянова ответила, что та легла на аборт. Однако в какой именно больнице находится Тамара, она сказать не могла.

Объяснения ее были такими путанными, что еще больше встревожили мать. Она обратилась в милицию. Скоро ее и ее сына (брата Тамары) вызвали для опознания тела... Несмотря на то что оно было разрублено на куски и сильно обуглено, по им одним известным приметам они сразу опознали Тамару.

Емельянов был арестован, но сначала не как обвиняемый, а как подозреваемый. Следователь разрешил ему позвонить по телефону. Он позвонил матери, которая сказала ему: «Валера, держись!», и историку Евгению Евсееву («это его товарищ по борьбе с сионизмом», — доверительно объяснила суду его мать), которому он сказал:

— Женя, я не виноват!

А еще через день он признался в убийстве и рассказал обо всех подробностях.

«Две культуры в одной культуре»

То, что в Советском Союзе бытовой и административный антисемитизм был повсеместным явлением, вряд ли надо доказывать. Хорошо известно, что целые отрасли деятельности были запретны для евреев. Есть в этом и своя положительная сторона: тому, что в высшем партийном и государственном аппарате, в органах КГБ и МВД и в некоторых других областях практически невозможно встретить еврея, лично я только радуюсь.

Но и в хозяйственном аппарате, в учебных заведениях, в науке, культуре, в производственной сфере к евреям особый подход. Отдельным «хорошо зарекомендовавшим себя» евреям кое-где еще позволяли занимать ответственные посты, но поступить новому человеку с «пятым пунктом» либо вовсе невозможно, либо чрезвычайно трудно. Устроиться на работу или поступить в вуз, продвигаться по службе или защитить диссертацию, опубликовать книгу или статью еврею, как правило, в несколько раз труднее, чем представителю любой другой национальности. Все это воспринималось как само собой разумеющееся и должное.

Существенным новшеством конца 60-х — начала 70-х годов стало появление и все большее усиление антисемитизма идеологического. Раньше евреев зажимали втихую — потом началась открытая травля, под нее подводилась теоретическая база.

В авангарде теоретиков шли те, кто вслед за Емельяновым и вместе с ним непосредственным образом занимался «разоблачением сионизма и масонства». Правда, эффект воздействия этих работ на некоторые категории читателей был ослаблен слишком очевидной пропагандистской заданностью. Люди поинтеллигентнее просто не читают подобных произведений — даже при их массовых тиражах.

Однако к услугам более разборчивых читателей — десятки и сотни книг, брошюр, статей на самые разные темы, в которых те же идеи хоть и не становятся ведущими, но тем не менее проводятся с не меньшей, а иногда и с большей настойчивостью. Особенно активно в указанном направлении действовала группа литераторов, которые очень агрессивно защищали от несуществующих врагов исконно русскую историю и культуру.

Хорошо известно, что если у русской культуры, как и у других национальных культур, когда-либо были враги, то отнюдь не евреи и не сионисты, а коммунисты. Вслед за Лениным они считали, что в недрах каждой национальной культуры существуют две культуры и одну из них, «культуру эксплуататорских классов», необходимо уничтожить ради «светлого будущего» угнетенных классов. Впрочем, коммунисты давно уже объявили такие взгляды левацкими. Поэтому

тот, кто в СССР посмел бы, опираясь на «самого» Ленина, высказать мнение, что коммунисты — враги русской культуры, рисковал получить срок за «клевету на советский строй». А вот заявить, что «сионисты» занимаются «обрезанием (!) нашей древней культуры», — это было вполне допустимо и издавалось массовым тиражом с благословения политически грамотных редакторов и главлита.

Впрочем, теория «двух культур» тоже была очень популярна, только не в ленинской интерпретации, а в прямо противоположной. Во многих статьях и книгах можно найти яростное поношение всего того, что еще недавно считалось «культурой угнетенных классов», а потом стало иноземной иудо-масонской диверсией.

Выразительный пример такого рода произведений — биография И. А. Гончарова, написанная Юрием Лощицем. В книге с большой настойчивостью проводится апология обломовщины как «истинно русского» явления, воспеваются патриархальные нравы крепостной деревни, а агрономические брошюры и железные дороги предаются анафеме как вредные иноземные новшества, губительные для России. Все либерально-демократическое движение XIX века объявляется бесовщиной и заговором против России, направляемым из зарубежных масонских центров. Немец Штольц, которому в романе «Обломов» отведена роль носителя прогресса, согласно Лощицу, — прямой ставленник сатаны. Причем эти взгляды Лощиц приписывает автору великого романа, издевательски искажая его творческий замысел.

Точно так же Михаил Лобанов в биографии А. Н. Островского дает «новое» прочтение пьесы «Гроза». Кабаниха у него становится положительным персонажем, бдительно охраняющим «патриархальные» нравы старого русского купечества, а бунтующая против этих нравов Катерина — цитадель греха и разврата. Разумеется, и это предстает в книге не как точка зрения автора, а как замысел самого А. Н. Островского. Переходя от литературных персонажей к историческим, Лобанов обрушивается на женское движение, которое дало русской культуре таких выдающихся деятельниц, как Софья Ковалевская, Мария Бокова, Надежда Суслова, Людмила Шелгунова. Для М. Лобанова (и якобы для А. Н. Островского) все это движение есть импортированный и, значит, антирусский «жорж-сандизм».

Не менее показательна и биография русского архитектора XVIII века Василия Баженова (автор Вадим Пигалев), которая наполовину посвящена «разоблачению» масонства, что, впрочем, автору книги плохо удается. Ему же принадлежала статья в «Литературной России», в которой делается «открытие», будто Пушкин был убит в результате масонского заговора. Попутно излагалась давно придуманная антисемитами псевдоистория масонства, которое якобы ведет свою родословную от Соломонова храма и пропитано «иудейским мировоззрением».

Налицо, как видим, коренной пересмотр всех тех концепций русской истории, которые в СССР вроде бы считались обязательными. Это даже не пересмотр, а поворот на 180 градусов. И пусть не подумает читатель, что во времена Брежнева все эти вольности позволялись лишь тем, кто обращался к эпохе доисторического материализма, но жестко пресекались с того момента, когда на историческую сцену вышла партия большевиков, вооруженная самым передовым учением. Согласно официальной доктрине, партия никогда не ошибалась, решительно и смело вела рабочий класс, а за ним и весь народ от победы к победе. Никаких других общественных сил рядом с партией не существовало. Был только «сильный и коварный враг» в лице мировой буржуазии и ее прислужников, да и он необходим

был лишь для того, чтобы ярче и нагляднее демонстрировать победы партии. Кому не ведомо, что именно таким было «единственно верное» понимание исторического процесса, а каждый, кто отступал от него хоть на шаг вправо или влево, немедленно отсекался от здорового тела партии как гнилой уклонист и оппортунист.

Так было — да! Но когда требовалось ткнуть в жидо-масонскую морду, отклонения не только допускались, но всячески поощрялись.

Каждому советскому школьнику было известно, например, что первая мировая война была несправедливой, захватнической, антинародной, и потому партия большевиков выступала против войны. Большевики агитировали русских солдат не стрелять в своих немецких братьев по классу, а вместо этого перебить командиров и повернуть штыки против Зимнего дворца. Каждый школьник знал, что народ пошел за большевиками, благодаря чему и произошла сперва Февральская, а затем Октябрьская революции. Я сейчас не говорю о том, сколько в этой версии правды и сколько лжи, важно, что такова большевистская точка зрения на события 1914—1917 годов.

Но вот массовым тиражом вышла книга Николая Яковлева, рассчитанная на широкое распространение главным образом среди молодежи. Название ее — «1 августа 1914».

Ошеломленный читатель узнал из нее, что кроме партии большевиков, отстаивавшей интересы народа, и царского правительства, которое гнало народ на бойню ради обогащения помещиков и капиталистов, была в России еще и третья сила. И именно эта третья сила была главной. Именно эта сила (а не партия большевиков!) боролась с царизмом, стараясь свергнуть его, а чтобы добиться своей цели, занималась вредительством, саботажем, всячески разлагала и ослабляла армию, сплавляла немцам секретную информацию — словом, вела Россию к военному поражению. По хлесткой квалификации автора, это было национальной изменой, «прямой выдачей России врагу».

О какой же силе идет речь? Конечно же, о масонах! Тайные масоны, по Яковлеву, пробрались к руководству всех оппозиционных самодержавию партий, и хотя эти партии часто враждовали между собой, делалось это лишь для отвода глаз, дабы видимым плюрализмом замаскировать тайное единство целей и действий, которые направлялись из тщательно законспирированного центра.

Так виновниками военного поражения России оказываются не большевики, что считалось их величайшей заслугой, а тайные масоны, и это объявлено их величайшим предательством и изменой.

В специальных изданиях некоторые советские историки подвергли книгу Н. Н. Яковлева уничтожающей критике. Академик И. И. Минц утверждал даже, что Яковлев позаимствовал свою концепцию у «белоэмигранта Каткова», которого сначала назвал «злейшим врагом Советской власти», а затем перекатал у него десятки страниц.

В сталинские времена после такого разоблачения за автором крамольной книги немедленно примчался бы воронок. А при брежневском неосталинизме ему срочно была присуждена... премия Ленинского комсомола «за заслуги в деле патриотического воспитания молодежи».

А списанная у «белоэмигранта» концепция пошла гулять из книги в книгу как последнее слово науки. В биографии генерала Брусилова, написанной Сергеем Семановым, вся общеисторическая линия выстраивается по Яковлеву, цитируются его наиболее хлесткие эскапады против изменнической тактики «буржуазии, руководимой масонами». От себя Семанов добавляет, дабы не было никаких неясностей, что вместе с масонами пораженческую тактику проводи-

ли и «сионисты». Именно сионисты, используя Григория Распутина, выведывали у царицы военные секреты и через «свои устойчивые связи с Германией» переправляли их в немецкий генштаб.

Ту же «распутинщину» использовал Валентин Пикуль. В псевдо-историческом романе «У последней черты» он непомерно преувеличил влияние Распутина на государственную жизнь предреволюционной России и одновременно сделал его игрушкой в руках евреев, искусно плетущих иудо-масонский заговор.

Гражданин с магнитофоном

Чем дальше раскрывалась картина страшного злодеяния, тем напряженнее становилось в зале. Не потому, что публика прониклась сознанием чудовищности кровавого преступления. Похоже было, что подробности никого не интересуют. Ни к убитой, ни к ее родным, ни к двум детишкам, оставшимся сиротами, не ощущалось ни малейшего сочувствия. Напротив: заметно росла враждебность. Ядовитая атмосфера шизофренической ненависти сгущалась все сильнее и из зловещих шепотков, перелетавших по залу, явственно выкристаллизовывалось одно слово: «сионисты».

— Сионисты! — прервала себя дававшая показания мать Тамары и обернулась к залу. — Почему же они его не убили, а ее?

Это была полуграмотная женщина, лифтерша. Речь ее была столь колоритна, что, делая торопливые наброски в блокноте, я кусал губы от досады на то, что не владею стенографией. Она сказала, между прочим, что надо еще разобраться, какой он сумасшедший, не симулирует ли он, чтобы избежать наказания.

Во время ее показаний вдруг встрепенулся полусонный прокурор и, прервав свидетельницу, обратился к судье:

— Там товарищ на магнитофон записывает!

— Гражданин с магнитофоном! Встаньте! — тотчас раздался тревожный голос судьи (впервые за все время — тревожный; эта женщина великолепно владела собой).

Из первого ряда во весь огромный рост поднялся Дмитрий Жуков — оказывается, это он пристроил на колене портативный магнитофон.

— Записывать на магнитофон запрещено! Сдайте суду пленку!

— А почему я должен сдать пленку? — спросил Жуков.

Послышался легкий щелчок, он вынул из магнитофона кассету и воровским движением сунул ее в карман.

— Немедленно сдайте пленку! — повторила судья.

— Нет, я не дам, — ответил Жуков неуверенным голосом.

— Тогда покиньте зал!

— А почему я должен покинуть зал? Нет, я не покину.

— Я позову милицию! Вас выведут!

— Вызывайте!

— Объявляется перерыв на десять минут, — после короткого колебания объявила судья.

Задвигались стулья, публика стала выходить из зала. В коридоре ко мне подошел Жуков.

— А почему, спрашивается, я не могу записывать?

Я внутренне усмехнулся. Видать, нелегко далась ему эта внешне столь смелая стычка с властью, если он за сочувствием обратился ко мне!

Когда я еще работал в редакции «Жизнь замечательных людей», в ней выходила книга Д. Жукова. Он часто бывал у своего редакто-

ра, с которым я сидел в одной комнате, так что мы невольно участвовали в общих разговорах.

Однако после того как мне пришлось уйти из редакции, а его ампула воинствующего борца с «сионизмом и масонством» прорисовывалось все более определенно, у нас обоих не могло быть стремления к сближению. Если мы сталкивались иногда где-нибудь в издательских коридорах, то только холодно кивали друг другу. По мере появления в печати все более откровенных шовинистических публикаций Жукова я вступил с ним в полемику. Правда, мои статьи не публиковались, но Жукову о них наверняка было известно.

— Заседание ведь открытое, — между тем лепетал Жуков, — я писатель, меня интересуют психологические подробности.

— Дмитрий Анатольевич! — ответил я, широко разводя руками. — Если бы от меня зависело, я все бы вам разрешил.

«Физическая несовместимость»

Он побежал кому-то что-то доказывать, а ко мне обратилась женщина, ничуть не похожая на вчерашнюю, много полнее и старше, но такая же словоохотливая.

— Вы хорошо знали Валерия? — спросила она.

— Совсем не знал, — ответил я. — Но мне известны некоторые его литературные работы.

— А у меня все его работы есть! — сказала она с заметной горделивостью.

— Неужели все? — изумился я.

— Он сам мне дарил, — ее голос стал тише и многозначительнее. — Мы были большие друзья. Он всем со мной делился.

Разговор обещал быть интересным, но прервался, едва начавшись, так как заседание возобновилось.

Судя по тому, что Жуков больше не появлялся, из его объяснений ничего не вышло. Я, впрочем, тотчас забыл о нем, настолько интересными и темпераментными были дальнейшие показания матери убитой Тамары. Она рассказывала, как мучилась дочь со своим мужем, который запрещал ей работать и нередко избивал так, что мать видела следы этих побоев. Как он увлекался какими-то знахарями, запрещал жене лечить детей обычными медицинскими средствами и велел вместо лекарств кормить их и посыпать зубным порошком. Особенно поразительной была история обручального кольца Тамары, которое поначалу «пропало» вместе с ней, но потом, после многократных настояний, было «найдено» и возвращено материю Емельянова...

Мать Емельянова допрашивали последней. В роли свидетеля она держалась так же спокойно, как и в то время, когда сидела среди публики в зале суда. Вопросы каждый раз переспрашивала, жаловалась, что плохо слышит, но сама говорила не громко, как обычно говорят глухие, а вполголоса, простым доверительным тоном. Валерий и Тамара, по ее словам, жили дружно, никаких ссор между ними не было. Сама она хотя и жила вместе с ними, но в жизнь их старалась не вмешиваться.

Судья спросила, что она знает о первой судимости сына.

— Никакой судимости не было, это первая, — ответила мать.

— Как же не было, когда он сам об этом сказал?

— Да? Значит я не знаю. Он вообще скрытный был. Когда его из партии исключили, он мне тоже ничего не сказал.

На вопрос судьи, чем она объясняет случившееся, ответила тихо и доверительно то, что эти два дня витало в густой атмосфере отравленного зала.

— Он не убивал. Ему ее принесли в мешке.

Первая судимость

Наконец был объявлен большой перерыв. В коридоре я отыскал словоохотливую собеседницу и предложил ей вместе пойти пообедать.

Так как в здании суда ни буфета, ни столовой не оказалось, мы вышли на улицу и в поисках какой-нибудь доступной точки общепита дошли до Комсомольской площади, зашли в здание Ленинградского вокзала, где с грехом пополам раздобыли несколько миндальных пирожных. Зато пока шли туда и обратно, я узнал много интересного. Моя спутница снова подчеркнула, что знакома с Емельяновым много лет и он с нею всем делился.

— В таком случае,— сказал я, — вы знаете о его первой судимости.

— То дело не дошло до суда,— ответила она.

— Позвольте, как не дошло, когда судья спрашивала именно о судимости.

— Я вам точно говорю, я знаю все подробности.

Но я тоже знал кое-что!

Один мой знакомый принес мне вырезку из «Литературной газеты» за февраль 1963 года. Это был репортаж под рубрикой «Из зала суда». В нем говорилось о разбирательстве дела аспиранта Валерия Емельянова, которого судили за плагиат и клевету. В свою кандидатскую диссертацию об экономике Ливана аспирант перекатал солидный кусок из диссертации другого человека об экономике Индии, поменяв всюду только одно слово: «Индия» на «Ливан». Пытаясь эту «диссертацию» опубликовать и получив несколько отрицательных рецензий, он стал слать доносы на редакторов и рецензентов. В конце концов он был привлечен к суду и осужден на год лишения свободы «за плагиат и клевету».

В статье не говорилось, на кого именно клеветал Емельянов и каков был характер этой клеветы. Я предполагал, что среди тех, кто забраковал его диссертацию, были евреи и что, может быть, их «козми» и стали побудительным толчком того, что впоследствии Емельянов столь рьяно взялся за разоблачение «сионизма и масонства». Представлялся случай проверить эту гипотезу, и мне, естественно, не хотелось его упустить. Однако моя собеседница упорно твердила свое:

— То дело не дошло до суда, кому об этом лучше знать, как не мне!

Поскольку я продолжал не соглашаться, она в качестве последнего аргумента заметила: — Я сама знала эту женщину!

«Женщину! — промелькнуло у меня в голове.— Какой неожиданный поворот темы!»

Я понял, что мы говорили о разных «делах». При всей близости к моей собеседнице Емельянов все-таки не вспомнил при ней о том давнем деле о плагиате — не очень приятно, видно, было о нем вспоминать. Стало ясно, что моя надежда проверить гипотезу не оправдалась. Зато собеседница знала что-то другое, может быть, не менее интересное.

Упоминание о женщине воскресило в моей памяти одну из многих легенд, ходивших по Москве об Емельянове. По этой легенде,

его предыдущая жена покончила жизнь самоубийством, на него завели уголовное дело, но ему удалось «отмазаться». Подобным слухам я не придавал значения: мало ли что болтают об одиозных личностях. Однако на всякий случай я спросил:

— Вы говорите о его первой жене? Так это правда, что она повесилась?

— Вот как говорят люди, когда не знают! — возмутилась моя спутница.— Во-первых, она не была его женой. Они еще только собирались пожениться.

— Но она покончила с собой?

— Совсем нет. Это все клевета — я точно знаю. Она умерла, — тут моя собеседница замялась, — во время полового акта.

— Вот как! — поразился я.— Что же случилось? Сердечный приступ?

— Нет, не приступ... — она опять замялась, подбирая слова.— У них оказалась физическая несовместимость.

— А что это такое? Простите, я не совсем понимаю...

— Ну, в общем, несовместимость... Они друг другу не соответствовали... У нее там оказалось все разорвано...

Я внимательно посмотрел на мою собеседницу, жевавшую с большим аппетитом миндальное пирожное. В ее больших светлых глазах царил полная безмятежность. Понимала ли она, что говорит? Ведь если в этой «не клевете» есть хоть малая доля правды, то ее приятель не только убийца, но и сексуальный маньяк.

Я вспомнил, что мать убитой Тамары в своих показаниях упомянула какую-то давнюю историю о студенте, погибшем во время похода в горах по вине Емельянова. К сожалению, ни судья, ни представители сторон не задали свидетельнице по этому поводу ни одного вопроса, так что достоверность этого случая осталась невыясненной. Но, может быть, и это — не пустая сплетня? Если так, то вокруг этого человека постоянно ходила смерть!

...Я спросил у моей спутницы, ходил ли Емельянов на сумасшедшего.

Она тотчас уверенно ответила:

— Ничего подобного я в нем не замечала! Нервный был — да. Возбудимый. Очень уверенный в себе. Чуть возразишь ему, он сразу вскинет голову, сделает руками вот так (она показала, как он делал руками): «Значит, я не прав!» Но чтобы в нем было что-то от невменяемого — не замечала.

Что ж, если в стране широко использовали психиатрию для преследования неугодных режиму людей, то почему не использовать ее для сохранения нужных? То, что Емельянов ненормален, было несомненно, но в такой ли степени, чтобы быть освобожденным от ответа за совершенное злодеяние?

Оберегающая психиатрия

Предвижу скептический вопрос: зачем властям было оберегать Емельянова, из-за которого у них было немало беспокойств и неприятностей?

Прежде чем ответить на него, я хочу задать другой: а зачем они терпели целое литературное направление, развивавшее те же идеи, что и Емельянов? Ведь не терпимее же они стали в брежневскую эпоху, когда жестко пресекались всякие иные направления, хоть в чем-то отступающие от «единственно верного учения». И тем не менее антисемитско-«патриотическое» направление не только было терпимо — оно тщательно оберегалось от критики. Сотрудники ре-

дакий, которым я приносил критические статьи, пародии, реплики, часто выражали полную солидарность со мной, но большой палец показывал в потолок и рукописи возвращались.

Писатель Фридрих Горенштейн, проживающий в Западном Берлине, в 1983 году опубликовал в «Континенте» памфлет: «Идеологические проблемы берлинских городских туалетов». По наблюдениям Горенштейна, нацистская антисемитская идеология не умерла в Западном Берлине, но со страниц массовых изданий гитлеровской поры она переселилась на стены общественных уборных.

В СССР мы наблюдали противоположный процесс. В пору моей молодости антисемитские надписи густо украшали стены московских уборных. Там им и место наряду со всякой похабщиной. Однако в семидесятые годы эта благоуханная тема нашла постоянную прописку на страницах печати, да с такой откровенностью, какую не позволяла себе даже Сталин в достопамятную эпоху борьбы с «космополитизмом». Секретом полишинеля было то, что эта борьба направлена против евреев. И все же сохранялся некоторый декорум. Хотя почти у всех космополитов оказывались еврейские фамилии, выглядело это чуть ли не случайным совпадением. Теоретически «безродным космополитом» мог оказаться и русский, и татарин, и грузин, и таджик. Теперь космополиты заменены тайными или явными сионистами, так что никакого недоразумения на счет их национальной принадлежности быть не может. А если все-таки среди тех, кого нужно «разоблачить», оказывается нееврей, он попадает в разряд масонов. И разоблачители, как мы видели выше, не останавливались перед тем, чтобы использовать идеи, противоположные марксизму-ленинизму.

Ставка на туалетную литературу была сделана не случайно. Ибо тот идеологический «сук» (да простят мне читатели столь неуклюжее выражение), на котором в течение десятилетий держалась советская система, давно уже сгнил и обломился, от него оставалась одна труха. Коммунистическая идеология умерла задолго до перестройки, а потому и ускорить ее конец было уже невозможно.

В стране не оставалось сколько-нибудь значительного числа людей, а тем более — целых общественных слоев, которые бы всерьез верили в «неизбежное торжество коммунизма», в «загнивание капитализма», в непогрешимость вождей — словом, в ту систему взглядов и представлений, которые именуются коммунистическим мировоззрением.

Это в тридцатые годы фанатики коммунизма, даже будучи приговоренными к смерти, умирали с восклицанием: «Да здравствует Сталин!» Это в сороковые не успевшие возмужать юноши ложились под танки с возгласами: «За Родину, за Сталина!» и с записками в нагрудных карманах: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом». Это в конце сороковых — начале пятидесятых даже зэки считали виновником своих и общих бед лично Сталина, но чуть ли не за грудки хватали тех немногих своих сотоварищей, которые смели усомниться в святости Ильича, а тем более — в непогрешимости идеи.

При Брежневе все это стало темой острот и анекдотов. Пятилетние дети приносили из детского сада веселые стишки:

Это что за большевик
Лезет там на броневик?
Он большую кепку носит,
Букву «р» не произносит,
Человечный и простой —
Угадайте — кто такой?
А кто первый даст ответ,
Тот получит десять лет.

Тех, кто в СССР активно выступал против режима, именовали инакомыслящими. Этот укоренившийся термин крайне неудачен, он приводит к недоразумениям, потому что людей, готовых идти в тюрьмы и психушки, незначительное меньшинство, а инакомыслящими были все — «от пионеров до пенсионеров». Первыми диссидентами страны были Брежнев и Сулов. Все работники партийного и государственного аппарата — диссиденты.

Разумеется, с трибун они говорили все те же затверженные фразы, варианты допускались лишь в границах последних решений. Но стоило им сойти с трибуны, и вы могли слышать те же анекдоты про Василия Ивановича, про Леонида и Владимира Ильичей, про то, как капитализм, социализм и коммунизм решили «сообразить» на троих, социализм долго простоял в очереди за водкой и колбасой, после чего выяснилось, что капитализм не знает, что такое очередь, а коммунисты — что такое колбаса. От иного функционера можно было услышать такие суждения, какие самые смелые диссиденты отваживались высказывать только самым проверенным друзьям и лишь после того, как в комнате отключат телефон.

Умирание коммунистической идеологии происходило медленно и постепенно. Не было эффектного удара шпагой, выстрела из-за угла или кем-то брошенной бомбы. Никто не произнес «исторической» фразы: «Вчера было рано, а завтра будет поздно!» Потому момент остановки дыхания не был точно зафиксирован, хотя речь идет о величайшем, может быть, событии современной истории: гибель идеологии неизбежно ведет к гибели порожденной ею системы власти. Еще Шарль Монтескье 250 лет назад четко формулировал: «Разложение каждого правления почти всегда начинается с разложения принципов».

Брежнев и Косыгин, придя в 1964 году на смену Хрущеву, еще могли на что-то надеяться. Они пытались предложить хоть какую-то позитивную программу — пусть слишком жалкую и худосочную, пусть заведомо обреченную на провал, но все же — экономическую реформу. Андропов, придя на смену Брежневу, не выдвинул никакой позитивной идеи. Все, что он смог предложить стране, — это «укрепление дисциплины». А Горбачев, позволив людям заговорить, окончательно похоронил коммунизм.

Пока было возможно, кремлевские старцы старались сохранить систему, вознесшую их на вершину власти и обеспечившую привилегиями, за которые они цепко держались. Не жаждали изменения системы и работники того огромного и разветвленного аппарата, посредством которого осуществлялась верховная власть: ведь каждому из них тоже обламывался кусок жирного пирога. Да и широкие массы — не надо строить иллюзий — не хотели сколько-нибудь глубоких перемен: слишком дорого обходились им прошлые перемены, слишком крепко усвоено ими, что всякие перемены — к худшему. Этим и поддерживалось хлипкое равновесие. Ну и тем, конечно, что за несколько десятилетий своего существования моллюск коммунистической идеологии успел одеться в могучую закастневшую раковину, оцетиненную против внешнего мира острыми шипами ракет с ядерными боеголовками, а против внутренних противников режима — ядовитыми жалами органов КГБ, ГУЛАГА, психбольниц, паспортной системой, строжайшей цензурой печати и прочими прелестями. Нутро давно уже разлагалось и смердело, но раковина была крепка и непроницаема, она создавала иллюзию прежнего и даже большего, чем прежде, могущества.

Под прикрытием этой брони делались отчаянные попытки либо оживить мертвое тело, либо подменить его другим. На первом этапе наибольшие шансы имела не полная, а частичная подмена: свое-

образная гибридизация, при которой от коммунистического «папаши» пытались взять привычную фразеологию, тогда как содержание становилось иным, «патриотическо»-антисемитским. Над созданием такого ублюдка и трудился Валерий Николаевич Емельянов — до того, как взялся за топор.

Работа по созданию ублюдка, весьма похожего на гитлеровский национал-социализм, но отличающегося от него некоторыми важными чертами (отчасти из-за того, что он взращивается на иной национальной почве, а отчасти от того, что возникает на ином витке диалектической спирали), успешно продолжалась. В частности, все достигнутые коммунизмом «преимущества», связанные с централизацией управления не только политической, но также всей экономической, общественной и духовной жизни страны, предполагалось, естественно, сохранить.

Нельзя сказать, что ничто не препятствовало указанной перспективе. Многонациональный состав государства и резкая оппозиция русскому шовинизму со стороны всех союзных да и автономных республик — это фактор, с которым постоянно приходилось считаться в Кремле. Он побуждал верховных руководителей время от времени хмурить брови и одергивать не в меру горячающихся «патриотов». Некоторую роль в противодействии победному шествию шовинизма (в основном, к сожалению, пассивную) играло и сопротивление самих «сионистов и масонов», то есть, попросту говоря, со стороны тех евреев, которые вдруг начинали упираться, когда их хватало за шиворот, чтобы вышвырнуть вон, и тех неевреев, у которых здоровое нравственное начало брало верх над инстинктом самосохранения. В таких ситуациях и случалось, что в лекциях Емельянова находили идеологические «ошибки», а главному редактору «Нашего современника» Сергею Викулову вдруг объявили выговор за публикацию черносотенного романа В. Пикуля, хотя такого же рода публикации поощрялись до этого много лет. Но в общем у «патриотов» были все основания смотреть в будущее с оптимизмом. На их стороне была такая фора, как дружная спайка, полная бессовестность, безудержная демагогия, наконец, те самые мафиозные методы борьбы, какие они с такой настойчивостью приписывали «масонам и сионистам». И самое главное, «разоблачения» сионизма как воздух были нужны властям.

Я не думаю, что выскажусь слишком смело, если предположу, что на случай критической ситуации, наподобие той, что сложилась в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968-м или в Польше в 1981-м, в Советском Союзе еще при Брежневе был заготовлен особый план действий. Обвинение евреев в «подрывной деятельности» в пользу сионистов и затем массовая высылка в Сибирь или иные репрессии должны были выручить режим. То, что этот план до сих пор не приведен в действие, я объясняю тем, что после неожиданно быстрой смены в СССР сразу трех лидеров к власти пришли люди, которые поняли, что оживить труп уже невозможно. Они взялись за демонтаж самой системы.

Приговор

После перерыва заседание продолжалось недолго. Свидетели уже были опрошены, показания неявившихся зачитаны, данные экспертиз — тоже. Прокурор сказал небольшую речь, такую же вялую, как он сам. Убийство Тамары Емельяновой он охарактеризовал как заранее подготовленное и совершенное с «особой жесто-

костью». То, что убийство было совершено ее мужем, у них на квартире, между пятью и семью часами вечера, после чего Емельянов расчленил труп и повез его к Бакировым, прокурор доказал, опираясь на все обстоятельства дела, на показания свидетелей и материалы следствия. Ввиду невменяемости обвиняемого прокурор предложил направить его на принудительное лечение.

Защитник говорил дольше. Он напирал на неполноту следствия (не был найден таксист, который привез Емельянова к Бакировым) и на неявку в суд супругов Бакировых, чью роль он с полным правом охарактеризовал как весьма подозрительную.

В самом деле: показания Бакировых наталкивали на серьезные вопросы. Разве не странно, что мадам Бакирова несколько не удивилась тому, что сионисты хотят «убить или арестовать» Емельянова? Разве не странно, что она, вместо того чтобы подробнее расспросить друга об опасности, спокойно дала ему ключи от машины, чтобы он мог сложить в нее «литературу»? И почему она не поинтересовалась, каким образом сжигание литературы может предотвратить покушение на его жизнь?

Можно допустить, что Бакирова непробиваемо глупа, но ведь и муж ее не задал этих вопросов! Он с готовностью вышел во двор, чтобы помочь другу оттащить его груз на стройку, а когда тот внезапно отказался от помощи, не возразив ни словом, вернулся домой. Конечно, дружба — святое чувство, но почему же Бакиров из дружеских чувств не предложил сохранить у себя «литературу» вместо того, чтобы ее сжигать?

Поскольку всем этим вопросам суждено остаться без ответа, мы вправе задать еще один: да так ли все было на самом деле? Может быть, все-таки — нет? Может быть, Бакиров вернулся домой не через десять минут, а много позже, вместе с Емельяновым?

Требую направления дела к доследованию или хотя бы переноса слушания, защитник Емельянова особо подчеркнул, что Бакиров — возможный соучастник преступления: его действия выглядели крайне предосудительно, тем более что он — не темный полуграмотный человек, а ответственный работник КГБ.

Последнее обстоятельство объясняет многое. Такая грандиозная и ответственная операция, как спасение СИСТЕМЫ путем контрабандной подмены умершей идеологии, не могла выполняться без руководящего участия ОРГАНОВ. Отнюдь не случайно и то, что упоминавшийся на этих страницах Дмитрий Жуков — в прошлом работник госбезопасности. Он был давно в отставке, но в подпитии любовно демонстрировал друзьям свой майорский мундир. Не могло быть сомнений, что он сохранил связь с взрастившей его организацией. Да и фильм о тайных кознях сионизма он делал по заданию этого почтенного ведомства.

«Историк» Николай Яковлев создавал свою скандальную книгу тоже не без ведома органов, с которыми имел очень тесные, почти родственные контакты (сын Юрия Андропова — его ученик, много лет работавший под его руководством). Яковлев выполнял задание в рамках общей стратегической задачи по переводу стрелки на железнодорожных путях истории. Было решено очередной раз «исправить прошлое» и пораженческую позицию большевиков во время первой мировой войны превратить в патриотическую, а пораженчество приписать «жидо-масонам».

Подлинная идеологическая диверсия была совершена КГБ с помощью ближайшего друга Емельянова Евгения Евсеева — того самого, которому Емельянов позвонил после ареста и сказал «Женя, я не виноват». Евсеев написал грандиозную, в 500 страниц, книгу по «разоблачению сионизма», — столь одиозную, что ее решили не опублико-

вать широко, но издали пятьсот экземпляров для служебного пользования. В Институте истории Академии наук, где работал Евсеев, это сочинение вызвало бурю. Редактор книги получил выговор, руководитель Евсеева — замечание. Все это, однако, осталось внутренним делом института, книга же была разослана по обкомам и горкомам партии и воспринята на местах как последняя инструкция по еврейскому вопросу. Ну кто же поверит, что такая акция могла быть прокручена в то время без участия органов?

Сотрудничество между КГБ и антисемитской мафией было давним и прочным. Не в этом ли разгадка поведения Емельянова в тот трагический день: совершив преступление, он первым делом бросился к работнику КГБ, надеясь на его помощь и, может быть, защиту. Тем, что суд намеренно устроили во время отпуска Бакировых и их «не нашли» (при советской паспортной системе не найти человека можно только при заведомом нежелании!), не означает, что Бакирова удалось вывести из игры. Связь КГБ с антисемитской мафией стала юридически доказанным фактом.

Суд удалился на совещание. Судьи почему-то выходили из зала не через ту дверь, которая к ним ближе, а через другую, предназначенную для публики. Приблизившись к первому ряду, судья негромко, но внятно произнесла:

— Здесь тоже одни шизофреники.

Она, очевидно, имела четкое указание строго придерживаться схемы обычного дела об убийстве и не поддаваться на провокации сионистов. Однако, против ожидания, в зале «сионистов» не оказалось. Но зато густо были представлены «патриоты». Единомышленники Емельянова и создавали шизофреническую атмосферу. Я понял, сколько сил требовалось судье, чтобы сохранять спокойствие и вести дело в соответствии с полученной установкой.

Снова Жуков

Примерно через месяц, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), в перерыве одного скучного и многолюдного собрания, ко мне протиснулся сквозь толпу Дмитрий Жуков и, с широкой улыбкой протягивая руку, переполненный любопытством, чуть ли не подобострастным тоном спросил:

— Ну, чем тогда кончилось, каков приговор?

— По-моему, это было с самого начала понятно,— пожал я плечами.

— Как так — сначала? — насторожился Жуков.

— Каков может быть приговор, если подсудимый невменяем! — ответил я.

— Да, да, странное дело,— с многозначительным подтекстом сказал он, так что я сразу вспомнил ту атмосферу, какая царила в зале суда.— Очень странное дело, очень странное...

— Что же тут странного,— возразил я.— Совершенно ясно, что сионисты принесли ее в мешке... Только вот зачем он сжигать ее повез? Это действительно непонятно...

Длинное от природы лицо Жукова еще более вытянулось, даже отвисла челюсть. Сообразив наконец, что над ним смеются, он поспешил удалиться.

А вскоре я листал небольшую книжечку Дмитрия Жукова с малоинтересными рассуждениями о биографической литературе. Без всякой связи с основной темой, но в полном соответствии с емеляновскими разоблачениями жидо-масонского заговора, в ней говорилось о

«разлагающем» и «тлетворном» воздействии масонства на весь ход мировой истории (меньшими категориями «патриоты» не мыслят!). Я уже был знаком с этой работой, так как впервые она появилась в журнале «Наш современник». После появления этой статьи я направил в два либеральных по тем временам журнала критическую реплику под названием «Остановите музыку!». Реплика опубликована не была, а статья Жукова вышла отдельным изданием. Музыку не остановили. Ее и не собирались останавливать. Емельянов слишком погорячился, когда сменил перо на топор, его отправили на «лечение». Но те «патриоты», что действовали только пером, оставались в безопасности, более того — благоденствовали.

* * *

Прошло несколько лет. И как только в России заговорили о гласности, на арене общественной жизни вновь появился Валерий Николаевич Емельянов. По чьему-то таинственному приказу его срочно призначили выздоравливающим и выписали из ленинградской психиатрической клиники. Акция была проведена без ведома Министерства здравоохранения и даже зловещего Института судебной психиатрии им. Сербского.

Емельянов немедленно примкнул к обществу «Память» и стал одним из его руководителей. Однако несмотря на прошлые заслуги Валерия Емельянова, ему не пожелали уступить верховенство. Тем более что обнаружилось и принципиальные разногласия. Дмитрий Дмитриевич Васильев, ораторствуя на митингах, утверждал, что основная вина «сионистов» перед Россией состоит в том, что они разрушали православные храмы и искореняли христианскую религию, тогда как Емельянов твердо придерживался теории, изложенной им в «Десенизации», согласно которой именно сионисты 1000 лет назад навязали России христианство, в чем и состояла их самая коварная диверсия.

Примирить эти разногласия оказалось невозможным, и Емельянов с группой своих сторонников основал свою «Память».

18 марта 1990 года в одном московском парке, расположенном вблизи станции метро «Войковская», состоялось богослужение Московской языческой общины. Обряды совершали жрецы в старинных славяно-русских одеяниях. Двадцать человек, пожелавших принять новую веру, получали от них по куску струганого дерева, который они тут же торжественно сжигали на костре. После этого проводились занятия по славяно-горицкой борьбе. Среди новообращенных было несколько детей, а также пятидесятилетний мужчина, в котором кто-то из присутствующих узнал человека, возложившего двумя неделями раньше цветы на могилу Сталина у Кремлевской стены.

Валерия Емельянова на богослужении не было, но общину язычников возглавлял именно он. Присутствовавшим раздавали две листовки за его подписью. Одна из них была направлена против евреев, коммунистов и «обрезанного товарища Христа», что вряд ли нас может удивить, хотя, как мы помним, до «лечения» любое негативное высказывание в адрес коммунистов Емельянов считал сионистским заговором. Зато содержание второй листовки, посвященной его другу Евгению Евсееву, оказалось неожиданным.

Евсеева к тому времени уже не было в живых. За годы гласности он значительно увеличил свою активность в борьбе против «сионизма», основал и возглавил ряд общественных организаций и комитетов. В частности, он возглавил комитет борьбы против установления дипломатических отношений между СССР и Израилем, возглавлял Палестинское общество при Академии наук СССР. В феврале 1990 года Евсеева

при выезде из Москвы на окружную дорогу остановил патруль ГАИ. Евсеев вышел из машины, чтобы подойти к милиционеру, но в этот момент его сбил пронесившийся мимо автомобиль. Этот автомобиль не имел номерных знаков и благополучно ушел от погони...

Таинственная смерть Евгения Евсеева вызвала в Москве самые разные толки. В то, что произошел несчастный случай, никто не поверил. Общество «Память» в тот же день устроило демонстрацию на Пушкинской площади, протестуя против «сионистского террора». В либеральных кругах возобладало иное мнение: Евсеев-де зарвался, стал неуправляемым, и его убрал КГБ.

Цель емельяновской листовки состояла в том, чтобы внести в этот интригующий вопрос исчерпывающую ясность. В ней сообщалось, что Евгений Евсеев был скрытым сионистом, и за это его сразила «стрела Перуна». Уж не та ли самая это стрела, что десятью годами раньше сразила тайную сионистку Тамару Емельянову?



Сарра БАБЁНЫШЕВА

В те годы черные, глухие

Судьба романа «Не хлебом единым»

Есть книги вечные, к которым возвращаешься вновь и вновь, каждый раз открывая для себя что-то новое, прежде не замеченное. А есть книги, скроенные как бы по мерке времени, они берут душу современностью, злободневностью, остротой. Такова судьба романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Роман был опубликован в «Новом мире» за 1956 г. в 8, 9 и 10 номерах — тридцать лет назад.

Тогда он вызвал бурю. Прекрасно написал о нем Василий Гроссман в письме к Семену Липкину:

«Прочел Дудинцева — хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) реальны. Это очень важно, т. к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо — любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых. Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы, как-то: чет-нечет, черное-белое, брехня-правда. Это не брехня. А что талант не так велик — это уже второй, следующий вопрос. Им будет интересно заняться, когда таких произведений — реальных — станет много»*.

Роман никого не оставил к себе равнодушным. Споры о нем вспыхивали на писательских собраниях, в библиотеках, в университетах. Одни говорили: «Это абсолютная правда жизни», другие: «Клевета на советскую действительность». Имена героев романа сразу стали нарицательными. В жаркой дискуссии в Ленинградском университете самого Дудинцева, не соглашавшегося с критическими замечаниями, назвали Дроздовым («Знамя», 1957, № 4).

У меня сохранилась краткая запись обсуждения романа в Союзе писателей, состоявшегося где-то в начале 1957 года. Это, конечно, не стенограмма, я записывала то, что успела записать. Обсуждение проходило в Центральном доме литераторов, в дубовом зале, в котором теперь ресторан. Зал был набит до отказа.

Председательствовал Всеволод Иванов. Он говорил:

* Семен Липкин. Сталинград Василия Гроссмана. «Ардис», 1986, с. 90.

«Если перекрыть канализационную трубу, то люди смиряются с грязью. Ко всему человек привыкает. Привыкнет и к этому. Хотелось бы, чтобы на нынешнем сборище, при его многолюдстве, был бы серьезный разговор о романе, об его силе и слабостях, чтобы не боясь говорили о нечистотах в канализационных трубах. И не только о нечистотах».

Лев Славин: «Велемир Хлебников делил людей на приобретателей и изобретателей. В романе даны и те и другие, борьба между ними неизбежна. Косность, бездарность, свойственная приобретателям, не может примириться с талантом. Впрочем, у Дудинцева противник талантливого изобретателя Лопаткина — Дроздов — тоже не лишен таланта. Но дар, ему отпущенный, он использует для приобретательства и поступает не по правде, а по выгоде. «Открыть — т. е. изобрести — этого недостаточно», — говорит он. Он не без зависти следит за действиями Лопаткина. Но свои силы обнаруживает как приобретатель. У него иная цель — стать министром (в крайнем случае, заместителем), а не открывать, искать что-то, усложнять свою жизнь. Как мог сложиться такой характер? Простой ключ к нему не подберешь. Дроздов циничен и не стыдится этого. Он любит себя и говорит о себе торжественно. Он не скажет: «Я коммунист», а произнесет: «Я строитель коммунизма».

Поначалу Дроздов вызывает симпатию, привлекает его эффектность, но автор производит психологическую операцию, и обнаруживает мягкое доньшко этого самовлюбленного человека.

Лопаткин не достигает такой впечатляющей силы, как Дроздов. Отталкивает его твердокаменность, готовность к самосожжению, и хотя писатель окружил своего героя влюбленными в него женщинами, они ему не удалось, и образ Лопаткина получился декларативным.

Не удался автору и профессор Бусько. Он бродит по роману, как призрак, изредка удивляя читателей своей эксцентричностью.

А портреты карьеристов — один другого удачнее. Невраев, Авдиев — мы их знаем по жизни, но в литературе таких характеров не было давно. Обстановка в романе описана с бальзаковской прозорливостью.

Образная речь Дудинцева — талантлива, хорош диалог. Щедрость деталей, переизбыток мыслей создают особую атмосферу романа и вызывают желание писать».

Николай Атаров: «Появление романа Дудинцева в год XX съезда — естественно. В истории литературы нередки случаи, когда, словно по заказу, появляются произведения, которые вызваны временем. Роман не издан книгой, его забраковали в издательстве «Советский писатель» при помощи одной рецензии. (Роман был издан спустя два года небольшим тиражом.) Непримируемость — его достоинство, но она вызывает раздражение людей косных, консервативных. А я читал роман, испытывая чувство радости. Бой дан тем силам, которые служат коммунизму, забывая о конечной цели. Лопаткин для них — марсианин. Дроздов может сказать: «Государство — это я». Он из Борзовых (герой очерка Овечкина «Районные будни»), но за пять лет, которые отделяют Борзова от Дроздова, он изменился. Борзовых осталось сейчас мало.

Технический прогресс стал делом политическим. Это относится не только к технике, но и к литературе, искусству. Дудинцев создал своеобразную энциклопедию борьбы за технический прогресс. Авгиевы конюшни надо чистить. Противники романа говорят, что изобретатель — одиночка. Но ведь коллектив его отталкивает. Что ж ему делать? Люди дроздовского типа — циничны. Проблема совести у них заменена приобретением авторитета, власти.

Бой, который ведет Дудинцев, идет в полном соответствии с лени-

низмом. Дроздов наедине с собой циничен, он уверен, что заслуживает особой заботы: «Это не мной и не тобой придумано. Кто работает, тот получает», — объясняет он жене, почему они пользуются благами, недоступными для других. Но правота Дроздова вступает в противоречие со строем общества. Не станем торопиться с постановкой баллов. Время скажет свое слово.

Сергей Михалков. Цитирует Булганина, цитирует Хрущева.

«Автор выступает не против людей, занимающих высокие должности, но против тех, кто их неверно исполняет. В 1949 году артист Ильинский, обращаясь к залу, говорил: «Над кем смеетесь, над собой смеетесь». Полагалось в «Ревизоре» говорить эту фразу не зрителям, а гостям городничего, но Ильинский правильно понял Гоголя, обращаясь к аудитории. Так и роман читаешь...»

Константин Паустовский: «Я не собираюсь говорить о недостатках и достоинствах романа. Роман Дудинцева для меня — значительное общественное явление. Это первый день сражения с Дроздовым. Я не могу согласиться с Атаровым, что сейчас остались остатки или останки Борзовых, Дроздовых.

Дроздовых — тысячи. Но, как я вижу, никто из врагов романа не собирается выступать. Люди, которые солидаризируются с Дроздовым, не решаются об этом говорить вслух. Бой они ведут в кулуарах.

Совесьть писателя должна быть в соответствии с совестью своего народа. Так поступил Дудинцев. Книга его — грозное предупреждение. Опасность Дроздовых существует.

Недавно мне пришлось столкнуться с Дроздовыми на теплоходе «Победа» во время поездки вокруг Европы. Никакого общения не было. Дроздовы, как обычно, в самоизоляции и не идут на сближение с людьми не их слоя. Дроздовы спесивы и равнодушны, они враждебны ко всему, кроме собственного положения. Они поражали нас диким невежеством. У нас и у них — разные понятия о престиже страны. Один из Дроздовых спросил гида: «Что это нарисовано? Что это, судно Муссолини?» (Речь шла о картине Микеланджело.) «Как пролетариат допустил постройку Акрополя?» — спросил другой. Когда ленинградский писатель сказал, какой красивый цвет у Эгейского моря, Дроздов не преминул заметить: «А у нас что, моря хуже?»

Почему так встревожил всех нас Дудинцев — человек большого мужества и совести? Потому что у нас безнаказанно существует это новое племя обывателей, хищников-собственников, не имеющих ничего общего с революцией. Это — циники, маклаки, душители всего живого. Величайшая заслуга Дудинцева, что он ударил по главному противнику.

Откуда все это взялось? Почему они — Дроздовы — говорят от имени народа? Это последствие времен культа личности. Обстановка приучила их относиться к народу как к навозу. Если бы не было Дроздовых, живы были бы великие талантливые люди — Бабель, Артем Веселый. Их уничтожили Дроздовы. Во имя чего? Во имя собственного вонючего благополучия. Маклачество — идея выгоды стала преобладать для многих людей над идеей революции. Дроздовых мы видим вокруг себя. Их выделяет лексика, они всегда говорят шаблонными фразами и торжественно.

Народ, который осознал свое достоинство, сотрет Дроздовых с лица земли. Дудинцев дал первый бой. Задача нашей литературы — бой довести до конца».

Паустовский говорил тихо, и в зале застыла тишина, взорвавшаяся к концу его выступления аплодисментами. Пожалуй, он перепугал власть имущих не менее, чем роман Дудинцева.

Паустовский впервые сказал о «новом слое», об отсутствии у него нравственности и о душевной незащищенности людей талантливых и

образованных перед безграмотными и беспринципными руководителями.

Масленников (изобретатель): «Большая группа изобретателей просила меня выступить на этом собрании. И это правильно. В 1937—1938 годах, когда нашу страну душили равнодушные люди, было ликвидировано общество изобретателей и общество старых большевиков. Винят Лопаткина, что он одиночка, а к кому он мог пойти, если общества изобретателей нет.

Все сместилось, раньше в обществе решалась проблема оплаты труда изобретателей, а хоть «не хлебом единым», но без хлеба не проживешь. Когда было общество изобретателей, мы знали, куда обратиться. А сейчас стали одиночками. Нам, изобретателям, роман нужен как хлеб насущный».

Валентин Овечкин: «Почему никто не выступил против романа, хотя в кулуарах не умолкали споры. Был январский пленум, где говорилось, что у нас с техническим прогрессом неладно. А об изобретателях писали фельетоны, относились к ним, как к людям психически больным. Давно пора было разобраться в этих вещах, показать трусов, подлецов, то есть борьбу, которая идет в действительности. И Дудинцев справился с этой задачей.

Говорят, мрачно получилось. Хотелось бы знать, как можно вымыть человека, не раздев его? Можно ли вылечить язву, не притронувшись к ней? Некоторые говорят мне: «Вот у Вас Мартынов побеждает Борзова, а у Дудинцева... нет». Но зачем устанавливать новые штампы? И то, что Дудинцев штампам не следует,— это хорошо.

Обвиняют Дудинцева в том, что у него много отрицательных персонажей. А зачем на счетах считать? Но даже если пойти по этому пути и пользоваться примитивной арифметикой, то у Дудинцева баш на баш придется.

Говорят, положительные герои слабее отрицательных. Ну и что? А Лопаткин? Надо отбросить все эти пропорции. С каким чувством Дудинцев писал этот роман — вот о чем следует думать. Он звал читателей на борьбу, а не смаковал наши беды. Донес автор хорошие чувства до читателей? Донес. Значит, роман партийный, хороший.

Нет в романе противопоставления народа руководителям. Вот тут я с Паустовским не согласен. В своих произведениях Паустовский мягок, он никогда не писал резко о современных руководителях, а сегодня обобщил всех руководителей в облике Дроздова.

Я предвижу борьбу, которая предстоит Дудинцеву и всем нам,— надо четко высказывать свое отношение к роману и его героям. Говорят, Лопаткин — одиночка. Ну и что! Лопаткин — талант, и, как всякий талант, он одинок, пока его не поймут. Говорят, Дудинцев залакировал конец романа. Не нахожу. Лакировки нет. Недостатки есть — от художественной незрелости автора,— но говорить о них неохота. Местами в романе возникает мелодрама.. Но те, кто не принимает роман, не на эти его слабости обращают внимание.

Почему же они не пришли? Струсили. Вот это интересно».

Владимир Тендряков: «Читая роман, я почувствовал страшную ненависть к Дроздовым и Шутиковым. Эта ненависть привела к Дому литераторов толпу народа. Роман вызвал чувство ненависти и неприимности к Дроздовым. Такой неприимности не было еще ни в одном произведении. В последние годы появились смелые книги, но нигде Дроздовы не были изображены врагами, как это сделал Дудинцев. Спора не произошло. А жаль. На трибуне все выступающие говорят, что книга полезная, нужная, социалистическая. А в коридорах такое услышишь, что и повторять неохота».

Вера Кетлинская: «Мы попали в странное положение. Мы слышали резкие отзывы о романе, но противники его молчат, а мы едино-

душны. Они не пришли не только из боязни аудитории, поверившей Дудинцеву и в Дудинцева. Есть категория людей, которые создают общественное мнение. Они не выступают, а произносят речи в коридорах, и речи эти западают в некоторые души, а в спорах эти люди не участвуют. Они делают свое дело тихо. В период культа личности обычно были даны установки и не надо было самостоятельно думать. Тогда было легче. А сейчас надо сказать свое мнение о романе, а он беспокойный, не похожий на другие произведения, и противникам романа кажется, что эта беспокойность вредна. А в этом его сила. И почему не надо беспокоиться о том, что у нас плохо?

Противники романа недовольны и тем, что не соблюдено правильное взаимоотношение сил в произведении. Привычным стало, что чиновников, бюрократов изобличали и тут же наказывали. А Дудинцев пошел по иному пути, он Дроздовых не только не лишает их поста, но и ведет к повышению. Лопаткину удается добиться правды, но его противники живы и готовы к дальнейшему сопротивлению. И это очень важно, что Дроздов непоколебим. Дудинцев не успокаивает читателя — и это политически важно.

Но почему все же они не пришли? Впрочем, нам удалось им ответить. Мы-то слышали, за что они бранили роман. В их молчании есть неуверенность в своей правоте. Впрочем, есть среди них и герои романа — Авдиевы, Дроздовы, Шутиковы. К угрызению совести они не способны.

Дудинцев всколыхнул общественность. И это существенно. У романа большая аудитория. А может быть, и большое будущее. Все впереди».

* * *

Впереди действительно было много неожиданного. Речь Константины Паустовской ходила по рукам как листовка. Термин «новый слой» входил в обиход; вскоре его заменили более точным определением «новый класс». Голоса противников романа стали слышнее и решительней. Они перешли в контрнаступление. От Дудинцева требовали раскаяния, но он сопротивлялся.

— Я думаю,— говорил он,— что нас можно было б пустить, как молодых пловцов, поплавать самостоятельно, авось не утонем! Но, увы, я все время чувствую на себе этот ремешок, на котором иногда водят детей. И он мне мешает плавать. («Литературная газета», 19 марта 1957).

А ремешок стягивался все туже. В журнале «Крокодил» (1957, № 3) была напечатана статья «Партия и вопросы советской литературы и искусства» — о значении постановления ЦК КПСС по вопросам литературы и искусства и об ошибках журнала «Новый мир», опубликовавшего произведение В. Дудинцева «Не хлебом единым» и Д. Гранина «Собственное мнение», поэму С. Кирсанова «Семь дней недели», о неверных положениях статьи А. Крона «Заметки писателя», опубликованной во втором сборнике альманаха «Литературная Москва».

18 марта в «Правде» появилась статья «За идейную чистоту», перепечатанная из будапештской газеты «Непсабад шаг», где говорилось об отрицательной роли писателей в венгерских событиях. Время «оттепели» быстро переходило во время жестоких расправ.

В ЦДЛ вновь состоялось обсуждение романа Дудинцева. На этот раз выступали только «они».

— Как вы не понимаете? — истерично кричала с трибуны Мария Прилежаева. — Если будут выходить такие романы, как роман Дудинцева, нас, коммунистов, всех повесят. Будет как в Венгрии. Нас повесят на деревьях.

Ей вторила Галина Серебрякова: «Я просидела в лагерях и в ссылке 18 лет. Но если будут появляться такие произведения, я согласна

снова сесть в тюрьму, в лагерь, чтобы не дать затоптать достижения нашей революции».

Редактор «Нового мира» Константин Симонов полностью признал ошибки и за себя и за автора. Он обвинил Дудинцева, что тот слишком серьезно относится к своему роману, считает его программным документом эпохи. Чтобы искупить совершенное «преступление», Симонов ушел в отставку и уехал на время из Москвы.

Дудинцев не каялся. Он замолчал, и лишь изредка имя его появлялось в печати. Появились новые талантливые авторы, новые интересные книги. Роман «Не хлебом единым» не выдержал этого соревнования и не вызывает сегодня интереса у читателей и критиков. Но в истории литературы и в истории нашей общественной жизни он останется навсегда.

Со дня опубликования романа прошло тридцать лет. Недавно в «Литературной газете» появилось сообщение, что вскоре будет напечатан новый роман В. Дудинцева *, посвященный лысенковцам и борьбе с ними.

Какова будет его судьба? Этого нам не дано знать. Радуется стойкость Дудинцева, а пожелать можно лишь удачи — ему и нам.

Цена прозрения

1962 год. Лето. Валентин Овечкин жил в ту пору в гостинице «Москва». Он приехал из Курска ненадолго, так ему казалось... По вечерам обычно его номер полон: друзья спорят, шумят. Днем он нередко оставался наедине с собой, со своими мыслями. Горькие дни. Горькие мысли.

В то лето Овечкин пристрастился к водке. Не то чтобы прежде он ходил в трезвенниках, но пил в меру и застолье нередко начинал словами: «Не пьет лишь тот, кто боится себя выказать да высказаться, так выпьем же...», и шел очередной тост за тех, кого опасность высказаться не страшит. В то лето мера сдвинулась, да на беду Овечкин стал пить в одиночестве, чего прежде с ним никогда не бывало.

Стоял обычный жаркий день. Овечкин с утра принял свою долю спиртного и, услышав стук в дверь номера, не откликнулся: ему сдан номер, его и право, пускать или не пускать к себе незваных гостей.

А это вот как на чей взгляд.

Он многого не знал — Овечкин. Не знал того, что под окнами гостиницы протянута сетка, чтобы отчаянный, видать, преступник не выбросился из окна. Не знал того, что преступник этот — он и что холл десятого этажа дымится от собравшихся по его душу людей.

Психиатры, санитары, гостиничная администрация, рабочие и уборщицы — все собралось здесь, и над всеми парил заместитель главного врача поликлиники Литфонда Евгений Борисович Нечаев.

Заперта дверь? Тоже мне, препятствие. Несколько искусных движений гостиничного умельца, и замок взломан, а Овечкин связан и свезен в психиатрическую лечебницу им. Кащенко, в буйное ее отделение.

Еще бы не буйный — дверь держал на запоре.

Зачем и кому понадобилась столь крутая инсценировка — с сеткой на уровне этажа, со взломом дверей, — я расскажу позже.

А пока — Овечкин в больнице. Лечащий его врач, Анна Абрамовна К., лишь диву давалась: «Да он здоровее нас с вами: говорит, что думает, а думает остро, умно...». И, испытующе глядя на меня — прия-

* Роман В. Дудинцева «Белые одежды» вышел несколько лет назад.

тельницу Овечкина,— словно проверяя на доверие, Анна Абрамовна не сказала — выдохнула: «Забрать бы его отсюда побыстрее, пока главный врач в отъезде (тот был то ли в отпуске, то ли на симпозиуме), а то он вернется, и поди знай, как поступит, поди знай...». Впрочем, секрета не было: «поступит, как велят», и при слове «велят» палец ее стремительно поднимался кверху.

Я не пишу историю жизни Овечкина, а рассказываю лишь об одном эпизоде, вырванном из этой жизни, но, чтобы понять трагедию овечкинской судьбы, надо обернуться к его прошлому, к детству, к юности.

Детство Овечкина прошло на Дону и на Кубани. Мал был, когда умерли родители, и, как все, он гонял лапту со сверстниками. Но и играючи, не уйти ему было от мысли, как найти еду и где отыскать ночлег. Не озлился. А, быть может, оттуда, из глубины несостоявшегося детства, пришла к нему и прошла через всю жизнь боль о бедах других. А в воздухе тех лет звенело, кружилось, манило молодых захватывающее слово «сила». Жизнь представлялась огромным рингом, на котором, не зная отдыха и передышки, все только и делают, что состязаются в силе. Победителей чествовали. Чествовали госпожу Силу.

Слабость, страдания казались чем-то уродливым, недостойным эпохи. Юноши и девушки записывали в тетрадки слова Горького: «Слабые люди дорого стоят. И мешают». Кому мешают? Эпохе, конечно. И мало кому казались слова эти кощунственными.

А недавно я прочла в дневнике Ольги Берггольц: «Ненависть к страдающим. В «Наших знакомых» взят один такой человек, а тут должна быть серия погубленных страданием».

Овечкин той поры — молодой, статный, крепкий — не поддался соблазну времени; душа его болела о слабых, о страдающих. «Человек — это звучит горько»,— и слова эти он произносил не без озорства, а глаза были грустными, и злая папираса бегала из одного угла рта в другой.

— А сильными бывают и дураки,— не примечали разве?

Любил Овечкин людей мастеровитых, и сам был умельцем, владел множеством профессий. В юности сапожничал, клал печи, владел всеми профессиями, необходимыми на селе.

«Холодный сапожник»— слова эти произносил сквозь зубы, брезгливо, словно у нас на глазах вот тут же, немедленно отлетят подметки, наспех прибитые унылым сапожником. Удачно сделанной работой любовался, расставался с ней по крайности, как художник со своими полотнами.

«Сшил сапоги. Хорошие получились,— рассказывал он литератору Владимиру Карпову.— Приходит заказчик, а мне отдавать сапоги жалко: «Не просохли, говорю, приходите завтра». И еще один день любовался делом своих рук».

Талант художнический, артистизм жили в его душе, как и преклонение перед красотой. Был он прекрасный рассказчик, с острым слухом, цепким взглядом. Но художника в нем сиюминутно побеждала жизнь, на ее зов он откликнулся немедленно. Впрочем, зова не ждал, а по доброй воле брал на себя бремя забот человеческих.

В двадцатые годы Овечкин стал организатором сельскохозяйственной коммуны на Северном Кавказе и шесть лет был ее председателем. Молодость, убежденность, мастеровитость Овечкина влекли к нему людей. Но приступом шли годы — один чернее другого, один страшнее другого: тридцатый, тридцать первый, тридцать второй.

Я жила тогда на Северном Кавказе, или, как тогда его именовали, в Азово-Черноморье, и лишь в памяти всплывает тридцать второй, откуда ни возьмись поднимается тошнотворное чувство голода.

Россию ли удивишь голодом? Но в 1891 и даже в 1911 гг. слово «голод» звучало как призыв к действию: газеты кричали о нем, писатели и общественные деятели собирали деньги, организовывали комитеты, открывали столовые. Весь народ, весь мир торопился спасти голодающих. Голод 1932 года — особый, скрытный, постыдный, о нем не говорили вслух, как не говорят обычно о дурной болезни. Газеты тех лет горделиво писали о собранном урожае. И впрямь — урожай был чуть ниже обычного. Не было ни засухи, ни недорода, так часто в наших краях губивших на корню зерновые. Но был какой-то странный поворот в газетных статьях: сводки о хлебозаготовках сопровождались призывом уничтожить классового врага, и немедленно. И этим врагом опять и опять был мужик или станичник, его изможденная жена и дети, опухшие от голода дети.

Станица за станицей исчезала из географического атласа края. Помню славную, красующуюся собой станицу Полтавскую — была и исчезла. Всех станичников, от мала до велика, сослали в Сибирь.

Шесть миллионов людей погибли в тот год от голода. Шесть миллионов людей погибли ни за что. Это я теперь знаю, что ни за что. Нынче статистический справочник бесстрастно сообщает, что в 1933 году (из урожая 1932 года) за рубеж на валюту было продано миллион семьсот тысяч тонн зерна. Останься это зерно в стране — каждому умершему от голода хватило бы по килограмму на день!

Тогда ни этих цифр, ни масштабов бедствия мы не знали.

Ростов-на-Дону охраняли от голодающих милицейские и красноармейские заслоны. Ползли слухи о людоедстве. — Где? — в хуторе Веселом. — Людоедство? Быть того не может. И как за высоким забором, укрывались мы за этими привычными, стертými до скуки словами «быть того не может». Но укрытие было шатким, непрочным, действительность его постоянно разрушала, а прозрение влекло за собой гибель. Свидетельством этому судьба моего мужа Андрея Куксина. В 1932 году он, доцент Ростовского университета, был послан крайкомом партии на хлебозаготовки. Знал, как и все мы, не так уж много. Заголовки газеты «Молот» были резки и убийственны: «Саботаж в станице Полтавской», «Ни грамма зерна врагу», «Враг не сдается». А в станице Андрей увидел трупы людей на улицах, хлебозаготовителей со щупами в руках, обыскивающих каждый угол амбара: не захоронена ли где-нибудь горсточка зерна для детей. Он не взял щуп в руки, а послал в крайком телеграмму: «Хлеба нет. Помогите. Люди умирают». Не успел Андрей из командировки в Ростов вернуться, как из той же краевой газеты «Молот» я узнала, что он — и правый уклонист и левый одновременно, и что «враг не сдается». А когда он вернулся в Ростов, то с неслыханной быстротой был исключен из партии, а в 1934 году Андрея посадили: смертью пахли слова «хлеба нет».

А как же Овечкин с его коммуной? То, о чем я рассказывала, происходило в тех же местах, где он хозяйничал — межа к меже. Первые его литературные произведения появились на страницах той же газеты «Молот».

Понимал ли Овечкин трагедию происходящего? Не знаю. Не уверена. Но что обязан спасти коммунаров — знал.

Оглянись он окрест в 1932 году и узнай о шести миллионах погибших — замер бы в отчаянии, с места не сдвинулся бы. Но он не оглянулся и не оглядывался много лет спустя, а искал каждый раз, в каждом случае «запасной выход». Его вела и не давала ему сбиться с толку в практической жизни интуиция нравственности.

Ночью, в крошечной тьме — электричества тогда не было, — коммунары вывозили зерно, предназначенное для посева, пекли хлеб или варили затируху. То ли тайная столовая, то ли подпольная пекарня.

Не считал Овечкин, что обманывает государство, людей спасая. Казалось, его государство так и велит ему поступать. И тучи заготовителей не дознались, почему в овечкинской коммуне люди живы и весной у них достало сил землю засеять. А вокруг лежала нищая и богатая, благодатная и несчастная кубанская земля. И как странно обернулось, что трагедия тридцать второго запечатлелась в овечкинской памяти как воспоминания о лучших днях своей жизни. Годы идут, а он тянется, тянется мыслью к этим коммунарским дням, как к смыслу жизни, ее оправданию.

«Сколько бы я ни наделал глупостей,— писал он Николаю Атарсзу,— но в те годы, мальчишкой, я делал то, что действительно было нужно людям, и это ляжет на правую чашу весов на судилище Великого Тойона: те шесть коммунарских лет много грехов перетянут».

Ну что же, человек, во время войны спасший от гибели отряд, естественно, испытывает чувство счастья, даже если большое сражение проиграл. Но, втянутый в практическую заботу о хлебе насущном, Овечкин не увидел поля сражения. И из собственной биографии (да и не только из биографии) родились его теоретические послышки: все удачи и победы, как невзгоды и поражения, зависят от руководителей.

Мысль эта — суть его творчества. В одном из первых рассказов Абросим Иванович, человек, испытавший еще времена «извержения самодержавия», говорит:

«Вот стану сам с собой рассуждать, что у нас там, в нашем колхозе, с животноводством получается. Прочее хозяйство в гору идет, а животноводство вниз. В чем тут гвоздь забитый? В самих руководителях, по моему».

— Все дело в председателе, — скажет Мартынов — герой главной овечкинской книги «Районные будни».

Не романтическое ли это представление о роли вождей, столь характерное для эпохи? Овечкин не чурался такого взгляда на мир, но писал о другом — не о славе руководителей, а о бедах и невзгодах, которые идут от дурного руководителя, от человека не на своем месте. Поворот этот для литературы тех лет был неожиданным.

«Районные будни» обрывали плотно утрамбованную в 50-е годы традицию. Там царствовал конфликт «хорошего с лучшим», и чем тяжелее жилось людям в быту, тем пышнее поднимались хлеба в художественной прозе того времени.

В хороводе кружились на страницах литературных журналов «кавалеры золотой звезды», «белые березы»; все было отглажено, отутюжено, отлакировано.

«Районные будни» вводили читателя от праздника (что за пир во время чумы), стерли позолоту со щегольских эпозет «кавалеров» и завели с читателем злой и резкий разговор о подлинной жизни.

Овечкин — ярый спорщик, и произведения его всегда полемичны. Потому и печатался он трудно. Так и не удалось ему опубликовать в повести частушку, которую услышал от баб в деревне в конце 40-х годов и которую часто повторял, приговаривая: «Ну какой поэт сможет так точно сказать!»

Вот и кончилась война,
И осталась я одна,
Я — и лошадь, я — и бык,
Я — и баба, и мужик.

Но «Районные будни» ждала удача, они не только увидели свет, но показалось тогда, что земля дрогнула под ногами, время побежало быстрее. На долгое время Борзов — герой очерка, секретарь рай-

кома партии — стал именем нарицательным. Насмешливо поворачивает Овечкин своего Борзова из стороны в сторону, а тот стойко, во всех обстоятельствах, как подсолнух к солнцу, тянется к начальству: голос его он слышит, жест ловит, а те, о ком Овечкин страдал — сельчане, — для него костяшки для отчета.

Борзов уверен, что лишь его действия во благо, он пренебрежительно укоряет заступника крестьян — Мартынова, и в его голосе слышатся знакомые интонации:

«Ты с этой самой крестьянской справедливостью, а я по-пролетарски».

Правдивость, острота очерка задели читателей, о нем заговорили, засуетились и литературные обыватели. «Кто позволил?» Призадумался и вдумчивый читатель. «Как это могло быть напечатано?» «Чудо — да и только».

«Да у них без разрешения только булки городские растут», — зло обрывал Овечкин обывательские пересуды.

Разрешенная смелость, смелость по рангу вызывала у него раздражение. Как-то при мне редактор литературного журнала сказал крылатую фразу о своей сотруднице:

— У нее мысли не по рангу.

— А ты повысь ее в ранге, — с ухмылкой произнес Овечкин.

Для него ни в жизни, ни в литературе рангов не было, был человек, его беды, его страдания.

И все-таки чудо — мы читаем «Районные будни» в журнале. И у истоков чуда — Александр Твардовский, он опубликовал очерк в девятой книжке «Нового мира» за 1952 год.

Овечкин приносил и посылал «Районные будни» во все журналы кряду, и отовсюду они к нему возвращались.

«Опять получил рукопись назад, и чем-то давно знакомым повеяло от этого «большого письма», — писал он мне».

И когда вера в то, что очерк удастся напечатать, иссякла, он отнес его в «Новый мир».

Почему же так? Привычным было уже и в пятидесятые годы, что свои заветные произведения литераторы несли туда — в «Новый мир».

Но произошла трещина в добрых прежде отношениях Твардовского и Овечкина. Как-то в 1948 году в Союзе обсуждали прозу Твардовского «Родина и чужбина». Превосходную, кстати говоря, прозу: поэт и крестьянин Твардовский увидел родину в милой ему Смоленщине и глаз не отвел от удобств крестьянской жизни на чужбине. А на пороге стоял космополитизм. И если родину не полагалось вмещать в милый твоему сердцу, но маленький уголок, то уж от чужбины глаза надо было отводить прочь.

Литераторы и критики дружно набросились на очерк Твардовского. И на собрании, и в печати. Среди хулителей нежданно прозвучал и голос Овечкина. Поэтическое представление о родине как о крае твоего доброго детства, звучавшее у Твардовского, было чуждо Овечкину. Дали бы ему указку в руки, он бы показал родину, обведя тщательнейшим образом все границы страны. Но корил себя Овечкин не за то, что накинулся на Твардовского, — постыдным ему казалось, что сделал он это в отсутствие автора. «Не по-мужски получилось», — неловко оправдывался он. Но покаяний, объяснений не терпел. «Это для барышень». Так и тянулись годы вялой переписки, без душевного согласия, которое складывалось в предвоенные годы и в годы войны.

Поэтому и пошел Овечкин в «Новый мир» нехотя, когда надежды на публикацию очерка оставалось лишь на доньшке. И пошел как бы тайком от себя, вечером, когда сотрудники разошлись по домам и в журнале орудовала уборщица; ей-то он и вручил «большое письмо».

Но для Александра Твардовского «Районные будни» оказались книгой жданной, желанной. Дороги и близки были ему овечкинские мысли о деревне; они стали и его, твардовскими, мыслями. Ко всеобщему удивлению, тайной зависти, скрытому недоброжелательству и радостной надежде он опубликовал очерк. Это подлинное чудо. На каменистой бесплодной земле пробился слабый зеленый росток. Пробился лет за пять до наступления весны, времени, обозначенном в литературе словом «оттепель». Пробился как обещание, как надежда. Он был первым. И об этом не следует забывать. И вновь, как в 1932-м, Овечкин сотворил подвиг, на этот раз — духовный. А сколько их было на его пути — не знаю. Был он человеком замкнутым и глухо застегнутым на все пуговицы, души не распахивал и о подвигах и доблести не разговаривал.

Но вернемся к «Районным будням», — не оттуда ли пошел расцвет нынешней деревенской прозы? Я уверена, что и Абрамов, и Белов не откажутся от родства с Овечиным. А для Твардовского Овечкин — тогда главный человек, к нему тянутся мысли в разговорах с писателями молодыми и опытными.

«Какая поставлена там проблема,— говорил он Михаилу Рошину,— она касается не только сельского хозяйства, но и любого другого; ведь Борзов — это реальная человеческая фигура, а не просто олицетворение борзовщины».

Десять лет спустя, когда к Александру Твардовскому придет повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», — она надолго, а может, и до конца его редакторского пути, станет для него мерой правды и художественности.

Разные времена, различен масштаб дарования писателей: у каждого свои истоки, свой охват действительности, различно и отношение к ней. И если что роднит этих чужих друг другу людей, то это — боль о деревне и чудо появления их произведений на страницах журнала, и один у них крестный отец — Александр Трифонович Твардовский.

Солженицын — истинный художник, и адресат у него — вечность. Слово Солженицына рождает мысль, оно прорастает в душе медленно и живет долго, вызывая к пересмотру твоих отношений с жизнью, с ее прошлым, настоящим и будущим.

Очеркам Овечкина не суждена была долгая жизнь, они сиюминутны, но в них была и взрывчатая сила — они мгновенно требовали от читателя действий. И писал Овечкин свои очерки как письма в ЦК: с уведомлением о вручении; оттуда, из ЦК, он ждал, ждал немедленных директив, указаний. Казалось — все разъяснил, казалось — все, о чем писал, нужно народу, а значит, должно быть близко и ЦК. Но дни шли, Овечкин нетерпеливо перелистывал листки календаря — перемены так и не приходили.

«Злюсь, нервничаю по-прежнему от сознания того, что, видимо, главного не сказал, — написал он Твардовскому через четыре месяца после того, как были напечатаны «Районные будни». — Шуму очерки наделали много, но шум-то литературный. Ось земная от этого ни на полградуса не сдвинулась с места. В колхозе все по-прежнему».

«Не сдвинулась» оттого, что он не сказал главного. Бедный Дон-Кихот! Но какая безумная вера в слово!

А в конце жизни, когда страсти угасли и календарь не нес уже надежд на стойкие перемены, Овечкин написал тому же Твардовскому:

«Настоящая моя мысль осталась там, в нашей коммуне. Сегодня вкладываешь в дело усилия, труд (не бумажный, настоящий), а завтра уже видишь результаты. Все зримо, осязаемо».

Как так — писатель, и вдруг усилия «не бумажные, настоящие»?..

А вот так оно и было. Он принадлежал к литераторам, для которых искусство не было превыше жизни, а то и самой жизнью. Литературе он отводил служебную роль, она была необходима, как леса вокруг строящегося дома. А если сказать более точно, не боясь того, что сравнение это было в обиходе, слово он бросал на лист бумаги, как зерно в землю, и ждал, мучительно ждал, когда взойдет в жизни брошенное им в землю зерно-слово.

И запись в дневнике после поездки в Югославию в 1956 году все о том же:

«Разговор с писателями. Больше всего их интересуют Пастернак, Пильняк, Бабель. И почему не было разговора о действительно лучших наших писателях — Макаренко, Гайдаре, Диковском?»

Я вижу, как улыбаются читатели при чтении этих строк. Где вкус? Где слух?

Да, вкус ему отказывал, стихов Пастернака не знал и не любил (любил и читал наизусть Твардовского, Есенина), как и прозу Бабеля, а улыбаться грех: человеку надо было «ось земную повернуть», и помощником ему была литература действия. И братьями по перу были люди, знающие жизнь и взыскующие правды, для кого, как он сказал молодому тогда журналисту Юрию Черниченко: «Дважды два — всегда четыре, а не шесть с половиной».

Не выносил Овечкин полужизни и лжи. «Никогда не пишите о том, чего не знаете», — зло выговаривал он мне, прочтя мою статью о сельской прозе, которой я поныне безмерно стыжусь. А когда встречал произведения правдивые и, как ему казалось, зовущие к действию, радовался безмерно.

«Прочтите этот рассказ,— писал мне Овечкин, — здорово ведь? Свободно, без оглядки на читателя, которому это может показаться скучным».

И в другом письме:

«Великолепная статья в № 6 «Нового мира» «Как губят море». Кто это Николай Дубов? Если вы его знаете, обнимите его за меня. А Бруно Ясенский — беллетристика, много шуму из ничего. О «Саше» Тендрякова поспорим при встрече. Все-таки он боится обвинений в публицистике и украшает свою повесть всякими красивыми штучками вроде боя быков и прочее».

Но если литературе Овечкин отводил служебную роль, то литераторов как носителей духовной культуры чтит высоко. Он мечтал о круге братьев-писателей, тех, кто, как и он, страдают, глядячи на то, как живут люди в деревне, и охотно бы оставили свои московские квартиры, чтобы поселиться в маленьких городках, вблизи сел, и там дружно строили бы с места застоявшийся и устоявшийся быт.

Овечкин так и жил, никогда и нигде подолгу не засиживаясь. На Кубани земля богатая, ткни палку, и она зацветет, и он переезжает во Львов, Курск, где земля взывает к человеческому труду, воле и выносливости. Мечтает о заболоченной Смоленщине.

На гребне овечкинской славы (а слава пришла к нему добрая, буйная. И он не то чтобы остался к ней равнодушен. Нет, она поднимала настроение, но глаза не застила) Твардовский предложил ему

получить квартиру в Москве. Нет, нет, не переехать, а иметь про запас, чтобы не зависеть от гостиниц при наездах, да и сыновья выросли, в университет скоро. «А отказа Вам не будет», — уговаривал Твардовский.

«Нет, Александр Трифонович, квартиру в Москве просить не буду, ни к чьей она мне. Квартира в Москве — это уже первый шаг туда, в секции, в комиссии. Я и так последнее время бешусь, что не могу плотно засесть за работу».

В 1954 году шел Второй всесоюзный съезд писателей, Овечкин вымечтал, что здесь, в зале, он найдет своих единомышленников, тех, кто, как и он, знают, как нужны селу думающие люди.

В «Чукоккале» — этой своеобразной истории литературы и литературной жизни в стихах, пародиях, эпиграммах, рисунках — Корней Иванович Чуковский рассказал о выступлении Овечкина и как к этому выступлению отнеслись писатели:

«Валентин Овечкин обратился на съезде с призывом покинуть Москву и поселиться вдалеке от центра, чтобы изучить народную жизнь в ее отдаленных глубинах. На меня этот призыв произвел большое впечатление своей несомненной искренностью.

Велико было мое удивление, когда, выйдя в коридор, я увидел на стене плакат, на котором огромными буквами была напечатана дружеская пародия на речь Валентина Овечкина. Я тогда же переписал эту пародию в «Чукоккалу»:

Выступление Овечкина

Довольно! Будя! Пожили в Москве,
От заседаний шумно в голове.
Зачем лишь на столичном пироге
Сидят все сочинители упрямо?
Послать Фадеева обратно в Удэге,
Сурков пусть едет в город Щербаков,
Он рыбинский, туда ему путевка.
Что делает в Москве поэт Светлов?
Послать его в Гренаду или в Каховку!
Пусть Первенцев вернется на Кубань,
А Грибачев — куда ему угодно.
Для Симонова есть Тьмутаракань,
Где можно сочинять свободно.
Когда мой план свершится наяву,
Когда писателей ватага расселится,
Из Курска перееду я в Москву,
Чтоб написать о буднях сей столицы.

Макс Поляновский»

При всей симпатии к Овечкину Корней Иванович тоже не услышал его, овечкинской, боли: оно, конечно, не во вред, чтобы писатели изучили «народную жизнь в ее отдаленных глубинах», но главное для Овечкина было — изменить, сдвинуть эту жизнь с места.

А пародия Поляновского была характерным остроумным обывательским ответом: «Что за бред нагородил Овечкин? Зачем это мчаться из Москвы да в Тьмутаракань?..»

Но события сложились так, что к концу жизни Овечкину до крайности оказалась нужна Москва. И хотя присутствующие на съезде писатели наверняка позабыли об овечкинском выступлении — столько событий нагрнуло с тех пор, но Овечкин сказанного не забывал.

Характерна для Овечкина и другая черта: когда «Районные будни» прервали традицию «святочной» литературы, от создателей ее — Бабаевского, Бубеннова и др. отхлынули недавние их ярые поклонники и с той же страстью, с какой недавно их возносили, стали их же изобличать, в Овечкине сработала жалость к тем, кого бьют, кто слаб: давнее и данное ему от природы чувство.

«Мыльный пузырь не виноват, что он — мыльный пузырь. Не он же сам объявил себя стратостатом, — писал он Твардовскому, — нет уже интереса бить его (Бабаевского), достаточно побитого жизнью».

Был Овечкин привержен времени, взращен им, верно служил ему и тогда, когда шагал со всеми в общем строю (а это бывало нередко) и когда рывком вырывался из него, если того требовали его представления о чести, истине, справедливости.

Они менялись, эти представления, как у большинства из нас, он нередко подставлял под понятие истины понятие правды сегодняшнего дня, и отсюда большей частью шли его заблуждения. И кто его знает, пришел ли он к пониманию того, что истина и правда — не однозначны. Кто это знает. Но думаю, что, живя в мире несправедном, он жил интуитивно по правде, таково было устройство его природы. Как ни странно сейчас это слышать, Овечкин верил во врагов народа, в подлинность того, что говорилось на процессах. Но когда уволители жену одного из заключенных, озлился: «А ее-то за что? Она в чем виновата?»

В 1937 году исключили из партии редактора ростовской газеты «Колхозная правда» Александра Михалевича как сына попа: «А он что — виноват, что его попадья родила?» И дрался, дрался в обоих случаях победительно.

Каково же ему было в 1956 году? Доклад Хрущева его оглушил. И когда он слышал не серьезные разговоры, а щебетанье, что все и про все знали, мрачно огрызался: «Знали и молчали. Эка войны». Он бы не смолчал, не было в его характере ни запаса цинизма, ни запаса мудрости. Он бы не смолчал, а чем бы это кончилось — представить нетрудно.

Но отраву от услышанного — а для него это действительно было отравой — несла и надежду. Если об ошибках прошлого сказано вслух, значит, они не повторятся. К тому же ему позвонил помощник Н. Хрущева В. Лебедев и сказал, как нужны его очерки и как читают их в ЦК. «Не читают — изучают». Продолжение «Районных будней» — «Трудную весну» печатала «Правда».

И снова Овечкин верит, что пришло время перемен. И снова с жаром, страстно пишет письма в ЦК о сельском хозяйстве, о том, что слушать и прислушиваться надо к тем, кто работает на земле.

И снова доверие обмануто, письма его — как бутылка, брошенная в океан: ответа на них он не получал. А вскоре Хрущева обуяла страсть к кукурузе, и всем областям приказано было ее сажать, вне зависимости от климатических условий.

— Где же это видано, чтобы «барыня» по вологодским полям гуляла? — ворчал Овечкин. Кукурузу он величал «барыней».

И вновь писал. Звонил Лебедеву, добиваясь встречи с Хрущевым. Овечкин не мог жить без надежды и веры и дрался за нее, и когда земля уходила из-под ног, ему всегда казалось, что он чего-то недообъяснил, а если толком расскажет, что и как надо сделать, то не могут же его не послушать — не уроды же там, наверху, сидят.

Но ни одного ответа, ни письма, ни звонка. Об авторе «Районных будней» словно позабыли.

Бывает так, что поезд идет в известном тебе направлении — неожиданно отцеплен вагон, в котором ты сидишь. Поезд ушел, а ты оказываешься на заброшенных путях, и выбраться на колею чрезвычайно трудно, только и остается — идти пешком. Овечкин бы мог — по его силам было — пешим ходом, борясь с Борзовыми, добраться до станции. Но для этого надо было с кем-то столкнуться, для этого нужен был противник, с которым он мог вступить в ожесточенный спор, а окружали его тишина и молчание. Взорвать надо было тишину.

12 мая 1957 года Овечкин въевь увидел Хрущева. Овечкин видал его и прежде — на фронте, во времена его работы в «Киевской правде». Но нынче он был зван на пир, партия и правительство братались с интеллигенцией. Хрущев был главой застолья.

Не стану писать о том, как куражился пьяный Хрущев, как паясничал и подыгрывал и подхалимничал трезвый Леонид Соболев, время рассказать об этом свидетелям встречи. Мой же рассказ об Овечкине. А у него вновь мелькнула надежда (куда от нее деться) — авось здесь удастся сказать и о «барыне», и о том, как рушится сельская жизнь. Но где там! Не для разговора были званы гости.

Пьяный Хрущев изгалялся и нежданно обрушился на Маргариту Алигер — она была одним из редакторов альманаха «Литературная Москва», а альманах был не в чести:

— Нет, вы мне скажите, почему беспартийному Соболеву я доверяю больше, чем вам, коммунистке Алигер?

Еще бы, «аристократ» Соболев умел прикинуться и мужичком, если того требовала карьера, он бы и гопака сплясал, чтобы улестить Хрущева, а коммунистка Алигер, нарушая правила игры, что-то отвечала «Не знаю», пыталась что-то объяснить, с чем-то поспорить.

Когда торжище кончилось и все двинулись к своим машинам. Маргарита Алигер шла по длинной аллее парка одна как прокаженная. Куда исчезли друзья? Не стану их обвинять, но еще жива была память о 37-м годе. Овечкин рванул к Алигер и пошел рядом, рука об руку. Алигер едва справлялась с дрожью, и Овечкин, словно заклинающая ее, повторял и повторял:

— Не дрожи. Не дрожи. Я бы снял пиджак, но у меня подтяжки.

Рука об руку, так они и подошли к машине Симонова, сели в нее, и Алигер, оборотясь к Симонову, спросила:

— Это что, непоправимо?

Симонов промолчал.

— Для Хрущева, конечно, да, — ответил Овечкин.

Одно к одному. Одно к одному.

Вскоре к Овечкину обратились с просьбой написать о селе Калиновка, в котором родился Хрущев и о котором поэты слагали стихи и песни. Репортеры услужливо предлагали материалы, и ездить-де в Калиновку было ни к чему. Но Овечкин, конечно же, поехал в это чудо-село, а очерк его был опубликован в 1974 году в № 7 «Журналиста», когда не было в живых ни Овечкина, ни Хрущева.

И вновь он писал о том же: «дважды два — четыре, а не пять с половиной», писал о калиновском мифе, о технике, которую присылали туда в изобилии, и миллионах рублей, ни за что, ни про что переданных Калиновке — 4,5 миллиона рублей безвозмездно и 5 миллионов в кредит, и — как вывод:

«...Несмотря на усиленную пропаганду достижений Калиновки... при- мер как-то не увлекает соседей, не те методы, не те решения вопросов».

Одно к одному. Одно к одному.

Вот тогда-то и почувствовал себя Овечкин на земле неустойчиво.

На календаре 1962 год. В «Новом мире» готовят к печати повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Москва торжествует, рукопись ходит по рукам, и кто-то произносит крылатые слова:

«Теперь нельзя писать по-прежнему, теперь уже двери настезь, сквозняк в душе».

Но сквозняк — это сквозняк. В одно и то же время дверь где-то распахнута, а где-то теми же руками заколочена. У Овечкина в эти дни рухнула вера в руководителей, в мартыновское «все дело в пред-

седателях». Рухнула и его вера в то, что можно изменить жизнь на селе и что ему дано это сделать. А был он взыскующим правды, из тех русских людей, что шли в самосожженцы.

В 1962 году шла 12-я Курская партийная конференция. Шла как всегда. Секретарь обкома судил и рядил о сельском хозяйстве, о культуре, о промышленности, театре и пьесах.

Все как всегда, да Овечкин не тот.

«Культ личности, культ личности,— выступил на конференции Овечкин,— культ должности, а не личности. Вот секретарь обкома сельское хозяйство знает и говорил бы о нем, а он об искусстве, о театре... А что ему театр?.. А должность, знать, такая — обо всем судить и рядить, всех всему учить...»

Не дали Овечкину договорить. Зал гудел. Зал шумел. То ли искренне, то ли притворно, но встал на защиту своего секретаря.

В ту ночь Овечкин совершил попытку самоубийства — выстрелил из охотничьей двустволки...

Выжил. Лечился в нейрохирургическом институте им. Бурденко. Вышел оттуда с черной повязкой на глазу, с незаживающей раной на лбу, трезвый как никогда прежде и начавший пить в одиночестве.

Из Курска надо было уезжать. Было нестерпимо ходить по тем же улицам, по которым ходил уверенно, надеясь на лучшее, внушая эту веру окружающим, а нынче они же — эти люди — тайно выражают тебе симпатию, те самые, кто сидели в зале, негодовали со всеми в стаде.

Из Курска надо было уезжать.

Москва была перевалочной станцией. Вот тут-то по утрам, оставаясь с собой наедине в гостинице, Овечкин звонил в секретариат Хрущева, тому же Лебедеву, что так хвалил его очерки, и говорил, говорил, говорил... И о развале сельского хозяйства, и о культе должности, и о Хрущеве — гонителе искусства. Говорил — и матерился.

Администрацию гостиницы трясло от страха: «Главного — Никиту Сергеевича-то как поносит. А отвечать-то кому?»

Тогда-то и появилась сетка на уровне этажа: «Ну не станет же нормальный человек, в самом деле, начальство — да еще такое — ругать», — говорили и психиатры, и всегда корректный и на все готовый Евгений Борисович Нечаев.

...Из больницы Овечкина привезли к Атаровым. Он шутил, рассказывал, как плел шляпки из соломы для дежурной гостиницы, да вот беда — забыл в больнице. Не возвращаться же туда за шляпками.

Из Курска надо было уезжать.

В Подмосковье в специальном лечебном учреждении Овечкин излечился от пьянства и от надежд и иллюзий и поехал в Ташкент, где жили его сыновья — геологи.

Ташкент для него — почти заграница, чужая страна: «...не зима, а баловство, не земля, а парники. Рай-то рай, но грехов у меня мало-вато, мне бы, грешному, в Россию». Шутил, а глаза были грустные, и рана на лбу так и не заживала.

Я была в ту пору в Ташкенте в командировке, когда Овечкин приехал туда впервой, чтоб приглядеться к этим местам.

Был март, цвел миндаль, и розовые лепестки, легкие, как движения бабочки, радовали глаз. Пестрел, шумел, как всегда, праздничный восточный базар.

Но для кого — Шехерезада, для Овечкина — чужая страна.

«Да, ты был прав,— писал он Твардовскому,— тяжело здесь жить аборигену. Не в климате, конечно, дело, жару перенести не трудно... а вот для души чего-то не хватает. Даже не чего-то, а многого».

Восточное изобилие, пиры, праздники — все было ему вчуже.

«Жить здесь вообще-то стало неважно... просто потому, что не Россия, не родное, с которым был связан всю жизнь. Я даже не предполагал, что я до такой степени русский человек. Старое дерево в новую почву пересаживать нельзя. Не по-научному я с собой поступил».

Манили его по-прежнему суглинистые земли Курска и болотистые поля Смоленщины. Там он был нужен, там он знал, о чем и как нужно говорить. А что многое ему не удавалось — не его вина, его трагедия. И жизнь ушла в воспоминания.

Он часто болел — мотал и разматывал клубок воспоминаний, и память уводила к коммуне. Написать бы о ней. Пробовал, но не решился пересматривать прошлое, и уход в воспоминания оказался столь же безвыходным, как безвыходна и сама жизнь.

Во фронтовом блокноте Овечкина есть запись, звучит она пророчески:

«Слепые и зрячие вместе работали в одной мастерской. Бывало, не различишь, где слепые, где зрячие. Но однажды ночью, в час воздушной тревоги, погасло электричество. Зрячие бросили работу, а слепые ее продолжали».

Прозрел ли Овечкин? Не знаю, не убеждена. Но путь к прозрению был гибельным.

27 января 1968 года в Ташкенте Овечкин скончался.

«...Вот и вышел человечек»

Звенья цепи

Юрий Осипович Домбровский был ярким противником всяких облыжных обвинений. Всегда требовал неопровержимых доказательств.

— Да ведь так нас от них не отличить! Система доказательств — это тоже нравственность, — говорил он. — А нравственность сегодня самое сильное и почти единственное оружие писателя... Например, история со Сталиным — который — Джугашвили: бывший жандармский полковник как-то там добыл личную записную книжку казначей отделения тайной канцелярии. Того самого, который без всяких ведомостей и расписок обязан был выплачивать суммы на содержание самым матерым провокаторам третьего отделения, находящимся в недрах и руководящих органах российской социал-демократии — в том числе и среди большевиков. А для памяти аккуратный казначей занес в свою личную записную книжицу их настоящие имена и фамилии. Список был персон на сорок или около того. И вот в этом драгоценном списочке самым последним значился некто «Василий»... Жандармский полковник после революции как-то завладел этой записной книжкой, скорее всего для самообороны — мол, попробуй теперь тронь меня! Многим хотелось бы сказать, что этот Василий и есть сам Усатый-Полосатый Джуга, ведь Василий — это одна из подпольных кличек Сосо-Сталина! И я сам уже не знаю, что бы отдал за такое доказательство. А Солженицын, так тот бы сразу мильон отвалил! Да не тут-то было — ни одного настоящего доказательства, подлинного документа. Только догадки да косвенные улики: облегченные побеги из ссылки и из тюрьмы, ослабленные приговоры судов — чепуха, а не система неопровержимых доказательств... Или с шолоховским «Тихим Доном»...

Юрий Осипович требовал доподлинных свидетельств, документов, текстов и заявлял, что даже результаты и выводы шведской ЭВМ не примет как неопровержимые доказательства:

— Дайте мне систему стройных научных аргументов. Неколебимых... — И горячился.— Одно дело литературное произведение — его роман! А совсем другое — шолоховские шутовские да и подлые трибунные и письменные выступления, скверные поступки... Тут действуют две противоположные личности одной и той же персоны. Тут никуда не деться, — и широко разводил большущие ладони и наклоня патлатую голову, как бы сдавался на милость мрачных обстоятельств, словно говорил — «все грешны, да не таким смертным грехом...»

Так вот, я иду на риск — у меня ни одного документа, ни одного, казалось бы, неопровержимого доказательства. Но полагаю, что свидетели все равно найдутся! Не могут не найтись — тому примеров множество, и с каждым днем все больше. Моя система доказательств основывается на том, «что очи бачили», и еще это система параллельных свидетельств.

Хранители и охранители наших архивов захватили и держат в так называемых секретных застенках истории нашего бытия, истории жизней наших родителей, предшественников, предков и современников, наших друзей и близких, наших врагов и мучителей, наших негодяев. Архивы — доподлинные и поддельные свидетельства — до сих пор репрессированы. И все под видом заботы о состоянии здоровья нашей с вами нервной системы, как будто она не проверена на самых крайних и недопустимых режимах. Ведь только люди с извращенной психикой могут отстаивать правоту подобной защиты государственных интересов и ведомственной круговой обороны. Так вот, несмотря на всю закрытость и ворох подделок, вплоть до медицинского заключения о причинах гибели, я утверждаю:

ЮРИЯ ОСИПОВИЧА ДОМБРОВСКОГО УБИЛИ.

Кто?.. Думайте сами... Я буду излагать факты. А дополнительные показания даст сам Домбровский. Хоть и прошло десять лет со дня его гибели. Писатели это умеют.

Необходимо строгое и непредвзятое исследование, если хотите — дознание. И, я уверен, оно впереди; необходим главный, оснащенный свидетель, подкованный на все четыре копыта — и этот человек (я убежден) уже вглядывается в детали трагического события и ищет, ищет подступы к сути. Совесть и жажда правды не спят вечно. Есть дни, когда они просыпаются и начинают говорить — или в полный голос, или шепотом. И никакие прилежные ученики, почитатели, сослуживцы, укорители-укротители, даже «голос прогрессивной общественности» с этим внутренним пламенем управиться не смогут.

А я только утверждаю факт — ОН УБИТ. Это будущим исследователям, правдолюбцам, дотошникам, чтобы компетентчики не замазали, не растворили в кислоте времени, не утопили бы в яме с негашеной истиной.

Мы так долго, так упорно боролись и боремся за полное торжество ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ — и сам Юрий Осипович Домбровский, в том числе, всей мощью своих книг, — так увлеклись этой справедливой борьбой, что не подумали, а как быть с торжествовавшей несколько десятилетий (а кое-где и веков) ПРЕЗУМПЦИЕЙ ВИНОВНОСТИ?.. Когда ты сам или все твоё многоэтажное учреждение должны непрестанно доказывать и свою вину, и свою невинность. Потому что жили и творили **только** по лжи, **только** обманывали и подделывали, крали, фальсифицировали, убивали нещадно и лютовали люто. И нет тебе уже веры ни в чем.

Есть учреждения, компетентные органы (какой кошмар!), и оно не одно, их несколько. И все они карательно-репрессивные, и множество людей и нелюдей к ним причастны — и ко всем им сегодня следует отнести эту пресловутую ПРЕЗУМПЦИЮ ВИНОВНОСТИ, и без всяких снисхождений. Пусть они сами доказывают, денно и нощно (они так привыкли — круглосуточно!) доказывают свою невинность. Потому что нет им веры ни на земле, ни на небе. Пусть доказывают с документами в руках и в зубах, с отпечатками пальцев на всех мыслимых и немыслимых местах, доказывают, отыскивая свидетелей, которым Суд Праведный поверит. (А где взять не только таких свидетелей, но и такой суд?..) Если ты только то и вершил, что немыслимые злодеяния, безграничные унижения, паскудства и изуверства, истребления людей всех возрастов и сословий; если оказывается, в конце концов, что нет таких преступлений против человека, человечности и человечества, которых эти учреждения и их рыцари не совершили бы; и нет той степени садизма и бесовщины, в которой, по меньшей мере, они не сравнялись бы с самыми лютыми, самыми изощренными немецко-фашистскими убийцами, а кое-где и

лихо превзошли их, и в количественном отношении, и в опсихелой ма-
ниакальности*.

Ну уж простите великодушно — «черного кобеля не отмоешь до-
бела» — пусть сам вылизывает себя до дымчатой белизны или, на
худой конец, травит свою шкуру концентрированной перекисью..
Авось!..

А сегодня показания дает сам писатель Юрий Осипович Дом-
бровский. И я — автор этого текста, близкий к нему человек и сви-
детель.

Совершенно случайно в мои руки попал журнал с рассказом
Юрия Осиповича Домбровского (самым последним) «РУЧКА, НОЖКА,
ОГУРЕЧИК»**. О существовании этого рассказа я вообще ничего не
знал. А ведь свой роман «Факультет ненужных вещей», как только
он завершил работу над ним, Домбровский прихлопнул сильной
ладонью, увязал в толстенную папку с тесемками и протянул
мне:

— Вот. Читайте! Одиннадцать лет тут и все остальное. Учтите,
вы будете читать первым. Даю!

Ну я-то думал, что первыми уже были два-три вполне достойных
человека, их имена нетрудно было вычислить, но суть состояла не в
том. Не этот капитальный роман, а маленький рассказ оказался куда
более жутким и отвечал на вопросы самого последнего периода вре-
мени — смесь фактов и фантазии. Фантазии, самые что ни на есть
реальные, казалось, были разбужены страхами, а страхи были вы-
званы этими самими...

Впрочем, пора остановиться и кое-что разъяснить.

Однажды, еще в первые годы знакомства, Домбровский ска-
зал:

— Знаете, я никогда работать с вами в кино не стану.. С эти-
ми сценариями — беда... — но ведь я ему тогда и не предлагал со-
трудничество.

— Это почему же? — все-таки полюбобытствовал я.

— Потому что поссоримся. А я с вами ссориться не
хочу.

Заявление было неожиданным, но и лестным — я воспринял его
почти как объявление о душевном расположении. В памяти заруб-
кой осталась заповедь — «Домбровский не для кино». Ведь я всегда
дорожил возможностью общения с ним, и почти всегда это общение
было для меня праздником — хлопотные исключения не в счет!..
Читал почти все, что было им написано за эти годы, и это не удиви-
тельно, удивительно было то, что он прочел почти все, что было напи-
сано мною за долгие годы и хранилось в глубоких ящиках старого
бюро. Обычно он очень быстро прочитывал то, что я приносил, и
почти всегда спрашивал:

— А еще что у вас там есть?.. Тащите — прочту.

* Посмотрите хотя бы «Медицинскую газету» за 10 дек. 1989 г. № 148 (5009) —
«Тайна аула Хайбах» — об истреблении органами НКВД 27 февр. 1944 г. немощных,
больных, неспособных на дальнюю эвакуацию и высылку стариков, детей и сопровож-
давших их здоровых лиц (приблизительно 700 душ чеченцев и ингушей) — их заживо
сожгли в конюшне совхоза им. Берия, а тех, кто чудом развалил ворота и попытался
вырваться из полыхающего строения, расстреляли из автоматов в упор... И должности
и звания указаны. Появились свидетели! Сегодня появились. И у них есть имена.

** Рассказ был опубликован в журнале «Поиск» № 1, издаваемом во Франции
сыном генерала Григоренко. А самого Петра Григоренко Юрий Осипович высоко чтит
и говорил об этом не раз.

Складывалось впечатление, что ему чего-то не доставало — наподобие кислородного голодания, что ли?.. Он был жаден чрезвычайно, прямо набрасывался на исписанные листы бумаги и непрестанно ждал, ждал и искал там чуда или новых потрясений... Уж кому-кому, а ему этих потрясений хватало.

Но вот в один из недобрых дней, еще задолго до окончания романа «Факультет ненужных вещей», Домбровский неожиданно произнес:

— Давайте-ка вместе накатаем настоящий сценарий — вот такой вот! — и он сжал литой кулачище и потряс им в воздухе.

Я спросил:

— Вы что, решили поссориться со мной?

— Да бросьте, при чем тут ссоры. Мы сделаем сценарий, какого у них еще не было! Закрученный, на стальных пружинах. А?

Я тянул с ответом вовсе не потому, что не хотел работать с Домбровским, — очень хотел! — а потому, что знал переменчивость его характера. Но не тут-то было, он при людях снова предложил мне то же самое еще дважды или трижды. Пришлось ответить:

— Только вы должны знать: кино — это прорва, игра в кошмары.

— Да что я не знаю?! Душу вытряхнут, да еще в подарок денег не заплатят, — посмеиваясь, сказал он.

— Не в этом суть — деньги-то нам обязательно заплатят, — осторожно похвастался я, — но душу вытряхнут раза три, а то и четыре, пренебреженно.

— Согласен. Лагерник и фронтовик — это настоящая компания! — патетически воскликнул он и потряс руками в воздухе на манер громовержца.

Пришлось попросить свидетелей запомнить все детали нашего сговора, чтобы потом на меня бочек не катили.

Не стану излагать перипетийную часть, скажу только, что душу из нас (в парном варианте) вытряхнули, только на сценарном этапе, шесть раз. После шестого раунда Домбровский взмолился и попросил отставки, а дальше, еще три раза, вытряхивали эту самую душу из меня одного. Держался я, как на Шевардинском редуте, ибо пообещал, что «нам обязательно заплатят!..» — вот уж верх самонадеянности...

Но деньги нам в этот раз действительно заплатили, и, несмотря на чудовищную растянутость во времени, заплатили полностью!

Вот это бесспорно радостное обстоятельство было изрядно омрачено, потому что была у нас с Домбровским некая скрытная, но четкая договоренность: роман можно будет печатать не ранее чем через ОДИН ГОД после выхода фильма на экраны. С одной стороны, условие, в общем-то, нормальное: роман тогда еще не был закончен, полный производственный цикл, мы посчитали, года два с половиной (вместе с прокатом фильма); а с другой — условие скверное, даже безнравственное — как это не печатать, если такая возможность представится? — ведь речь шла о его кровном детище. После второго прочтения романа «Факультет ненужных вещей» (а я прочел его сразу — два раза подряд) в записной книжке было написано: «Если «Мастер и Маргарита» один из лучших романов первой половины XX века (этот роман я прочел летом 1959 года), то «Факультет» будет первейшим романом всей второй половины этого мрачного столетия». Я тогда мало что знал о романе Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба», но я теперь ставлю эти два произведения (оба написаны в подполье) вровень. Правда, мы тогда не могли даже предположить, что работа только над сценарием затянется почти на два с половиной года.

Следует, по-видимому, кое-что сказать и о самом предмете наших забот — о сценарии «Шествие золотых зверей». Это была история некоего клада, обнаруженного на территории Семиречья, в древнем захоронении, и затем исчезнувшего при странных обстоятельствах. Действие происходило в Казахстане. Не пресловутые сложности расследования волновали нас, не доблести сотрудников угрозыска, прокуратуры и репрессивных органов, а личность и поступки человека неординарного, свободолюбивого, убежденного, яркого в своих проявлениях, талантливого и... упрямого! Он, скромный археолог-самоучка, сотрудник краеведческого музея (сразу видно — из ссыльных), оказался в центре запутанных обстоятельств следствия... А к тому еще романтическое повествование о том, как банальное курортное приключение превратилось в большую любовь, с драматической нотой и гибелью... Оказалось, настоящая любовь — ситуация не столь ласковая и нежная, сколь грозная.

Все эти мотивы теперь уже всемирно известного романа тщательно вуалировались и ослаблялись сюжетными хитросплетениями. В сценарии чуть проглядывали художественно-образные намеки на мощные романские конструкции. Кое-что здесь было похоже на жизненные ситуации самого автора, бьющегося многие годы как рыба об лед...

Как позднее сказал Юрий Осипович: «Ну, что ж — за что боролся, на то и напоролся,— получается сильно разбавленный нашим кинематографом Домбровский...»

Отступление первое

Съемки фильма «Шествие золотых зверей» подходили к концу. Домбровский был автором сценария, я — его соавтором и режиссером-постановщиком. И уж, как говорится, тут полупризнаниями и полужарганами не отделаешься. Чтобы понять всю запутанность ситуации, придется рассказать поподробнее.

Про существование романа «Факультет ненужных вещей» я знал всегда, если можно так выразиться, с того самого времени, как познакомился с Юрием Осиповичем, т. е. со времени написания первых глав романа. Я всегда догадывался и о том, что автор тянет с его окончанием и раз за разом продлевает сроки его сдачи в редакцию «Нового мира». Роман был договорный и значился как продолжение «Хранителя древностей».

Но знал я еще и то, что ни при какой погоде «Новый мир» печатать этот роман не станет. Твардовского уже не было, его ближайшего боевого окружения — тоже; погода на дворе стояла мерзкая, все более и более давящая, неугодных сплавляли нещадно: кого в безработицу да в бескормицу, кого в ссылку и лагеря, кого по психушкам. А у Домбровского получалось произведение, резко направленное против всех изуверских и подлых приемов сталинской репрессивной администрации тридцатых годов (так его определил сам автор). Но роман, конечно же, нещадно бил и по тогдашней современности шестидесятых—семидесятых, да и всякую современность такой роман будет лихорадить еще долго. На то она и есть — настоящая литература, что относится ко всем временам. Я знал — если роман напечатают, то уж наверняка Т А М, за рубежом, а это означало, что наш фильм в лучшем случае на экраны страны не выйдет. И мне опять так намылят шею, что впереди светит несколько лет безработицы. А что такое и три и четыре года без заработков, мне уже было известно. Но это «в лучшем случае», а в худшем...

Как бы там ни было, а наш сговор состоялся. И вот за несколько месяцев до завершения работы над фильмом Юрий Осипович начинает сообщать мне о разных странных и шатких непредвиденностях: то Рой Медведев просит его, прямо уговаривает, уламывает, дать роман в их какой-то заграничный журнал, а Юрий Осипович категорически ему отказывает; то уже Жорес Медведев дает анонс о публикации этого романа на страницах журнала «Двадцатый век»; то какая-то французская благородная эмиграция выступает против публикации романа «Факультет ненужных вещей» на страницах такого органа, как братско-медведевское издание; потом сам Жорес-де собирается опубликовать роман якобы без согласия автора — автор звонит по международному телефону и угрожает ему судом; эмиграция вступает за бесправного автора и клянется разорить незадачливых издателей. Тут же, следом, появляется уезжающий во Францию насовсем Андрей Донатович Синявский с женой и просит, прямо настаивает, передать роман в его надежные руки... Мастер старается держать меня в курсе всей этой вакханалии... Справедливости ради должен заметить, что почти все эти сведения я получал исключительно от самого Юрия Домбровского... Выходило как-то так, что я категорически выступал против передачи рукописи за границу, хотя я был только за соблюдение нашей предварительной договоренности. Путаница выходила изрядная, и вокруг меня начинал разыгрываться небольшой московский скандал. А у меня не было ни часа времени принять в нем участие. Да и желания, по правде говоря, не было тоже.

Не хотелось бы в один котел сваливать безмерно пострадавших и затасканных по судам, лагерям и психушкам людей. Все они так или иначе нахлебались свыше всякой меры, и сегодня, казалось бы, уже многое можно понять. Я мог бы начать делить их на чистых и нечистых по заслугам и по промахам, но не мое это дело — судить да рядить, становилось ясно одно — от всех этих затей и их осуществлений за версту несло самой низкопробной ГэБухой (уж тут у нас богатейший теоретический и практический опыт от тридцатых годов и по сей день). Я утверждаю и подчеркиваю — **«низкопробной»**, так что пусть высокопробная не принимает моих соображений на свой счет.

Прошу, умоляю Домбровского уговориться и мягко послать всех вышеперечисленных куда подальше — ведь он умеет... Да еще как!.. Но Мастер уже стоит на боевой тропе, гудят барабаны, он закусил удила, подзапутался в обещаниях, прижимает обе руки к груди, ходит в одних носках по комнате, из угла в угол по диагонали, часть пуговиц оторвана, всё нараспашку, клянется-божится, что никогда, ну ни под каким видом, не нарушит нашей договоренности... не подведет!.. И-и-и пьёт!

Отступление второе

А ведь и вправду вокруг Домбровского кроме интересных, ярких, талантливых, обыкновенных, авантюрных, странных, лагерных, уголовно-пьющих и пьющих не уголовно и, представьте себе, вовсе не пьющих людей — бродят, кружат и выются стукачи, провокаторы вперемежку со всякой поганью и нечистью. У меня такое впечатление, что всех их он тщательно коллекционирует! И мерещится, что Домбровский все это скопище приберегает на какой-то сверхчерный день — дабы была возможность конструировать, сложить свой собственный, доселе невзданный апокалипсис. У него к этой нечисти особое влечение, словно род недуга. Он просто без нее не может. Только с одной немаловажной поправ-

кой — в этой свалке он, как никто другой, умеет отыскивать действительно уникальные экземпляры. Не всегда приятные, но всегда замечательные, а то и талантливые.

Все неотвратимее во мне растет убежденность — ЭТО ДОБРОМ НЕ КОНЧИТСЯ. В окружающем его пространстве уже носится какая-то чертовщина, крутит, грозит... А он лезет на самую середину омута, в центр мусорного урагана. И, мерещится, знает зачем.. А ведь меня сам не раз остерегал от чрезмерных увлечений и азарта в авантюрных играх, призывал соблюдать разумные дистанции в отношениях с опасностью, говорил: «Играть можно, нельзя заигрываться...»

Цитата

В ответ на вопрос, брошенный в пустоту, по поводу положения в стране — «И долго еще все это может продолжаться?!» — Домбровский пожал плечами, широко развел непомерно большие руки, попытался пятерней собрать и откинуть нависающие на лоб густые волосы, плотно поджал губы и заходил по комнате. Это означало некий старт, концентрацию, после которой будет рывок, атака:

— Вот так!.. Привозят нас в порт Находка. Холод. Ветер со всех четырех сторон. Небо низкое, чернота. Выгрузили шесть тысяч ззков — стоят партиями — лагерь-пересылка, две версты в любую сторону! Меня и еще одного хмыря снарядили за кипятком. Сумерки... Мы искали-искали — наконец нашли. Титаны огромные, как дома!.. Под ними огонь бушует. Костры прямо из непиленных бревен. А от огня очередь извивается, уходит за горизонт. Скрюченные ззки ждут, когда в титанах вода закипит... А кто знает, когда?!

И он посреди комнаты глубоко присел на корточки, втянул голову в плечи, мигом захлестнул полы пиджака — укутался и прикрыл макушку закинутыми руками, а кисти утопил в рукавах — ни дать, ни взять, насквозь промерзший зэк... И из этого клубка слышится: — А таких ты сячи! — Он резко распрямился, встал — хоть и сутулый, но все равно высокий, интонации становятся грозными, — ТАМ ВНУТРИ ВСЕ ГУДИТ! ВАРИТСЯ!.. Я и говорю напарнику: «Вот сейчас наберем...» — На меня как кинутся: «Сука! Гад! Мы здесь второй час корчимся. А он, падла, пришел и сразу... Да мы!.. Да я!.. Да тебя!..» — За несколько секунд до того они проверяли, и ни капли не текло. «Друг! — говорю, — потому я и наберу за пять секунд, что ты ждал и корчился тут два часа и еще сколько-то лет... Смотри!..» — открыл кран. Оттуда как хлобыснет! Крутой кипяток! Все сдвинулось, загудело — тут уж им не до нас было. А я набрал все посудыны, и мы пошли... Никто в мире не знает, где и когда закипит, — руку не приложишь, внутрь не заглянешь. — Кто знает — где? — когда? — как? Хлынуло, и все! — Тихо, чуть хитровато улыбнулся, понимая, что притча сложилась и произвела впечатление. — Базис давно уже не покрывает потребности непомерно разросшейся и разбухающей ежечасно надстройки. Да-а-авно!.. Только барон Мюнхгаузен мог заткнуть задницей Великий, или Тихий, океан. Мы, у в ы., н е М ю н х г а у з е н ы.

Обвал

Домбровский зверски избит — около девяти вечера в полупустом автобусе. Все с его слов — «молодая компания стояла в хвосте автобуса» — он вошел, не задирался, никого не цеплял, в руке был тяжелый портфель (якобы он ехал из издательства).

— Автобус же полупустой. Как всегда свидетелей нет!.. Удар сзади обрезком трубы, вот сюда. Второй — вот по руке..

— Откуда вы знаете, что обрезком трубы? — спросил я. — Ведь удар сзади, и вы рухнули?

— Когда очухался, подо мной этот обрезок валяется..

— А почему вы думаете, что это молодая компания?.. А не кто-нибудь из тех, кто зашел следом за вами?

— Да. Тут я того... не обратил внимания... Ну, мне помогли выйти... Сидел... Портфель... Еле дошел.

Но дома его ждал лагерный друг (разумеется, самый закадычный) — «боль страшная... думал — поутихнет... стал ложиться (друга на диван — «И не споры!») — сам решил на полу, стал ложиться — выдержать невозможно! Хоть криком кричи. Вызвали «скорую»... — Рентген... Привет!» — Два перелома, самые настоящие, к героическим выдумкам никакого отношения не имеющие, гипс на всю левую сторону от ключицы до кисти...

Только этого не хватало. Горе и есть горе... Работа над фильмом идет к концу. Близится и развязка и расплата... Только не подумайте, что рассказ идет о Буй-турах и Добрых Молодцах, еще не нарезавшихся, не наломавших дров и ребер, — ему уже стукнуло шестьдесят восемь, из которых двадцать два были ссыльно-каторжными.

Прошло около трех месяцев, сняли часть гипса — ключица освобождена. Вот-вот можно будет снять гипс и с руки... Сняли с руки... Он еще слаб очень. И как-то весь скрючился — с ним этого раньше никогда не случалось — что бы ни стряслось, гусар всегда был на первом месте!.. Его теория античастиц, находящихся в организме, которых можно усмирить исключительно положительными алкочастицами, в полном разгаре стройности и проходит усиленную экспериментальную проверку — хоть премию давай за внедрение.

Второй обвал

Совет... Приезжаю... Дома какие-то люди (в общем-то, все знакомые — и близкие и дальние) — сходка... Затаскивает в маленькую комнату, достает откуда-то и протягивает — КНИГА! Настоящая, объемистая, гляцевый переплет, на обложке рисунок — а-ля двадцатые годы, бумага тонкая, замечательная, отменный шрифт — чудо какой шрифт, автор Юрий Домбровский, с портретом, «чтоб не перепутали...»

«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ» — роман.

Продолжение «Хранителя древностей». Внутри — книга I, книга II, книга III, книга IV, книга V — содержание мне известно досконально, до буквы. Но тут еще послесловие Жана Катаала!.. Аж в глотке пересохло... Великолепное послесловие...

— Вы хоть что-нибудь переделали? Успели?

— Да, кое-что... Подсократил... Знаете, главное, не касаться личностей. Имена не затрагивать — тут они на все пойдут, закон банды. А за аферы тех лет и тех персонажей они вроде бы и не отвечают. Ну и потом, по той, по вашей линии, чуть-чуть... Ну и финал полностью переделал. Мне еще один человек говорил, что никуда не годится. А теперь... — Он двумя руками прижал книгу к груди, глаза его сверкали, «как в разгаре сражения», при описании восторженным романтиком.

Человек сделал дело своей жизни — одиннадцать лет писал роман, отрывался только, чтобы накатать внутренние рецензии для «Нового мира», там он добирал рубли и десятки вдобавок к орди-

нарной пенсии. И очень редкие публикации — прорывы к читателю: что-то в Казахстане, что-то в Москве. После книг «Хранитель древностей» и «Обезьяна приходит за своим черепом» всего несколько публикаций — «Смуглая леди» (три великолепных повести о Шекспире, изданные у нас и за рубежом), «Факел» — несколько рассказов о художниках города Верного... Похвальные рецензии доходили из Франции, ФРГ, Англии, США, Италии, а дома молчок — полная глухота. И ведь так годы и годы — вся жизнь. А тут книга! Да еще какая!..

Он принял мои поздравления торжественно, даже церемонно. Не торопясь, без обычной суеты. Облобызались! Он произнес:

— Простите, ради Христа... Не сдержал слова. Но поверьте, не виноват. Все само так сложилось. Без моего прямого согласия... И все равно, каюсь, — рад без всякой меры!..

С одной стороны, радость и ликование, с другой — страхи, а все вместе: наш настоящий праздник — у нас других и не бывает... Справедливость брала верх, и я был действительно горько счастлив.

Мое многоэтажное киносоздание рушилось на глазах. Маячила незавидная перспектива. Даже если все обойдется и они сделают вид, что ничего не произошло, то фильм снова принесет миллионы рублей этому Молоху под названием Государство! (А на самом деле его представителям и их семьям.) Мне же и моим друзьям-соратникам почти ничего. Ведь так происходит раз за разом, год за годом: или ты будешь кланяться им в пояс, ерничать, льстить и кланяться, входить в сомнительные сделки со множеством руководителей этого кинопроцесса, подсовывать им косвенные или прямые взятки, устраивать застолья или так называемые подстольные банкеты — это худшим из худших!.. Или... Или «пошел вон, дурак», только в более изысканной, чиновничье-издевательской форме! И вот так, пожалуй, по сей день!.. Только оттенки меняются.

Я работал по 14—16 часов в сутки без выходных и долго не видел Юрия Осиповича. Позвонил ему, спросил: «Ну теперь сможете?.. Худсовет Объединения... Черновой вариант фильма... И обстановка, скажу вам, не похвастаетесь».

Позвать-то позвал, но очень опасался, что он... И не зря боялся... Все опасения подтвердились: и опоздал, и паспорта не оказалось, и произошла задержка на проходной... Ассистенты метались, просмотр задерживался, уже в темноте зала после титров я поймал его, как в капкан, и усадил в кресло (слава Богу, Клара оказалась с ним!)...

Фильм фильмом... уже казалось «да черт с ним — с фильмом!..» Те, кто давно не видели Юрия Осиповича, просто не узнали Домбровского: он как-то усох, ссутулится. Переломы были серьезные и дали себя знать, левая рука не поднималась, и в обыкновенный свитер он залезть уже не мог... Да и с пиджаком были проблемы.

Но на этот раз в киносферах все развернулось как-то совсем по-другому. Почти невероятно!.. Я таращил глаза и находился в полном недоумении: ни единого слова о Домбровском и его романе, ни одного замечания или выговора, даже категория и оплата нормальные, а прокат фильму дали просто великолепный!.. И все-все молча — «Ни стуку — ни грюку»... «Кошка сдохла — хвост облез — кто промолвит, тот и съест...»

Мы действительно живем в стране чудес и непредсказуемых явлений — все обо всем что-то знали и словно языки проглотили... Или между собой все-таки о чем-то предварительно сговорились?.. Есть и такое подозрение... Или финансовое положение обозначилось в стране такое, что уж стало совсем не до нас, грешных... «Фильм-то получился прокатный».

А сейчас я думаю: пусть бы сбывлись все мои самые худшие предположения — все сразу! — пусть бы обрушились лавиной, чем то видимое благополучие, которое смрадным облаком накрыло нас... Но мы забежали несколько вперед, а пока...

Обвал третий

Так вот, после просмотра... Мне совсем не хочется вспоминать о фильме. В общем, лента «Шествие золотых зверей» дала Домбровским кое-какие деньги на жизнь, и за то спасибо. Через некоторое время после просмотра (а это ведь спустя короткий промежуток после того, как появился на свет его роман «ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ») Юрий Осипович еле добрался до дома с переломанной теперь уже правой ключицей. И как бы он ни храбрился (а это был невиданно живучий и мужественный человек), на этот раз он оказался совсем плох — что и говорить: три серьезных перелома один за другим, это и молодой крепыш-спортсмен дрогнет.

Я приехал к Домбровским в послеобеденный час. Юрий Осипович лежал на раскладном диване. В квартире было убрано. Женщины находились то ли в малой комнате, то ли на кухне. Мы говорили о пустяках. Вдруг он ойкнул, внутри у него что-то хрустнуло.

— Вот она — ключица, — и показал, отогнув ворот рубахи.

— Да вы что, так и будете без гипса? Ведь не срастется.

— Вот и доктор говорит, что гипс нужен, а то там все время ерзает и щелкает... Грудь болит... — ниже ключицы виднелась чернота кровоподтека.

Я осторожничал:

— Юрий Осипович, все-таки как это вас угораздило?

— Упал. С подножки трамвая, — преисполненный детской непосредственности тут же ответил он. — Уже домой направлялся, и вот... Ну, я, конечно, был... немного под этим, — уже сокрушенно признался он.

— Бросьте, подножек у трамваев давно уже нет. И двери закрываются автоматически. Да потом, к вам сюда от метро не идет трамвай. Скажите, кто вас? За что? Только чур...

Лицо дернулось судорогой, в голосе послышалось негодование, я сразу узнал эту вспышку — редкий признак крайней раздражительности:

— Вот когда вас в канун великого праздника рядом с улицей Горького, в переулке Садовских, ножом полосонули, — почти прорычал он, — вы что?.. Знали кто?.. И за какие заслуги?!

Меня удивила его память — действительно не знал я, за что тогда меня, и пожал плечами (хотя кое о чем мог догадаться).

— Ну вот! — рявкнул он. — И нечего!

— Ну-ну... — я пожалел, что зацепил тему, в которой находилось нечто, так глубоко его оскорбляющее. — Лежите спокойно. Не хотите, не надо... Но полагаю, что хоть кому-то об этом знать следует... А потом, я ведь хоть догнал своего дурака с ножом и измолил его так, что он даже на суде сидел с перебинтованной рожой, как человек-невидимка.

Домбровский наконец улыбнулся: — А я вот... лежу. Повержен!

— Шут с ним — пусть ваш трамвай с подножкой — только не ерепеньтесь.

Это какому мужчине и мужу, да еще прошедшему все огни-воды, захочется рассказывать, как его, уже вполне пожилого человека, молотят на излом и гибель, а он не может этому изуверству

противопоставить такого необходимого отпора. Это ведь и кровь в жилах свернуться может от безысходности, от унижения... Есть люди, их сегодня множество, как в обывателях, так и в самых высших «щелонах власти», — ты им... в глаза, а они, не то что «божья роса», а вовсе не замечают, даже не утираются; а вот есть еще люди, которым умереть легче, чем пережить и проглотить незаслуженное унижение, — сегодня уже мало кто верит, что такое в людях вообще сохранилось. Юрий Домбровский был и оставался таким.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, — проговорил он отдуваясь, что-то у него там опять трюкнуло.

— Ладно, похвастайтесь своей черной половиной — вон она светится, — сказал я, указывая на его правый бок.

Юрий Осипович охотно задрал рубаху к самому подбородку:

— Вот! — почти с гордостью произнес он. — Здорово отделали?.. Как это у вас там квалифицировалось — легкое или среднее ранение?

— Да-а-а уж... Тяжеленная контузия! — Он был польщен, Домбровский любил фронтовые сравнения. — Били вас мастера. И на- смерть! — Я все-таки сказал ему главное.

От ключицы до самого пояса, вся правая сторона... Не пятнами, а черно-синим полем — знатнейший кровоподтек, королевская гематома! Я понял, почему высокая температура и такая слабость — его били по печени. Такого при падении не бывает. И все может кончиться скверно. Нужен профессиональный диагноз. Но Домбровский упрямылся и напирал на свою живучесть.

— А что тут можно поделывать? — уже чуть подтрунивая над самим собой, произнес Юрий Осипович. — Надо лежать и не хрюкать. Вот эту трыкалку (он снова показал на ключицу) надо как-то починить... Хотя та вон срослась, а все равно болит... Ну, расскажите что-нибудь веселенькое... Что там у вас?

А там «у нас» тоже все было плохо, хоть и не смертельно. Я подумал, вот пусть отлежится, а потом я ему все расскажу про его любимый Казахстан и его родную Алма-Ату. Оттуда возникла одна предусмотрительная и небезвредная женщина, якобы от самого секретаря ЦК республики Кунаева, но я этому не поверил, скорее всего от самой себя. Она заявила генеральному директору «Мосфильма» по телефону, что в ЦК республики выражают недовольство и де «ничего подобного, о чем было рассказано в нашем фильме, на территории Казахстана не происходило и не могло произойти». (Уж теперь-то мы знаем, что там могло, а что не могло.) Мне оставалось ждать высокого распоряжения на новые переделки уже законченной и сданной всем инстанциям картины. Вот они наши ПОБЕДЫ, ПОБЕДЫ, ПОБЕДЫ, которые всегда оборачиваются поражениями... Уже давно не верю и больше никогда не поверю в мгновенное или постепенное совершенствование системы, которая на каждом витке или завитке своего непомерного всемирно-исторического развития бесстыдно и упорно повторяет одни и те же гнусности.

Хватит отступлений и обвалов

Рассказ «РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК» не столько сообщал о фактах, сколько приоткрывал психологическую, нравственную и, я бы сказал, оперативную ситуацию в отношениях писателя Домбровского с нашими компетентными органами, как их часто называют (приоткрывая таинственную завесу над остальными органами по части их компетентности). Читателю рассказа постепенно становилось ясно,

как автора терроризировали, какой шантаж окружал его в самые последние месяцы, сколько там было всего произнесенного и невысказанного. Только надо помнить: Юрий Осипович Домбровский в общей сложности отрубил и отыщачил в лагерях и в ссылке ДВАДЦАТЬ ДВА года (с 1932 по 1954 год).

Да, он был невероятный фантазер и мистификатор, но все его фантазии всегда были замешаны на трижды проверенных и прожитых фактах, на достоверных до полной ясности догадках, на макаберном опыте.

А рассказ его «РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК» не прост — там какие-то гады звонят ему по ночам, издеваются, ерничают, прикидываются блатными (да они и есть такие), ругаются по-черному (Мастер и сам умел загнуть так, что не выпрямишь), угрожают проломить башку: «в горло... сука-падло-ботало...» — набор художеств стандартный — лагерный. Провоцируют на крик, на необдуманный поступок, обвиняют в трусости, вызывают выйти в ночь на пустырь заброшенной стройки — покалякать, посчитаться... Все, дескать, его давно уже предали и продали — все-все! — перечисляют по именам друзей, знакомых, будят, будят в нем глухую мерзкую подозрительность, даже к самым близким людям... Подозрительность уже и так проснулась, она растет, как раковая опухоль. А почва и так удобренная годами и годами ГУЛАГа... Шантаж — их работа. В результате пузырь лопается! Человек остается один-одинешенек — вот тут его и можно брать под белы руки, прибирать, цеплять на крючок, хватать на испуг или вовсе ПОРАЗИТЬ НАСМЕРТЬ.

Почему он скрыл от меня этот рассказ при жизни?

Я прочел рассказ, и сразу захотелось повидать вдову Домбровского Клару, она вместе со своей мамой Ольгой Федоровной недавно приехала из Алма-Аты, звонила по телефону и приглашала навестить... Я, правда, едва вылезая из тяжелой болезни, меня мотает из стороны в сторону. А тут еще на горизонте стали появляться старые скверные тени. Пошли какие-то непонятные звонки, какие-то странные просьбы. Тут как тут оказался не то Роланд, не то Раймонд Мух-Мух-Яров, звонит раз за разом, представляется другом покойного Юрия Осиповича (он действительно какое-то время возле него вился) и настырнейшим образом рвется в гости! Мол, затем, что знает меня; мол, знакомили нас и не один раз; мол, пишет «в разных жанрах», «хочется, чтобы прочел опытный глаз!..» Тут я вспоминаю реплику Домбровского, относящуюся как раз к нему, — «На порог не пускать!» И мне сказал: «Ну, это мутный тип... Не помните?.. Это по его поводу меня таскали в Лефортово. Помните, на Энергетическую?! Я вам рассказывал...» — Домбровского действительно туда вызывали, но это была какая-то темная игра под предлогом пустяковой следственной формальности, как у них говорится, «зачистка телефонной записной книжки» последственного.

А то вот вдруг!.. Ну, совсем уж «вдруг», как из преисподней выскочила, — под самый старый Новый год звонит мне Дина!

— Я и не знаю такую.

— Как не знаете, неужели не помните, так сказать, машинистка самого Домбровского! Ха-ха-ха!

— Ах, машинистка самого Домбровского? Из Голицина, что ли?

— Ну-ну...

Про это следовало бы рассказать поподробнее — в назидание потомству!

Так вот, еще в доме творчества «Голицино» появилась у Юрия Осиповича машинистка. Он даже некоторое время гордился ею — «Знаете,

совсем недорого, и квалификация! Грамотная и, главное, мои иероглифы понимает». Это была самая доверенная машинистка Домбровского (ну, не считая, разумеется, самой жены Клары). А в этих и других направлениях Юрий Осипович бывал крайне подозрительным. Иногда и через меру! Так вот эта самая «доверенная» и печатала почти всю вторую половину романа. Версия у нее была липовая — мол, работает в воинской части по соседству с домом творчества писателей, свободного времени вагон, муж полковник, обожает произведения Домбровского — «заразилась от мужа!.. Он такой книголюб, что...» (Так и казалось, что оборонная мощь родины находилась в крайней опасности — такой он книголюб!..) Тут и рассуждать было не о чем — дамочка недурна собой, налет специфический — печатает лишний экземпляр и несет его прямо туда, куда несут... А в распрекрасном мае день рождения писателя. Отмечали его на общей терраске все в том же доме творчества «Голицыно», и рядом с двумя писателями-фантастами восседала она — фея! Я слегка запоздал. Рядом с ней свободный и раскованный чин — муж-полковник, поклонник произведений Домбровского, аж прямо так цитатами и шпарит (память отменная! — сам свежий, прогрессивный, и не без спецобаяния!). И вот он-то, куда нам всем, больше чем с нетерпением ждет появления каждой новой главы выдающегося романа, словно без этих глав ему и зарплату не выдадут. А ждать-то приходится долго — годы и годы идут! — но, видно, полковник попался терпеливый.

Все было шито белыми нитками, так, что я, не самый подозрительный человек на свете, только глаза таращил на них на всех. Таращил-таращил и не утерпел:

— Да как же вы такое позволяете?

А Юрий Осипович поежился, походил по комнате, почесался и как скажет:

— А зачем они будут рыскать по всей Москве, отыскивать, главку к главке прикладывать? С искажениями!.. А тут получай все подряд, по мере готовности, в достоверном варианте—без помарок!..—Выходило, что он сам подставлялся им вместе со своим романом.

А потом... потом, уже ближе к скверному финалу, в том же прекрасном мае, снова в день его рождения, уже в Москве, на Просторной улице, в маленькой двухкомнатной квартирке, когда дом был полным-переполнен и за столом все всё равно не могли уместиться и кое-кто висел в воздухе, эта самая фея-Дина (на этот раз без муженька-книголюбца) присела на уголке рядом со мной, тихо и доверительно шепнула:

— Не утруждайте себя. Сегодня у меня еще много дел. Пить не буду, есть не буду.

В этом доме не пить совсем — выглядело по меньшей мере подозрительно, но ее и это не смутило.

— Какие там к черту дела? Ведь день рождения, застолье только начинается?

— Не обращайтесь на меня внимания. Потом поймете...— А сама действительно как натянутая струна.

И вот минут через сорок, когда основной состав гостей вместе с хозяином уже изрядно гудели, она вдруг, несмотря на невероятную тесноту, поднялась, сумочку перекинула через плечо, в руках сверкнул современный фотоаппарат — она профессионально щелкнула затвором в направлении Домбровского и его ближайшего окружения...

— Освещенности не хватит,— заметил я.

— Еще как хватит,— ловко парировала крошечка-Дина,—шажок-другой, щелкнула вторую группу сгрудившихся за столом, протиснулась вдоль стены — щелкнула третью группу. Уже от самой двери небрежно, как бы нехотя, четвертый снимок (объективом прямо мне в физио-

номию), вроде и подмигнула, сделала ручкой и исчезла... Так вот эта самая фея 13 января, под старый Новый год, позвонила мне как ни в чем не бывало — ей, видите ли, очень нужен мой совет (чтоб им ни дна ни покрывки — нашли советчика!) по устройству сценария некоего уже подполковника — «о-очень хорошего и талантливого человека!..»

— Что, вашего мужа разжаловали? Или это уже новый? — спросил я.

Фея на облегченность интонации не откликнулась, но настаивала довольно бесцеремонно. Мне надоело и пришлось сообщить ей: мол, наступило такое время, когда субъекты в звании ниже генерал-полковника сценариев вообще представлять не должны. А я и маршальских читать не стану, потому как сомневаюсь в их художественных достоинствах.

Она, как сказал бы Мастер, хохотнула и почти командно произнесла:

— Ну все-таки прочтете,— без знака вопроса.

— Нет не прочту,— ответил я тоже без знаков препинания.

— Это почему? — вопросительный знак все-таки появился.

— А не х о - ч е т - с я, — интонация была точная, произношение четкое.

Его, Домбровского, нет (по крайней мере, поблизости, по крайней мере, в обозримом пространстве)— это так. А вот дүхи его преследователей, дүхи, вившиеся вокруг него,— остались. Они поблизости. Все те же. И витают.

Итак...

Вернемся к началу повествования.

Я отправился к Кларе Домбровской на давно осиротевшую Просторную улицу, в тот самый подъезд, на тот самый девятый этаж... Здесь почти все было как прежде, как тогда, даже вечная кошка Кася расхаживала по письменному столу (сколько же ей лет?!). Но на столе не было рукописи. Какая-то особая, почти стерильная чистота, на стене два портрета Домбровского — живописный с торчащим чубом и кошкой Касей. И фотографический — оба висят на том месте, где некогда были прикреплены к стене ранние работы художника Рудакова. Ну, я уж не говорю о том, что стало куда просторнее — ведь он всегда заполнял собой всю комнату от двери до письменного стола, подпирающего окно...

Тот говорят, при запусках космических ракет в атмосфере и стратосфере земли образуются невиданные прожоги, дыры в озонном слое. И это губительно для планеты и людей. По законам диффузии прожоги должны постепенно затягиваться, заполняться. Ну, хоть чем-нибудь... А они не затягиваются, не залечиваются — образуются этикие трофические язвы в воздушном океане планеты Земля. Домбровский невероятным образом связывал множество людей, довольно трудно соединимых. А он их не только объединял, но и делал близкими, даже необходимыми друг другу. Это тоже был еще один из его талантов. И вот много, очень много людей осиротело, и их разобченность стала зияющей. Прожоги не заполнены по сей день. И не будут заполнены... Там, в квартире на Просторной, это все ощущалось особенно остро.

Домбровский был убежденный, глубокий, хоть и непутевый христианин. Да, он любил изредка поразглагольствовать о своих «цыганских корнях» с материнской стороны, но трудно было понять — имел он в виду родную маму или мачеху? И что бы кому бы он ни говорил, мне он твердил, не без пафоса, одно и то же: «Прошу вас! Просто умоляю! Никогда не отказывайтесь от своего еврейского происхождения. Никогда!.. Прошу вас!»

Я отвечал:

— Не волнуйтесь, мне это не угрожало — не угрожает.

— И все равно прошу вас! Христом Богом!.. Прошу.

«Ночной звонок»

Так должна была бы называться следующая глава. И название-то пошлое, как милицейский свисток, как детектив семидесятых годов. Только ведь я сейчас не литературными изысками занимаюсь, а изложением протокольных фактов — я как бы даю показания предварительному следствию, хоть его пока никто и не ведет.

После посещения квартиры на Просторной улице я постарался лечь спать пораньше. Засыпал трудно — в две-три попытки.. Начало клонить, клонить... И опрокинуло в сон...

Ночные телефонные звонки всегда отвратительны — этот был самым мерзким в моей жизни. После тяжелой болезни я все еще находился в каком-то взвешенном состоянии... Телефонный звонок!.. Я слышал, но не мог сразу сообразить. Трубку взяла дочь в соседней комнате... Зажег лампу, на циферблате два часа ноль семь минут. Дочь постучала в стенку.

Взял трубку.

Назвали мою фамилию — «ЭЛ» без мягкого знака и странное, почти югославское ударение — иностранец!

— Да — это я.

Назвали имя (опять ударение «не наше»).

— Да-да. Слушаю.

— Вас как раз МНЭ нужно, — какой-то неправдоподобный акцент.

Но черт его знает, может быть, транзитом и крайняя нужда?.. Легко представить, как бы я заговорил ночью из аэропорта какого-нибудь Гонолулау, но все равно чувство предубеждения и настороженности преобладали. И тут же совсем неожиданно:

— Ви еврэй? — все понял сразу.

— Да-да, е в р е й. Да еще какой.. Валяй!

— Ти жидовска-еврэйска, а не кинорежиссэр...

— Ну вот, уже яснее, — держать, держать хоть видимость спокойствия.

...Я же подготовлен, отлично подготовлен не только всей жизнью, да еще рассказом Домбровского «Ручка, ножка, огуречик». Не взрывать-ся! Копить и ждать. Не зря же Мастер написал и оставил нам свой последний рассказ! Не зря же так тщательно скрывал свое поражение. Это чтобы я и десятки тысяч таких же не оплошали...

— Ты самый говненный режиссэр из всех! Самый большой говно!

— Ну, так уж из всех? — удар четкий: по национальности и по профессии, а из чего еще мы там состоим?.. — А вы сами-то кто будете?

— Нас много, и все твои фильмы... — он проявил картотечное знание всего того, что я снимал. — Все-все сраны дэ-ээрмо! — (О! Появился мягкий знак.) — Еврейски блзвотина! — (Э-э-э, шалишь, «блевотина», это наше слово, и мы его никому, даже братским демократиям, не уступим — затаенно, как малый электрический ток, по жилам прошло: «ты наш, родной сучий потрох»).

— А вы, извините, кто по национальности сами будете? Если не секрет, конечно?

— Нэт. Нэ сэкрэт! — напирал на э-оборотное собеседник. — Я българин! Приехал из Бългрии и обещал друзьям, как приеду, сказат тэбэ в еврэйски-жидовски лицо, что ты самый сраный режиссэр и все твои филмы говно! — выпалил он почти скороговоркой.

— Молодец, — тут я его обложил снизу доверху и продемонстри-

ровал подготовку более высокого класса.— Если уж не трусишь, может быть, имя свое назовешь?..

— Болгары народ нэ трусливи,— вошел в роль собеседник и никак не мог из нее выскочить.— Имя?.. Имя... Громил Стоянов! * Тэбэ нравица?.. И если ты не самый трусливый жидовски эврэй, то выходи сразу на улица! — (Ой, как знакомо — там был «пустырь перед домом», и Мастер тогда не удержался, схватил нож и выскочил в темноту — можно себе представить, чего все это ему тогда стоило...— А на пустыре н и к о г о!..) — Я плуну тэбэ в морду,— шпарил как по бумажке лубянский балканин.

Сдерживать себя было все труднее, разрядка накатывалась, а он продолжал:

— Плуну и скажу все... Выходи, еврэй жидовски!

— Ну, так! — Он мне надоел — я клепал ему в ухо, да простят меня дочь и жена, да простят меня соседи филологи, лингвисты и физики, да простят меня правдолюбцы и хранители нравственных традиций, стилисты и интеллигенты всего мира — я произносил в телефонную трубку н е п р о и з н о с и м о е. В очень ослабленной и сглаженной форме это приблизительно выглядело так:

— Слушай меня, раздерганный на все немислимые части метис, отродье с холуевым болгаро-бутырским акцентом... Нет, теперь ты меня не перебеешь, троеглот! — Я наращиваал лексическую мощь родного языка и уже переходил на крик.— Онанист с последней парты, учись прилежно у своих бластных начальников. Сейчас я не выйду, потому что я не... (тут пришлось перечислить, кем я не являюсь гарантированно)... Заткнись... недоразвитый! Сообщаю прогноз всей твоей затруханной жизни на ближайший исторический период, грязная пасудина. Слушай!..— тут он затих.— Завтра в 9-00 доложишь своему посредственному начальнику, слышишь? Дословно, о нашем разговоре,— я перешел на командный тон.— Если ты этого не сделаешь, то в 12-00 заместитель председателя твоего гоп-стоп-комитета будет знать об этом из самого чистого и газированного источника!.. Это там, где таких, как ты, дерут каждый день за дело и просто так... А ровно в 10-00, утром, подключаешься со своими вышестоящими засранцами к моему телефону или посылскому и подслушаешь, мудака наемный, как я позвоню болгарскому послу и слово в слово расскажу ему все, что ты мне здесь лепил, помойная курва. И как ты, международный дебил, помогаешь ему в... сложной деятельности по укреплению дружбы, любви и добрососедских отношений!.. Все понял, пинздрав малосольный? — кроме бластного, беседа принимала отчетливый политический оттенок.— Отвечай и не смей садиться. Стоять! — уже орал я,— когда со старшим по званию разговариваешь, слизь помойная! — я был уверен, что этот язык он понимает превосходно, а воинское звание у меня еще на фронте было наверняка выше, чем у него теперь,— тут я тоже не сомневался.

На том конце провода Громил сопел, как раскаленный паровой котел, пробитый разрывной пулей. И я готов был на любое пари — он стоял!

— Учтите..,— проговорил он,— каждое слово, которое вы произносите, записывается на магнитную ленту,— и что было замечательно, все это произнес без малейшего акцента.

— Ты что, на «вы» со мной переходишь?.. Тогда извини. И все-таки прими и передай по инстанции...— тут пришлось поставить в один ряд его самого, аппаратуру с заграничной пленкой и всю их иерархию...— И запомни,— сказал, как бы напутствуя,— нельзя выступать от имени

* Стоян — имя предыдущего посла Болгарии в СССР, моего знакомого.

наших закадычных друзей. И д и о т! За такую промашку тебя в дверном проеме прищемят... Ты чего там притих?..

Вполне понятно, что высоконравственному интеллектуалу, читающему это повествование, хотелось бы, чтобы вся эта кутерьма происходила в более сдержанных, и если не изысканных, то на более вежливых уровнях... И с лексикой чтобы... Возможно-возможно, так, наверное, и должно быть. Но ведь это будет неправда. Это будет обыкновенная большая ложь. С подобными матерыми структурами такое общение не реально — «...злодеи злодействуют злодейски» — сказано даже в Библии, и противостоять беспредельному злодейству очень трудно. Да и с традициями не все благополучно. Не знаешь, где взять силы (особенно если эти силы на исходе...) Нужно, чтобы люди знали: преодоление заскорузлого, окаменелого страха в самом себе — не пустяк. Страх жив и трепыхается в каждом из нас. А когда затихает, то его неугомонно будят спецслужбы из тех же органов. И без этого преодоления все наши прочие усилия, даже невероятные, стремятся к нулю. Ведь Домбровского терроризировали не раз, не два, а каждую ночь, на протяжении длительного времени. Но без его урока еще не знаю, как бы я вел себя, как бы встретил этот телефонный звонок.

— ...Вы не имеете права... — слабо протестовал сексот.

— Завтра, международный извращенец... Если хочешь побеседовать про наши права и обязанности, то ровно в 12-00 придешь к подъезду... — я назвал адрес, — и не опаздывать! Кончай пить, ложись спать, а то будешь плохо выглядеть. Исчезни...

У абонента наступила столбнячная фаза... Я положил трубку.

По теории и практике Домбровского телефонные звонки должны стать регулярными. Его они извели до жути, загнали, упростили финальную часть драмы.

НУ, КОНЕЧНО ЖЕ УБИТ... А я все еще сомневался — произносить ли вслух... Думал, может быть, какое-то совпадение. Думал, как и многие другие, — «а что если это он сам себя загнал?..»

Все мы смелы до тех пор, пока сидим за столом и пишем, пока рассказываем дамочкам, «как мы этих подонков...» А вот прижмут у забора шестером-семером — роли отрепетированы — да еще резерв в машинах торчит — профессионалы «спортсмены» с отбитыми мозгами, годами обучавшиеся костоправы с ударами головой в подбородок — головы-то чугунные — и ботинком в пах — ботинки специально оттерикованы металлическими скобками — у б и й ц ы... Задохнуться можно от бесправия, от беспомощности — и никакой, даже фронтовой опыт здесь не поможет — система подавления и уничтожения.

Слов нет. Даже если это были не они, если это были просто хулиганье, валютная фарца, рекетиры, мафия, урки, дураки, агрессивные алкаши, художественные антисемиты... все равно ЭТО ОНИ! Потому что ЭТО ОНИ создали атмосферу, в которой вырождакам от карманника с бритвой до члена политбюро — МОЖНО ВСЕ. А люди бесправны и не защищены. И адресированы в страхе.

Только никаких пустых угроз, никаких сотрясений воздуха. Никакой туфты. Все, что обещал, — выполнить!.. И все равно все это с невероятным опозданием...

Нет Домбровского.

А теперь обязательно заснуть — это единственный способ доказать самому себе, что они не твои хозяева, что ты не позволишь им распоряжаться хотя бы в своих сновидениях... Только ведь я не гово-

рил, я кричал. Кажется, я орал как оглашенный. А это не лучший способ объяснения даже с негодяем. Чего орать? Я же не самурай?.. И школа другая... То же самое надо было сделать тише и четче. А еще лучше — тихо и четко. А еще лучше... Молча — точно так, как с фашистскими выродками.

Ровно в 10-00 следующего дня (или можно даже считать — этих же суток) я звонил в болгарское посольство. Посла не оказалось не только в посольстве, но и в Москве. Сотрудник поинтересовался, не может ли он быть мне чем-либо полезен. Я представился и в ответ:

— Здравствуйте (тут и имя и отчество)... Да ведь мы...

Действительно, с нынешним советником мы оказались давно знакомы, еще с тех времен, когда он впервые приехал в Москву, — разговаривать стало легко и просто. Я коротко, но предельно точно передал ему содержание и характер ночного брифинга. Советник меня заверил, что в эти дни в Москве нет ни одной болгарской делегации, да и в Советском Союзе, так что он считает эту «болгарскую версию» маловероятной. Но тем не менее он употребит все средства, чтобы проверить студенческо-аспирантскую среду. — «Но я считаю, это для очистки совести, так как все это маловероятно», — сказал он. Я оставил советнику свой телефон, попросил передать привет и наилучшие пожелания послу, а советник дал слово подробно сообщить содержание нашей беседы полномочному и представительному, и даже признался, что все-все дословно записано на магнитку, — молодцы болгары, не хуже наших!

Оставалось не спеша направить стопы к месту свидания, благо у меня там были неотложные дела, а главное, надо было сдержать слово и убедиться, что моих ночных оглоедов и потрошителей там нет. В этом я был уверен. Так же, как в том, что все телефонные разговоры в посольствах, даже самых дружественных стран, прослушиваются (и не только телефонные).

С 11-55 до 12-10 я в обозримом пространстве не обнаружил ни одной интересующей меня фигуры, которую хоть отдаленно можно было бы принять за Громильчика или за его почтенное окружение. А я их чувю: у них есть свой запах и свой дизайн, как бы они ни камуфлировались. А если загримировано все-все, то остаются глаза, и они выдают их, в них даже звание обозначено и зарплата... Автомшины наблюдения в радиусе двухсот пятидесяти метров обнаружить не удалось. Оставалось предположить, что они торчат где-нибудь напротив в чехословацкой гостинице или в одном из ближайших подъездов. Не могу сказать, что я так уж жаждал встречи хоть с одним из них — нет, мне бы век их не встречать. Век! Но и все время уступать тоже нельзя... В эти пятнадцать минут фантазия раскручивалась со скоростью разогнанного махового колеса, и я воочию представил себе, как после прослушанного разговора с посольством (я уже не говорю о ночном развлечении) вот в этот самый час мылят башку и полощат другие органы моему ночному идиоту и его непосредственному куратору (у них же у всех «кураторы»). Только на самом деле, наверняка, все было не так и никто никому ничего не мылил, в противном случае у нас была бы вполне «умытая» госбезопасность, которая занималась бы своими делами, а не самое большое учреждение в мире, повернутое вовнутрь против своего народа.

— Вопросы есть?

У меня вопросов не было. У меня было чувство усталости и тупика. Чувство глубокого, на всю жизнь, оскорбления и угнетения, из которого нет выхода.

Один собеседник из достаточно компетентных (а я искал ответы и

исподволь советовался) сказал мне: «Нет, это больше похоже на валютную мафию», — дескать, они узнали, что предстоит получить какую-то сумму в валюте (пусть в перспективе) и стали терроризировать подопечного, так сказать, пестовать, готовить к вымогательству.

Какая читающая, какая образованная, оказывается, у нас мафия! Какая расточительная и предусмотрительно глядящая в будущее!.. Нельзя все сваливать на мафию, просто нехорошо... А как тогда я вписываюсь в эту схему?..

Глупо. Домбровский был гол как сокол, и так уж заранее подготавливать ограбление неимущего — да что они, полные кретины?.. «Наши валютчики — самые образованные в мире!»

А вот другая догадка — моя собственная — светится во тьме и не моргает: методы работы нашей мафии и уголовного мира, наших бандитов и уголовных подонков так похожи на методы наших «компетентных органов» и стоящих над ними хозяев, что ничего не стоит их перепутать, даже вполне компетентному консультанту. Да они просто одни и те же — эти методы. С той только разницей, что уголовники все-таки кое-чем рискуют, отправляясь в подобное плавание, а «компетентные» и их хозяева не рискуют ничем. Ну, а в крайнем случае выговор за неуклюжесть, провал или разоблачение во лжи (на который им плевать).

В рассказе «Ручка, ножка, огуречик» автор так и не произносит всей этой детской присказки-рисовалочки...

Как там это у них называется: «пугануть», «проучить»? А то, что ребята иногда слишком увлекаются и учеба порой кончается смертью нерадивого подопытного,— так это уже издержки метода — во всяком деле есть допустимый процент ошибок, отходов, перебора, неудач, в конце концов!..

В рассказе «Ручка, ножка, огуречик» не приведена вся эта детская присказка, но память штука странная — я сам вспомнил:

Точка... Точка... Запятая...
Минус... Рожица кривая,
Ручки... Ножки...
Огуречик...

А заканчивается присказка просто:

Вот и вышел
Человечек!

Так признавался в своем расположении к тебе Юрий Осипович Домбровский, когда дарил то ли свою книгу, то ли рассказ, то ли что-нибудь чужое, но значительное.

Или еще проще — рисовал рядом с подписью свою любимую кошку Касю: рисовал ее почти одним росчерком, а получалось всегда ласково... сердечно.

Расследование по делу об убийстве еще одного замечательного писателя — ДОМБРОВСКОГО ЮРИЯ ОСИПОВИЧА в п е р е д и. Погиб чудо-человек. Такого больше не будет н и к о г д а.

А что если в «компетентных» найдется человек?.. А?.. И сам представит... Да ему бы и при жизни, как дважды Герою... И на родине!.. Соберут хоть на бюст, хоть в рост! И установят в чистом поле или у прозрачного ключа... Только ведь это опять из области фантазий самого Домбровского. У нас скорее распнут.

К самым-самым я не обращаюсь, они так блюдут честь своего бесчестия, что готовы и сегодня утопить в выгребной яме любого способного приоткрыть рот, даже в кресле у зубного врача. Что же, опять будем ждать сведений от перебежчика, который слиняет туда, чтобы сообщить нам что-нибудь важное? А то ведь у нас все это называется «секретностью» — самой секретной для меня, оказывается, всегда была и остается моя собственная жизнь.

В эпоху, когда в центре Москвы котлован под еще одно здание КГБ был так глубок, что на дне его, казалось, полыхала магма, а высота самого здания превзошла все звезды Кремля и Государственный Герб державы, в эпоху, когда сам палач (лифтер большого дома) кается по телеканалу «Пятое колесо», средние, полусредние и полулегкие эшелоны, может быть, вы решитесь?.. Или считаете, что еще рано?.. Может быть, среди вас найдутся рыцари, найдется лицо, способное на...? Или будете ждать наступления полного маразма?.. И тогда признаетесь перед телекамерой?.. Архивариусы, секретарши, сексоты, машинистки-стенографистки... Феи и книголюбы... Неужели не найдется хоть один (одна) со своим собственным голосом?.. И не трус? Не трусиха?.. А?! В вашей замкнутой среде, в вашей масонской ложе, а я убежден, что только у вас она и существует, ну должны же быть по-настоящему смелые люди?.. Ну не может их не быть!

Я не поверю, что в вашей многочисленной и разноликой среде нет ни одного порядочного и достаточно смелого человека, обремененного к тому же грузом совести. **Не верю.** Появился же генерал, отказавшийся выполнить приказ о расстреле мирной демонстрации рабочих в городе Новочеркасске, — имя его сохранит история — генерал Шапошников. Он сделал для своей страны больше, чем любой космонавт. Появился же полковник госбезопасности Карпович, заявивший о своем покаянии, а вслед за ним еще и капитан... Это важнее и значительнее — ведь капитан еще не на пенсии, на службе — ведь его догонят, сгноят, прикончат!.. И все равно — **ВЕДЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!**.. Даже генералы появились.

Не верю!.. И после всего того, что мы знаем и еще узнаем вскоре. Должны узнать.

Юрий Осипович Домбровский когда-то дарил свою книгу и размашисто крупно писал: **С НАДЕЖДОЙ И ВЪРОЙ** (через ять).

Сегодня я обращаюсь к людям, обращаюсь к компетентным и не компетентным, к нормальным и сдвинутым, с Надеждой и Вьрой!

Скажи те с л о в о .

Поселок Лукино — август 1986 г.

Станция Быково — январь 1990 г.

Александр НЕЖНЫЙ

Драма Русской православной церкви

I

В Русской православной церкви — раскол.

Ничем не напоминая раскол XVII века, причиной которого стали поспешные реформы патриарха Никона, он тем не менее связан с трагическими событиями почти четырехвековой давности на гораздо более глубоком, можно даже сказать — корневом — уровне, чем это кажется с первого взгляда. Тот раскол, кинувший церковь в объятия государства, стал первопричиной ее хронической болезни — отныне она могла дышать только в искусственной атмосфере Священного Синода и его обер-прокурора. Сто с лишним лет назад Владимир Соловьев со свойственным ему мужеством сказал, что в России церковная иерархия подорвала свою духовную власть кровавыми гонениями на старообрядцев, безмолвным подчинением государству, преследованиями всякого несогласия с собой. «Сначала, при Никоне, она тянулась за государственною короною, потом крепко схватилась за меч государственный и, наконец, принуждена была надеть государственный мундир».

Русская православная церковь привыкла к несвободе. Ей только казалось, что, стесняя и преследуя других, она сама вольна в своем религиозном чувстве, в своей общественной и социальной деятельности, в своем миссионерстве. Она принадлежала государству больше, чем Богу.

«Вот факт столько же бесспорный, сколько и печальный: власть духовная, носительница высшего нравственного начала в обществе, никакого нравственного начала в обществе у нас не имеет». Это все тот же Владимир Сергеевич Соловьев, год 1881-й; и хотя с некоторых пор одним из признаков хорошего православного тона снова становится подозрение Соловьева в католичестве и некое высокомерно-нисходительное отношение к его религиозно-философским построениям, нам все же, по-моему, следовало держаться скромнее и помнить, что это был, попросту говоря, гений или, если хотите, пророк (что в известном смысле одно и то же), указавший путь христианского возрождения России.

«Развился фетишизм лица, фетишизм фигур, фетишизм целого слова: они все — маленькие боги, ходящие среди человеков, — движущиеся мощи, каждая ждущая своей канонизации». Это Василий Васильевич Розанов, его «Уединенное», где так много любви к Церкви, но не меньше — поставленных перед нею бесстрашных вопросов. И — вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь: «Переход в социализм, и, значит, в полный атеизм, совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно «в баню сходили и окатились новой водой». Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар». Это надгробное

рыдание помечено восемнадцатым годом, годом, когда Василий Васильевич буквально проклял (но еще глубже, еще безнадежней полюбил!) Россию, сравнив ее с пьяной бабой, которая шла, «спотыкнулась и растянулась».

Князь Евгений Николаевич Трубецкой — в письме священнику Павлу Флоренскому по поводу его книги «Столп и утверждение истины» (январь 1914-го): «Это яркое и красноречивое свидетельство того, что не пшсякла в нас жизнь духовная и что под **покровом мертвечины, окутавшим нашу Церковь** (выделено мной — А. Н.), таится живая сила».

И, наконец, вот свидетельство русского православного священника и выдающегося мыслителя Сергея Булгакова, размышляющего о глубинных религиозных корнях нашей революции: «Распутин был точкой приложения, меднумом для некоторых мистических сил. И тем не менее в этом роковом влиянии более всего сказался исторический характер, даже значительность последнего царствования. Царь взыскал пророка теократических вдохновений. Его ли одного вина, что он встретил на свой зов, идущий из глубины, только лжепророка? Разве здесь не повинен и весь народ, и вся историческая Церковь с ее первосвященниками во главе?»

Немощь исторической Церкви в значительной степени определила духовное состояние народа. Мысль не нова: она тревожила Россию еще в самом начале нынешнего века, на пороге ее религиозного возрождения, так много обещавшего обществу и так страшно прерванного в семнадцатом году. Повсеместно было ощущение крайнего неблагополучия в Церкви, о т л и в а религиозного вдохновения, углубляющегося разрыва между неканоническим, навязанным государством управлением Церковью и жизнью народа, для которого епископ был как бы маленьким монархом, лишь по великим праздникам снисходящим до подданных.

Я вынужденно **спрямляю** и потому не касаюсь глубочайшей темы народных основ православия. Она вовсе не исключает сказанного выше о Церкви, после петровских реформ угодившей в золотую клетку (в Советской же России — попросту в з о н у), но только она поможет нам уяснить такие потрясающие явления народной религиозной жизни, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Алексей Мечев, епископ Андрей (Ухтомский), и только она, по моему убеждению, дает внятное объяснение тому со всех остальных точек зрения поистине необъяснимому факту, что Церковь **выжила**, несмотря на террор исключительно враждебного к ней государства. В хрестоматийном советском обиходе слово «мистика» приобрело столь же дурную репутацию, как, к примеру, «спекуляция» или «проституция». Однако свободное мышление, с достоинством признающее реальность неких, до конца не постижимых тайн бытия, скажет нам, что грехи и заблуждения исторической Церкви не могут поколебать ее внеземных опор.

Но поскольку мы сейчас говорим именно об исторической Церкви, то, кстати, заметим, что в дореволюционной России доходы епископата окутывала непроницаемая тайна. Только в 1909 году после настоячивых требований Государственной Думы Синод опубликовал соответствующие данные, и русское общество с горьким чувством узнало, например, что годовой доход киевского архиерея составляет 48000, а московского — 35000 рублей: суммы более чем внушительные.

Вообще говоря, для иных церковных деятелей и в ту пору, и в наше время зависимость от государства наверняка была милей, чем правовая и духовная самостоятельность Церкви и связанная с этим открытость. Десятилетиями наше общество было лишено всякой возможности узнать не только кто есть кто, скажем, в Политбюро ЦК

КПСС, каковы реальные доходы и условия жизни ее членов, но не могло получить ответ на подобные же вопросы, относящиеся к епископату Русской православной церкви, материальное существование которого, между прочим, целиком и полностью обеспечивает народ своей добровольной жертвой. Когда телевидение показывает благостный сюжет о митрополите воронежском Мефодии, передающем дачу многодетной семье, нельзя не задаться вопросом — откуда у него, монаха, епископа, такая дача? И не осталось ли у него в запасе еще кое-какой недвижимости, с которой как-то уверенней чувствует себя на грешной земле даже и архиерей? Самый молодой митрополит Русской православной церкви, откровенно нацеленный на высшие посты в церковной иерархии, он был нежданно-негаданно приостановлен в своем стремительном продвижении и освобожден от должности председателя хозяйственного управления Московской Патриархии в связи с обстоятельствами, о которых можно лишь догадываться.

Есть нечто печально общее в положении Русской церкви **тогда** и **теперь** — как есть общая обеим эпохам надежда на религиозное возрождение. И сегодня — как в начале века епископ Антонин Нарвский — мы спрашиваем с тревогой: «ужели апостол Павел пройдет по-прежнему прикованным к руке центуриона?», и — как епископ Антоний Вольинский — сокрушенно вздыхаем о церковных бедах, сравнивая болезнь русского прихода со страданиями тифозного больного; и — как богослов В. Тернавцев в своем докладе, 29 ноября 1901 года открывшем «Религиозно-философские собрания» в Петербурге, — отмечаем чрезвычайное положение Церкви и говорим, что наступило для нее время «не только словом, в учении, но и делом» принять участие в созидании **п р а в д ы н а з е м л е**.

Тогда — не получилось.

В 1905 году Николай II отложил Поместный собор до «подходящего момента», который так и не дался ему в оставшиеся двенадцать лет его несчастливое царствования. Лишь на пороге **д р у г о г о** времени Русская церковь ощутила себя свободной — но плен несравненно страшнее прежнего ожидал ее.

II

Со времен первого Патриарха Московского и всея Руси Иова берет начало важнейшая для русской истории глава, которую можно было бы назвать **первосвятитель и власть**. В ней повторяется сюжет, строящийся на противостоянии двух начал — духовного и государственного.

Их симфония, радостное согласие и единство — идеал православного царства, словно бы даже обозначившийся в XVII веке, при Николе и Алексее Михайловиче, был и, по всей видимости, навсегда останется недостижимым прежде всего из-за трагического несоответствия земного и небесного в нашей жизни. Но невозможность симфонии вовсе не означает, что все духовное должно замкнуться в келью и лишь через узкое ее окошко иногда поглядывать на погрязающий в грехах мир.

Семь с лишним лет служения Патриарха Тихона (Беллавина), избранного главой Русской православной церкви на Поместном соборе в 1917 году, представляют собой беспримерный, пожалуй, во всей истории цивилизованного человечества подвиг борьбы главы церкви с властью, едва ли не с первых дней решившей во что бы то ни стало истребить веру в народном сердце и окончательно упразднить религию. Это была борьба, быть может, даже не только и не столько за спасение церкви, сколько борьба за народную душу, за спасение нрав-

ственности народа, за сохранение в нем чувства греха и стремления к покаянию. Это была борьба против лжи — за правду; против насилия — за доброту; против несвободы, которую власть положила в основу нового государства, — за свободу, которую предоставил человеку Бог. В перевернувших Россию событиях, в той страшной, поистине апокалиптической године Патриарх Тихон увидел грех народа, не сумевшего противостоять обольщению земными благами. Увидел — и призвал к покаянию. Он увидел мрачное шествие насилия — и, верный Христу, призвал Православную Русь отказаться от вражды, гнева и мщениа. Он увидел погибель и разорение русской земли — и горьким словом обличил новых вождей.

Великий гражданин и прекрасный русский писатель Владимир Галактионович Короленко в одном из своих шести оставшихся без ответа писем к наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому с глубокой горечью писал: «Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы. Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь». «Анатолий Васильевич, — пытался он убедить народного комиссара просвещения при личной с ним встрече в Полтаве в июне 1920 года, — вот вы все говорите: «вынуждены», «вынуждены», — но вы вызвали целое море вражды, грызетесь с целой стаей врагов и сами ожесточаетесь. У вас есть палачи, у вас есть люди, которые стали военными для того, чтобы рубить человеческое мясо так же просто, как рубят конину. Вы хотите неклассового общества, общества коммунистического содружества, для вас человеческая личность должна быть святее, чем для кого-нибудь другого, а вы ее топчете».

Короленко — за социализм, поскольку, по мнению писателя, лишь этот общественный строй, бережно сохранивший лучшие достижения капитализма, может обеспечить социальную справедливость. Но он вместе с тем решительно протит в такого социализма, который поднимается на костях затоптанной свободы и который держится террором против собственного народа.

Из несвободы как **всеобщего принципа** неизбежно вытекает ожесточенное грубым материализмом отношение нового строя к Церкви, после 1918 года оставшейся, по сути, единственной организацией, еще сопротивлявшейся тотальному насилию над духовной жизнью и пытающейся отстоять независимость мысли и совести от посягательства государства. «Вы обещали свободу, — читаем в послании Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров по случаю первой годовщины Октябрьской революции. — Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. ...Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры».

Замечательно совпадение оценок последовательного демократа Короленко и вряд ли близкого ему по убеждениям православного Патриарха. Оба они во главу угла решительно ставят вопрос о свободе; оба они согласно указывают на отсутствие в послереволюционной России свободного слова (Патриарх Тихон: «Печать, кроме узкобольшевистской, задушена совершенно»; Короленко: «Вы убили свободную печать»), на разрушение созидательных начал общественной жизни (Патриарх Тихон: «Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали уже грабить более зажи-

точных и трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна»; Короленко: «Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и — ничего больше. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство», на отсутствие каких бы то ни было правовых гарантий (Патриарх Тихон: «Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда»; Короленко: «Бессудные расстрелы происходят у нас десятками... Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу»). К правде и свободе призывает вернуться Короленко; к свободе, законности и порядку увещевает обратиться Патриарх. И оба предостерегают: «За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата» (Короленко); «А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук., XI, 51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф., XXVI, 52)» (Патриарх Тихон).

Все сбилось и еще исполняется; но этот сравнительный ряд я представил вовсе не для того, чтобы еще раз запальчиво ткнуть в незажившие раны. Мне кажется, мы никогда не поймем действительных причин беспощадно-жестокости социализма отечественного, так сказать, образца к церкви и верующим, если упустим из вида точно такое же отношение к необходимым для нормального развития общества демократическим принципам. Даже сейчас, семьдесят с лишним лет спустя, достаточно чуть понастойчивей поскрести поверхностный и примитивный атеизм многих руководящих товарищей, и за ним почти безошибочно откроется нелюбовь к свободе вообще, тяга к приказу, команде, силовому давлению, страх перед многообразием жизни и стремление во что бы то ни стало загнать ее в привычные рамки своих представлений, навыков и убогих идей.

Сейчас! А тогда?

III

И тут же спросим себя: как аком бы или компромисс?

Острые этого вопроса пронзают семь десятилетий советской истории. В той или иной форме он вставал перед совестью целых поколений, и если бы сегодня Россия не могла указать на имена погибшего на Соловках епископа Максима (Жижиленко), Андрея Платонова, Александра Солженицына, Юрия Галанскова, Андрея Сахарова, то худо пришлось бы всем нам, живым и мертвым, на грядущем Страшном Суде. Слабому человеку даже в самом глубоком и постыдном его падении дается последнее, мучительное утешение в мысли о том, что были, есть и будут люди, свободно вымолвившие слово, которое примерзло к его гортани, не отрекшиеся от веры, которую он предал, и отстаивавшие честь, которую он покорно положил под ноги негодьям. В стране, где три величайших зверя: богоборчество, идеология и насилие — выкормили новое существо — без религии, личной нравственности и национального содержания — в этой стране не удалось тем не менее искоренить **святость**, в эпоху физического и духовного истребления народа выразившую себя противостоянием злу, жертвенностью и мученичеством за правду.

В последнее время я много работаю в архивах. Возможности и силы мои ограничены, но, сообразуясь с ними, я все же хотел бы составить более или менее полный отчет о крестном пути, которым прошла Русская православная церковь. Довольно часто я обнаруживаю документы, как бы опаляющие мне душу наконец-то прорвавшимся сквозь толщу десятилетий предсмертным стоном. Едва не плача, я пишу и пишу: переписываю в тетрадь отчаянные письма Юрия Петровича Новицкого, вместе с митрополитом Вениамином (Казанским) в 1922 году приговоренным к расстрелу и напрасно взывавшим к милосердию во имя своей двенадцатилетней дочери, у которой недавно умерла мать и у которой теперь палачи отнимали отца... Допросы патриаршего местоблюстителя, митрополита Кирилла (Смирнова), завершившиеся расстрелом: в 1937-м, в полночь 20 ноября, в Чимкенте... Рапорт пом. начальника Верхне-Уральской тюрьмы, лейтенанта госбезопасности Яковлева, ставший поводом для расстрела патриаршего местоблюстителя Петра (Полянского), рапорт и справку: «...Постановление тройки УНКВД по Челябинской области от 2 октября 1937 года о расстреле Полянского Петра Федоровича, он же — митрополит Крутицкий. Приведено в исполнение 10 октября 1937 года в 16 часов. Нач. 3 отд. УГБ УНКД по Ч/О, лейтенант госбезопасности Подобедов».

Святые мученики — их страданиями и кровью, несмотря ни на что, была спасена наша Церковь.

Глубочайший и не ведомый никому прежде трагизм положения патриарха Тихона заключался в том, что впервые в истории против Церкви выступила сила, стремящаяся оторвать человека от Бога, создать свою систему ценностей, упразднив мораль, милосердие и добро, и для достижения этих целей готовая абсолютно на все. Не так давно стало известно строго секретное письмо Владимира Ильича Ленина В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 года по поводу изъятия церковных ценностей и необходимости решительно подавить сопротивление духовенства.

Письмо поразительно по жестокости и цинизму.

Советскому государству нужно золото Церкви. Предлог — помощь голодающим; на самом же деле ценности предполагается использовать совсем по другому назначению: государственная работа, хозяйственное строительство, укрепление международного положения. Но голод («отчаянный голод») весьма кстати: широкие крестьянские массы будут либо сочувствовать изъятию, предпринятому якобы для их спасения, либо окажутся не в состоянии поддержать духовенство. С учетом этого В. И. Ленин уверен: «Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена нам полностью». План таков: глашатай государственной политики — тов. Калинин; тов. Троцкий во всем этом как бы совершенно не участвует; **устные** инструкции исполнителям; **устные** же директивы судебным властям, «чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров». Патриарха Тихона «целесообразно... не трогать», но ГПУ должно следить за ним неусыпно; о результатах Дзержинский и Уншлихт пусть еженедельно докладывают Политбюро. И наконец: «На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью,

безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

В зловещем свете этого письма последовательное уничтожение религии в СССР получает исчерпывающее объяснение.

Из нашего совсем не прекрасного, но хотя бы не залитого кровью далека с отчаянно горьким чувством прослеживаем мы стремление патриарха Тихона во что бы то ни стало найти середину и провести церковный корабль между Сциллой «Живой церкви» с ее угодаливостью перед властью и Харибдой ничем не ограниченного насилия, грозящего неволей и смертью православной Церкви и ее народу. Там, впереди, надеялся, должно быть, он, был Новый Град — и ради него, будто пудовые вериги, патриарх принял на свои плечи гнет компромисса. Он отказался от катакомб, но до последнего дня ощущал себя как бы распятым на кресте; он хотел сохранить — не себя, не собственное благополучие, не свою жизнь, ценой которой он во всякую минуту готов был спасти других, — хотел сохранить Церковь, но с болью чувствовал, что его жертва может оказаться напрасной; он, конечно же, сознавал, что нет ничего более несовместимого, чем провозглашенный в России коммунизм и прирожденный человеческому духу порыв к Небу, — но втайне, вероятно, все-таки надеялся, что рано или поздно Россия переболеет увлекшим ее на Голгофу соблазном земного рая и с покаянием вымолит у Господа последнее и окончательное отпущение своих грехов.

Арест, Лубянка, газеты, согласно изображающие его преступником и многозначительно сообщающие, что он пока еще жив, обновленческие епископы, сломленные ГПУ и подписавшие указ о лишении его сана и монашества, гибель келейника Якова Полозова, заслонившего собой патриарха от пули убийц (патриарх кинулся вслед за ними с криком: «Вернитесь, вернитесь! Вы человека убили!»), — последние годы жизни сплошь оказались для него великим испытанием. И вырванные у него властью уступки надо рассматривать в их неразрывном переплетении не только с драматическими событиями судьбы патриарха, но и с происходившей переменой исторических цветов России, день ото дня становившейся все более красной — в том числе и от проливаемой в ней крови.

Правда, в отличие от своих преемников он умел поставить пределы притязаниям власти и находил в себе твердость ответить тем, кто приносил ему ее новые требования: «Я этого не могу».

Когда таких пределов нет, то всякий компромисс становится похож на ледяную гору, по которой обессилевший человек неудержимо катится вниз.

IV

Перестреляв и пересажав подавляющее большинство архиереев Русской православной церкви, разгромив католическую и протестантскую церкви, товарищ Сталин в сорок третьем году перед приездом делегации союзной державы во главе с архиепископом Кентерберийским велел доставить к себе трех живых митрополитов. Он выслушал их просьбы, и, со своей стороны нисколько не сомневаясь, что кадры есть кадры и они решают все, предложил церковному руководству уютный особняк в хорошем месте — бывшую резиденцию германского посла в Чистом переулке, а также щедрую помощь правитель-

ства в решении непростых вопросов питания и транспорта. Для патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия (Страгородского), четырежды сидевшего, уклонявшегося в обновленчество и приносившего затем покаяние патриарху Тихону, провозгласившего в двадцать седьмом году преданность власти не только по долгу, но и по совести (что не спасло, однако, Церковь от разгрома, а священнослужителей — от террора), написавшего в сорок втором предисловие к книге «Правда о религии в России» (где правдой именовалась самая откровенная ложь), — для него свидание с вождем явилось несомненным торжеством и неопровержимым доказательством глубокой и терпеливой мудрости компромисса. И сколь бы ни была страшна цена прожитых под рукой рябого недоучки лет, какая бы исполинская гекатомба трупов ни высилась позади, как бы поруган и унижен ни был Храм, — все это уже не имело существенного значения. Побеждающий в великой битве коммунистической вождь наверняка сбросит опостылевшую и теперь уже ненужную ему маску и провозгласит себя тем, кто он и есть по сути: самодержавным монархом, Александром Македонским, повелителем половины земного шара, а трепещущую от ужаса и любви Советскую Россию — своей империей.

Богослов, человек, покоривший искушенную петербургскую интеллигенцию, поборник соборных начал церковной жизни, монах, — неужто он не сознавал, **кто** благодетельствует Церкви? Неужто смотрел на **него** затуманенным от восторженной преданности взглядом Константина Симонова? Неужели не отдавал себе отчета, что нет ничего ужасней, чем милость палача?

Не только поддержки в борьбе с гитлеровским нашествием хотел от церкви Сталин; он хотел, чтобы ему кадили и чтобы его власть и его царствование были освящены церковью как власть и царствование от Бога. Он хотел — и получил желаемое. (Патриарх Московский и всея Руси Алексий I назвал Сталина избранником Божиим, «которого Промысел Божий избрал и поставил вести наше Отечество по пути благоденствия и славы...»)

V

Чем больше живешь на белом свете, тем сдержанней относишься ко всякому внезапно вспыхнувшему чувству — тем более к любви, родившейся, мягко говоря, из крайней неприязни и как-то уж очень вдруг.

В самом деле: еще вчера (о чем свидетельствуют недавно рассекреченные архивы Совета по делам религий) председатель этого Совета В. Куроедов определял, кого посвящать в епископы, а кого и близко не подпускать к кафедре, требовал от патриарха Алексия безоговорочного согласия на то или иное уже принятое государственно-партийными органами решение, касающееся сугубо внутренних дел Церкви, по указанию свыше мог навязать Русской православной церкви реформу управления*.

* 31 марта 1961 года в Совет по делам религий были приглашены патриарх Алексий, митрополит Питирим (Свиридов), архиепископ Пимен (Извеков) и епископ Никодим (Ротов). Куроедов объявил им, что необходима церковная реформа, и на классическом советском новоязе сказал им: «Создавшееся положение с управлением религиозных общин справедливо вызывает недовольство среди верующих, тем более что в нашей подлинно демократической стране, в которой управление государством осуществляется народом, сохранившаяся в религиозных общинах диктаторская власть одного лица недопустима. По этому вопросу Совет получил указание правительства и рекомендует вам пересмотреть отдельные пункты Положения об управлении Русской православной церковью». Патриарх и архиереи не пикнули и пересмотрели.

Иными словами, атеистическое государство, которое в первые десятилетия своего существования стремилось уничтожить Церковь, в 60-е, 70-е годы и в первой половине 80-х лишь **терпело** ее, при каждом удобном и неудобном случае давая понять, что она находится на положении заложницы и что советские законы на нее не распространяются. И вдруг — какая-то невиданная до сих пор любовь к архиереям; какая-то, прямо скажем, небывалая идиллия и трогательное стремление уберечь их от неприятностей; какая-то совершенно исключительная со стороны руководящих сначала коммунистических, а теперь и демократических деятелей и генералов демонстрация уважения!

Все между тем довольно просто. Сегодня в структурах власти обособилась та их часть, которую — по характерным ее признакам — можно назвать национал-большевистской и которая пытается обособить имперские притязания с помощью национальной символики, имеющей в своем центре Храм. И нельзя не поражаться, что деятелей Церкви не отталкивает легко различимый в мечтаниях их новых друзей образ России не Христа, а Ксеркса. Как будто на злобу дня сказано Георгием Федотовым в тридцать третьем году: «Бесконечно тяжело, что наше национальное возрождение хотят начинать, вместо плача Иеремии, с гордой проповеди Филофея».

VI

Советская печать сообщала о майоре КГБ А. Хвостикове, проводившем «контрразведывательную работу по линии Русской православной церкви»* и расстрелянном по приговору военного трибунала Северо-Кавказского военного округа — в том числе и за взятки «от священнослужителей и церковников Ростовской епархии за выполнение, с использованием своего служебного положения, различного рода действий в интересах взяточдателей». Трибунал счел доказанной сумму в 142 тысячи рублей, хотя, по утверждениям некоторых свидетелей, набежало под миллион... Суду, как говорится, виднее; Александр Михайлович Хвостиков на тридцать девятом году жизни к своим двум медалям («60 лет Вооруженных Сил СССР» и «За безупречную службу» III степени), диплому юридического факультета и партийному билету получил пулю в лоб (или в сердце?) — но правосудие, казнив этого еще молодого человека и приняв частное определение в адрес КГБ СССР, не произнесло ни единого слова о том, что Хвостиков погиб не раньше и не позже того дня, часа и мига, когда понял, что в мутной воде государственно-церковных отношений хорошо ловятся жирные караси.

Неглупый юноша (Хвостиков начал служить в 24 года), он довольно скоро сообразил, что поющая на литургии «Херувимская» вовсе не представляет собой зашифрованного сообщения для затаившегося в притворе Джеймса Бонда; что Советская власть наверняка не падет от заговора запуганных клириков и многотерпеливых русских женщин; и что вообще вся порученная ему контрразведка есть бессмысленное и подлое издевательство над собственным народом. Осознав это, он, к несчастью, не вознегодовал, не проклял свою службу, не написал прямо на Лубянку: «Протестую!» или хотя бы: «Прошу меня уволить из органов» — нет. Вместо этого он открыл для себя, что приводящая в трепет миллионы простых советских граждан **тайна** государственной безопасности предоставляет ему неограниченную возможность выкачивать деньги из церковной кружки. Конечно, он врал, фанфаронил, пугал (иногда — жестоко) — но ведь и помогал

* Цитирую по тексту приговора.

своим клиентам: Савиной — стать председателем церковного совета Покровского молитвенного дома в городе Шахты*; В. Щеглову — получить должность завхоза Ростовского собора; В. Коряку — занять место настоятеля Вознесенской церкви Ростова-на-Дону. Ему несли из корысти, желая угодить, из страха — и он перекраивал церковный совет, выкидывая из него неугодных и включая угодных; несли — и он давал добро на рукоположение в священнический сан; несли — и он обещал священнику архиерейскую митру. Поистине, не к правящему архиерею сходились нити действительного руководства епархией — а к нему, Хвостикому.

И он не один был такой беззаветный контрразведчик в огромной нашей державе; и не его одного кормила и поила она, не смея даже спросить, в самом ли деле заняты они ее безопасностью!

Многозначительная сама по себе, история величия и падения майора Хвостикова представляет собой доведенную до умопомрачительного абсурда модель государственно-церковных отношений. И как это ни покажется странным, но в силу извращенного порядка вещей, отсутствия закона и малейших правовых гарантий — в силу, если хотите, рабства, в равной мере пагубного и для господина, и для раба, вторую сторону подобные отношения, в общем-то, не устраивали. (Я вывожу за скобки примазавшееся к церкви ворье — хотя и оно получает почти неограниченную возможность красть лишь благодаря существующему положению). Она постанывала, покряхтывала, иногда отваживалась на анонимные письма с разоблачениями Хвостикова — однако твердо усвоила, что заповеданная ей патриархом Сергием **покорность** власти является для нее основным условием не только выживания, но даже и достижения личного благополучия. Быть может, сергианство и вправду сохранило нам церковную организацию; но заплатить за это пришлось страшную цену нравственного унижения.

Петь осанну Сталину, смиряться перед Хрущевым, славословить Брежневу, угождать Хвостикову — поистине такая участь достойна сожаления. Надо отрясать со своих ног самую пыль ее и уходить на дорогу свободного служения Богу — но соблазн сильнее прежнего овладевает иными церковными умами, соблазн союза с национал-большевистской частью аппарата, соблазн империи и главенствующей в ней церкви. Защитите нас от греко-католиков, взывает в «Правде» митрополит Киевский Филарет; отношения с Советской властью у церкви всегда были прекрасными, уверяет митрополит Питирим, которого часто можно было видеть в свите сопровождения отправляющихся за рубеж наших главных партийно-правительственных делегаций; и не имеющих в своем сердце Бога священник гонит из храма людей только потому, что они пришли помянуть Андрея Дмитриевича Сахарова...

Хвостикову бы все это понравилось.

VII

Член Верховного Совета Российской Федерации, священник Глеб Якунин опубликовал в «Аргументах и фактах» целый список агентурных имен (или — если хотите — кличек), которыми Комитет государственной безопасности назвал сотрудничающих с ним священнослужителей Русской православной церкви. Таким образом был сделан первый шаг к разоблачению секретных сотрудников четвертого (цер-

* Попросту говоря — старостой. Факт: большинство старост ныне действующих православных храмов — ставленники либо уполномоченных Совета по делам религий, либо коллег Хвостикова по контрразведке («по линии Русской православной церкви»).

ковного) отдела пятого управления КГБ. Осталось узнать: кто скрывается за псевдонимами? Кто согласился стать агентом КГБ, прекрасно зная, что этим своим поступком он ставит себя вне Церкви? Кто угадал нам многие годы, благословлявшей нас рукой составляя и подписывая донесения на Лубянку? Кто двигался вверх по ступенькам церковной иерархии благодаря своей верной службе тайной полиции? Кто они такие — «Антонов», «Адамант», «Аббат»?

Задачу эту нельзя назвать сложной. Вот отчеты, которые начальник четвертого отдела полковник В. Тимошевский направлял руководству КГБ СССР.

Год 1985-й: «В ВНР на заседание рабочего комитета ХМК* направлены агенты «Антонов», «Кузнецов», «Вадим», «Прохоров» с заданием осуществить подготовку 6-го конгресса ХМК в приемлемом для нас плане. Решением рабочего комитета определен состав ряда руководящих органов конгресса, куда будет продвинута наша агентура».

Год 1986-й: «Совместно с КГБ УССР и УКГБ по Львовской области осуществлялось контрразведывательное обеспечение празднования 40-летия Львовского собора, упразднившего униатскую церковь в СССР. В организации и проведении мероприятий участвовала большая группа агентов КГБ, в т. ч. «Адамант», «Антонов», «Лукьянов», «Скала» и др. Празднование, в котором приняли участие около 300 гостей, а также 10 представителей зарубежных православных церквей, прошло в приемлемом для нас духе. На иностранцев оказано положительное влияние, у некоторых взяты интервью положительного характера».

В том же году: «Для участия в III предсоборном всеправославном совещании в г. Женеву выехали агенты «Антонов», «Островский», «Нестерович», которым отработано задание по доведению до религиозных кругов Запада объективной информации о ходе переговоров в Рейкьявике».

Год 1989-й: «Наиболее важными были поездки агентов «Антонова», «Островского», «Адаманта» в Италию для переговоров с Папой Римским по вопросам дальнейших взаимоотношений между Ватиканом и РПЦ, в частности по проблемам униатов».

Как видите, во всех четырех процитированных мною отчетах полковника В. Тимошевского встречается агент по кличке «Антонов». Это имя, кстати говоря, можно обнаружить в отчетах еще 1967 года, в которых, в частности, сказано, что «Антонов» вместе с другими агентами, будучи на заседаниях Исполкома и Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей, в пику западным церквям «требовал обсуждения положения негров в США». Словом, это старый, проверенный, опытный кадр Комитета государственной безопасности.

Наряду с отчетами четвертого отдела пятого управления КГБ СССР (разумеется, «совершенно секретными») существует официальная церковная хроника, познакомиться с которой можно либо по «Журналу Московской Патриархии», либо по «Информационному бюллетеню» Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. Если — точь-в-точь сообразуясь с приведенными в отчетах КГБ датами и событиями — просмотреть подшивки «ЖМП» и «Информационного бюллетеня», то нетрудно, к примеру, установить, что в мае 1985 года в Будапеште на заседании рабочего комитета ХМК делегацию Русской православной церкви возглавлял митрополит Киевский и Галицкий Филарет, являющийся к тому же председателем Комитета продолжения работы ХМК. (В «ЖМП» — № 8, 1985 г. опубликован снимок: митрополит Филарет с улыбкой пожимает руку Председателю Президиума ВНР.)

* Международная религиозная организация «Христианская мирная конференция».

В «ЖМП» (№ 2, 1987 г.) под рубрикой «Из жизни православия» напечатано пространное сообщение о работе III предсоборного всеправославного совещания, проходившего в октябре—ноябре 1986 года в Шамбези, близ Женевы. Делегацию Московской Патриархии возглавлял митрополит Киевский и Галицкий Филарет, призвавший участников совещания воспринять — цитирую: «предлежащий подвиг, как говорит апостол Павел, не с любопытством и тщеславием (Флп., 2, 3), но со страхом Божиим, с любовью к истине и с христианским смиренным».

А в «Информационном бюллетене» за 1989 г. (№ 8—9) на странице 13 помещено сообщение под заголовком: «Визит Папе Иоанну Павлу II»: «Находившаяся в Риме делегация Русской православной церкви, состоявшая из постоянных членов Священного Синода во главе с митрополитом Киевским и Галицким Патриаршим Экзархом Украины Филаретом, 25 августа была принята Папой Иоанном Павлом II в его летней резиденции в Костель Гандольфо». (Бедный Папа! Он полагал, что беседует с православными архиереями, своими братьями во Христе, — и не ведал, что принимает агентов КГБ.)

Агент КГБ «Антонов» в официальной церковной хронике предстает митрополитом Филаретом (Денисенко). Это один и тот же человек, но с двумя лицами, двойник и перевертыш.

Точно так же под агентурным именем «Адамант» обнаруживается митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а под кличкой «Аббат» — довольно часто призывающий нас с телеэкранов к добру и правде митрополит Питирим, председатель Издательского отдела Московской Патриархии.

VIII

Раскол в церкви возникает от несвободы, которая давит верующий народ; он возникает от нечистоты государственно-церковных отношений; он вырастает на старой почве союза епископата с властью.

Недавно народные депутаты Суздальского городского Совета и члены исполкома горсовета получили письмо от епископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова). «Считаем **недопустимым**, — указывает, в частности, епископ (подчеркнуто им), — передачу храмов в г. Суздале каким-либо религиозным конфессиям, тем более не обладающим ни юридическим статусом, ни каноническим. Просим передавать храмы их извечному хозяину — Русской православной церкви Московского Патриархата».

Таким образом, епископ обращается к государственной власти, призывая депутатов решительно и бесповоротно занять сторону Русской православной церкви.

Поясню, в чем тут дело. В Суздале два года назад община верующих Цареконстантиновского храма перешла из Русской православной церкви в Русскую православную церковь за границей (ее примеру последовали некоторые другие общины в России и на Украине). Сейчас здесь создано епархиальное управление новой Российской православной свободной церкви (в юрисдикции Русской православной церкви за границей), в Цареконстантиновском храме служит ее епископ — Валентин (Русанцов), в соседнем Скорбященском храме ее священники по воскресеньям обучают основам религии две с лишним сотни суздальских ребятишек.

Отчего суздальская община порвала с Русской православной церковью, правы или не правы были верующие и священнослужители Цареконстантиновского храма — Бог им судья. Нам важно другое: они не изменили свою конфессиональную принадлежность, как были, так и остались православными, как были, так и остались гражданами

России, нашими соотечественниками, и, стало быть, в соответствии с Законом РСФСР о вероисповеданиях, Министерство юстиции РСФСР должно будет зарегистрировать устав Российской православной свободной церкви.

Я вполне допускаю, что епископу Евлогию зарубежная церковь отвратительна; и что епископа Валентина он на дух не переносит. Нашим оголтелым атеистам точно так же и еще совсем недавно было совершенно непереносимо само существование в одном с ними времени и пространстве Русской православной церкви и ее священнослужителей. И чуть что — они обрушивали на их головы обвинения в воинствующем фанатизме, провокациях, лжи, а также в неразрешенных властями молитвах. Чудны дела Твои, Господи! Православный епископ Евлогий словно слова списал для своего письма из какого-нибудь постановления о богоборчестве в районном масштабе. Во всяком случае, он не стесняется указать суздальским депутатам, что православная община пользуется своими храмами «незаконно», что она «не зарегистрирована», что «аппетиты группы воинствующих суздальских карловчан*... растут» и что «недопустимо» передавать им еще одну церковь.

Из памяти епископа nepocтижимым образом выпало семидесятилетнее унижение Русской православной церкви, зато столь же nepocтижимо в нем народилась уверенная повадка хозяина, который не прочь посадить в освободившееся гетто церковь-соперницу. Монах, пользующийся в церкви репутацией молитвенника, он вдруг горой встает за Советскую власть и обещает познакомить депутатов с «провокационными заявлениями» против нее со стороны презренных карловчан. А чтобы суздальские избранники до конца «поняли истинное лицо этой конфессии», епископ Евлогий сообщает им о ее «дружеской связи с немецкими фашистами».

Верно: Русская православная церковь за границей никогда не заявляла о своей лояльности к Советской власти, а иные ее священнослужители предпочли фашизм коммунизму. Я даже могу прибавить, что в тридцать втором году ее архиерейский синод разразился пространном посланием против главного источника мирового зла — масонства, а в то время, когда лейтенант Келли злодействовал во вьетнамской деревушке Сонгми, заграничное православное священноначалие призвало господнее благословение на американское оружие. Но вместе с тем, мне кажется, нет таких весов, которые бы в точности определили, какая из двух церквей превзошла другую по количеству накопленных за последние семь десятилетий исторических грехов. В конце концов, вовсе не христианское дело — петь осанну величайшему палачу, товарищу Сталину и, вопреки Евангелию, называть его «отцом». А самое главное — какое отношение ко всем действительным и мнимым заблуждениям Русской православной церкви за границей имеют православные верующие города Суздаля?! Они всю жизнь прилежно пахали на Советскую власть, у многих из них родные и близкие погибли в битве с фашизмом, и они, осмелюсь я думать, не менее достойные граждане нашего Отечества, чем даже сам епископ Евлогий. Правда, они не желают молиться вместе с ним — но это уже дело их совести.

Епископ, однако, честит их «воинствующими раскольниками», повидимому, совершенно не отдавая себе отчета в том, какой глубочайшей раны в исторической памяти России касается своей запальчивой рукой! В семнадцатом веке раскол разделил русское общество и подо-

* Русскую православную церковь за границей называют иногда Карловацкой — по названию сербского города Сремские Карловцы, где в 1921 году она организационно оформилась.

рвал нравственное здоровье Церкви, которая вместе с государством принялась, как бешеных псов, гнать своих православных соотечественников только за то, что они отвергли сделанные патриархом Никоном исправления в богослужебных книгах, имя Господа писали и произносили с одним «и» и два перста при крестном знамении предпочитали трем. В борьбе с нынешними раскольниками наши церковные ревнители, я надеюсь, воздержались бы от применения огня, в котором заживо сожжен был протопоп Аввакум, и голода, которым уморили боярыню Морозову. Но вместе с тем возникает ужасно грустная мысль, что они восприняли бы как должное решение властей запечатать алтари непокорных храмов (как это сделал в 1855 году Николай I) и заключить в одиночную камеру суздальского Спасо-Евфимиева монастыря епископа Валентина (в прошлом веке именно в этот монастырь на долгие годы были заточены старообрядческие епископы).

Мне пришлось довольно долго заниматься проблемами церковно-государственных отношений в ту, совсем еще недалекую пору, когда они ничем не напоминали нынешней идиллии. Какой-нибудь уполномоченный Совета по делам религий, в прошлом, как правило, партийный работник, а по новой должности — непременный конфиденгент местной госбезопасности, мог тогда запросто помыкать священниками и держать в состоянии преданного трепета почтенного архиерея. Священноначалие Русской православной церкви с покорной безмолвностью принимало даже самые безнравственные и противоконституционные решения власти как на государственном, так и местном уровне. Теперь клирики и епископы отчасти даже сами стали властью, и, по моим наблюдениям, далеко не все они сознают, что приступы смертельного удушья Церковь может испытать и в объятиях государства.

IX

В иные минуты начинает казаться, что покрывшая нашу Землю грязь может быть смыта только новым потопом. И восклицаешь: «Господи! Взгляни — разве достоин милости Твоей и любви нынешний человек, заблудшее создание Твое?! Он предает Тебя на каждом шагу — в слове, деле и помышлении; он торгует Тобой, унижает Тебя, размещает Тебя, как монету, и дробит единую Твою Церковь...»

Но увидишь, как мать подносит к Чаше младенца и как священник причащает его — и понимаешь, что как бесконечно Божественное милосердие, так неиссякаема должна быть наша надежда.

Надежда на то, что прояснятся умы и смягчатся сердца. Что короткую свою жизнь человек перестанет отравлять ложью и злобой. И что распятая на рабском кресте Россия непременно воскреснет.

Молодой Апрель

Олег ФАЙНШТЕЙН

Идиллия на фоне измены

Глава I

1

С Юлей они познакомятся на приеме, который устроит новый завкафедрой по поводу своего избрания.

Старый умрет еще летом семьдесят пятого, и почти целых полгода, до февраля семьдесят шестого, Паше придется исполнять обязанности. Однако несмотря на то, что все думали про него, будто он — первый претендент на это место, кафедра достанется другому.

Павел даже не станет выдвигать своей кандидатуры. Будут говорить, что какую-то роль в этом деле сыграл ученый совет, что, дескать, Павлика приглашали, с ним беседовали, ему объяснили, что институту выгоднее иметь на этом месте не кандидата, а доктора, и что «варяг», который уже подал на конкурс, не просто доктор, а доктор из промышленности, и это особенно важно для института, ибо сейчас как никогда необходимо крепить связь науки с производством. Да, якобы говорили ему, мы знаем, что диссертация у вас уже практически готова и через год-два вы тоже станете доктором, но институту нужна свежая кровь, нужна именно сейчас, ведь вы же всю жизнь в нашем институте, вы же патриот, вы должны понять.

В общем, как бы там ни было, Павла отговорят, он не станет подавать документы, и все в один голос (и даже Корутковы) будут утверждать, что дело здесь в том, что Павел Анатольевич не успел защитить докторскую, а не в том, что он не скрываясь состоит в связи с одной из своих сотрудниц, — про сие даже не вспомнят, и Аглая почему-то будет чрезвычайно довольна, что в неудаче Павла эта история не сыграла роли. Ей было бы тяжело, если б муж вдруг пострадал из-за своих семейных неурядиц и это бы стало предметом обсуждения.

Впрочем, причины, по которым Павлик отказался баллотироваться, будут не вполне ясны даже Аглае. Павел не пожелает объяснить, и она иногда со страхом будет думать, что ведь никому допод-

лино не известно, о чем там с ним беседовали в ученом совете и что именно с милой улыбкой говорил ему секретарь парткома, когда однажды случайно оказался с Пашей за одним столиком в институтской столовой,— Павел не пожелает объяснить, и иногда Аглая с отвращением станет думать, что, возможно, дело вовсе не в его докторской, а в ее, Аглаином, несовершенстве, которое, если уж разбираться, и стало первопричиной всего.

Однако Павел будет, кажется, единственным человеком, которого эта кутерьма с выборами нового завкафедрой внешне (по крайней мере — внешне) никак не затронет. Он останется таким же спокойным и невозмутимым, как всегда, и на все попытки любопытствующих уяснить обстоятельства дела станет отвечать, что ничего не знает, абсолютно не в курсе и никогда даже и не замышлял претендовать на заведование кафедрой. Он будет, как обычно, мил и доброжелателен со всеми и более погружен в свои научные дела, чем в дела мирские. Иногда Аглая станет даже подумывать, что, может, это правда, и он вовсе не собирается претендовать на высокий пост. Но вспоминая, как торопился Павел последние годы с докторской, она будет понимать, что тут не все так просто и что, похоже, Паша все-таки хотел этого, но не добился, и вот теперь делает хорошую мину при плохой игре.

Словом, документы Павел подавать не станет, и кафедру получит «варяг» из промышленности, некто Никита Иосифович Левин, немолодой уже и чем-то там действительно известный в их области человек, несколько лет как числившийся у них на кафедре незаметным профессором-повременником. И уже в начале февраля он, этот Левин, организует у себя дома небольшой прием для сотрудников с женами по случаю избрания.

2

Там-то Аглая с Юлей и познакомятся.

Аглая тщательно приготовится, выберет платье, украшения, продумает макияж, ей будет казаться, что это очень важно, что все на кафедре знают ее обстоятельства и станут наблюдать за ней с особым интересом.

Она отправится одна, потому что у Павла в тот день опять окажутся занятия с вечерниками, и ему придется задержаться.

На улице будет очень холодно и уже темно.

Аглая доедет до «Смоленской», потом на троллейбусе до «Украины», переберется на другую сторону Кутузовского и сразу увидит нужный дом — еще не очень старый, добротный, семизэтажный.

Дверь откроет Корутков. («О, Аглая! Здравствуйте-здравствуйте! Сколько лет, сколько зим. Проходите, пожалуйста. Тут уже все в сборе».) По просьбе хозяина Корутков будет встречать гостей. Он поможет Аглае снять шубу, проведет в квартиру, представит Клавдии Ивановне, жене нового зава, самому. Потом, услышав звонок, бросится встречать очередных гостей.

Аглая останется одна и оглядится.

В центре просторной светлой от множества зажженных ламп комнаты она увидит длинный уставленный закусками и выпивкой стол. Стульев возле него не будет. Ей покажется, что даже для просторных профессорских апартаментов из трех или четырех комнат народу тут слишком много. Здесь будут и кафедральные, которых она знала еще с той давней поры, когда сама работала на кафедре машинисткой, и люди с других кафедр, и кое-кто, кажется, из ректората, и просто какие-то незнакомые лица. Разделившись кружками, с тарелками и бокалами в руках, гости будут стоять кто возле

большого стола или маленьких столиков, кто в углах комнаты или возле книжных шкафов. Некоторые обоснуются в креслах или на диване, иные же будут вроде бы хаотично перемещаться от одного кружка к другому.

Аглае в первые минуты станет не по себе от этой гудящей, колышущейся и жующей толпы, но, заметив ее растерянность, к ней подойдет Левина. Они перекинутся несколькими фразами ни о чем— о погоде, о нарядах, о том, какие милые все люди. Потом к ним подойдет кто-то из гостей, и они поговорят втроем. Аглая почувствует себя лучше. Корутков подведет кого-то, представит хозяйке. Подойдет и Вероника Коруткова. Клавдия Ивановна с гостем отойдут. Коруткова скажет, что очень сожалеет, что заволом стал не Павел Анатольевич. Аглая улыбнется. Коруткова скажет, что ей и ее мужу очень бы хотелось этого. Аглая опять улыбнется. Ну ничего, скажет Вероника, еще не вечер. Осенью Павел Анатольевич защитается, а там посмотрим, кому быть у руля.

— Извините,— ответит Аглая.— Хочется чего-нибудь выпить.— И отойдет от Вероники к столу.

3

— Меня зовут Юля,— услышит Аглая у себя за спиной.

Она положит бутерброд на тарелку и обернется.

— Уже давно хочу с вами познакомиться. Пора ведь.— Говоря, Юля будет глядеть Аглае прямо в глаза. Аглая увидит у нее в руках полупустой бокал, поймет, что, придя сюда к самому началу, Юля уже успела слегка набраться.— Собственно, мне нечего вам сказать, Аглая. Я даже немного боюсь вас. Только хотелось познакомиться. А то живем, можно сказать, одной семьей, а друг друга не знаем.— Аглае станет неприятно, и Юля, кажется, заметит это.— Извините,— скажет она,— я уже малость пьяна. Просто очень хотелось посмотреть на вас, какая вы на самом деле.

— Аглая! Идите к нам,— позовут из другого конца комнаты.

— Сейчас, сейчас,— ответит Аглая.— Ну, и какая же?

— На меня похожи.

— Похожа?

— Да, похожи.

— Не поняла, в каком это смысле?

— А вы приглядитесь.

Аглая посмотрит. Это окажется поразительно! Она вдруг поймет, что они действительно очень похожи с Юлей. Они одинакового роста, обе худенькие, они обе блондинки и носят почти одинаковые прически. Аглая увидит, что Юлино лицо, ее губы, рот, нос, что ее грудь и ноги, что все это походит на ее собственные губы, рот, нос, грудь и ноги. Ну, нет. Разумеется, они не будут двойниками, точными копиями друг друга. Юля будет моложе и свежее, и кожа у нее на лице окажется абсолютно без морщинок, гладкая и упругая; на Юле будет другое платье, другие туфли и другие украшения. Да, если разбираться, они, конечно же, во всем будут разные, Аглая и Юля, но все-таки сходство — сходство несомненное и странное.

— Что? — рассмеется Юля.— Удивлены? А я знала. Знала, что мы похожи. Я видела ваши фотографии. Мне Паша показывал. Он говорит, что и выбрал-то меня из-за этого сходства. Он мне и постричься-то не разрешает — из-за вас. Не знаю даже, кому больше надо ревновать: мне к вам или вам ко мне? — Улыбнется: — Хотя вру. Конечно, знаю. Ведь это же я оказалась второй, а не вы.

Аглаю возьмет зло.

— Ну что вы, Юленька! — скажет она. — Здесь же чистый случай! Могло выйти и наоборот. Вы могли оказаться первой, а я — второй.

— Да, но все получилось именно так, а не иначе.

В голосе Юли вдруг прозвучит тоскливая нотка, и Аглая подумает, что Юля, кажется, действительно пьяна.

— Право, поверьте, — скажет Аглая, — мне очень жаль. Однако ведь, судя по всему, вас это нисколько не остановило, то, что вы оказались второй.

— Послушайте, Аглая, не надо меня ненавидеть! Я ведь хочу, чтобы вы простили меня.

— Зачем вам?

— Мне страшно.

Люди, стоящие рядом, громко захохочут чьей-то шутке. В соседней комнате включают музыку.

— Страшно? В самом деле?

— Очень.

— Да отчего же?

— Я в а с боюсь.

— Меня?!

— Да, вас.

— Боже мой! Тогда считайте, что я уже простила.

Юля секунду помолчит, испытующе глядя на Аглаю.

— Нет, конечно. Я знаю, что вы меня никогда не простите.

Аглая рассмеется:

— Это уж как вам угодно.

Мимо, делая вид, что не замечает их, проплывет Коруткова. Юля замолкнет. Когда Вероника Михайловна отойдет на достаточное расстояние, спросит Аглаю:

— Уже высказывали соболезнования?

— Высказывали.

— То-то же! Их это дело занимало очень. Вроде тараканьих бегов. Кто первым успеет к финишу. Ведь тут многие завидуют Паше. Считают, что он всего добился благодаря моему отцу. А на самом деле папа недолюбливает его. Ну и когда стало ясно, что Паша проиграл, они очень злорадствовали. Паршивые людишки, завистники.

— Мерзавцы, да?

— Да-да! Именно так. Мерзавцы!

— А папочка-то мог бы ведь и в самом деле помочь. Уж коль Паша спит с его дочуркой.

Юля поставит на стол опустевший бокал. Возьмет с подноса другой. Не сводя с Аглаи глаз, сделает большой глоток.

— Слушайте, — скажет она, тихо улыбаясь, — я же совсем забыла! Вот еще о чем я вас хотела спросить. Растолкуйте, на милость, что это вы за сверхлюбовь такую ищете? Мне Паша что-то там пытался объяснить, но я ничего не разобрала.

Аглае станет не по себе:

— Он рассказывал вам?!

— Да. Только тут ничего непонятно. Если вы сверхлюбите, то я, что же, просто люблю? А может быть, я тоже сверхлюблю?

— Сомневаюсь, — скажет Аглая.

— Но почему же?! Ведь он же «спит со мной», как вы только что заметили.

— Я не хочу разговаривать об этом, — отрежет Аглая. — Это — мое и вас не касается.

— А-а, — усмехнется Юля. — Понимаю.

Мимо опять проплывет Коруткова. Они обе замолкнут и посмотрят ей вслед.

— Подслушать пытается,— прошепчет Юля.— Мы, однако, заговорились. Ведь сейчас за нами все наблюдают из своих углов. Надеются, что-нибудь произойдет. Улыбнитесь. Не доставим им этого удовольствия. — Она дружески притронется к Аглаиному плечу. — Пускай останутся ни с чем, хлопотуны. Улыбнитесь же. И простите меня. Все-таки простите.

— Да зачем вам, не пойму?! — воскликнет Аглая.

Юля помолчит. Затем скажет:

— Я надеюсь, что мы еще можем подружиться.

— Дружба с женой клиента — гуманный закон вашей профессии, да, Юленька?

Юля опять умолкнет. Поставит уже опустевший бокал на поднос. Возьмет третий. Потом, подняв на Аглаю глаза, проговорит:

— Зря вы так, Аглая. Ведь я была искренна.— И отойдет.

4

Больше им в тот вечер беседовать не придется. Они разойдутся по углам комнаты, словно по углам ринга, и, находясь рядом, как бы перестанут замечать друг друга. У Аглаи, правда, возникнет чувство, будто между ними установилась какая-то невидимая связь, заметная и понятная лишь им одним. Подобная полю, электрическому или гравитационному, она, эта связь, внезапно возникнет и соединит их. Не подходя, не разговаривая, внешне не обращая друг на друга внимания, они будут чувствовать одна другую (во всяком случае, Аглая будет), и каждое их движение, каждый жест, каждое произнесенное слово будет предназначено в первую очередь той, другой.

Весь вечер Аглая, в каком бы кружке она ни оказалась, весь вечер Аглая станет осторожно глазами выискивать среди гостей Юлю и исподтишка разглядывать ее, оценивая и сравнивая с собой. Все-таки они окажутся очень похожи, только Юля будет моложе ее, свежее ее, а потому привлекательнее, и Аглая не сможет не признать этого, и ей будет неприятно и больно. Аглае представится, что Юля лучше одета, Юлино платье красивее, украшения удачней подобраны, а молодое еще Юлино лицо потребовало гораздо меньше косметики, чем ее, Аглаино, и от всего этого Аглае тоже будет неприятно и больно.

Да, весь вечер, не в силах оторвать взгляд, Аглая станет украдкой наблюдать за Юлей, пытаясь уместить в сознании, что именно с этой, с этой, с этой Павел, и недоумевая, что хоть сейчас они наконец и столкнулись (разноименные заряды) и она (Аглая) видит ее (Юлю), но ничего, однако же, не произошло, ничего не происходит: земля не разверзается, гром не грохочет в небесах, наоборот: они только что даже поговорили и внешне все было вполне благопристойно и чинно, словно встретились две старые подруги, давно не видавшиеся и вот сошедшиеся, чтобы обсудить последние новости да поболтать о мужьях. Только муж-то у них один, один на двоих, и, значит, они не могут быть подругами.

Хоть и испытывая вину, Аглая будет чувствовать, что ничего с собой поделать не может, и ненавидит Юлю, и жаждет отмщения и возмездия. С затаенным злорадством будет она наблюдать, как весь вечер с бокалом в одной руке и дымящейся сигаретой в другой Юля, одинокая и неприкаянная, бродит меж гостей, хмелея все больше и больше.

К тому моменту, когда появится Павел, Юля будет пьяна уже заметно.

Едва завидев мужа в другом конце комнаты, Аглая кивнет ему в сторону соперницы: посмотри, дескать.

Павлик мельком глянет на Юлю.

«Ну и что?» — пожмет он плечами.

Подойдя к Аглае, спросит:

— Как ты здесь без меня, малыш? Никто не обижал?

— Попробовали бы только! — засмеется Аглая.

— Ты у меня молодец, — он ласково погладит ее по руке. — С шефом уже говорила?

— Очень бегло.

— Пойду чокнусь со стариком. А то сплетен и так не обоб- раться.

Он возьмет с подноса на столе рюмку и направится в другой угол, где будет стоять хозяин. Аглая увидит, как, приветствуя, Павел скажет профессору что-то шутовское и тот рассмеется. Потом они с Павлом чокнутся и выпьют. Шеф дружески возьмет Павлика под руку и уведет куда-то, должно быть, в кабинет.

Аглая увидит все это.

Она будет пристально следить за Павлом, но не заметит, чтобы он хоть раз взглянул в Юлину сторону. Состояние Юли, кажется, совсем не взволнует его. Он будет оживленно и доброжелательно беседовать с хозяином, потом даст себя увести и ни разу не обернется к Юле.

Юля же будет смотреть на Павлика во все глаза (покорно, испуганно, ожидающе). Это Аглая тоже увидит.

Часам к десяти вечера Юля опьянеет уже очень. Широко раставив ноги, она будет сидеть в дальнем кресле и, упершись остекленевшим взглядом куда-то в угол, курить, не замечая, что пепел от сигареты ссыпается ей прямо на платье. Волосы ее растреплются, бусы сползут на плечо, и она будет старательно бороться с подступившей икотой (безуспешно, впрочем). От недавней ее свежести и молодости не останется и следа, прелесть украшений и нарядов поблекнет. В ней вдруг проступит обычная, потрепанная жизнью пьянчужка, которую, словно по ошибке, пригласили на прием вместе с интеллигентными людьми и которая, не умея себя вести, конечно же, по-свински нализалась и вот теперь оскорбляет слух и достоинство гостей отрывистыми хамскими звуками.

Общаясь с кафедральными, Аглая все время будет искоса наблюдать, как Юля, очумевшая от слишком большой дозы, вяло борется с накатившейся икотой. Вопреки Юлиным стараниям икота станет только усиливаться, и Аглая, чувствуя свое превосходство, будет наслаждаться беспомощностью соперницы, ее позором, тем, что все это могут видеть, тем, что все видят это.

Тут окажутся и злорадство, и что-то еще нехорошее, недостойное, мелкое, но боль, причиненная Юлией, и ненависть к Юле будут так сильны, что Аглая сумеет совладать с виной, заставив себя воспринимать все лишь как победу справедливости: это Юля виновата перед ней — и то, что сейчас плохо не ей, а Юле, то, что в некрасивой ситуации оказалась не она, а Юля, то, что Паша не пожелал даже обратить внимания на Юлю, помочь ей хоть как-нибудь, —

все это будет если и не возмездием, то уж, во всяком случае, заслуженным наказанием Юле, — и Аглая будет торжествовать. А когда профессор с Павлом появятся из кабинета, торжество Аглаи усилится, потому что, войдя в комнату, Павел даже не подумает поглядеть в Юлину сторону, хотя Юля и вострепнется, увидев его, и поднимет голову, и вопьется в него взглядом, и в мутном этом взгляде ее даже на секунду мелькнет осмысленность, но Павел не посмотрит в ее сторону, нет, а подойдет к ней, Аглае, и, прислушавшись к тому спору, который она неизвестно зачем затеет с одним из его коллег, поддержит ее:

— Да,— скажет он (Павел).— Мы уже победили поляков — шестнадцать — один. Значит, мы в неплохой форме. И если в последнем матче четырнадцатого числа мы сумеем нейтрализовать Поузара и братьев Штястного, то, считай, в Инсбруке — мы чемпионы!

— Вот видите! — воскликнет Аглая,— видите! Я же говорила!

Это будет приятно, очень приятно, потому что Павел будет с ней и за нее и все смогут это видеть, а Юля будет сидеть в своем углу, вдрызг пьяная, одинокая и никому не нужная. Она все будет ожидающе пялиться на Павлика, надеясь, наверное, что он обратит на нее внимание, но Павлик совершенно не станет ее замечать, и Аглае захочется, чтобы все это увидели, чтобы все это отметили, оценили и перестали наконец думать, что он изменяет ей с этой пьяной потаскушкой. Ей захочется кричать: смотрите, смотрите! Юля пьяна, жалка, некрасива, а он со мной, со мной, со мной! — и когда Клавдия Ивановна подойдет и предложит ей показать свою «роспись по дереву» (так и скажет), Аглая обрадуется. Ей будет все равно что смотреть, но ей ужасно захочется хоть с кем-нибудь поговорить про Юлю и Павлика, про то, что он совершенно не интересуется Юлией, но зато весь вечер с ней, с Аглаей, просто совершенно не отходит.

— Да-да,— скажет Аглая Клавдии Ивановне.— На кухне? Конечно. Очень интересно. Пойдемте.

Клавдия Ивановна подойдет к одному из столиков, соберет на поднос опустевшие бокалы и бутылки. Потом длинным полутемным коридором они удалятся от шума комнаты.

Когда на кухне загорится свет, Аглая поразится: все стены до самого потолка будут увешаны ярко разрисованными деревянными панно. Узкоплечие грациозно изогнувшиеся мужчины в красных козovorотках, синих кафтанах, черных цилиндрах, еще более узкоплечие женщины в широких оранжевых кринолинах, позируя, застынут в самых разнообразных положениях: кто обнявшись на скамейке, кто на гарцующем длинноногом коне зеленой (почему-то) масти, кто сидя за столом и держа в руках такие же панно, обращенные рисунками к зрителю. Все они, напряженно улыбаясь, будут в упор смотреть на Аглаю, а вокруг них — и в воздухе, и под ногами — будут виться-извиваться гирлянды фантастических крупных цветов, порхать не то павлины, не то сирены. Мир их будет густо заселен бойцовыми петухами и разноцветными кошками с хитрыми глазами.

— Это что, хохлома? — неуверенно спросит Аглая.

— Нет,— улыбнется хозяйка.— Скорей, это ближе к городецкой росписи. Хохлома — та золотая.— Она наденет фартук и, составив бокалы в раковину, включит воду.

— Давайте я вам помогу,— скажет Аглая.

— Нет-нет, что вы, не надо!

— Давайте, давайте. Где у вас тут полотенце? — Аглая увидит полотенце, возьмет его в руки и, продолжая краем глаза разглядывать росписи, станет протирать вымытую посуду.— Это просто настоящие произведения! — скажет она.— Где вы этому научились?

— Научила-то меня мать, она была большая мастерица. Да толь-

ко я долго не рисовала: то дети, то переезды. Мы ведь с Никитой Иосифовичем ездили много. Так что я начала относительно недавно.

— А где вы берете сюжеты? — Аглая почувствует, что Клавдия Ивановна польщена ее интересом.

— Да знаете... — профессорша замнется.— Сначала повторяла где что интересное видела — на выставках или в книжках. А потом как-то — силу, что ли, почувствовала? Не знаю, в общем, стала придумывать сама. И вот, например, видите? «Стрекоза над камышиной» называется. Это я уже полностью сама. Такой мотив городцу даже и несвойствен. Муж все надо мной смеется. Говорит, в том, что я рисую, проявляется моя неудовлетворенность жизнью и желание приукрасить.

Аглая улыбнется этой простодушной откровенности профессорши и приблизится к той картине, про которую Клавдия Ивановна будет говорить.

— Никита Иосифович, конечно, ошибается? — спросит вежливо.

На доске окажется изображена стрекоза с лицом несчастной женщины. Стрекоза зависнет над головками камыша и, облюбовав одну, самую роскошную, протянет к ней свои ножки, желая на нее опуститься. Но, видимо, поднявшийся сильный ветер станет раскачивать камышину и отгонять бедную легкую стрекозу. А она все будет тянуться и тянуться, стараясь обхватить коричневую бархатистую головку, найти на ней пристанище и отдохновение.

— Конечно,— ответит Клавдия Ивановна.— Мужчины нас вообще плохо понимают.

— Да,— скажет Аглая вдруг,— вы правы. Вот, например, Юлечка. Сейчас в таком ужасном состоянии, а хоть бы кто-нибудь из мужчин ей помог!

— Юлия Трифоновна просто перебрала,— скажет профессорша.— Мужчины здесь ни при чем.— Закончив мыть бокалы, она подойдет к холодильнику и раскроет его.

— Ну как же «ни при чем»?! Ведь Юлечка весь вечер ходила такая неприкаянная и словно специально напивалась. Мог же кто-нибудь из мужчин заметить это и понять, что у нее какие-то неприятности. Надо было подойти к ней и утешить, остановить ее. Но никто этого не сделал.

— А знаете,— скажет профессорша,— иногда я думаю, что, может быть, они нас как раз очень хорошо понимают. Ведь ловлю же я себя порой на ощущении, что мне дорога не столько картинка, которую я рисую, сколько похвала, которую я за нее получаю. А ведь это — недохваленность. Неудовлетворенность жизнью то есть. Улавливаете? — Говоря, она будет доставать из холодильника пирожные и раскладывать их на сервировочном столике.— Я хочу сказать, что, возможно, в чем-то муж мой прав.

— И тем не менее состояние Юлии меня беспокоит,— скажет Аглая.

— Ну ничего,— ответит профессорша внешне равнодушно.— Надеюсь, кто-нибудь из мужчин все-таки поможет Юлии Трифоновне.— Она закрывает холодильник.

Аглая будет обескуражена тем, что разговор этот оказался не интересен хозяйке.

— Конечно,— скажет она.

— У вас очень красивый муж, Аглая.— Клавдия Ивановна подкатит столик к буфету и станет вынимать оттуда чайный сервиз.

— Спасибо,— скажет Аглая.

— От него исходит такое ощущение силы и уверенности в себе. Вам с ним, наверное, очень спокойно?

Аглая поглядит в черное окно, в котором, освещенные яркой кухонной лампой, будут отражаться они с профессоршей.

— Да,— скажет она.— Вполне.

— Никите кажется, что все на кафедре хотели, чтобы заволом стал Павел Анатольевич.

— Вот как? Не знаю.

Клавдия Ивановна поднимет голову и внимательно поглядит на Аглаю:

— Во всяком случае, могу вам сказать по секрету, что Никита очень колебался, прежде чем принять окончательное решение. Всегда неприятно оказываться нежеланным.

— Ну что вы! Никита Иосифович не был нежеланным.

— Ему так казалось.—Профессорша подровняет чашки на столике.

— Нет-нет, что вы! Да и с Пашей у них, похоже, успели установиться неплохие отношения.

— По-видимому,— скажет хозяйка и, подтолкнув, покатит столик в комнату.

7

Когда Аглая с Левиной вернутся в комнату, там будет все по-прежнему. Не будет только Павла.

В первую минуту Аглая этого не заметит. Хотя разговор с профессоршей и не удовлетворит ее желания услышать подтверждение тому, как это распрекрасно, что Павлик весь вечер только с ней и совсем не с Юлей, Аглая все еще будет радостно возбуждена. Войдя в комнату, она присоединится к самому шумному кружку, и ей будет очень весело. Ей будет весело до тех пор, пока она дважды не поймает затаенно-испытующего взгляда Карутковой.

Тут-то Аглая и оглядится. Она не увидит не только Павла, но и Юли. Однако не будет и профессора. И это успокоит Аглаю. Она подумает, что Павел с профессором опять ушли в кабинет.

Через пять минут никто из троих в комнате не появится. Аглая отойдет от гостей и, налив себе из электрического самовара чашку чая, сядет за стол лицом к двери.

Через десять минут — то же.

Через пятнадцать минут войдет профессор. В руках у него будут две бутылки шампанского.

— Друзья мои! — воскликнет он.— Друзья мои! Давайте еще выпьем! Сегодня такой прекрасный вечер!

Аглая поднимется. Она поймет, что для нее вечер закончился. Она выйдет в прихожую и станет одеваться.

За ней выскочит Корутков:

— Аглая! Уже уходите?!

— Да.

— Вы зря расстраиваетесь. Просто Юлия Трифоновна себя плохо чувствовала, и Павел Анатольевич взялся ее проводить. Он вернется, непременно вернется.

— Это не ваше дело, Корутков. Успокойтесь.— Она будет застегивать шубу.

— Я-то спокоен. А вы, я вижу, расстроились.

— Ну и что дальше?

— Хотелось бы вам помочь.

— Подите вы,— скажет Аглая, хлопнув перед его носом дверь.

В темном и сыром парадном ей захочется выть и кричать, но она не позволит себе ничего. Она выйдет в обжигающий мороз и пойдет против ветра, а перед глазами у нее будет стоять эта картинка, «Стрекоза над камышиной», и Аглая подумает, что похожа на ту стрекозу, что точно так же хочет, но не может ухватить свою камышину — ее все время вырывает и относит — и опора у нее в жизни такая же зыбкая и ненадежная, как волнующийся на ветру камыш. Аглая подумает, что похожа на ту наивную стрекозу, изображенную профессоршей на ее примитивистской картинке, — похожа, как, наверное, похожа и сама профессорша, и даже Юля, и сотни, тысячи, миллионы других женщин — целые полчища стрекоз, целые поля камыша. Боже мой, подумает Аглая, неужели кому-то удастся ухватиться и удержаться и не быть сорванной или сброшенной?! Поистине — смерть в болоте болота и достойна. Выбравшейся — да воздастся!

Санька к ее приходу еще не ляжет.

Разогрев ему вчерашний ужин, она посидит вместе с ним за столом, пока он будет есть. Потом вымоет посуду, и они пойдут спать. Не сомневаясь, что Паша уже не появится, она, как обычно в таких случаях, ляжет вместе с сыном.

Ближе к утру Павел, однако ж, придет.

— Извини, — скажет он. — Я должен был ее увезти. Она напилась и натворила бы черт знает что, если бы я ее не увез. Ты ее чем-то обидела, вот она и напилась.

— Говорят, с ней такое уже бывало?

Лицо его помрачнеет:

— Бывало. Только тебе лучше про это забыть.

— Прости, — скажет Аглая, — прости, если чем-то задела тебя.

Пройдет день, другой, третий; пройдет месяц и год. Жизнь потечет мучительная и неторопливая, и внешне, кажется, совсем не изменившаяся. Аглая все так же будет дожидаться его возвращений терпеливо и не ропща, и разве что теперь не страдая. В дни его отсутствия она уже давно перестанет просиживать у кухонного окна до последнего автобуса — его отлучки сделаются для нее обыденными, точно смена дней и ночей. Стараясь не думать ни о чем, она с головой уйдет в хозяйство, и лишь иногда, словно на секунду просыпаясь, будет понимать, что чем старше становится, тем легче ей это удастся — не думать ни о чем.

Впрочем, мысли, конечно же, будут, но какие-то вялые и серые, тусклые и незапоминающиеся. Главные открытия останутся вроде бы позади. Не подтвердившиеся и не опровергнутые, они так и зависнут в пространстве между «да» и «нет», между истиной и ложью, между жизнью и смертью. Она будет знать, что права, что есть заменимость, конечность и бессмертие, что есть неуникальность и избранность, что каждому свое и что страшит не столько смерть, сколько небытие после смерти, она будет знать, что все это есть, что все это — объективно и что если ты не чувствуешь себя равным Пушкину, Леонардо или Сократу, то единственное, что тебя может спасти, это сверхлюбовь, то есть любовь, основанная на осознании смертельности отсутствия

таковой, любовь, которая со временем не затухает, а, наоборот, становится все сильнее и сильнее. Аглая будет знать все это, но не станет больше ждать от Павла сверхлюбви, однажды (после знакомства с Юлей) вдруг поняв, что, быть может, эта ее идея была продиктована не столько страхом затеряться в многолюдии никому не нужной, сколько ревностью, обычной бабьей ревностью, до того наивною, чтобы страдать мужа тем, чего не боится никто, и призывать его к тому, без чего обходятся все. И хотя ревность, будет думать Аглая, хотя ревность, возможно, как раз и продиктована страхом оказаться вытесненной и замененной, но все-таки ревность — она ревность и есть. Низкую, банальную, грязную, ее нельзя ставить рядом со сверхлюбовью — они несовместимы, — и призыв к сверхлюбви не может и не должен быть следствием ревности, точно так же, как, например, призыв к благородству не должен быть следствием страха потерять деньги.

Да, конечно, это была ревность, станет думать Аглая, и она обманывала и себя, и Павлика, расписывая ему сказочное будущее, которое якобы сулит сверхлюбовь. Ведь это была только ревность — ревность и, увы, ничего больше!

Глава II

1

После той вечеринки у нового зава Юля начнет звонить к ним домой. Обычно звонки будут заставать Аглаю, забежавшую покормить сына, в рабочие дни в обеденное время.

— Аглая, ведь я должна, я обязана любить вас, потому что вы — часть его жизни. Я должна целовать ваши ноги, потому что он любит вас. Я готова отдать за вас жизнь, пожертвовать своею, потому что он любит вас. Я готова быть вашей тенью, вашим следом, вашим отражением, девчонкой на побегушках для вас, — я готова, готова, готова — потому что вы родили ему сына, а я — никого!

Почти каждый день Юля будет пьяна, а Аглая будет слишком торопиться, чтобы выслушивать ее излияния, однако застигаемой врасплох Аглае придется все-таки отвечать, принимать участие в разговоре, так или иначе реагировать на весь этот бред, что станет нести пьяная любовница мужа.

Порой разговоры эти будут казаться Аглае просто невыносимыми. Юля будет плакать, громко всхлипывая и сморкаясь, а Аглая станет класть трубку на рычаги, не зная, что отвечать и как реагировать. «Истеричка, — будет думать Аглая. — Истеричка. Боже мой, такое же нельзя говорить!» — и еще довольно долго после этих разговоров будет чувствовать себя совершенно выбитой из колеи.

Одно время она начнет отключать телефон, но это окажется бесполезным. Через час, через день или через неделю Юля будет вновь заставать ее и вновь приниматься за объяснения в любви и в вечном уважении, и однажды Аглая скажет:

— Послушайте, Юля, к чему все это? Может, это я должна целовать вам ноги за то, что он все время возвращается от вас ко мне, может, это я должна целовать вам ноги за то, что он так и есть — ни ваш, ни мой, может, это я... К чему все это?! Давайте прекращать концерты... — однако положить конец Юлиным телефонным визитам так и не сумеет и вынуждена будет время от времени приобщаться к душевным тайнам мужа и его любовницы.

— Я его уже не раз прогоняла, — будет рассказывать Юля, — отправляла обратно к вам. Но он все время возвращался. Уходил, а потом опять появлялся. Честно сказать, я ужасно боялась, что он и в са-

мом деле уйдет навсегда. И Паша, наверное, чувствовал это. Он всегда все знает. Он такой выдержанный, почти холодный и всегда очень хорошо меня понимает. Он, наверное, потому и не уходил, когда я его прогоняла, что знал, что на самом деле нужен мне. Я уверена, стоит ему почувствовать, что я в нем больше не нуждаюсь, как он тут же уйдет. Но я нуждаюсь, нуждаюсь, нуждаюсь! Я готова прогнать его, прогонять и прогонять, но я не могу разлюбить его, Аглая! Я не могу разлюбить его, что мне делать, если иначе он не уходит, объясните мне, что?! Я так виновата перед вами!

«Ну почему, почему я должна все это выслушивать? — будет думать Аглая. — Разве ей мало, что она увела у меня мужа? Зачем ей мучить меня еще?»

— Послушайте, Юля! Мне кажется, вы слишком много пьете. Возможно, если бы вы меньше пили, вам бы удалось тогда удержать Павлика уже навсегда.

— Вы меня не поняли, Аглая. Я говорила, что как раз не хочу удерживать его навсегда, я хочу вернуть его вам. Если бы он ушел, я бы помучилась некоторое время, но потом бы привыкла и мне, наверное, оказалось бы легче.

Даже откровенные оскорбления не станут действовать на Юлю. Пьяная, она будет упорно твердить свое, и Аглае придется каждый раз выслушивать всю эту Юлину дичь.

Впрочем, через год или два Аглая все-таки привыкнет, она научится, не слушая Юлю, разговаривать с ней, научится пропускать мимо ушей все, что Юля будет говорить; разговоры эти для Аглаи станут обычными, а Юля — кем-то вроде старой чудаковатой приятельницы, странности которой, конечно же, неприятны, но с которой, в силу давности знакомства, не так-то просто разорвать.

Если вначале, когда Юля звонила к ним и просила позвать к телефону Павла, Аглая, передавая мужу трубку, сама старалась уйти куда-нибудь из квартиры — например к соседке или в булочную (а когда идти было некуда или не за чем, то просто садилась на край ванны и, раскручивая краны, пускала струю на полную мощность — только чтобы ничего не слышать), — если вначале («Я уже поговорил, малыш», — приходя к ней минут через пятнадцать—двадцать, сообщал Павел и начинал выключать воду), если раньше было так, то теперь Аглая научится абсолютно не слышать их разговоров, даже находясь рядом, не слышать, а думать о своем. Это будет году в семьдесят седьмом или семьдесят восьмом — уже в ту пору, когда Аглая, успокоившись, разговоры мужа с Юлей начнет воспринимать как вещь совершенно привычную. Снимая телефонную трубку и узнавая Юлин голос, Аглая теперь даже станет осведомляться у Юли, как дела и как здоровье, и даже пару раз — теперь уже от всей души — попробует объяснить Юле, что ее (Юлины) отношения с Павлом, возможно, вызывали бы куда меньше интереса на кафедре, не будь у нее (у Юли то есть) этого порочного пристрастия к спиртному. Юля станет соглашаться с Аглаей, уверять, что она с собой борется, что уже обещала Павлику, дала ему слово и что теперь она больше ни разу не притронется... Однако проговаривать свои покаяния Юля станет как-то уж очень вяло, привычными серыми словами, сразу же вызывающими у Аглаи недоверие, а через некоторое время опять будет звонить пьяненькая, так что однажды Аглая махнет рукой и, подумав, что не ее это, в конце концов, дело, навсегда бросит попытки вразумлять Юлю. «Это выбор Павлика, и пусть он сам решает, как тут быть, — подумает Аглая. — С меня же хватит и той ноши, которую он на меня уже взвалил».

Все будут думать, что Павел защитит докторскую еще в семьдесят шестом, ну, максимум, в семьдесят седьмом году. Этого, однако, не произойдет. Не произойдет этого ни в семьдесят восьмом, ни в семьдесят девятом, и даже в восьмидесятом Павел еще не защитится. Виновата окажется Юля.

Случится это примерно через месяц после той вечеринки у новоиспеченного заведующего кафедрой, когда вся смута с выборами если и не утихнет, то уж, во всяком случае, начнет утихать.

В пятницу пятого марта перед торжественным заседанием, посвященным празднику, когда уже вся публика рассядется в зале и будет ждать начала, Юля перехватит несколько припозднившегося секретаря парткома прямо возле комнаты президиума, откуда он должен будет в числе других выйти на сцену, и, теребя его за верхнюю пуговицу пиджака, пробеседует с ним о чем-то в течение получаса. О чем у них будет разговор — никто никогда не узнает. Юля не расскажет этого никому (кроме, может быть, Павла), так что сотрудникам, когда им впоследствии станет известно об этом разговоре, придется лишь строить догадки (впрочем, суть всех предположений будет сводиться в основном только к одному — что Юля протестовала против грубого вмешательства парткома в личную жизнь Павлика, против нечестной, двурушнической игры, в результате которой заволом стал какой-то мало кому известный чужак, а прекрасный специалист, преподаватель и ученый — Павел то есть — остался не у дел).

Вход в комнату президиума, возле которой она перехватит его, будет находиться в полутемном коридорчике в глубине служебных помещений, где, как правило, лишнего народа не бывает, да и вообще — народ весь рассядется уже в зале, поэтому случится так, что в течение всего их разговора никто не увидит, что товарищ секретарь попал в затруднительное положение, и не сможет прийти ему на помощь. Он же сам, вероятно растерявшись от неожиданного Юлиного напора, а может быть, и не зная, как от нее отделаться так, чтобы Юля впоследствии не подняла шума, вынужден будет в течение всех тридцати минут покорно выслушивать все, что она станет ему говорить. Ректор, проректоры, заведующие кафедр, почтеннейшие из женщин, избранные для присутствия на сцене, — все они, уже успев, собраться в тесной комнатухе президиума, и, сначала недоумевая, а потом почти негодуя от его необъяснимой задержки, в поисках его названивая и в партком, и в ректорат, и даже к нему домой, протомятся эти тридцать минут по другую сторону двери. Начало собрания будет безбожно затягиваться, но Юля не отпустит секретаря до тех пор, пока не сочтет, что высказала ему все.

Да, судя по бледности секретарского лица — бледности, которая бросится в глаза всем присутствующим, — судя по его посуровевшему, совсем не празднично-улыбчивому виду, с которым он будет восседать весь вечер за столом президиума, разговор этот окажется для секретаря не из приятных. Впрочем, причину такой непростительной суровости люди поймут только позже — когда по кафедре и по институту поползут слухи об имевшем место разговоре (видимо, кто-то все же заметит их, говоривших в полутемном коридорчике). Тогда же секретарская суровость и отрешенность будут отнесены на счет хоть никому и не известных, но в то же время никому и не интересных его забот — мало ли какие у тебя могут возникнуть проблемы, когда ты занимаешь такой пост?!

Возможно, все бы могло и обойтись — в конце концов всякое в жизни случается, но в тот вечер Юля опять окажется подшафе, и состояния такого она, видимо, достигнет отнюдь не после разговора с

секретарем, а как раз до — так что не исключено, именно сочетание ее агрессивности с неподобающим запахом и вызовет недовольство сановного товарища.

Уже во время заседания ее развезет настолько, что Павел вынужден будет увести ее из зала. Инцидент, разумеется, не останется незамеченным. Вообще, их связь уже мало для кого в институте будет секретом. Все так или иначе будут знать либо подозревать, а лишь по счастливой случайности не ставшая подлинным скандалом ее беседа с секретарем раскроет глаза и тем, кому лучше бы ни о чем таком было и вовсе не догадываться (разумеется, если они и в п р я м ь не знали об этом до сих пор).

— Я терпеть не могу несправедливости! — будет говорить Юля, позвонив Аглае в очередной раз.— Я их всех просто ненавижу, всю эту вонючую кафедру! Они что угодно могут сделать, чтобы добиться своих целей. Крокодилы! И я просто жду не дождусь, когда же они все перегрызут друг друга. Вот тогда-то я и вздохну свободней. Но Паша-то — он благородный. Он не станет играть с ними в их игры. Он и не играет. Он никогда бы не пошел говорить за себя. Поэтому я так сделала. Раз они не дали ему кафедру, значит они не дали бы ему и защититься. А я им — верите ли, Аглая? — я им глотки готова перегрызть за него, за один-единственный волосок, упавший с его головы. Вот почему я это сделала... Аглая, ну простите же меня, простите!..

3

В общем, несмотря на то что уже в мае семьдесят шестого года диссертация Павла будет готова абсолютно, он не пойдет в партком за характеристикой.

— Зачем дразнить гусей? — скажет он.— Все равно постараются не дать или дадут такую, что... Наука их не интересует, а тем более — моя докторская. Придется подождать.— И он станет ждать.

Аглая, не предполагавшая в муже такую нерешительность, удивится. «Неужели все так серьезно? — будет спрашивать она себя, глядя на осунувшееся его лицо.— Не может быть!» — Но тем не менее все будет так, именно так, а не иначе, и Аглае придется принять это как данность.

Тогда, в семьдесят шестом году, отнеся неудачу мужа на свой счет, Аглая начнет травить себя мыслью, что это она виновата, ее женское несовершенство, в том, что Павел связался с Юлией, что это она, Аглая, подтолкнула его, не остановила и фактически способствовала, и так далее, и так далее... Но теперь Аглая станет как бы со стороны, почти отрешенно наблюдать за разворачивающимися событиями — не злорадуя вовсе и не увлекаясь слишком. Ей будет и жалко Павлика, и обидно за него, но она не станет переживать без меры. Спокойствие, однажды осознанное ею, оно, это спокойствие, окажется реальным фактором.

Сначала, еще изредка сомневаясь, Аглая будет думать, что это лишь наслаждение от мучения, унижительное удовольствие от муки, мазохистская радость, но потом поймет, что нет. Это окажется настоящим спокойствием, у с п о к о е н н о с т ь ю. И хотя порой ее до дрожи в руках будут обуревать с трудом сдерживаемые приступы нежности к Павлику, желания броситься ему в объятия, чтобы он целовал ее, обнимал,— желания целовать и обнимать самой, прижиматься к нему, чувствуя теплоту, силу и мощь его тела, — о т д а в а т ь с я ему; хотя она все так же, как и раньше, будет любить мужа, любить сильно и, по всей видимости, без особой взаимности,— Аглая теперь успокоится. Ей станет даже нравиться то, что благодаря этому ей в значи-

тельной степени предоставлено право единолично решать во многих сферах, быть полновластной хозяйкой; и их отношения с Павлом, эта легкость, молчаливое согласие не затрагивать определенных тем — тоже станут нравиться Аглае. Это будет спокойствие любящей, простокоенность смирившейся. Павел теперь станет гораздо более просто старым приятелем, чем мужем, близким мужчиной. Их будут связывать квартира, заботы о сыне, кажется, даже общая память, воспоминания о тех временах, когда их любовь была взаимной (воспоминания, по мере удаления, все более окрашивающиеся в тона розового, идиллического счастья), — не так уж и мало, если вдуматься. Правда, их будет разделять то, в чем они не сумели уступить друг другу, — ее неумение быть настоящей женщиной (так Аглая будет понимать суть проблемы) и его нежелание с этим смириться. Но конфликты теперь станут редки, болезненные точки теперь будут обходиться (то ли их станет меньше?) — во всяком случае, будет такое впечатление, словно их почти нет, конфликтов. Жизнь вырвется на плато, ровное и просторное, а возможно, даже и бескрайнее, и пустится по нему, по плато этому, подобно реке или речушке (широкой или нет, какая разница?!), и Аглая перестанет чувствовать себя растерянно стоящей в огибающем и захлестывающем ее потоке, бессильной решить, что же ей делать — двигаться ли вспять или отдаться течению, — Аглая больше не будет чувствовать себя изолированной от жизни, безнадежно отставшей, забытой, выброшенной. Теперь после того, как она поняла, что Павел все равно обязательно возвращается, — уходит, а затем появляется вновь, после того, как она поняла, что его возвращения — это закон, Аглая ощутит уверенность в себе, свою силу, безусловную ценность и, значит, незаменимость.

Аглая начнет думать теперь, что, пожалуй, только та любовь подлинная, только та любовь и может быть названа сверхлюбовью, которая невзаимна. Именно односторонняя, невзаимная любовь, предмет которой по-настоящему недоступен, именно такая любовь, аккумулируя, придает чувству гигантскую, недостижимую никаким другим способом силу, просветляет душу, делает человека счастливым. Взаимная любовь — сладкий леденец, который быстро тает во рту. Невзаимная — катарсис, осознание себя человеком уникальным. Она-то, невзаимная, и есть — сверхлюбовь!

4

В восьмидесятом секретарем парткома станет другой, вообще что-то, видимо, изменится в обстановке внутри института, и Павел, набравшись храбрости, отправится к руководству за характеристикой. Ее Павлу подпишут, причем практически сразу, и он тут же, не теряя времени, понесет диссертацию в совет. В совете, правда, его труд промаринуют еще около года, но к середине восьмидесят первого, отнюдь не потерявший за более чем пять лет ожидания своей актуальности (чего больше всего опасался Павел и над чем не преминет сыронизировать Аглая), он будет вполне успешно защищен.

Юля, которую Павел, зная ее слабость, попросит не приходить на банкет по поводу знаменательного события, все-таки явится и, конечно же, опять надерется, и опять устроит «концерт» с неуместно шумными и прочувствованными тостами в честь Павла, с назойливыми приставаниями ко всем гостям, что ведь она же говорила, она же была уверена, что Павел добьется и что вот же (глядите!) он добился, добился, добился — не то, что некоторые: она несколько раз громко проведет свое любимое сравнение кафедры с фермой по откорму крокодилов, сначала обзовет кретинами Левина и бывшего секретаря парткома, а затем и вообще всех присутствующих («кроме Паши, разумеет-

ся») и кончит тем, что, когда ее захотят немного утихомирить, устроит форменную истерику со слезами и криками.

Сидящий во главе стола Павел на этот раз уже не сможет увести Юлю домой, и весь скандал так и покатится под откос, и Аглая, по тоскливым глазам мужа увидевшая, что, похоже, дело плохо, просто хуже некуда, в конце концов сама соберет Юлю, поймает такси и дозвезет ее до самого дома.

5

В начале восьмьдесят второго ВАК выдаст Павлу диплом, и он станет доктором технических наук — д. т. н.

Явится ли это для него победой или нет, Аглая не поймет. Уж во всяком случае, горькой победой.

Вообще Аглая давно начнет замечать, что с Павликом творится неладное. Конечно, это будут какие-то, на первый взгляд, возможно, и малосущественные признаки — вроде как будто ничем не спровоцированных приступов мерехлюндии или вспышек раздражительности, — но внутренним чутьем Аглая поймет, что с мужем что-то произошло, точнее сказать, происходит. Павел, правда, не захочет ничего говорить жене, и Аглая, верная себе, не станет задавать вопросов. Затаившись, она будет тихо, как бы изнутри себя, наблюдать за мужем, за изменениями, происходящими с ним. Она увидит, что в Павлике появилась какая-то медлительность, как будто даже задумчивость. Ему теперь частенько не будет работать, и он, обложившись книгами, часами станет просиживать над начатой страницей, уставясь застекленевшим взором куда-то в видимую только ему одному даль. Дело дойдет до того, что, например, за все лето восьмьдесят третьего года, которое он проведет на снятой ими даче, Павел ни разу не притронется к своей науке — такого (и это Аглае совершенно не составит труда припомнить) не случится за все предыдущие годы их совместной жизни.

Однажды в то самое лето восьмьдесят третьего, уже протомившись на этой даче недели три в абсолютно недееспособном состоянии, Павел в один прекрасный день пойдет в сараюшку, где они будут хранить инвентарь, и, взяв тяпку, направится к дальней угловой грядке — прополоть. Заметив, Аглая в душе порадует за мужа. «Слава богу, — подумает она, — может быть, дело пошло на поправку». Но через некоторое время она увидит, что, отвернувшись от нее, Павлик опустился коленями на землю и, распрямив спину, недвижно стоит, опять уставившись куда-то вдаль и, кажется, вновь пребывая в теперь обычной для себя протрации. Она тихо подойдет к нему и, заглянув сбоку, увидит, что из глаз его текут слезы. Невысокая, она обнимет за плечи своего стоящего на коленях мужа, и он вдруг прижмет голову к ее груди. Он не скажет ни слова, и Аглая тоже не скажет ни слова, а только все будет думать: Юлия, Юлия, Юлия...

Посредине следующей зимы Павел вдруг возьмет отпуск и, все побросав, чуть не доведя дело до серьезного скандала на кафедре, прямо в разгар учебного года уедет в санаторий. У него увеличатся и начнут болеть лимфатические узлы — и на шее, и на затылке, и под мышками, и Аглае, покажется, что даже где-то там, далеко в его душе, тоже разросся и стал болеть какой-то узел.

Это будет кризис, настоящий кризис, и она скажет ему, что это нервы, да-да, нервы.

— Тебе надо сменить обстановку, — скажет она ему, — отдохнуть, уехать. Езжай.

И он уедет.

Не то что с возрастом Аглая располнеет, но теперь она делается несколько крупней, с т а т н ей, чем была раньше, молодая, и лицо ее будет теперь заметно менее улыбочивым и даже чуть-чуть менее подвижным (как бы более строгим, что ли?), и взгляд — тоже менее улыбочивым и более строгим; и волосы она теперь не будет носить такие длинные, как в молодости, а станет делать довольно короткую стрижку, которую будет регулярно подновлять в «Чародейке» на Калининском. Пожалуй, теперь Аглая начнет значительно более внимательно следить за собой, за своим лицом, за своим гардеробом, и то, как она выглядит, соответствует ли, смогла бы (если б захотела, разумеется), — это теперь станет вызывать у нее уже не ту, порой легковесную и мимолетную заботу — как бывало, — а делается предметом пристального интереса. Аглая заведет себе портниху, и это окажется довольно дорогая портниха, но Аглая подумает, что ее Павлик, он, в конце концов, доктор наук, и не так уж мало он и зарабатывает, словом, что удовольствие это вряд ли разорит их семью, и почему бы ей себе не позволить, и она позволит. Если раньше она и красилась, то обычно делала это на скорую руку, стоя перед зеркалом в прихожей. Теперь же Аглая приобретет себе трюмо и станет гораздо больше времени проводить на пуфике перед зеркалом, натираясь всевозможными кремами («от морщин на шее», «для сухой кожи лица», «для век», «с витамином «F»», «для женщин старше сорока»), делая питательные маски из целебных составов на ночь, умываясь специально для нее приготовленным в аптеке молочком, выполняя все эти магические процедуры и надеясь, что все-таки еще сможет соответствовать, — Аглая будет втайне, почти неосознанно, сама себе задавать недоуменный вопрос: а зачем?

Во всяком случае, что ни говори, а благодаря этим заботам о своей внешности выглядеть теперь Аглая будет в любое время — и дома, и на даче, и на работе, и на официальном приеме возле Павла, и, скажем, на театре — не просто привлекательно, а р е с п е к т а б е л ь н о — этакая женщина в районе сорока («Как вы думаете: больше или меньше?»). Жена профессора. Дама. Очень довольная тем, как у нее складывается жизнь, дама.

Павел по-прежнему хотеть ее будет лишь изредка, и это по-прежнему будет не очень приятно Аглае, в те же ночи (очень редкие ночи), когда он все-таки станет проявлять к ней интерес, это будет оказываться тоже (возможно, даже еще более) неприятным. В целом же теперь, по истечении полутора десятков лет замужней жизни, у Аглаи возникнет странное и горькое ощущение, что она добилась своего и больше не волнует Павла как женщина, — да-да, странное и горькое ощущение.

Аглая уже не будет помнить достаточно хорошо, этого ли она добивалась, или чего-то другого, или, может быть, она вообще ничего не добивалась, а просто не желала быть слишком привязанной к Павлу и потому так себя вела; но теперь, уже вне зависимости от этой полузабытой причины, которая заставляла ее зачем-то постоянно чинить мужу препятствия, делая своими же руками жизнь с собой невыносимой, причины, которую сейчас Аглая смогла бы обозначить в сущности ничего не объясняющими словами: «мне было больно», или, например: «мне было отвратительно», или, например: «мне, знаете ли, почему-то всегда было смешно», — но теперь уже вне зависимости от этой растворившейся в прошлом (вот ведь странность! почему?) причины, Аглаю будет одолевать тайное сожаление (или сомнение), что она прошла, так и не раскусив, мимо чего-то очень и очень существ-

венного, что, говоря по правде, она сама не пожелала раскусить это что-то очень и очень существенное, Аглаю будет одолевать, пожалуй, едва осознаваемое, конечно же неисполнимое, вероятно даже что и постыдное (и слава Богу, что «едва осознаваемое») желание вернуться бы назад и попробовать еще раз и, может быть, понять, раскусить это нечто очень и очень существенное, или, во всяком случае, вспомнить и удостовериться, что та причина была действительно стоящей,— Аглаю будет одолевать такое желание... и, наверное, от неисполнимости этого полусознанного желания Аглая будет ощущать странную горечь на поле выигранного сражения.

Однако ведь теперь вместе с горечью в сознании ее будет присутствовать спокойствие и удовлетворение сложившимся положением, и это состояние спокойной удовлетворенности, сочетающееся с горечью утраты (да чего же, Господи, утраты!?), не обладающий достаточной фантазией автор хочет сравнить с тем состоянием, в котором, возможно, пребывает осенний желто-красный парк, освещенный в безветренный день начала октября ярким, но уже не греющим солнцем. Громко крича над деревьями, кружат готовящиеся к отлету птицы (возможно — грачи?), а они стоят, вековые клены, собирающиеся уснуть, умереть и ничто не способные изменить в выпавшей им на долю жизни, а потому смиряющиеся, вечные, мудрые,— да...

7

Май восемьдесят четвертого с самого начала задастся по-летнему жарким и влажным. Днями будет палить солнце, а ночами станут идти дожди, и Аглая, разбуженная стуком капель о карниз, будет пролеживать по полночи без сна и слушать, как за окнами неистовствует природа — полыхают молнии, оглушительно трещат громы, проливается потоками вода и шелестит-шелестит под бешеным ветром листва. К рассвету все будет стихать, и это время по утрам, когда дневная жара еще только начинает набирать силу, а ночное буйство стихии уже представляется нереальностью, сном, так что лишь мокрый асфальт и особенный, острый запах молодой зелени убеждают, что оно, да, было, ночное неистовство,— это время по утрам окажется необычайно хорошо. Вся растительность, подбодренная благотворным ритмом, бурно пойдет в цвет, и станет не верить, что еще недавно была зима (белизна, холод, смерть) и что не за горами новая осень и опять зима, и опять тоска, ранние сумерки и непонятная, безысходная грусть.

8

Из отпуска Павел приедет в начале марта, еще когда будет лежать снег, отдохнувшим и совершенно здоровым. Он как будто бы обновится, разогнет спину, опять станет спокойным и уравновешенным, и Аглая, глядя на мужа, порадуется тому, что отдых пошел ему на пользу.

Сразу же после его приезда позвонит Юля, и Павел на следующий же день помчится к ней, но на этот раз проживет там недолго и довольно скоро вернется, причем вернется не хмурый и подавленным, каким всегда возвращался от Юли последнее время, а все таким же, спокойным и ровным, и, возможно, даже чуточку окрыленным — таким, каким приехал из отпуска. В тот день, когда он явится от нее назад, Юля позвонит Аглае (опять во время обеда), позвонит пьяная и станет что-то бормотать как всегда заплетающимся языком о том,

что, когда Павел к ней прикасается, она просто вся дрожит и что если бы у нее мог быть ребенок, если бы у нее мог быть от него ребенок, если бы он мог быть, но Аглая, извинившись, скажет, что ей сейчас совершенно некогда, что она опаздывает и что ей нужно срочно бежать на работу, и, попросив Юлю перезвонить в конце дня (впрочем, точно зная, что та, конечно же, как это бывало уже не раз, не перезвонит), положит трубку...

Аглая уже давно заметит, что дневные Юлины звонки каждый раз означают лишь одно: к вечеру Павлик появится дома. «Как же у них там все, должно быть, плохо, если он уходит от нее, а она, пьяная, звонит мне с излияниями? — будет думать Аглая. — Уж от меня-то он, по крайней мере, всегда исчезает тихо — просто однажды не приходит ночевать, и все». Мысль окажется совсем не смешной, но, уже раз и навсегда успокоившись по поводу двойной жизни мужа, Аглая все-таки усмехнется — одними губами. Ей будет любопытно, знает ли Павел о том, что его две женщины, она и Юля, что они общаются друг с другом, разговаривают о нем? «Ведь должен же он хотя бы догадываться, — будет думать Аглая. — И если это так, если он догадывается, то как, интересно, он на это смотрит?».

Через несколько дней Юля позвонит вновь и опять начнет плести какую-то несусветную чушь, будто бы ее беда в том, что они (она и Аглая), что они уж очень похожи, что она не просто Аглаина копия («хоть и плохая», — Юля так и скажет: «хоть и плохая»), что она не просто Аглаина копия, а будто бы даже и вторая половина и что ей, Юле, второй то есть половине, не повезло точно так же, как и первой. Аглая, не понимая, в чем дело, поначалу примет Юлины слова за очередной поток пьяного красноречия в столь свойственном Юле сентиментальном духе, но потом, когда Юля вдруг, словно на секунду протрезвев, спросит ее совершенно нормальным, будто бы даже равнодушным голосом:

— Вы не знаете, где сейчас ночует Павлик? — Аглае вдруг сразу все станет ясно. «Боже мой, — подумает она, — кажется, на этот раз он заменил и Юлю».

Не зная, что говорить, теперь уже Аглая растерянно забормочет что-то невнятное в ответ Юле, а потом, с трудом от нее отделившись, тут же разыщет по служебному телефону Павла, чтобы немедленно припереть его к стене. Однако услышав в трубке его безмятежный, может быть, даже чуточку приподнятый голос, подумает: «А не все ли мне равно? Что та, что эта?» и, успев уже начать разговор с агрессивных нот, быстро свернет в околичности, а затем поспешит закруглиться, сделав вид, что звонила п р о с т о т а к, просто оттого, что соскучилась и хотела хоть минутку пообщаться.

9

Теперь, когда в отсутствие Павла Юля будет звонить к ним домой и спрашивать его, Аглая станет покрывать мужа, говоря, что он вот-вот должен подойти, или что он отправился в магазин, или что он на минутку вышел к соседям, или что-нибудь еще. Обе они, и Аглая, и Юля, будут знать, что это ложь, но Аглая все же станет говорить, а Юля — делать вид, что верит. И слыша, как падает Юлин голос каждый раз, когда она, Юля, не застает Павлика дома, замечая, что теперь все чаще Юля, звоня им, оказывается трезва, Аглая будет вспоминать те свои годы, месяцы и дни, когда ей тоже пришлось столкнуться с изменой, с тем, что называется этим словечком и что, в сущности, является ничем иным, как непосредственным подтверждением собственной неуникальности, смертью в миниатюре, Аглая будет вспоми-

нать те свои переживания и сочувствовать Юле. Как ни странно, у Аглаи не окажется ни злобы, ни злорадства — скорее, чисто женское соболезнование Юле, и даже стыда или хоть какого-нибудь смущения вторично обманутой жены Аглая не ощутит. Она начнет сострадать брошенной Юле, словно это не Паша оставил свою любовницу, а какой-то подлец оставил ее лучшую подругу. И, возможно, поэтому (потому что ей будет жалко Юлю) сказать правду, сказать, что Павлик теперь действительно спит с какой-то третьей женщиной, Аглая так и не сможет, это окажется выше ее сил, и, обманывая Юлю, Аглая каждый раз будет чувствовать себя словно бы сообщницей Павла.

Юля станет просить ее передать Павлику, чтобы он позвонил ей, что она, Юля, его ищет, что им срочно надо поговорить, и Аглая будет честно передавать мужу Юлины просьбы, но Павел звонить, конечно же, не станет и будет всячески избегать бывшей любовницы — кажется, после нескольких лет страдания достигнув наконец спокойствия, он теперь начнет ревностно охранять его, это свое достижение, и сдерживать и не подпускать к себе ищущую объяснений Юлию. По всей видимости, он строжайше запретит ей даже приближаться к нему на работе, и Юля, все еще не верящая, что ее бросили, но чувствующая себя ужасно виноватой перед ним, чувствующая, что теряет его, однако все еще на что-то надеющаяся, несмотря, видимо, на сильнейшее искушение, не рискнет нарушить запрет, чтобы не вызвать у Павлика еще большего гнева. Она будет присутствовать все время рядом с ним в институте, но не сможет, по крайней мере, получить объяснений, что же происходит.

Она, кажется, даже бросит пить, пытаясь хотя бы таким образом заслужить пощаду. Чего ей, законченной алкоголичке, будет стоить это воздержание, — одному Богу известно. Во всяком случае, увидев ее в восемьдесят четвертом году на предновогоднем вечере сотрудников института, Аглая просто глазам своим не поверит — Юля превратится в настоящую старуху. В том самом зале, в котором в семьдесят шестом происходил приснопамятный вечер, стойивший Павлику карьеры, Аглая с мужем окажется в одном из первых рядов, справа, Юля же будет сиротливо сидеть где-то далеко сзади, и Аглая, украдкой обернувшись и скосив глаза, постарается разглядеть ее (болезненно худую, бледную, потускневшую), а разглядев, поразится, что ведь эта женщина на целых четыре года моложе ее. Сходство между ними по-прежнему останется, но теперь Аглая увидит себя как бы в старости, однако даже и в старости, подумает Аглая, у меня не будет такой безысходности во взгляде, нет. Юля в тот вечер так и не подойдет к ним, только издали кивнет Аглае и улыбнется одними губами, пристально-вопросительно при этом посмотрев ей в глаза, и Аглая вновь испытает неловкость, словно это не Павел, а она сама дала Юле отставку.

Глава III

1

Довольно скоро после разрыва с Юлией Аглая и Павел поймут друг друга. Точнее говоря, это Павел поймет, что ей уже давно все ясно. И хотя он ничего не скажет и будет молчать, хотя и она тоже будет молчать и тоже ничего ему не скажет, — так что семейная традиция не обсуждать личную жизнь Павлика будет соблюдена вполне, — но все же, не сказав друг другу ни слова об этом, они будут испытывать ощущение (да и Павлик, видимо, тоже), словно между ними уже состоялось какое-то решающее объяснение, словно он просил ее понять и опять простить, и она поняла и опять простила, — это будет

ощущением избавления от груза вины (для него) и от груза тягостных подозрений и невысказанных обид (для нее).

Павел станет все так же жить половину времени с Аглаей, а половину — не дома. Перемена любовницы, оказавшаяся для него едва ли не этапным событием или, уж конечно, много значившая, внешне мало что изменит для Аглаи — разве только то, что муж наконец-то выйдет из кризиса и с ним теперь станет легче общаться.

Однако присматриваясь к себе, Аглая теперь будет поражаться и поражаться изменениям, с ней происходящим. Ей ведь будет очень мало известно о том, кто она, новая мужнина любовь, где живет, каковы ее намерения в отношении Павлика, хороша ли она, красива ли, — Аглае не будет известно почти ничего, и, вероятно, эта неизвестность должна была бы томить и мучить, вселяя опасения и страх. Но она, Аглая, не будет испытывать абсолютно никакого беспокойства — разве что легкое любопытство, более подходящее, пожалуй, не обманутой жене, а человеку, абсолютно далекому от происходящего, сторонней, как говорится, наблюдательнице... Возможно, это окажется следствием накопившейся усталости от многочисленных тревожений предыдущих лет по поводу их с Павликом судьбы, а возможно (даже скорей всего) — и обычным равнодушием к их дальнейшей судьбе. Во всяком случае, прежние проблемы и боли, то, что еще недавно было мучительным и страшным, теперь вдруг потеряет значение, станет почти безразличным и неволнующим. Ведь Аглая уже давно поймет, что если не отождествляешь столь страшившее ее вытеснение со смертью, если не принимать одно за другое, то, в сущности, в вытеснении, в том, что она обозначает этим словом, нет ничего такого уж страшного. Жить можно в любой ситуации. И когда тебя вытесняют из одного круга, когда тебе не оказывается там места и ты попадаешь в другой, ничего такого не происходит. Ибо ты как-никак остаешься жива, все так же живешь. Жизнь ведь равна самой себе — в каком бы круге ты ни очутилась. Сие можно считать и демагогическим софизмом, и спасительной мудростью, — все зависит от того, как на это взглянуть, сыта или несчастна ты в тот момент, когда эта мысль приходит тебе в голову. Если хочешь быть незаменимой — будь ею!

2

В июне восемьдесят шестого Аглая узнает, что Юля уволилась из института. Тогда Аглая не станет спрашивать у мужа, вскользь, как бы между прочим известившего ее об этом, где теперь Юля собирается работать. А через две недели все та же Коруткова позвонит ей и дрожащим (то ли от волнения, то ли от восторга) голосом объявит, что Юля, дескать, покончила с собой и сейчас находится в такой-то больнице.

— Стойте-стойте! — скажет Аглая. — Если покончила, то почему же в больнице?

— Не знаю, — ответит Коруткова. — Мне только что муж звонил, а им так на кафедре сообщили.

Аглая нажмет на рычаги и тут же наберет «ноль-девять». Через несколько секунд молчания станция даст короткие гудки. Аглая опять наберет «ноль-девять» и опять после непродолжительного молчания услышит короткие гудки. Потом она наберет еще и еще, и на пятый или шестой раз наконец дозвонится. Ей скажут телефон той больницы, которую называла Коруткова, и Аглая теперь уже начнет дозваниваться туда. Не пройдет и часа, как она узнает, что Юля действительно прошлой ночью поступила в реанимацию с тяжелым отравлением — около трех упаковок снотворного, но что сейчас уже опасность миновала.

Вечером, когда Павлик придет домой (а этим вечером он придет), Аглая спросит его, известно ли ему. («Да», — скажет он). Ну и что же, спросит она. («Ничего», — ответит Павел). Он, что же, даже не хочет съездить в больницу навестить Юлю? («Нет», — ответит он). Но почему же?! («Не хочу»). Ну хорошо, скажет Аглая. Тогда она сама поедет к Юле. («Как тебе угодно, малыш»). И в эту минуту Аглая поймет, что он знал, прекрасно знал обо всем — и о том, что они с Юлей общались, говорили о нем, и о том, что Юля ей жаловалась на свои с ним неудачи, а она выслушивала Юлю и даже пыталась давать ей какие-то советы, — Аглая поймет, что он знал все это, и это его, видимо, устраивало, и тут она опять подумает, что нет, все-таки он никогда-никогда не любил ее.

3

На следующее утро она сама отправится туда.

Она накупит несколько видов соков, апельсинов, еще чего-то, что положено приносить в больницу, и отправится.

Юля окажется уже не в реанимации — из «интенсивной терапии» ее переведут в обычное отделение, правда, выделят пока индивидуальный бокс; и, прежде чем впустить, с Аглаей долго, строго и настороженно будет говорить дежурный врач, все пытавшаяся выяснить у нее, кто она такая, кем доводится Юле, не знает ли, в чем дело, почему Башкирцева вдруг решила покончить с собой.

Стараясь выглядеть как можно искренней, Аглая станет отвечать, что, в чем дело, — не знает, что она близкая Юлина подруга, что ей непременно надо увидеть Юлю и что их свидание обязательно пойдет Юле на пользу, облегчив ее, Юлино то есть, выздоровление. Поняв, что от нее толком ничего не добьются, врачаха впустит Аглаю, предупредив, что с самого того момента, как пришла в себя, Юля упорно молчит, не желает отвечать ни на какие расспросы, и, сказав, что Юле сейчас вообще-то противопоказано с кем-либо общаться, что, впуская Аглаю, нарушает какую-то там инструкцию, попросит долго не задерживаться. Продукты оставьте здесь, скажет она, увидев Аглаину сумку. Мы хорошо кормим.

4

Когда Аглая приоткроет дверь и заглянет, она увидит Юлю в дальнем от двери углу. Юля будет лежать на спине, уставившись в потолок. Аглая сделает шаг вперед, войдет и повернется, чтобы притворить за собой дверь. Стараясь быть потише, она станет медленно двигать дверь назад, пока не услышит слабый щелчок замка. Затем она обернется и вдруг наткнется на устремленный ей прямо в лицо Юлин взгляд. Столкнувшись взглядами, они (Аглае покажется, что и Юля тоже) обе вздрогнут. Юля будет все так же лежать на спине на специальной высокой кровати, над которой Аглая боковым зрением уже успеет заметить (что-то противно сожмется внутри, и она на миг пожалеет, что пришла) три висящие подключенные к Юле капельницы, и, не поворачивая к ней головы, только скосив глаза, пристально смотреть на нее. Под этим пристальным Юлиным взглядом Аглая по диагонали палаты (заметит еще одну, только пустую кровать) несмело, на цыпочках подойдет к Юле и осторожноенько опустится на край стула, стоящего возле. Юля, не говоря ни слова, все будет не отрываясь смотреть ей в лицо.

— Вот пришла... — скажет Аглая, почувствовав вдруг, что, не приготовит заранее первой фразы, не знает, что сказать и о чем говорить.

Юля еще на несколько мгновений задержит на ней свой взгляд, потом отведет глаза и опять уставится в потолок.

Аглая помолчит минуту или две, слушая какие-то трудноопределимые звуки где-то за стеной, в другой палате (там что-то будет происходить), слушая (постепенно успокаивающийся) стук своего сердца, слушая шелестящее Юлино дыхание, глядя, как изредка снизу вверх пробегают по капельницам пузырьки. Юля будет молчать.

— Может быть, что-нибудь ему передать? — спросит Аглая наконец.

Юля не ответит. Даже не оторвет взгляда от потолка.

Аглая присмотрится к ее лицу. Увидит какую-то свежезапекшуюся ранку в углу губ. Морщины-морщины-морщины, иссохшая кожа старухи.

— Это надо пережить, просто пережить, — скажет Аглая. — Иначе ничего не выйдет...

Юля будет безмолвствовать, отрешенно разглядывая потолок, лишь изредка взмаргивая ненакрашенными, бесцветными ресницами, — упрямо молчать, словно бы давая ей, Аглае, понять, что не желает с ней говорить, хоть как-то реагировать на ее присутствие.

Аглая посидит еще минутку. Ей станет уже неудобно так пристально и в упор разглядывать Юлю, и она отвернется к окну. Звук за стеной усилятся. Все-таки там будет нечто происходить. Кажется, один голос будет что-то, подвывая, кричать, два других его наперебой успокаивать.

Аглая поднимется.

— Ну ладно, — скажет она. — Я рада, что все обошлось. Когда поправишься, там в холодильнике у дежурной по отделению соки, кое-что еще. Если захочешь... Ему я передам, что все нормально, что все-таки ты выкрутилась, возвратилась. — Она повернется и направится к двери.

— Нет, — вдруг произнесет Юля тихим голосом.

Аглая остановится и обернется:

— Что?

— Нет, не надо, — скажет Юля. — Ничего не говори. Я хотела перестать существовать для него. Я хочу, чтобы так оно и стало.

— Хорошо, — скажет Аглая. — Ладно. Я ничего не скажу. Только ты не волнуйся. Теперь тебе надо успокаиваться. Приходить в себя. — Она будет стоять посередине комнаты и смотреть на Юлю, которая по-прежнему будет лежать на спине и, не отрывая взгляда от потолка, говорить:

— Я не волнуюсь, я не волнуюсь. Я хочу, чтобы меня больше не стало для него. Ему тяжело от меня. Я хотела уйти...

— Хорошо-хорошо, — скажет Аглая. — Я поняла. Я ничего ему не скажу.

— Я хотела уйти, чтобы освободить его от себя, от обузы, ты понимаешь? Мне больше ничего не оставалось...

— Хорошо, — скажет Аглая. — Я все поняла. Я сделаю вид, что ничего не знаю. И он забудет о тебе. Только ты выздоравливай. Ладно?

— Не приходи больше, — скажет Юля. — Не приходи, меня больше нет. Я все равно сделаю это...

Аглая поспешно закроет дверь.

5

Потом, двадцатью минутами позже, быстро идя по улице, сама еще не понимая, куда, и потом, получасом спустя, добравшись наконец до хозяйственного магазина, чтобы купить там сразу все имеющиеся в продаже аэрозоли, порошки, тубики с ядами-ядами-ядами

(для кого? вероятно, во-первых, для новой пассии мужа, во-вторых, возможно, для Юли, в-третьих, для Павла, а в-четвертых, не исключено, для себя), и потом, приняв у несколько удивленной таким ее всеохватным выбором продавщицы сверток, рассеянно неся его в руках (ибо запомнит даже убрать его в сумку), Аглая будет думать-думать-думать, что любовь, сверхлюбовь, то, о чем она так много размышляла и по поводу чего она так много страдала раньше, что все это, утонув в бездонном прошлом, уже давно потеряло для нее всякий смысл и значение. «Все это были одни лишь рассуждения — рассуждения и больше ничего, любви-то, возможно, никогда и не существовало, — подумает она. — И я, всю жизнь страдавшая от бесконечной своей малости в миллиардном многолюдии окружающего мира и в сверхлюбви искавшая для себя лишь одного — ощущения незаменимости тут, — я так ничего и не смогла ощутить и смирилась, утешив себя тем, что жизнь ведь равна самой себе, даже если меня выбросили вон, то есть я так и осталась тварью мизерной или дерьмо дерьмом».

И уже подходя к своему дому, рассеянно шаря взглядом в поисках урны, суетливо запихивая сверток в горловину, затем машинально поднимая взгляд к своему окну и по свету понимая, что муж и сегодня у нее, Аглая будет думать, что ее жизнь была ни чем иным, как страхом перед болью и сплошной цепью ухищрений совладать с этой болью, — ухищрений самых разнообразных: от попытки делать вид, что не больно, до попыток бросаться боли навстречу. Но все оказывалось тщетным, подумает Аглая, отворяя дверь подъезда и входя вовнутрь. Боль как была, так и осталась, она лишь меняла обличья, боль, делая вид, что она по такой-то причине или по такой-то, но не пропадая вовсе, оставаясь всегда при мне, так что теперь (будет думать Аглая, торопливо, почти бегом поднимаясь по лестнице, с каждой ступенькой, с каждым шагом начиная улыбаться все радостней, все счастливей), так что теперь мне остается сделать вывод, что жизнь, во всяком случае моя жизнь, это и есть боль.

Слегка покрасневшая и запыхавшаяся от быстрого подъема, она нажмет кнопку звонка и с нетерпением станет ждать.

Павел откроет дверь.

На ее лице счастливая-счастливая улыбка:

— Привет. Как дела, милый?..

И злу добра в бою не одолеть

Анатолий Гончаров придумал себе псевдоним ВЕТРОВ. Ему казалось, что так красивее, значительнее. Я пытался его отговорить, убеждал, что это безвкусица, но он, кивая мне и улыбаясь, продолжал считать себя Ветровым.

Анатолий — бомж. То ли судьба его — злодейка, то ли сам он себе — злодей... разве разберешься? У него нет, как это говорится, ни дома, ни семьи, ни путевой одежки. Зато много стихов. Они везде, и они обо всем, что он видит, то есть о самом себе, о том, что его ранит и восхищает.

Он словоохотлив в беседе и несколько многословен в стихах. Ему не хватает знаний, мастерства, опыта, вкуса, умения владеть пером и страстью, невесть откуда свалившейся на него. Но у него есть пронзительность, искренность, свое видение мира, жажда знаний и, я утверждаю, есть таинственная штучка в душе, которую объяснить невозможно, но без которой любое мастерство тонны исписанной бумаги — всего лишь пустые хлопоты.

Булат Окуджава
16 декабря 1991 г.

«Слушая магнитофон...»

Терапевт, кардиограмма, клизма —
Я на завтра к операции готов,
Жертва водки и социализма,
БОМЖ, бродяга Толька Гончаров.

Я лежу на вытяжке в палате
И курю «Герцеговину Флор»,
Пью одеколон, как в той блатхате
Проигравший в карты сутенер.

Золотое пиво бродит в банке,
И Трофимов Лешка, мой сосед,
Словно от чифира ээк в бараке,
Ловит кайф от пива и кассет.

Голос Шуфутинского в палате —
Голос сердца, раненный тоской,—
Невский и Таганка, и Крещатик...
Белый аист памяти людской.

Голос сердца, как рыданье скрипки,
На чужбине одинокий плач
По России, где Кресты, Бутырки,
На Арбате спившийся скрипач.

Где Володин хрип и гибель Цоя,
За рулем судьбы предсмертный крик...
Не дает Россия нам покоя,
Голос сердца в души нам проник.

Пиво пьем и курим сигареты,
Мы вдыхаем горький аромат,
Дарят нам японские кассеты
Запах правды, словно русский мат.

* * *

За сутками проходят сутки,
Все ближе к солнышку, к весне...
Моча в моей стеклянной «утке»
Напоминает пиво мне.

На вытяжке нога больная
От напряженья, как струна...
Ах, жизнь моя, тоска шальная,
Зачем ты гибнешь от вина?

Зачем вокзалы, проститутки,
Зачем дурная слава мне?
За сутками проходят сутки,
Все ближе к солнышку, к весне.

Я беззащитен, как ребенок,
Как птица с раненым крылом,
От пьяных мыслей и бабенок
Ноги спасает перелом.

Алешка, друг, он носит «утки»,
По-братски помогает мне...
За сутками проходят сутки,
Все ближе к солнышку, к весне.

* * *

Я лежу, прикованный к постели,
С левой переломанной ногой,
За окном — не верится — в апреле
Выпал снег, холодный, мокрый, злой.

И в палате севером подуло,
Не спасает пара одеял,
Я хочу, чтоб ты ко мне прильнула
Теплая, как солнечный Непал.

Жаркая, как южный зной июля,
Ты согреешь ласкою меня —
Танечка, Наташа, Света, Юля,
Луч надежды на закате дня.

Ты придешь не в юбочке, не в платье
И не в джинсах штатовских ко мне,
Проплывет больничный твой халатик
В грустной холостяцкой тишине.

Я от счастья вскрикну: — Неужели?! —
Ты — звезда в ночной моей судьбе,
Пусть бедой прикован я к постели,
Мыслями прикован я к тебе.

Нога

Как зад свиньи в цеху убойном,
Моя распухшая нога, —
От напряжения ей больно,
Под нож залезла — на фига?

От боли стонет... Так и надо!
Зачем ей спяну в яму лезть?
Вот-вот готова, как граната,
Взорваться вдруг, на койке, здесь!

Евангелие

Кричит Алеха: — Женщину хочу! —
Он буйствует, в страстях неуправляем,
Я, скован болью, горестно молчу,
Постель любви мерещится мне раем.

В душе лишь холостяцкая тоска,
Нога от боли стонет, не от ласки,—
Не прикоснется женская рука
К моей руке, не улыбнутся глазки.

В кармане уместается она,
Та книжечка, с которою я дружен,
Священные читаю письма,
И надо мной спасенья ангел кружит.

Молитва умирляет лешкин пыл,
Библейский стих, как клятву, я читаю,
И боль, что прежде сильно ощутил,
В ноге заметно тает, тает, тает.

Зачем мне Кашпировский и Чумак?
Есть в мире величайший повелитель —
Иисус Христос, он экстрасенс и маг,
Души и тела тайный исцелитель.

Спасенье

В тиски зажатая нога
Напоминает мне врага.

На вытяжке лежит она,
И мне покоя нет и сна.

Моя нога — живая боль,
Виновник боли — алкоголь.

Душа, как та нога, хранит
Лишь неподвижности гранит.

Открыл я книгу и притих,
Библейский я читаю стих.

Ищу из пут освобожденья
И для души больной спасенья.

Вдруг весть благая от Матфея
В объятия души, как фея,

Как ангел к Господу, летит,
И... рассыпается гранит.

Грех

Мне муки ада не страшны,
Пускай я нагрешил немало...
А кто не грешен? Все грешны,
Конец любви, ее начало,

Вся жизнь отмечена грехом,
Как паспорт штампом о разводе,
Не замолю я грех стихом —
Молитвой при честном народе.

И Пушкин грешен, и Толстой,
И те, что здравствуют поньше...
А нет греха лишь в холостой
Небесной ангельской пустыне.

* * *

Вокзальную Москву я не люблю,
В коровнике ночном писал стихи я,
Как океан просторный кораблю,
Нужна мне вся огромная Россия.

Иду я, как лунатик, по Тверской,
Мой дух парит в ином, нездешнем мире,
Я глух и нем, в душе моей покой,
Гармония стиха... Я отдан Лире.

* * *

О. В. О.

Вы подарили мне фломастер,
Я им рисую новый стих,—
Но подмастерье, а не мастер,
Я совершенства не достиг.

Ах, мне бы пластику Родена!
Увы, в искусстве я не Бог,
Из школьного не вырвусь плена,
Как из безумия Ван-Гог.

Искусство — поиск абсолюта,
К неведомым шедеврам мчусь,—
Жизнь скоротечна, как минута,
Я потерять ее боюсь.

Искусство для одних — Карузо
И Шуфутинский — для других,
У мастера есть вечность — Муза,
У подмастерья — слабый стих.

* * *

Не оскверняйте медью серебро,
Не оскверняйте золото рублями,
Не оскверняйте землю сапогами,
Что грохот зла несут, а не добро.

Пока летит, позванивая, медь
И серебро слезою в кепку льется,
Добро, со злом сражаясь, не сдается
И злу добра в бою не одолеть.

Прелюдия желтого цвета

Эврике Аллавердонц 18 лет. Она студентка 2-го курса Московского государственного лингвистического университета. Еще учась в школе, стала победителем общегородского конкурса литературных объединений и дипломантом Всесоюзного фестиваля народного творчества. Стихи Э. Аллавердонц публиковались в сборнике «Антология русского верлибра».

Николай Панченко

1915 год

I

Черное небо,
Хриплые крики,
Солнце прожорливо гложет твердь.
Красные веки,
Пустые глазницы
Страшно взирают на страшную смерть.

Серые камни
Громко хохочут
Средь раскаленных ржавых песков.
Это Армения, в саван одетая,
Втоптана в грязь сапогами врагов.

II

Вот храм старинный,
Серая стена,
Где трещины, как будто письмена.
Потоки света обливают храм,
Гехард!

Ты помнишь все,
Все в глубине хранишь,
Как память мертвых ты стоишь,
Молчишь,
Ты слезы затаил,
Ты камень.

5 января 1986 г.

Прелюдия желтого цвета

Свечи желтые на стол поставлю
И войду в их тихий желтый сон.
В них давно уже мой стон расплавлен,
В них царит лишь мягкий желтый звон.

Я застыну в каждой синим криком,
Желтым страхом, восковой слезой,
Я рассыплюсь пожелтевшим прахом,
Чтоб родиться заново... свечой.

Ты придешь, свечу на стол поставишь
И зажжешь меня своей рукой.
И ты снова рядом молча встанешь,
Чтоб я освещала твой покой.

1989 г.

* * *

Словно гвоздь забивая в стену,
Разрушая ее основанье,
Или серые горсти пепла
Рассыпаю по темной ткани.

Может, надо ворваться в пространство,
Разрывая глотку от крика?
Иль скользнуть в тишину постоянства
И застыть в ней мерцающим бликом?

Сколько солнца впитала я кожей,
Сколько звезд надо мною истлело!
Я не знаю, жила ли я раньше
Иль проснуться еще не успела.

1988 г.

Литературно-публицистическое издание

Альманах «АПРЕЛЬ»

Выпуск шестой

Ответственный за выпуск *Г. В. Дробот*
Оформление художника *А. Ю. Летвиненко*
Технический редактор *В. П. Калачева*
Корректор *С. И. Смирнова*

Сдано в набор 19.08.92. Подписано в печать 07.12.92.
Формат 70×108²/₁₆. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Балтика».
Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,55.
Уч.-изд. л. 23,39. Тираж 10.000 экз. Заказ 3399.

Издательство «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации»,
103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Типография имени И. И. Скворцова-Степанова
издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации».
Москва, Пушкинская пл., 5.